ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[8] 2005

РОМАН ДАЙ СЫ-ЦЗЭ «КОМПЛЕКС ДИ» / СТИХИ ГОТФРИДА БЕННА /
НАШИ ГОСТИ: ПОЛЬСКИЕ ПИСАТЕЛИ ПАВЕЛ ХЮЛЛЕ И АНТОНИЙ ЛИБЕРА /
«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» АЛЕКСАНДРА ЛИВЕРГАНТА В РУБРИКЕ «ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА»

Основан в 1891 году

[8]
2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Дай Сы-цзе *Комплекс Ди.* Роман. Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич

150 Готфрид Бенн *Стихи.* Перевод с немецкого и вступительная статья Вальдемара Вебера

168 Хорхе Вольпи *В поисках Клингзора.* Роман. [Окончание.] Перевод с испанского Николая Жарова

Наши гости — 287 *"Главная обязанность писателя – заботиться о гигиене языка".* Беседа с польскими писателями Павлом Хюлле и Антонием Либерой

Письма из-за рубежа — 300 А. Ливергант *Дым отечества*

БиблиофИЛ — 305 *Издательские планы.* Беседу с переводчиками ведет Светлана Силакова

312 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ" — 315

Авторы номера — 318

© "Иностранная литература", 2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

И. о. главного
редактора

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

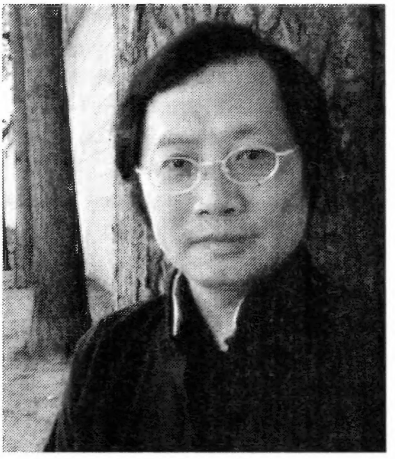
Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Дай Сы-цзе



Комплекс Ди

Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич

Дай Сы-цзе родился в 1954 году в Китае. Во время культурной революции был несколько лет в горной деревне на "трудовом перевоспитании", после смерти Мао Цзэдуна учился в университете, а в 1984-м, получив именную стипендию, уехал во Францию, где закончил школу кинематографии, стал режиссером и где живет по сей день. Название его первого, документального, фильма "Китай, моя боль" может служить эпиграфом к обоим его романам, написанным на французском языке. Первый из них, "Бальзак и портниха-китаяночка", имел огромный успех, был переведен на множество языков, в том числе на русский[1], и лег в основу фильма, снятого самим Дай Сы-цзе, который в 2002 году на Каннском кинофестивале получил приз за "Особый взгляд". Этот особый взгляд выработался под действием традиций многовековой китайской культуры, европейского образования и реалий современного Китая.

В романе "Комплекс Ди" тоже удивительным образом сочетаются восточная и западная составляющие личности художника. "Многие из нас, — говорит он о себе и своих соотечественниках-писателях, — испытывают сильное влияние западной культуры, но при этом, к счастью, сохраняют собственную индивидуальность".

Вероятно, европейским читателям, даже знакомым в общих чертах с историей КНР (культурная революция, трудовые лагеря, трагедия на площади Тяньаньмэнь), многое в книгах и фильмах Дай Сы-цзе представляется гротеском. Тем более что гротеск писателю действительно не чужд. И только братья по бывшему соцлагерю знают, что реализма в его произведениях, увы, гораздо больше, чем хотелось бы думать.

© Gallimard, 2003
© Наталья Мавлевич. Перевод, вступление, 2005
Переводчик благодарит профессора И. С. Смирнова за научную консультацию по цивилизации Китая.
Роман готовится к печати в издательстве "Иностранка".
1. Издательство "Кристалл", 2001. Перевод Леонида Цывьяна. Имя автора дано здесь во французской транскрипции – Дэ Сижи.

Русскому читателю, помнящему наше недалекое прошлое, когда за "фрейдизм" можно было если не угодить за решетку, то поплатиться карьерой, трагикомизм положения страстного адепта психоанализа в коммуно-капиталистическом Китае не покажется фантастичным. (Острота ситуации в романе усиливается еще и столкновением восточно-патриархальной и западно-индивидуалистической традиции. Недаром "комплекс судьи Ди" не рассматривался Фрейдом.) Знаком нашим соотечественникам и тот горький патриотизм, который слышится в лирическом и пародийном повествовании Дай Сы-цзе.

Впрочем, политическая составляющая вовсе не исчерпывает содержание "Комплекса Ди".

Ключ к произведению заложен в самом названии. Если слово "комплекс" вызывает естественные ассоциации с психоаналитической терминологией, то имя Ди отсылает к известному персонажу, символизирующему скрещение Востока и Запада. Знаменитый судья Ди жил в VII веке, во времена просвещенной династии Тан, и считался эталоном мудрости, справедливости и неподкупности. Помимо исторического судьи Ди, существует его художественное воплощение. Голландский ученый-востоковед и писатель, Роберт ван Гулик (1910—1967), сделал его главным героем цикла исторических детективных романов, переведенных на многие языки и известных как в Европе, так и в Китае. В истории детективного жанра судья Ди стоит в одном ряду с Пуаро, Мегрэ и патером Брауном. В последние годы у него появились и русские поклонники — многие романы этого цикла в России переведены и имеют немалый успех. Перу Роберта ван Гулика принадлежит также основательный, богато иллюстрированный труд "Сексуальная жизнь в Древнем Китае" (первое русское издание — 2000 г.). Легендарный судья Ди в сопоставлении со своим тезкой и коллегой из романа Дай Сы-цзе, а также тень знатока китайского секса ван Гулика, маячащая за спиной главного героя, первого китайца-психоаналитика, создают пародийный план повествования.

И, наконец, еще одна аллюзия, которая возникает в романе Дай Сы-цзе, ведущего своего близорукого, невезучего героя "путями рыцарского духа". Психоаналитик-девственник Мо, готовый преданно служить томящейся в темнице возлюбленной, — своеобразный двойник Дон Кихота. Таков, вкратце, сложный поликультурный фон, на котором развивается действие романа французского и одновременно китайского писателя Дай Сы-цзе.

Первая часть
Путями рыцарского духа

1
Ученик Фрейда

СИГНАЛЬНЫЕ огни остались далеко позади, превратились в рубиновые и изумрудные точки, а потом совсем утонули в туманном мареве жаркой июльской ночи, в окне вагона блестящей змейкой отражалась металлическая цепочка в розовом прозрачном пластике.

(Всего несколько минут назад в грязном ресторане на маленькой станции недалеко от Желтой горы на юге Китая той же цепочкой крепился к ножке столика под красное дерево голубой чемодан фирмы "Делси" на колесиках и со складной металлической ручкой, принадле-

жащий господину Мо, начинающему психоаналитику китайского происхождения, недавно вернувшемуся на родину из Франции.)

Для человека, начисто лишенного красоты и обаяния (метр шестьдесят три ростом, тощий и неловкий, в очках с толстыми линзами, из-под которых с рыбьей неподвижностью смотрят глаза навыкате, секущиеся волосы торчат во все стороны), он вел себя на удивление уверенно: снял ботинки французского производства, обнаружив красные носки с дырками, сквозь которые виднелись костлявые молочно-белые большие пальцы, встал ногами на деревянную скамью, засунул на багажную полку свой "делси", прикрепил цепочкой, продел в колечки дужку висячего замочка и приподнялся на цыпочки, проверяя, хорошо ли он заперт. Потом сел на свое место на нижней полке, аккуратно поставил туфли под сиденье, надел на ноги белые шлепанцы, протер очки, закурил тонкую сигару, достал ручку, отвинтил колпачок и принялся работать, то есть записывать в купленную еще во Франции школьную тетрадку свои сны — занятие, которое он вменил себе в непреложную обязанность. Между тем вокруг него в общем вагоне с жесткими скамьями (единственном, в который еще оставались билеты) все кишело и суетилось: втискивались крестьянки с огромными корзинами в руках или бамбуковыми коробами за спиной, спешившие обойти весь поезд и сойти на следующей остановке.

Качаясь, проходили они по коридорам и торговали кто чем: крутыми яйцами, горячими булочками, фруктами, сигаретами, кока-колой, минеральной водой — местной, китайской, и даже привозным "эвианом". Тут же, с трудом пробираясь по узкому проходу со своими тележками, тянулись гуськом железнодорожные служащие в форме, предлагая пассажирам утиные ножки с перцем, жареные свиные ребрышки со специями, бульварные газеты и журналы. Мальчонка лет десяти с лукавой мордочкой, сидя на полу, начищал туфли на высоких каблуках зрелой красавице в чересчур больших для ее худого лица темно-фиолетовых солнечных очках, которые нелепо выглядели в вагоне ночного поезда. Никто не обращал внимания ни на господина Мо, ни на маниакальную бдительность, которой он окружил свой "делси-2000". (Несколько дней тому назад в таком же жестком общем вагоне, но только дневного поезда, закончив ежедневную порцию записей цитатой из Лакана[1], он поднял глаза от школьной тетрадки и словно увидел сцену из немого кино с ускоренными движениями персонажей: видимо, особые меры предосторожности, принятые им для защиты своего имущества, раздразнили попутчиков, и они, взгромоздясь на полку, лихорадочно обнюхивали, ощупывали его чемодан, простукивая его пальцами с черными обломанными ногтями.)

Решительно ничто не могло отвлечь его внимание, когда он погружался в работу. Любопытный сосед по трехместной скамье, работяга лет пятидесяти, сутулый, с длинным обветренным лицом, сначала просто так, мельком, заглянул к нему в тетрадь, а потом всмотрелся пристальнее.

— Господин очкарик, вы что, пишете по-английски? — спросил он с почти рабской почтительностью. — Знаете, у моего сына нелады в шко-

1. Жак Лакан (1901–1981) — основоположник французской школы психоанализа. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

ле с английским, никак, ну никак он у него не идет. Может, вы мне что-нибудь присоветуете?

– Разумеется, – серьезно ответил Мо, ничуть не обидевшись на то, что его назвали "очкариком". – Я расскажу вам историю про Вольтера, французского философа XVIII века. Однажды Босуэлл спросил его: "Вы говорите по-английски?" Вольтер ответил: "Для этого надо прикусывать кончик языка зубами, а я уже слишком стар, у меня нет зубов". Понимаете? Он имел в виду произношение "th". Вот и я вроде старика Вольтера – у меня зубы коротковаты, чтобы говорить на этом всемирном языке, хотя я очень люблю многих английских писателей и пару американских. А пишу я по-французски.

Такая тирада изумила соседа, придя же в себя после обрушившегося на него потока слов, он посмотрел на оратора с неприязнью. Как все трудящиеся революционной эры, он ненавидел тех, кто знает больше, чем он, и имеет благодаря этим знаниям огромное преимущество перед ним. Решив преподать "больно ученому" попутчику урок, он достал из своей сумки китайские шахматы и предложил ему сыграть партию.

– К сожалению, я не играю в эту игру, – все так же серьезно сказал Мо, – хотя много о ней знаю... Знаю, когда и где она появилась...

Это доконало соседа, которого к тому же клонило в сон, и он только спросил:

– Так вы правда пишете по-французски?

– Да.

– Надо же, по-французски! – несколько раз повторил работяга, и это слово разнеслось по вагону слабым эхом, тенью, подобием другого, еще более славного слова – "по-английски", а на физиономии доброго отца семейства отразилась полная растерянность.

Вот уже одиннадцать лет Мо жил в Париже, в кое-как перестроенной каморке прислуги, сырой, с трещинами по стенам и потолку, на восьмом этаже без лифта (красный ковер на ступеньках кончался на седьмом), и все ночи напролет, с одиннадцати вечера до шести утра, записывал сны, сначала свои, потом и чужие. Записи он вел на французском, уточняя по словарю Ларусса значение каждого трудного слова. Сколько тетрадей он успел исписать за это время! И все они хранятся в перетянутых резинкой обувных коробках, которые расставлены на металлических полках, в несколько ярусов покрывающих стену, – точно в такие же пыльные коробки французы испокон веку складывали, складывают и будут складывать счета за электричество, за телефон, справки об уплате налогов, о начислении зарплаты, квитанции по страховым взносам, выплатам кредита за мебель, автомобиль или ремонт... Словом, отчетность за целую жизнь.

За десять с лишним проведенных в Париже лет (в настоящее время он только-только перешагнул рубеж сорокалетия – возраст, когда мудрый Конфуций, по его словам, избавился от сомнений) эти записи на извлеченном по словечку из Ларусса французском преобразили Мо, даже его очки с круглыми стеклами в тонкой оправе, как у последнего императора в фильме Бертолуччи, за это время почернели от пота, покрылись желтыми жирными пятнышками, а дужки так деформировались, что не влезали в футляр. "Неужели у меня так изменилась форма черепа?" – записал Мо вскоре после встречи Нового 2000 года по китайскому календарю. В тот день он засучил рукава, повязал фартук и решил на-

вести порядок в своей комнатушке. Но только начал перемывать скопившуюся в раковине за много дней грязную посуду (скверная холостяцкая привычка), темным айсбергом выступавшую из воды, как очки соскочили у него с носа, спикировали в мыльное море, где плавали чаинки и объедки, и затонули где-то среди чашечных островов и тарелочных рифов. Мо почти совсем ослеп и долго шарил в пене, извлекая скользкие палочки для еды, побитые кастрюли с коркой пригоревшего риса, чашки, стеклянные пепельницы, арбузные и дынные корки, липкие миски, щербатые тарелки, вилки и ложки, такие жирные, что они выскальзывали у него из рук и со звоном падали на пол. Наконец он выудил очки. Тщательно промыл их, вытер и осмотрел: на стеклах прибавилось мелких трещинок-шрамов, а дужки изогнулись еще причудливее.

Вот и теперь, в китайском ночном поезде, неумолчно стучащем колесами, ни жесткое неудобное сиденье, ни теснота битком набитого вагона — ничто не мешало ему сосредоточиться. Ничто и никто, даже красивая дама в темных очках (эстрадная звезда, путешествующая инкогнито?), сидевшая рядом с молодой парой и напротив трех пожилых женщин и с интересом поглядывавшая на него, изящно опершись локотком о столик. Нет! Наш господин Мо пребывал не здесь, не в вагоне поезда, а в раскрытой тетрадке, он был погружен в язык далекой страны и, главное, в свои сны, которые записывал и анализировал с величайшей добросовестностью, профессиональным рвением и даже, можно сказать, с любовью.

Порой, когда ему удавалось припомнить и пересказать что-то особенное или снабдить сон абзацем из Фрейда или Лакана, двух безоговорочно почитаемых учителей, на лице его отражалось полное счастье. Он улыбался, как будто встретил старого друга, и даже по-детски причмокивал от удовольствия. Строгие черты его размякали, как пересохшая земля под дождем, и с каждой секундой все больше расплывались, а глаза наполнялись прозрачной влагой. Буквы, вырвавшись из тисков каллиграфии, принимались радостно скакать по строчкам, палочки удлинялись, петли то лихо захлестывались, то плавно, размеренно закруглялись. Это был признак того, что он с головой ушел в другой, увлекательный, животрепещущий и вечно новый мир.

Время от времени, когда поезд замедлял или прибавлял ход, он переставал писать и с неугомонной китайской бдительностью смотрел наверх, чтобы убедиться, по-прежнему ли его чемодан на месте и крепко ли привязан. Потом, подчиняясь тому же тревожному импульсу, ощупывал застегнутый на молнию внутренний карман куртки, проверяя, там ли документы: китайский паспорт, французский вид на жительство и кредитная карточка. И наконец бегло и как бы невзначай проводил рукой пониже спины, нащупывая бугорок — потайной карман в трусах; там, в самом надежном, укромном и теплом местечке была припрятана изрядная сумма — десять тысяч долларов наличными.

Около полуночи люминесцентные трубки погасли. В переполненном вагоне все спали, только четыре заядлых картежника сидели на полу у двери в туалет, под тусклой синей лампочкой; шла лихорадочная, азартная игра, купюры то и дело переходили из рук в руки. Фиолетовые тени плясали по лицам игроков, по прижатым к груди веерам карт, длинными языками отпрыгивали от перекатывавшейся взад-вперед банки из-под пива. Мо завинтил колпачок на ручке, положил тетрадь на

откидной столик и перевел взгляд на красотку, которая наконец сняла очки и в темноте накладывала на лицо голубоватый крем — делала увлажняющую или питательную маску. "Какая кокетка, — подумал Мо. — До чего же изменился Китай!" Время от времени женщина наклонялась к окну, гляделась в него, как в зеркало, и то стирала избыток крема, то прибавляла еще мазок. Маска ей очень шла, придавала что-то таинственное, роковое. Закончив, она замерла, не отрывая глаз от своего отражения. Вдруг встречный поезд прошил окно световыми очередями, и Мо увидел, что женщина беззвучно плачет. Слезы стекали из уголков глаз вдоль крыльев носа, оставляя бороздки-зигзаги в голубоватом слое крема.

Постепенно сплошная зубчатая стена гор и бесконечные туннели сменились темными рисовыми полями и спящими деревушками, разбросанными по огромной равнине. Показалась освещенная фонарями одиноко стоящая кирпичная башня без окон и дверей (какой-то ангар или остатки разрушенного монастыря?). С театральной торжественностью надвигалась она на Мо, открывая его взорам надпись огромными черными иероглифами на глухой беленой стене: "Лечение заикания. Гарантия качества". (Кто давал гарантию? Где и как лечили заик? В этой башне?) Перпендикулярно странной надписи шла приделанная к стене ржавая железная лестница, она вела на самый верх и вычерчивала на белом фоне палочки-ступеньки. По мере приближения иероглифы разрастались, пока наконец один из них не занял собою все вагонное окно, словно влезая в него; казалось, еще немного — и прямо по носу господина Мо проедется ржавая лестница, которая, при всей своей устрашающей величине и опасной близости, не могла не взволновать душу всякого верного последователя Фрейда своей мощной эротической символикой.

Мо же в эту минуту пережил в ночном поезде такое же потрясение, как двадцать лет назад (говоря точнее, 15 февраля 1980 года) в шестиметровой комнатке с нарами в несколько ярусов, восемь обитателей которой терпели холод, сырость и неизбывную вонь: острый запах помоев и лапши моментального приготовления, от которого щипало глаза и которым до сих пор пропитаны общежития всех китайских университетов. Время тогда тоже было полуночное (строгий распорядок предписывал гасить свет ровно в 23 часа), все три одинаковых девятиэтажных мужских корпуса и оба женских давно послушно погрузились в темноту. А Мо, двадцатилетний студент отделения китайской классической литературы, первый раз в жизни держал в руках сочинение Фрейда — книгу "Толкование сновидений" (подарок канадского историка с седой шевелюрой, для которого Мо во время зимних каникул бесплатно перевел на современный мандаринский[1] язык надписи со старинных плит). Он лежал на верхнем ярусе, накрывшись с головой ватным одеялом, и читал. Желтый луч карманного фонарика нервно сновал по строчкам, высвечивая слова из другого мира, иногда замирал, споткнувшись о какое-нибудь незнакомое отвлеченное понятие, и бежал дальше, извилистыми лабиринтами, к очередной точке или запятой. И вдруг некое замечание Фрейда по поводу увиденной во сне лестницы поразило его разум с си-

1. Мандаринный язык — старое название китайского общеразговорного (в отличие от местных диалектов) языка.

лой врезавшегося в стекло кирпича. Скорчившись под одеялом, пропитанным потом и иными выделениями, связанными с кое-какими его ночными занятиями, он пытался понять, к чему относится то, что он прочел: то ли это пригрезилось самому Фрейду, то ли Фрейд проник в мозг Мо и подсмотрел один из его повторяющихся снов, то ли Мо видел такой же сон, какой когда-то, в другое время и в другой стране, приснился Фрейду... Невозможно описать, какое огромное действие может оказать на нас книга, когда мы молоды! В ту ночь Фрейд буквально озарил душу своего будущего последователя, студент Мо сбросил на пол убогое одеяло, включил, не слушая возмущенных криков однокашников, верхний свет и, осененный благодатью от соприкосновения с живым божеством, читал и перечитывал вслух полюбившийся ему пассаж, пока на пороге не появился дородный одноглазый надзиратель, который отругал его, пригрозил выгнать вон и отнял книгу. С тех пор к нему прилипло прозвище Мо Фрейд.

Он навсегда запомнил эти нары и огромный иероглиф "сон", который на исходе ночи откровения написал чернилами на беленой штукатурке. Интересно знать, что стало с этой надписью теперь. Иероглиф был начертан не в упрощенной форме современного китайского и не в более сложной классической, а в архаическом варианте той эпохи, когда писали на черепашьем панцире и когда эта идеограмма состояла из двух частей: слева схематичное изображение ложа, справа лаконичный символ спящего лица, изяществу которого позавидовал бы сам Кокто — три закорючки, опущенные ресницы, а внизу указующий перст, словно говорящий: помните, глаз видит даже во сне!

В начале девяностых Мо приехал в Париж, одержав блестящую победу над соперниками в тяжелейшем конкурсе и получив стипендию французского правительства для написания докторской диссертации о письменности одного из многочисленных народов, живших вдоль Великого шелкового пути и поглощенных песками Такла-Макана, Мертвой пустыни. Это довольно скудное (две тысячи франков в месяц) пособие было рассчитано на четыре года, в течение которых он трижды в неделю (в понедельник, среду и субботу утром) являлся к Мишелю Нива, психоаналитику лакановской школы, ложился на диван красного дерева и исповедовался, не отрывая глаз в течение всего долгого сеанса от возвышающейся посреди комнаты лесенки с ажурными коваными перилами, которая вела в кабинет и квартиру его наставника.

Месье Нива приходился дядей одному студенту, с которым Мо познакомился в Сорбонне. Внешности он был самой неопределенной: ни красавец, ни урод, ни худой, ни толстый и до такой степени асексуальный, что, вручая ему свою верительную грамоту, Мо долго не мог решить, какого он пола. Пышные густые, отливающие серебром, если смотреть против света, волосы выделялись на фоне абстрактной картины из однотонных линий и точек. Одежда одинаково подходила мужчине и женщине, точно так же как голос, разве что чуть резковатый для женского.

На протяжении всего сеанса наставник быстро ходил из угла в угол, слегка прихрамывая, и эта хромота напоминала Мо его бабушку, персонаж из совсем другой эпохи и среды. Четыре года подряд месье Нива безвозмездно (учитывая скромные средства Мо) принимал его со смирением и терпением христианского миссионера, благосклонно выслу-

шивающего видения и интимные тайны новообращенного, которого осенила Божья благодать.

Первый китайский психоаналитик рождался в муках, иной раз весьма комичных. Вначале, поскольку Мо плохо владел французским, он говорил по-китайски, и его патрон не понимал ни слова, впрочем, это был не просто китайский, а диалект его родной провинции Сычуань. Бывало, посреди длиннейшего монолога, Мо, движимый своим суперэго, погружался в воспоминания о культурной революции и закатывался безудержным хохотом, так что слезы катились из глаз, ему приходилось снимать очки и утирать их, наставник не обрывал его, но не мог отделаться от подозрения, не над ним ли смеется ученик.

Дождь за окнами вагона все не прекращался. Мо заснул, и в полудреме все смешалось у него в голове: обрывки парижской жизни, чье-то приглушенное покашливание, мотивчик из телесериала, который напевал удачливый картежник, и страх за драгоценный чемодан, пристегнутый цепочкой к багажной полке... У соседа, отца не успевающего по английскому школьника, потекла из уголка рта струйка слюны, голова его рывками клонилась набок, пока наконец не навалилась на плечо Мо ровно в тот миг, когда поезд въехал на мост через темную реку. Сквозь сон Мо почувствовал, что по его лицу пробежали один за другим несколько лучей, а последний так и застыл. Он открыл глаза.

Без очков все расплывалось у него перед глазами, он различил только какую-то палку, мотавшуюся прямо перед носом взад-вперед и слева направо. Окончательно очнувшись, он понял, что это длинная ручка швабры, которой орудует молоденькая девушка, казавшаяся ему смутной шевелящейся тенью. Нагнувшись, девушка равномерно двигала локтем — подметала пол под лавкой.

Поезд тронулся и тут же снова затормозил. Вагон тряхнуло, девушка задела столик, с него что-то упало. Очки Мо с исковерканными дужками. Девушка попыталась поймать их на лету, Мо сделал то же самое и получил ручкой швабры по лбу, а девушка успела-таки подхватить очки и положила их обратно на столик. Краткого мига, когда Мо столкнулся с ней, хватило, чтобы он если не разглядел ее, то ощутил исходящий от ее волос знакомый запах дешевого бергамотового мыла "Орел". Точно таким же мыли голову его мать и бабушка во дворе дома, где они жили. Маленький Мо набирал холодной воды из общего крана, разбавлял горячей из термоса и поливал густые, черные как смоль мамины или серебряные бабушкины волосы тонкой дымящейся струйкой из эмалированной кружки с портретом Мао в ореоле алых лучей. Мама, наклонясь над стоящим прямо на земле тазом (тоже эмалированным, но с огромными красными пионами, символом великой революции, весны мира), терла голову куском мыла "Орел" с приятным запахом бергамота, запахом опрятной бедности, и под ее пальцами вскипали мелкой пеной прозрачные радужные пузырики, некоторые отлетали в стороны, и их уносило ветром.

— Скажите, милая девушка, зачем вы подметаете в такой час? — спросил Мо. — Это ваша работа?

Девушка усмехнулась и снова взялась за швабру. Водрузив очки, Мо разглядел, что на ней мужская майка. Значит, она не железнодорожница. Весь ее вид говорил о нищете: мешковатые шорты почти до колен, дешевые замызганные резиновые туфли и старая латаная сумка на лямке, косо перечеркивавшая плоскую как доска грудь. Прозревший Мо уг-

лядел даже темные волоски под мышками — острый запах пота смешивался с бергамотовым ароматом волос.

— Господин, — проговорила она, — можно я подвину ваши туфли?

— Конечно.

Девушка наклонилась и бережно, почти благоговейно приподняла его туфли кончиками пальцев.

— О! Ботиночки-то заграничные, из Европы! Даже подметки классные! Никогда таких не видала!

— Как вы узнали, что они заграничные? Мне казалось, они самые простые, скромные, ничего особенного.

— У меня отец — чистильщик обуви, — ответила она с улыбкой и переставила ботинки поглубже под лавку, к самой стенке. — Он всегда говорил, что заграничная обувь очень прочная и не теряет форму.

— Вы недавно помыли голову, я это чувствую по запаху бергамота. Это дерево южноамериканского, скорее всего бразильского происхождения, в Китай его завезли в семнадцатом веке, почти одновременно с табаком.

— Я помыла голову перед отъездом — еду домой. Почти год ишачила как проклятая в Пинсяне — паршивом городишке в двух остановках отсюда.

— И что же вы делали?

— Продавала всякие шмотки. А магазин возьми и разорись! Ну да ладно — я хоть могу съездить поздравить отца с днем рождения.

— Вы везете ему что-нибудь в подарок? Простите, я, должно быть, кажусь вам слишком любопытным, но, видите ли, изучать отношения детей и родителей — мое ремесло. Я психоаналитик.

— Психоаналитик? Это такая профессия?

— Да. Я анализирую... как вам объяснить... Я работаю с пациентами, но не в больнице, а в частном кабинете — скоро он у меня будет.

— Вы врач?

— Нет. Я интерпретирую сны. Люди, у которых что-то не в порядке, рассказывают мне, что им снилось, а я пытаюсь помочь им понять эти сны.

— Господи, вот уж никогда не скажешь, что вы предсказатель судьбы.

— Что-что?

— Я говорю, вы предсказатель судьбы! — повторила девушка и, прежде чем Мо успел опровергнуть это народное определение психоанализа, добавила, показывая пальцем на картонный ящик на багажной полке. — Вон он, подарок... телевизор "Радуга". Наш, китайский, с двадцативосьмисантиметровым экраном. Отец-то хотел побольше и японский, но это слишком дорого.

Пока Мо, вытянув шею, снизу вверх смотрел на коробку с телевизором — весомое доказательство дочерней любви покачивалось на багажной полке в такт колесам, — девушка отложила швабру, вытащила из сумки и расстелила под лавкой, на которой он сидел, бамбуковую циновку, зевнула во весь рот, сняла туфли, поставила их рядом с его ботинками, нагнулась, с плавной кошачьей грацией нырнула под сиденье и скрылась из виду. (Наверно, свернулась калачиком, чтобы не вылезали ноги. И наверно, судя по тому, что из мрака не доносилось ни звука, тут же, едва положив голову на служившую подушкой сумку, уснула.)

Мо изумило это хитроумно сооруженное ложе. До боли знакомое чувство охватило его: он горячо сострадал бедной девушке, он уже готов был полюбить ее; близорукий взгляд его затуманился жалостью, так что даже сквозь очки он смутно видел все-таки высунувшиеся из-под лавки голые пятки. Гипнотическое зрелище эти пятки, которые то и дело дергались или вяло почесывали одна другую, отгоняя комаров. Тонкие щиколотки были не лишены изящества, а остатки кораллово-красного лака на ногтях больших пальцев обличали некоторые претензии на кокетство. Не прошло и минуты, как девушка снова поджала грязные ноги, но они прочно отпечатались в памяти Мо, так что, представив себе их, он мысленно видел ее всю: как она лежит в темноте, с поцарапанными коленками, в перекрученных шортах, пропотевшей мужской майке, пыль пристала к липкой спине, осела пепельным кружком на затылке, обвела серой каймой губы и нарисовала темные круги под слипшимися от жаркого дыхания ресницами.

Мо встал, перебудив соседей, извинился и, с трудом пробираясь между сидящими в коридоре людьми, направился в туалет. Вернувшись, он увидел, что его бесценное место, кусочек рая размером с треть скамейки, захвачено ближайшим соседом, отцом нерадивого школьника. Он сидел неподвижно, уронив голову на откидной столик, как будто его застрелили. Остальную часть скамьи занял второй узурпатор; теперь уже он, в свою очередь, навалился на плечо отца семейства и пустил изо рта струйку слюны. На самом краешке, со стороны коридора, притулилась крестьянка. Она кормила ребенка, расстегнув блузку и придерживая пальцами тугую набухшую грудь. Мо с досадой и горечью принял потерю привилегированной позиции и сел на пол у ног крестьянки.

Ночная лампочка бросала блики света на голые торсы спящих, на картежников, слабый луч попал и на красный чепчик младенца. "Зачем ему эта штука, когда такая духота? — подумал Мо. — Или он болен? Разве его мать не знает, что сказал один знаменитый психоаналитик про героиню европейской сказки: ее красная шапочка — не что иное, как символ месячных?"

И вдруг то ли красная шапочка, то ли упоминание о том, что́ она символизировала, запалили в душе Мо жаркий огонь. "А что, если она девственница?" — громом прогрохотало у него в голове. В тот же миг со столика свалилась его ручка, отскочила от пола и в истерике устремилась на другой конец коридора. Краем глаза Мо видел, как она катится и катится, не останавливаясь, будто подражая мчащемуся по рельсам поезду, но остался безучастным. Он снова уставился на красный чепчик и не сразу осознал, что повторяет про себя одно и то же: "Да, если она девственница, тогда совсем другое дело".

Ребенок на руках у крестьянки сморщился, раскрыв измазанный молоком рот, и запищал.

Мо не переносил детского плача. Он отвернулся. По лицам пассажиров пробегали тени, за окном мелькали дрожащие огоньки, проносились безлюдная бензоколонка, улица с темными витринами, недостроенные дома в многоярусных бамбуковых лесах.

Младенец в красном чепчике замолк, потянулся к Мо и стал колотить его по лицу своим капризным невинным кулачком, разморенная, уставшая мать не мешала ему. Мо не уворачивался, он пристально следил за банкой из-под пива, которая в конце концов сорвалась с места и

теперь катилась по вагону: пересекла маленькую лужицу (пролилась вода или пописал ребенок), обогнула густой плевок и остановилась прямо перед ним, так что даже в полутьме было видно отверстие в тонкой жести. Теплое дуновение пощекотало шею, Мо обернулся: это ребенок, почти выпроставшись из материнских рук, уткнулся носиком ему в затылок и обнюхивал, будто проверяя, чем тут пахнет. Он посмотрел на Мо подозрительно, почти враждебно, сморщил свои крохотные ноздри и продолжил обонятельный анализ. Фу! Он чихнул и снова заплакал.

На этот раз он вопил по-настоящему, во всю мочь своих легких, заходясь истошным криком. Мо пробрала необъяснимая дрожь, ему стало не по себе от сердитого, осуждающего взгляда ребенка: малыш как будто понял его тайные помыслы, распознал странную, бредовую идею использовать девственницу для достижения заветной цели, которой когда-нибудь все подивятся.

Он резко повернулся к ребенку спиной, словно прогоняя эти страхи, способные поколебать его решимость и убежденность врачевателя душ.

Под детский плач Мо на четвереньках нырнул под лавку — с головой окунулся во мрак. Первым ощущением была абсолютная слепота. И такое зловоние, что он задохнулся бы, если б не заткнул нос. Перед ним вспыхнуло воспоминание детства, как давным-давно, в самом начале культурной революции, он спускался в подвал, где вместе с другими узниками был заперт его дед, христианский пастор (неудивительно, что и в его жилах текла кровь Спасителя); там стоял запах мочи, испражнений, кислого пота, грязи, сырости, затхлости да еще набросанных на ступеньки гниющих дохлых крыс, о которых он то и дело спотыкался. Теперь он понял, почему бывшая продавщица из Пинсяна так тщательно подмела под лавкой, прежде чем туда залезть, — страшно подумать, каково тут было бы дышать без этой подготовительной процедуры.

С топографической точки зрения пространство андеграунда, в которое он попал, было не так уж мало. Тесноватое в высоту, оно зато было длиной и шириной в две лавки: той, на которой прежде сидел Мо и двое нынешних захватчиков, и той, что отходила от общей спинки в другую сторону. Свет, сочившийся справа и слева, был слишком слаб, чтобы что-то как следует различить, но внутреннее чутье говорило ему, что похожая на кучу тряпья или листьев темная масса здесь, рядом, и есть его спящая красавица.

Он ничуть не жалел, что не прихватил с собой ни спичек со столика, ни зажигалки из прикованного цепочкой чемодана. Темнота вокруг казалась романтической, таинственной, заманчивой и даже возбуждающей. Мо было забавно чувствовать себя искателем приключений, пробирающимся по подземному ходу в пирамиду или по бывшему римскому водостоку в сокровищницу.

Прежде чем углубиться в неизвестность, он машинально проверил, на месте ли деньги в трусах и французский документ в кармане куртки.

Сантиметр за сантиметром Мо пополз наискось в непроглядной тьме, которая, как он надеялся, могла обернуться ему на пользу. Вдруг он наткнулся лицом на что-то жесткое, скорее всего на острую коленку девушки. От удара, хотя и беззвучного, очки врезались ему в переносицу. Резкая боль заставила его вскрикнуть и, казалось, еще больше сгустила тьму.

Спящая красавица никак не отозвалась на возглас прекрасного принца.

– Девушка! – зазвучал в темноте проникновенный низкий голос пасторского внука. – Не бойтесь, это я, психоаналитик, с которым вы только что разговаривали. Вы меня заинтересовали. Я хочу попросить вас рассказать мне свои сны, если вы их помните. А если нет, нарисовать дерево, все равно какое: большое, маленькое, с листьями или без... По этому рисунку я скажу, девственница ли вы.

Договорив, Мо стал ждать ответа, все в той же позе, на четвереньках. Он несколько раз мысленно повторил сказанное и остался доволен: голос его не дрогнул при упоминании о девственности, и, кажется, он ничем не выдал полное отсутствие собственного сексуального опыта.

Девушка по-прежнему молчала. Мо почувствовал под рукой ее босую ногу, и сердце его бешено забилось. Он обласкал взглядом эту невидимую ногу.

– Я знаю, что вы меня слышите, – продолжал он, – хотя ничего не отвечаете. Наверное, вас удивило мое предложение. Это естественно, но я могу пояснить: толкование рисунков – не шарлатанство и не моя выдумка. Я научился этому во Франции, в Париже, на конференции по психотерапии детей, перенесших травму. Ее организовало французское министерство образования. До сих пор помню, какие деревья нарисовали две девочки и один мальчик, жертвы сексуального насилия: огромные, мрачные, темные, агрессивные, с ветками, похожими на страшные волосатые руки, и торчащими на голом месте стволами.

Пока он говорил, к нему подкрался худший враг – его собственное бессознательное, или Оно, оба термина принадлежат Фрейду, – подкрался и врасплох захватил разум. Не в силах совладать с ним, Мо гладил невидимую холодную, но нежную ногу. Ощупывал косточки на подъеме, осязал шелковистую кожу, которая как будто бы вздрагивала от его прикосновений. Наконец охватил рукой тоненькую, хрупкую щиколотку, потрогал выпуклую косточку, и его член затвердел.

Недоступная глазу нога претерпевала полную метаморфозу. Под пальцами Мо плоть ее мало-помалу превращалась в плоть совсем другой ноги, к которой рыцарь-избавитель Мо прикоснулся двадцать лет тому назад, о чем неоднократно рассказывал своему аналитику (а тот совершил оплошность, когда, сосредоточившись на детстве, пренебрег этим ключевым эпизодом).

Это произошло как-то весной, в начале восьмидесятых годов. Место действия – Китай, университет, плохо освещенная шумная столовая, в которую набилось несколько сот студентов, у каждого в руках эмалированная миска и пара палочек. Из динамика несутся оглушительные стихи во славу новой политики правительства. Все стоят в очереди. К каждому из двух десятков скользких раздаточных окошечек тянется, утопая в облаке не то пара, не то чада, длинная цепочка черных голов, всем тесно и весело. Быстро взглянув по сторонам и убедившись, что на него никто не обращает внимания, Мо уронил на пол свой талончик на обед, засаленный и закапанный соевым соусом и супом. Незаметный в толкучке, листок вспорхнул и якобы случайно упал к ногам одной студентки, у самых ее тапочек в бликах солнечного света, которому удалось пробиться через зарешеченные окна с битыми стеклами. Черные вельветовые тапки на тонкой, как бумага, подошве не закрывали подъема,

над ними начиналась белизна носков. С бьющимся, как у воришки, сердцем Мо присел около этих ножек, окутанных кухонными парами, и протянул руку к карточке. Подбирая же ее, провел кончиками пальцев по черному вельвету и затрепетал, ощутив сквозь носок нежное тепло.

Он поднял голову и, опять-таки сквозь испарения, увидел лицо студентки: ни удивления, ни любопытства в ее взгляде, скорее волнующая полупоощрительная улыбка в уголках рта.

Это была Х. К., его однокурсница, тоже изучавшая классику (Х. – ее фамилия, по-китайски она состоит из сложного иероглифа, значение левой его части "старый" или "древний", значение правой – "луна". Иероглиф имени тоже двойной: слева – "огонь", справа – "гора". Все целиком – прекрасный символ одиночества: "Огненная Гора Старой Луны". А как это красиво графически, как мелодично и волшебно звучит! Мо до сих пор млел, стоило ему произнести ее имя.).

Он снова уронил карточку, которая приземлилась на том же месте. И опять, подбирая ее, почувствовал шевеление длинных пальчиков под черным вельветом.

В вагоне было все так же темно, но скрежет под полом стал вдруг потише, а стук колес – пореже, и в тот момент, когда он совсем затих, Мо застонал от наслаждения, но еще и от стыда и муки – горячая струйка обожгла низ его живота и промочила трусы, хорошо хоть не задев кармашек с припрятанными капиталами.

Поезд остановился. Дрожащие лучи вокзальных фонарей пронизали вагон, немного света попало и под лавку. И Мо с ужасом увидел, что ножка, которую он все время гладил, причина его унижения, на самом деле была ручкой – ручкой валявшейся на полу швабры.

Он закрыл глаза, обхватил лицо руками, вытянулся на спине и стал молиться, чтобы поезд поскорее тронулся и темнота скрыла постыдные следы, но и снаружи и внутри установилась гнетущая тишина. Поезд стоял неподвижно. Вдруг рядом с ним под лавкой раздался мужской голос:

– Где это мы?

Мо вздрогнул и быстро перевернулся на живот, чтобы было не видно мокрого пятна на брюках. От резкого движения с него свалились очки.

– Кто вы? А где же та девушка, продавщица из Пинсяна?

– Она ушла, а свое место уступила мне за три юаня.

Тогда Мо понял, что за то недолгое время, пока он отлучался в туалет, диспозиция под лавкой поменялась в худшую для него сторону. Неужели девушка именно тогда и вылезла? Он хотел поподробнее расспросить нового попутчика и подполз к нему поближе, но тот уже снова спал. Резиновых туфель продавщицы нигде не было. И только пару минут спустя Мо сообразил, что его собственные ботинки (заграничные, прочные и сохраняющие форму) тоже исчезли.

Мо вылез из-под лавки весь грязный, в мокрых штанах и с чумазым лицом, когда же он посмотрел наверх, на багажную полку, ему стало дурно: там, где стоял чемодан, теперь висела только обрезанная кем-то цепочка, поблескивавшая в фонарных лучах.

В смятении он бросился к выходу и спрыгнул из вагона на перрон. Моросящий дождик окутал вокзал плотным туманом, и в первый момент Мо решил, что у него помутилось в глазах. Он закричал и побежал

по платформе, но крик его затерялся среди далеко растянувшихся блестящих рельсов и в толпе пассажиров и железнодорожных служащих; одни болтали, стоя у дверей вагонов, другие, присев на корточки тут же на платформе, ели моментальную вермишель, третьи играли в бильярд в бывшем кабинете начальника вокзала, недавно переделанном в караоке-бар с мигающими, как на сцене, огнями немыслимо ядовитых цветов. Никто, разумеется, не видел девушку с краденым голубым чемоданом на колесиках фирмы "Делси".

"Пока я пытался что-то узнать у полицейского, мой поезд отошел, — писал Мо (в новом блокноте с серой обложкой, который он купил на другой день. Кроме того, он приобрел черный квадратный чемодан без колесиков, металлическую цепочку потолще, с более прочными, чем у той, что была раньше, звеньями, и мобильный телефон.). — Я побежал за ним, но догнать не смог. И еще долго шел под дождем по уходящим за горизонт рельсам и выкрикивал имя Горы Старой Луны, призывая ее, воплощение красоты и мудрости, на помощь".

Завершив этими словами свою запись, Мо, снявший номер в плохонькой гостинице, составил подробнейший, в несколько страниц, перечень всего, что было в утраченном чемодане, с указанием цены во франках и юанях, не забыв ни обуви, ни тетрадей, ни маленького термоса — ни единой вещи, с тем чтобы подать рекламацию в Управление железных дорог. Но скоро одумался и рассмеялся.

"Как будто ты не знаешь своей великой родины!" — сказал он себе, разорвал список на мелкие кусочки и, не переставая смеяться, выкинул в окошко.

2

Предсвадебная трагедия бальзамировщицы трупов

— Скажи, когда ты первый раз услышала о гомосексуалистах?

— Мне было тогда... сейчас посчитаю... по-моему, двадцать пять лет.

— Двадцать пять? Так поздно? Ты уверена?

— Ты ничуть не изменился, Мо. Все та же отвратительная страсть растравлять чужие раны. А у меня хрупкая психика, как у любой женщины в сорок лет.

— Если рана не зарубцевалась, я могу по крайней мере снять боль. Считай, что наш телефонный разговор на расстоянии почти в тысячу километров — это бесплатный сеанс психоанализа.

— Уймись, Мо! Ты звонишь поздравить меня с днем рождения — прекрасно, я очень тронута. Спасибо. Но все имеет пределы. Прошло то время, когда мы с тобой вместе бегали в школу. Я вдова и к тому же бальзамировщица трупов.

— Чудесное слово — "бальзамировщица"! Хоть я плохо себе представляю, что это за профессия, но я заранее от нее в восторге! Иногда фильм нравится вот так, по названию, еще до того, как посмотришь.

— Ну и что?

— Почему ты упираешься? Ты же знаешь, я никому ничего не расскажу. Психоаналитик — все равно что священник, хранит тайну исповеди.

Это профессиональная этика. Доверься мне, выговоришься — станет легче. Попробуй.

— Ну ладно. Так ты спрашиваешь, когда я услышала про это дело?

— Да, про гомосексуалистов. Тебя, кажется, пугает само слово.

— До двадцати пяти лет я его никогда и не слышала.

— А как это было первый раз, помнишь?

— Да. Это было года за два до моего замужества, но мы с Цзянем уже были жених и невеста. Он преподавал английский в лицее. Как-то в субботу после работы — тогда еще работали по субботам — он на велосипеде заехал за мной в морг, что-то около шести вечера. Я, как обычно, села на багажник, а он крутил педали...

(Педали... Краем сознания Мо уловил тревожное созвучие этого слова с другим, прямо относящимся к предмету беседы. В ту пору он часто видел, как крутит педали этот парень, сутуловатый, с длинными, всегда аккуратно причесанными волосами, сияющий чистотой, как новенькая монета, с длинным худым лицом книжного человека. Подъехав к серому бетонному дому, в котором жили семьи Мо и Бальзамировщицы, он тормозил и на несколько секунд замирал, сохраняя равновесие на неподвижном велосипеде, прежде чем небрежно и не спеша опустить ноги на землю. Велосипед он всегда оставлял довольно далеко, как будто опасался, что он потеряется среди других, сваленных как попало перед подъездом велосипедов.)

— Ну, и все как обычно: мы проехали мимо музыкальной школы, потом мимо кондитерской фабрики и шинного завода.

— Кстати, один нескромный, но очень значительный для меня как последователя Фрейда вопрос: тебе никогда не снилась труба шинного завода? Длинная-длинная труба, поднимающаяся к небу, как огромный, мощный пенис?

— Нет. Никогда. Я ее терпеть не могу, эту трубу, которая вечно отравляет воздух своим черным дымом. А потом сажа и всякая труха оседают на улицах, на домах, на деревьях. Летом, перед грозой, когда и так нечем дышать, дым стелется чуть ли не над самой землей, лезет в лицо, набивается в нос. Кошмар! Вот мимо кондитерской фабрики проезжать — одно удовольствие. Там так вкусно пахнет! Помнишь?

— Еще бы. Когда мы были маленькие, в шестидесятые годы, пахло всегда молочно-ванильной карамелью — я обожал эти конфеты и никогда нигде больше их не встречал. Рассказывай дальше. Значит, вы ехали на велосипеде и вдыхали черный дым шинного завода.

— Ну и вот. Около музыкальной школы он свернул и поехал напрямик, потому что уже темнело.

— Да-да, по узкой аллейке вдоль сточной канавы, там еще всегда такая вонища. И дорога вся в колдобинах... Представляю, каково тебе было трястись на багажнике.

— Там почти никто и не ездил — именно потому, что дорога плохая. И, если помнишь, посреди аллеи стоял маленький домик.

— Мужской общественный туалет.

— Туалет — громко сказано. Тошнотворный нужник.

— Ты права. Это была такая темная, сырая кирпичная развалюха, свет проникал только сквозь дыры в черепичной крыше. Электричест-

ва тоже не было. Внутри тучи мух. На полу лужи, даже в сухую погоду. А уж когда дождь, просто не зайдешь. Все мочились прямо с порога. Иногда даже устраивали соревнования, местные Олимпийские игры — кто дальше пустит струю.

— В тот день так называемый туалет был оцеплен полицией. Издалека я видела просто какие-то тени и не могла понять, кто это. А когда мы подъехали поближе, заметила, что у них в руках автоматы — дула поблескивали под фонарями. Полицейские в форме. И довольно много. Все происходило в полной тишине. Они арестовали десяток мужчин — совсем молодых и постарше. Лиц я не разглядела — они выходили из домика гуськом, опустив голову. Полицейские перекрыли дорогу. Мы сошли с велосипеда и пошли пешком. Я спросила своего будущего мужа, кто эти несчастные люди. Вот тогда-то, в двадцать пять лет, я и услышала то самое слово.

— Что они делали в будке?

— Цзянь объяснил мне, что у них там было место встреч. Все они сгорбившись прошли мимо нас под конвоем полицейских к бронированному фургону с решетками. Вид у них был подавленный, виноватый, они были похожи на пойманных зверей, которым перебили хребет. Даже полицейские смотрели на них с любопытством, как на диковинку. И такая жуткая тишина! Слышно было, как гудят телеграфные провода на ветру, как булькает вода в сточной канаве, я услышала даже урчание своего пустого живота. Цзянь шел, опустив голову и глядя на грязную дорогу под колесами. Только когда мы снова сели на велосипед и я прислонилась щекой к его спине, я почувствовала через рубашку, что он весь в холодном поту. Я что-то ему сказала, но он не ответил. Потом мы никогда больше не ездили той дорогой.

— А он часто заезжал за тобой на работу?

— Да. Почти каждый день. И отвозил меня домой.

— Вот это галантность! У меня не хватило бы духу, даже если бы я был влюблен. Боюсь мертвых.

— Цзянь не боялся.

— Может, ты еще скажешь, что смерть его чем-то притягивала? Да? В таком случае, у него психология западного человека. Интересный тип. Жаль, что его нельзя подвергнуть анализу.

— Знаешь, где мы с ним познакомились? В морге. В том самом зале, где я до сих пор работаю.

— Расскажи.

— Это было в начале восьмидесятых. Прошло уже почти двадцать лет. Я даже не помню, во что он был тогда одет.

— Подумай — и вспомнишь.

— Нет, больше не могу, хочу спать. Давай продолжим завтра, ладно?

— Договори только, как вы познакомились. Мне это очень важно.

— Завтра.

— Ну, хорошо, до завтра. Я тебе позвоню.

— Было часов пять вечера. Все мои коллеги и начальник смены ушли играть в баскетбол — у них был товарищеский матч с командой пожарных. Я вошла в ритуальный зал и увидела Цзяня с каталкой, на которой лежало тело женщины. Помню его ухоженные волосы до плеч, грустный, замкнутый вид, измученный взгляд и особенно его духи. Тогда, в начале

восьмидесятых, духи были такой редкостью! Даже у богатых. Я сразу почувствовала запах настоящих духов. Тонкий, пряный, экзотический аромат, в нем угадывалась герань с легкой примесью розы. В одной руке он держал длинное жемчужное ожерелье, которое как-то неприятно подчеркивало женственность его облика, и машинально перебирал бусины, как монах четки. Пальцы у него были короткие и грубые (потом я узнала, что это последствие трудового перевоспитания в глухой горной деревне во время культурной революции), на правой руке виднелись два уродливых шрама.

— Как ты была одета в тот день?

— На мне был белый халат и перчатки.

— Белый халат?

— Ну да. Как у медсестры. Я всегда ношу свежий, белоснежный. Не то что другие сотрудники! Посмотрел бы ты на их халаты! Черные, засаленные, и только когда совсем уж залоснятся, они их стирают.

— Представляю. А Цзянь, наверное, любил, когда одеваются опрятно.

— Он на меня даже не посмотрел. Глядел не отрываясь на фиолетовое пятно за ухом матери. Первый признак, что труп начал разлагаться. Достал из кармана и протянул мне записку от директора похоронного бюро, это было разрешение — не знаю уж, как он его добился, — присутствовать в виде исключения при бальзамировании. Я тогда еще не бальзамировала сама. Черт знает, что за блажь на меня нашла, но почему-то я не сказала ему, что я только делаю покойникам прически, а для главной процедуры надо ждать начальника смены.

— Часто у вас допускаются такие наблюдатели?

— Нет, крайне редко.

— Я тебя слушаю и понемногу начинаю понимать этого малого. Готов спорить, что он надушился духами своей матери и ожерелье тоже было ее.

— Молодец, французский аналитик! Голова у тебя варит! Вот только почему ты до сих пор не женился? Все еще влюблен в однокурсницу, которой до тебя и дела не было? Как там ее звали? Какая-то Гора?..

— Гора Старой Луны. Не смей говорить о ней в таком тоне. Хватит валять дурака, рассказывай дальше.

— На чем мы остановились?

— На том, что ты собиралась бальзамировать его мать.

(Вдруг внимание нашего аналитика отвлекли звуки из соседнего номера дешевой гостиницы, в которой он остановился. Завыли трубы, полился душ, запел мужской голос, а потом спустили воду из бачка — казалось, прямо над головой у Мо загрохотал водопад, старые трещинки на потолке стали расползаться и превратились в язвочки, из которых посыпались хлопья известки. Это придало особый колорит телефонному сеансу психоанализа. Потом нежно зажурчал ручеек — бачок стал наполняться — и зашумела стиральная машина. Этот шум вернул Мо на двадцать лет назад, в далекое весеннее воскресенье, словно старая, полузабытая песенка зазвучала у него в голове. Он увидел Бальзамировщицу, ее жениха и всех обитателей двора, столпившихся около общественного крана, перед которым стояла новехонькая, купленная к свадьбе стиральная машина. Первое семейное приобретение. Будущие супруги смотрели, как в машину наливается вода, и одно это зрелище

переполняло счастьем их души. Мо вспомнил, что в ту пору в городе с восьмимиллионным населением еще не было такси, так что гордая пара добиралась до дома пешком, он вел велосипед за руль, она подталкивала сзади. А на багажнике ехала привязанная веревками из рогожи стиральная машина марки "Восточный ветер", продукция одноименного местного завода. То было великое событие, достойное войти в анналы двора, в котором проживали несколько сот семей медицинских работников. Бурные аплодисменты! Толпа детей и взрослых, по большей части врачей, в том числе нескольких светил, сгрудилась вокруг машины. Одни громко восхищались, другие интересовались, сколько она стоит и как действует. Уступив многочисленным просьбам, владельцы агрегата согласились устроить публичную демонстрацию. Бальзамировщица пошла за грязным бельем, а Цзянь тем временем подключил машину к уличному крану. Мо тоже был там и испытывал такое чувство, как будто присутствует при запуске космического корабля. Цзянь нажал на кнопку пуска, красные и зеленые лампочки замигали над круглым окошком, сквозь которое было видно, как промокло и завертелось белье, как заплескалась, ритмично поднимаясь и опускаясь, вода, как вскипели и радужно заискрились под весенним солнышком пузырьки мыльной пены. Бальзамировщица, повиснув на руке Цзяня и восторженно ахая, обходила, осматривала и ощупывала машину со всех сторон. Между тем белый корпус трясся все сильнее и сильнее и временами ревел, как самолет перед взлетом.

Наконец затихли последние конвульсии, и демонстрация завершилась открытием люка. Жених и невеста опустились перед машиной на колени и на глазах собравшихся торжественно извлекли выстиранную одежду — вещи невозможно было узнать, безжалостный "Восточный ветер" изодрал их в клочья.)

— Если б ты видел, до чего ужасно выглядела его мать. Когда я подошла к ней, меня так и передернуло. Дело не в том, что лицо стало серым, к этому я уже привыкла, но оно было так искажено, как будто она умирала в приступе дикой ярости, мускулы застыли в какой-то злобной гримасе — странно и страшно! Выпученные глаза, оскаленный рот, десны наружу... ну прямо лошадь, под копытами которой разорвался снаряд: дым, порох, земля разлетаются в разные стороны, и она дико ржет. Цзянь сдавленным голосом, сквозь рыдания, объяснил, что его мать была лингвистом и умерла где-то на границе с Бирмой, где изучала бесписьменный язык какого-то архаического племени с матриархальным строем. Она хотела доказать, что большая часть лексики этого языка происходит от древнекитайского эпохи Борющихся царств[1], еще до первых императоров. Ее доставили в местную больницу, и в предсмертной агонии она выкрикивала слова этого неизвестного наречия. Даже не слова, а корни слов, какие-то странные нагромождения слогов, отдельные гласные, взрывные согласные.

— Ну, лингвистика лингвистикой, а что показало вскрытие?

— Причин смерти могло быть две: редкая тропическая болезнь или же отравление ядовитыми растениями или грибами — печень букваль-

1. Эпоха Борющихся царств — период междоусобных войн с V по III в. до н. э.

но развалилась на кусочки под пальцами патологоанатома. Цзянь выглядел таким потерянным, подавленным горем и всеми похоронными процедурами. Он, бедненький, был совсем один.

— А отец? Он ведь, кажется, тоже лингвист?

— Он работает в Пекине. Родители Цзяня развелись в конце шестидесятых. Мать вырастила его одна. И Цзяню непременно хотелось, чтобы в гробу у нее было нормальное, достойное крупного ученого выражение лица, а не эта дьявольская гримаса. Тело доставили самолетом, но оно уже начало разлагаться — я так ему и сказала. Когда я опускала покойной веки — профессиональный рефлекс, — то заметила на шее и висках синеватые пятна. Я сказала Цзяню, что дорога каждая минута. Работники, которые перевозят трупы, ушли вместе с начальником смены, а грузовые лифты закрыты на цепь с замком, так что нам пришлось самим тащить его мать на второй этаж, в бальзамировочную, и обкладывать льдом. Мы подняли завернутое в одеяло тело — оно совершенно окоченело, — я за плечи, Цзянь за ноги, и кое-как, спотыкаясь, понесли к лестнице. Цзянь молчал и вообще казался не в себе. Шел неуверенно, каким-то деревянным шагом. Ему было очень плохо. Чтобы ухватиться покрепче, он надел жемчужное ожерелье на шею, по щекам его текли слезы. До лестницы было недалеко, но с каждым шагом тело как будто наливалось тяжестью и свисало все ниже. Дважды за этот короткий путь мы останавливались, чтобы я могла отдохнуть. И я постоянно чувствовала аромат его духов. Во время одной из таких передышек я, выбившись из сил, присела на корточки спиной к стене и положила голову покойной себе на колени. Закрыла глаза и так застыла. Цзянь был тут, совсем рядом, но я его не видела, не слышала его голоса и его дыхания, а только впивала этот гераниевый запах... была еще примесь розы и мускуса, но почему-то она стала слабее, чем сначала. Скажешь, субъективное ощущение? Может быть. Но я погружалась в этот аромат, он пропитал все мои поры. Это было похоже на сон: вот я сижу и держу на коленях голову трупа, а вот закрываю глаза и чуть не задыхаюсь от насыщенного запаха герани... еще немножко — и сама превращусь в длинный изящный плод герани. Ты его когда-нибудь видел? Как бы его описать? Он похож на клюв белого журавля, такой же изысканный изгиб.

— По лестнице вы тоже несли тело вдвоем?

— Нет. Лестница бетонная, крутая и, главное, очень узкая. Когда мы дошли до нее, Цзянь сказал, что будет удобнее и проще, если он понесет свою мать один. Сначала он попробовал взять ее на руки — знаешь, как в кино, когда молодой муж после свадьбы подхватывает счастливую новобрачную и легко взбегает со своей ношей по лестнице в спальню. Но у Цзяня так не получилось. Видимо, ему было слишком тяжело. Он не мог идти. Тогда он попросил меня помочь ему взвалить тело на спину. Тут-то я и увидела, что щеки покойной провалились еще больше, а кожа совсем посерела. Началось расслабление мышц, значит, скоро отвалится нижняя челюсть и работать с лицом будет страшно трудно. Я подвязала челюсть салфеткой. При свете голой лампочки на лестничной клетке было видно, что глаза опять открылись и смотрели прямо вперед, но выражение их изменилось: вместо злобы и ненависти в них теперь стояло такое отчаяние, такая тоска, что все во мне перевернулось и я отвела взгляд. Что это был за подъем! Глядя на

Цзяня, я думала, что нет для человека более тяжелого бремени, чем тело мертвой матери. Цзянь преодолевал ступеньку за ступенькой. Икры его дрожали от напряжения, кожа на щиколотках так обтягивала косточки, что едва не лопалась. Но он упорно карабкался вверх. Вдруг ожерелье, висевшее у него на шее, лопнуло, бусины посыпались на узкие ступеньки и с хрустальным звоном запрыгали по бетону. Я шла несколькими ступенями ниже, так что мне ничего не стоило вытянуть руки и наловить полные пригоршни летящих жемчужин. Неожиданно сверху раздался оглушительный хохот — я вздрогнула и подняла голову. Цзянь смотрел на меня через голову матери и давился от смеха. Через минуту он пришел в себя, пробормотал извинения и, тяжело переваливаясь, двинулся дальше, а застрявшие у него в волосах и в складках свитера жемчужины при каждом шаге соскакивали и плясали вокруг меня — ужасно красиво.

(Мо вспомнился другой звук, не столь мелодичный и хрустальный, как звон скачущих по бетону жемчужин. Бульканье стиральной машины, снова запущенной, к великой радости Бальзамировщицы, ее жениха и дворовых зевак, ровно через неделю после первой неудачной попытки, в следующее воскресенье. Молодая пара вернула растерзавший все белье "Восточный ветер" на завод-изготовитель, а неделю спустя привезла новую машину тем же порядком: на багажнике велосипеда, который один вел за руль, а другая подталкивала сзади. Хотя уже стемнело, их появление вызвало во дворе еще больший фурор, чем в прошлый раз. Говорили, что даже отъявленный скупердяй врач с первого этажа, жертва нервного тика, который случался у него от трех до трех тысяч раз в день, расщедрился и протянул из окошка удлинитель, куда включили 500-ваттную лампу. Подвесили прямо над колонкой, около которой красовался новенький агрегат марки "Восточный ветер".

Восторженные зрители не только толпились вокруг машины во дворе, но и глазели из окон, точно с театральной галерки. Парни швырялись петардами в девушек, которые по такому случаю выскочили из дому с мисками в руках, не доужинав и угощая друг дружку. Атмосфера была самая праздничная: смех, крики, споры, шуры-муры. Все грязное белье Бальзамировщицы пошло в расход еще неделю назад, поэтому ей не осталось ничего другого, как только загрузить в машину чистую одежду, что она и сделала у всех на глазах, храбро улыбаясь. Машину включили, жених с невестой взялись за руки и стали с умилением наблюдать через круглое окошечко, как кувыркаются в мыльной пене синие куртки, цветастые блузки, поплиновые юбки, жакетки, а также пара джинсов, пара расклешенных брюк, которых никто ни разу не видел на хозяйке, и множество белых фирменных футболок — похоронное бюро премировало ими сотрудников.

Время стирки постепенно подходило к концу, как соната — к заключительной ноте. Нервы публики напряглись до предела — все помнили тот адский рев взбесившегося самолета, который предшествовал трагическому финалу первой демонстрации. Лампочка раскачивалась на ветру и попеременно украшала лица зрителей желтыми и багровыми бликами или серыми тенями. Владельцы машины, понятно, волновались больше всех, но держались мужественно и, избегая устремленных на них десятков пар глаз, сосредоточенно глядели на запотевшее и забрыз-

ганное изнутри окошко. Все вроде бы шло хорошо. Барабан продолжал ритмично крутиться, хорошо смазанный механизм урчал в глубоком баритональном тембре. Напряжение толпы ослабло.

И все-таки "Восточный ветер" снова проявил вероломство. Положенное время истекло, а машина, как упрямый осел, не желала останавливаться. Прошло десять, пятнадцать минут, некоторые стали расходиться, остальные недовольно загомонили. Кто-то схохмил, что завод вместо стиральной машины подсунул машину для зомби, и все покатились со смеху. Мо видел, как Бальзамировщица тоже попыталась засмеяться, но не смогла. Лицо ее пылало. Насмешки сыпались на жениха с невестой со всех сторон, и те, как под ударами, вжимали голову в плечи. К тому же в желтом конусе электрического света замельтешили дождинки.

Через несколько минут двор опустел. Сквалыга-врач, верный себе, забрал лампочку (зря только жег!) и, дергая ртом и левым глазом, потребовал, чтобы Бальзамировщица заплатила ему за расход электричества.

Дождь разошелся и хлестал по корпусу машины, она же продолжала наяривать в темноте, словно предаваясь гнусному самоублажению. Мо из-под навеса дома напротив видел сквозь дождевую завесу, как мигают изумрудные и рубиновые огоньки. Неумолимый, бесчувственный, дикий монстр дебоширил и пел под ливнем, причем баритон перешел теперь в напористый, самовлюбленный тенор.

Из соседних окон сначала послышались одиночные возгласы, а потом хлынул поток возмущенных криков и брани по адресу Бальзамировщицы и ее жениха. Они же стояли у колонки, вдвоем под одним зонтиком, который держал Цзянь, и обреченно смотрели на упрямую машину, струи дождя и ручьи под ногами.

Какой жестокий удар! Когда наконец дверца щелкнула и открылась, когда из машины достали и осветили дрожащим лучом карманного фонарика белье, оказалось, что все вещи до единой снова изорваны в клочья.)

— Я тебе уже говорила, что в то время я еще не бальзамировала, а только причесывала покойников. Препарировать и заниматься косметикой мне до тех пор ни разу не приходилось. Поэтому, скрыв истину, я, как ты догадываешься, оказалась в ужасном положении. Я уложила мать Цзяня на холодильный стол и стала тщательно, медленно разбирать ее волосы — надеялась, что начальник и остальные вернутся наконец со своего баскетбола. Надо сказать, волосы, несмотря на возраст покойной, были великолепные. Не особенно густые, с проседью, но такие шелковистые! Я их промыла, высушила, расчесала прядку за прядкой и уложила в шиньон: Цзянь сказал, что такую прическу она делала по торжественным случаям — в день рождения, праздники, Новый год. У нее была длинная красивая шея, и ей нравилось смотреть на нее в зеркало. Прическа ей действительно шла — придавала интеллигентный, едва ли не аристократический вид. Хотя, конечно, выражение лица изменить не могла. Как бы тебе сказать? Помню, было просто больно смотреть, как она лежит, такая вот изуродованная, и, кажется, страдает от какой-то нескончаемой пытки. Начальник и все прочие никак не возвращались, и я решилась сыграть роль до конца. Настало время действовать. Пути назад уже не было.

– Ты полюбила его с первого взгляда?

– Да, наверное... Может, на сегодня хватит?

– Нет-нет. Расскажи хотя бы, как ты вышла из положения. В двух словах. Открой профессиональную тайну.

– Ну, хоть я сама никогда не пробовала, но теоретически знала что и как. Сначала внутривенно вливается формалиновая смесь. Это совсем не то, что переливание крови. Надо рассечь ногу и ввести катетер, через который специальным насосом раствор вводится в тело и выводится из него. Этот надрез всегда делает сам начальник. Я иногда бывала рядом с ним – помогала привести покойника в порядок или подавала инструменты, но каждый раз отворачивалась – из какого-то инстинктивного, непреодолимого отвращения. Не к мертвецам – к ним-то я давно привыкла. А к начальнику. У него были такие белые, бескровные руки... брр! А ногти длинные, острые – прямо вампир из фильма ужасов! Но главное даже не это, а омерзительный запах. От него всегда разило спиртным. Я не трезвенница – за столом, по праздникам не прочь и сама немножко выпить. Но, понимаешь, бальзамирование – последняя услуга, которую можно оказать человеку на этом свете, последнее, чем можно его порадовать. И меня просто тошнило от запаха винного перегара, пусть даже не очень сильного. А вот теперь, когда надо было первый раз самой сделать надрез, я пожалела, что не наблюдала повнимательнее. Было страшно: вдруг ошибусь, вдруг не получится – вот кошмар! Дрожа от страха, я готовила инструменты, раствор и насос – довольно старый, немножко ржавый, но еще вполне исправный. Потом засучила покойной левую штанину до колена – обнажилась ледяная тонкая голень, сплющенная, оттого что долго оставалась в одном положении. Неловко и неуверенно я разрезала скальпелем кожу крест-накрест. Потекла густая, как пюре, кровянистая жидкость. Цзянь позеленел и закрыл глаза, ему стало дурно. Вдруг мне послышался шум внизу, на первом этаже. Я уж подумала, что это шаги начальника, который, на мое счастье, вернулся и сейчас поднимется сюда. Я побежала ему навстречу. Это было такое облегчение! Я бы с радостью призналась начальнику, что взялась не за свое дело, и пусть отругает или накажет. Я спустилась по лестнице и дошла до самой двери. В коридоре было темно, слабо освещенная дверь закрыта. Нигде никого. Скоро должно было совсем стемнеть, тогда ничего не будет видно. В коридоре дуло, пробирал холодный, как нога усопшей, сквозняк. Было страшно неуютно от гулкого эха моих одиноких шагов по лестнице и мраморному полу, от теней по углам, я испугалась даже собственного отражения в зеркале. Меня так и подмывало открыть дверь на улицу и удрать, ни слова не сказав клиенту, или сбегать на баскетбольную площадку за выпивохой-начальником. Но я совладала с собой и вернулась наверх, понятия не имея, что делать дальше. В бальзамировочной я сказала Цзяню, что мне послышалось, никто не пришел, и что, если он поможет мне повернуть тело, мы продолжим, а потом поставим катетер. Он спросил разрешения почитать матери стихи по-английски – это она научила его этому языку, когда он был маленьким, а теперь он изучал его в университете, причем не просто занимался им день и ночь, а отдавался ему как единственной страсти в своей жизни. Он так робко попросил, что я не смогла отказать. И он начал декламировать громким голосом, довольно приятным, с женственными инто-

нациями. Как ты знаешь, я по-английски ни бум-бум, но стихи были очень красивые. Красивые и грустные. Дрожь унялась, моя рука окрепла, скальпель послушно делал надрезы в нужных местах, операция протекала нормально под аккомпанемент странных, каких-то волшебных звуков. Цзянь сказал, что это старинная ирландская песня из романа Джойса. Я спросила, про что она, и он перевел, а мне так понравилось, что я записала на память. Если хочешь, могу рассказать:

Бом-бом! То колокол звонит
Матушка, прощай!
Схороните на старом погосте меня,
Где могила старшего братца.
Черный гроб, а за ним чередою
Белых шестеро ангелов Божьих,
Двое плачут-рыдают, два молитву читают,
Два других унесут мою душу.

Кожа покойной чудесным образом розовела, по мере того как по венам разливалась жидкость, которую Цзянь накачивал ржавым насосом. Он сменил меня, позабыв о своем Джойсе. Я же принялась чистить его матери зубы. Помню, у нее, как и у сына, два передних неплотно сходились. Не прошло и часа, как расслабились руки и подбородок. Жуткая гримаса исчезла, лицо расправилось. Черты снова обрели спокойствие, какое пристало серьезной даме-лингвистке, и казалось, что это радует усопшую. Китайско-бирманский диалект ее больше не терзал. Увидев, каким приветливым стало лицо матери, сын захотел сделать ее еще прекраснее. Я согласилась, и он пошел за косметикой, а меня оставил наедине с покойной. Ну, я сидела, глядела на нее и не заметила, как заснула. Когда же проснулась, шел дождь. Не знаю, что произошло за время, пока я спала, но что-то во мне изменилось. Все вокруг казалось таким прекрасным, даже шум дождя звучал как музыка. Мне захотелось запеть древнюю песнь плакальщиц, она вдруг зашевелилась в памяти, зазвучала в мозгу, запросилась наружу. При моей работе, ты же понимаешь, чего-чего, а похоронных песен я наслушалась. И до самого прихода Цзяня я пела. Цзяню песня очень понравилась, особенно ритм, как он сказал, светлый, сияющий. Он попросил меня спеть что-нибудь еще. А сам открыл шкатулку, обтянутую темной лакированной кожей, и я, не переставая петь, сначала взяла карандаш и слегка, словно лаская, коснулась век покойной — подвела глаза тонкой-тонкой линией, потом нанесла на губы коралловую помаду с блеском и подкрасила ресницы французской тушью. А Цзянь надел ей на шею золотое колье с сапфиром. Его мертвая мать, можно сказать, похорошела, на губах ее заиграла улыбка.

— Я думаю, в тот день он тебя полюбил.

— Я тоже так думала, но ты, ученый психоаналитик, знаешь не хуже меня, что гомосексуалист не может спать с женщиной. Иначе Цзянь не выбросился бы из окна вечером после свадьбы и я не осталась бы вдовой, девицей-вдовой.

— Да, правда.

— Такая история.

3
Маджонг! Маджонг!

Телефонный сеанс психоанализа закончился около полуночи. Не зря, не зря Мо потратил несколько месяцев, изъездил вдоль и поперек обширную провинцию на юго-западе Китая! Сколько обманщиц, сколько прикидывающихся невинными девушками проституток прослушал он за время этого мрачного кастинга и уж думал, что безнадежно заплутал в черном коридоре, не чаял что-то найти и только постоянно все терял: в поезде у него украли чемодан, на рынке портсигар, в гостинице часы, а в караоке-баре куртку. И вдруг в конце туннеля блеснул свет: его старая знакомая и соседка Бальзамировщица, как оказалось, все еще хранила девственность.

Положив трубку, Мо в безотчетном порыве не просто отошел, а отпрыгнул от телефона. Тело его оторвалось от пола и воспарило на облаке счастья. Приземлившись на кровать, он больно ударился обо что-то твердое. Это был фарфоровый чайник, купленный утром на базаре. От удара чайник разбился на кусочки, но отличное настроение Мо не пострадало. Он вспомнил, что когда у его бесполого аналитика Мишеля, похожего на типичного француза из средненького французского фильма, случалось что-нибудь особенно хорошее, он шел в ближайшее бистро и ставил всем выпивку. Мо решил последовать его примеру и несмотря на поздний час оделся и вышел из номера. Впервые стены гостиницы, ни одним окошком не смотрящей на улицу, огласились его веселым свистом — он насвистывал песенку Сержа Гензбура. Со словами "Да здравствует любовь!" он положил свой ключ на стойку, снабженную деревянной вешалкой с пронумерованными крючочками, и послал воздушный поцелуй коридорному.

(Это был студент, который подрабатывал в гостинице в выходные и по ночам. Каждый вечер, начиная с 11 часов, он обходил номера и предлагал клиентам девушек. Кроссовки "Найк" замирали у двери, студент стучал по ней пальцем, как по клавише компьютера, и звонким мальчишеским голосом выговаривал: "Пришла любовь!" Он был самым образованным и самым бесполезным из местных помощников Мо в его злополучных поисках девственницы.)

Мо вышел на главную улицу города. Фонари, из экономии, были выключены, зато вовсю сияли яркие, ослепительно белые, голубые и розовые неоновые вывески парикмахерских салонов. Работа в них кипела, накрашенные девицы, официально именуемые парикмахерами, стояли или сидели посреди салона перед включенными телевизорами в соблазнительно облегающем белье. Игривыми голосами с акцентом отдаленных провинций они зазывали Мо, принимали томные позы. Еще были открыты ночной ресторанчик и пара аптек, специализировавшихся на продаже афродизиаков, в их освещенных витринах красовались свившиеся клубками живые змеи, крабьи панцири, муляжи оленьих и носорожьих рогов, причудливые растения и волосатые корни женьшеня. Мо брел по пустынной в этот час улице, минуя все новые и новые парикмахерские салоны и подвергаясь атакам неоновых лучей и бойких девиц. В самом конце улицы возвышались трубы частного кирпичного завода, процветавшего благодаря строительному буму. В лун-

ном свете сновали, как муравьи, скрюченные фигурки рабочих, которые закладывали кирпичи для обжига в печное жерло или вытаскивали готовые; они выкатывали груженые тачки, останавливались глотнуть воздуха и спешили снова нырнуть в ненасытную черную пасть; а в ночное небо поднимались из труб клубы белесого дыма.

Мо зашел в чайную напротив завода. Он уже бывал здесь — один из местных провожатых приводил его неделю назад. Поиски девиц и там не увенчались успехом, но Мо приглянулись и высокая черепичная крыша, и открытые терраски, и низенькие деревянные столики с весело поскрипывающими бамбуковыми стульями, и влажный черный земляной пол, усеянный арахисовыми скорлупками, шелухой от семечек и окурками; и уютный, домашний, напоминающий детство запах. Больше всего ему понравилось, как подают чай: официант наклонял медный чайник с тонким блестящим носиком метровой длины, и прямо в вашу фарфоровую чашку на металлическом блюдце водопадом лилась струя кипятка; когда же чашка наполнялась до краев, причем мимо не попадало ни капли, официант накрывал ее белой фарфоровой крышкой, которую держал кончиками пальцев. Однако на этот раз Мо постигло разочарование: чайной больше не было, вместо нее открылась бильярдная, где в густом табачном дыму толпилось множество народу. Игроки то отступали в тень, то наклонялись над зеленым сукном и ударяли по шарам слоновой кости, так что они сталкивались, катились к бортам, сталкивались снова... а с потолка свисали широкие абажуры. Все как в дешевом вестерне шестидесятых годов: фальшивый антураж, плохая игра, дрянное освещение, даже стук шаров какой-то ненастоящий, слишком гулкий, точно записанный в студии неумелыми шумовиками. Мо подошел к стойке походочкой Клинта Иствуда. Впервые в жизни ему захотелось шикануть по-ковбойски, поставить по стаканчику всем присутствующим, причем уже не по случаю своей личной радости, а просто так, проникнувшись духом "американского империализма", и он осведомился у бармена о прейскуранте. Цены на крепкие напитки, вполне, впрочем, умеренные, ошеломили его, и он спросил, сколько стоит местное пиво, одновременно прикидывая количество игроков в зале. Подсчет оказался столь впечатляющим, что, прежде чем бармен успел ответить, он выскочил, не заказав ни капли.

— Гора Старой Луны, любимая моя! Клянусь ради тебя быть разумным и бережливым! — громко воскликнул он и не солоно хлебавши пошел прочь из города, к морю, осторожно обходя кучи мокрого мусора.

Он перешел через мост и зашагал вдоль лениво текущей темной реки, над которой раскинулось угольно-черное небо и блестел серебристый лунный диск. Еще не добравшись до бухты, где водились крабы, он уже почуял прохладный запах моря. Знакомый, но все равно удивительный запах: как будто свежий ветер донес до него женское дыхание. Показались домишки, вернее бараки на сваях, где жили ловцы крабов — крестьяне из нищих деревень. Слышался детский плач, заунывный лай бродячих псов. Ветер стихал. В лабиринте расставленных для просушки сетей запуталась ночная бабочка. Мо опустился на четвереньки и подполз к ней поближе. Хрупкое создание вздрогнуло и забило пурпурными в серых прожилках крылышками — Мо услышал их трепетанье. Крохотное вытянутое тельце в панике задергалось в складках сетей.

— Не бойся, милая, — сказал Мо бабочке. — Я сам только что бился так же, как ты, и насилу вырвался из сетей китайского правосудия, коварно расставленных и хитроумно переплетенных.

Он выпустил бабочку и с удовольствием следил, как она улетает с еле слышным стрекотом, как крохотный вертолетик.

"За тысячи километров отсюда, — подумал Мо, — спит сейчас в своей камере другая нежная узница, моя дорогая Гора Старой Луны. Бедная ты моя, ты и на воле плохо засыпала, как же тебе спится там, в тюрьме, на голой циновке, в одной полосатой тюремной робе?"

Щеки Мо пылали, кровь стучала в висках. Он снял ботинки — ступни тоже были горячие, — сделал несколько шагов по зернистому песку, а дальше побрел по мелководью — в том месте, где река впадала в море, разлилось тускло-серое озеро. Мо наклонился, смочил лицо — вода была тепловатая. Он вернулся на сухой песок, разделся, аккуратно снял часы, спрятал их в носок, а носок засунул в ботинок. Потом связал одежду в тюк, поднял его повыше, задрав тощие руки, и пошел по воде к торчавшей неподалеку от берега скале. Под ногами колыхались густо-изумрудные водоросли. Попадались острые камни. Крепкий морской ветер хлестал в лицо, едва не сорвал с Мо очки, зато остудил кровь. Мо осторожно переставлял ноги. Он знал, что тут кишмя кишат здоровенные крабы с жуткими клешнями и белейшим мясом, которое славится как мощный афродизиак. Их не видно, но они тут, на дне, в мокром песке, под камнями, прячутся в скалах — во всех расселинах и ямках, где скапливается вода, охотятся на голые ноги; Мо чудилось, будто они перешептываются, обсуждают, как бы получше вцепиться.

"Когда-нибудь я вернусь сюда с Горой Старой Луны, — думал он. — Усажу ее в надутую резиновую камеру и буду толкать вперед, чтобы крабы не хватали ее за ноги. Так и вижу, как свисают ее прекрасные маленькие ножки, а на ступнях — корочка из песка и ракушечника. Так и слышу, как она весело вскрикивает и ее голосок разносится над водой. Это будет замечательно — видеть ее снова на свободе, смотреть, как она, обхватив руками камеру, катается на пенистых волнах — то вверх, то вниз! Она возьмет с собой фотоаппарат и будет снимать смуглых рыбаков — тяжелую работу, жалкий быт самых бедных людей в Китае, если не на всем белом свете. А я буду записывать сны взрослых и детей. Расскажу им о теории Фрейда, об эдиповом комплексе, ее квинтэссенции... то-то будет забавно глядеть, как они изумленно галдят и трясут головами".

Казалось, повсюду на волнах плавно покачиваются какие-то светлячки. Это были крохотные, сливавшиеся с темнотой лодчонки, в каждой сидело два человека: один греб, и над головой его висела ацетиленовая лампа, другой держал сеть. Силуэты то совсем растворялись, то вырисовывались яснее, когда суденышко поднималось с очередным валом прибоя, который с шумом набегал и обрушивался на берег, а потом выдыхался, сникал и отползал. А вокруг тишина, покой, мерное дыхание моря. То был час, когда рыбаки выбирают сети.

Между тем сзади, на берегу, послышался шум мотора. На песке остановился автобус, из него высыпали мужчины и женщины, вероятно, они специально приехали, чтобы попробовать здешних чудодейственных крабов. Не успели они выйти, как кто-то из мужчин громко потребовал крабов: самых мелких, с самым беленьким и самым возбуждающим мясом. Может, это гид-переводчик? Интересно, откуда туристы?

Из Японии? С Тайваня? Из Гонконга? Мгновенно был развернут ресторан под открытым небом. Расставлены у кромки воды литые пластмассовые стулья и столики, над ними развешаны цветные лампочки. Несколько молодых ребят — наверное, помощники повара — зашли в воду и стали окликать рыбаков, чтобы те привезли свежевыловленных крабов. Поначалу, среди суматохи, Мо не мог определить, кто же такие эти ночные гости. Но когда они расселись и на каждом столике закипела игра в маджонг, он понял, что это китайцы. Китай — империя маджонга. Миллиард заядлых игроков. Кто бы еще затеял игру в маджонг, не желая упустить ни минуты, хотя всего-то надо было подождать, пока сварятся на пару́ крабы. Когда же кто-то, наверное водитель, вернулся к автобусу, сел на песок и заиграл на губной гармонике мотив китайской революционной песни шестидесятых годов, сомнений и вовсе не осталось.

У тебя в тюрьме нет губной гармоники. Это запрещено. И крабов там не дают, только кусочек-другой свинины с ноготок величиной два раза в неделю: по средам в липкой тушеной капусте, а по субботам в жидкой капустной похлебке. Сплошная капуста. Капуста вареная, капуста тушеная. Капуста квашеная и маринованная. Капуста тухлая и червивая. Капуста с песком. Капуста с волосами. Капуста с ржавыми гвоздями. Капуста. Вечная капуста. Маджонга в тюрьме тоже нет. Во время свидания ты рассказала мне, что единственная игра, в которую вы играете в камере, называется "писи госпожи Тянь", в честь женщины-врача, сидящей за непреднамеренное убийство, у которой из-за венерической болезни затруднено мочеиспускание. Каждый раз, когда она присаживается над парашей, ее окружают охваченные спортивным азартом сокамерницы, ждут, выделит ли ее несчастный мочевой пузырь порцию мутной пахучей жидкости, и заключают пари: получится или нет. Чаще всего спорят на те самые бесценные кусочки свинины. Все замирают. Напряженно ждут. Если попытка оказывается неудачной, ставившие на то, что госпожа Тянь не сможет помочиться, прыгают от восторга и заранее причмокивают, словно жуют вожделенные комочки мяса. А те, кто ставил на положительный результат, подступают вплотную к больной и кричат: "Ну! Давай! Потужься! Расслабься!" — как будто она рожает. У бедной женщины выступают слезы. Она стонет, кричит. Когда же несколько капель все-таки падают в ведро, этот слабенький, еле слышный звук возвещает, что Бог перекинулся в другой лагерь, к ликованию одних и отчаянию других. Помню, когда я в первый раз переступил порог твоей тюрьмы, меня поразила огромная черная надпись на бесконечно длинной белой стене с колючей проволокой поверху. "Кто ты? Где ты? Что ты тут делаешь?" — прочитал я и вздрогнул. (Ты — моя Гора Старой Луны, 36 лет, не замужем, фотокорреспондентка, продала в европейскую прессу сделанные тайком снимки, на которых китайская полиция пытает задержанных. Ты в женской тюрьме города Чэнду, ждешь приговора суда.)

Море успокоилось, волны заманчиво трепетали перед Мо. Он слез со скалы и осторожно скользнул в воду. Но очки мешали плыть. Он вернулся и спрятал их в карман брюк, которые оставил на выступе. Хотел было нырнуть прямо оттуда, но не решился и вместо этого снова спустился и бросился в воду спиной вперед. До середины лагуны он добрался не

скоро, поскольку плыл раздумчиво, не спеша, в собственной, далеко не спортивной манере. Руки его сгибались и выпрямлялись, делая широкие, медленные, как движения тай-цзи[1], гребки, а ноги двигались едва-едва, в ритме старинных стихов танской эпохи[2], который прекрасно гармонировал с ночным сумраком, вечными звездами и ровным таинственным ропотом волн. Этот звук напоминал Мо одну сонату Шуберта, которую он вообще-то страшно не любил за навязчиво повторяющиеся аккорды, но под пальцами русского пианиста Рихтера — настоящего поэта! — она обретала гипнотическую силу. Вдруг он услышал резкий, но какой-то придушенный вскрик. Кажется, голос был женский, хотя точно сказать было трудно.

Однажды в университетские времена, когда у нас было занятие в бассейне, ты посмеялась над тем, как я плаваю. В несколько сильных лягушачьих рывков обогнала меня, а на обратном пути, поравнявшись со мной, сказала: "Как это ты ухитряешься так медленно плыть? Тащишься, как старуха с забинтованными ногами". Ты вылезла на бортик и передразнила меня перед всеми — изобразила, как я двигаюсь. С точеного тела стекали струйки, на гладкой коже были заметны трогательные пятнышки — полустершиеся следы ветрянки. Потом ты села и заболтала своими ослепительными ножками в зеленоватой воде бассейна. А я, униженный и неловкий, подошел к тебе и сказал, что умею передразнивать только обезьян, научился в горах, где был на перевоспитании, там их водилось очень много. Обезьян то есть. Но ты не поверила ни единому слову, моя недоверчивая, озорная красавица, моя гордячка. Ты рыбкой нырнула в бассейн и поплыла.

Темная зыбкая масса прилива колыхалась под туманной луной, Мо было трудно плыть против волн в восточную часть лагуны, откуда доносились, словно трепеща на ветру, и летали в открытое море неясные звуки. Кто это? Женщина? Сирена? Что ж, посмотрим, решил Мо. Несколько минут он старался плыть как можно быстрее, пока не увидел — смутно, без очков — светящуюся и дрожащую, как живая, точку, которая по мере того, как он приближался, становилась все больше. Лампа в лодке добытчика крабов, сообразил Мо. Странные звуки смолкли. Чем-то эта лодка неуловимо отличалась от остальных: подвесная лампа мигала очень неровно. То вдруг неистово, как в бурю, раскачивалась и дергалась в разные стороны, хотя море оставалось безмятежным, как спящий младенец. То ни с того ни с сего накренялась, будто вот-вот погаснет, то возвращалась в прежнее положение. Мо подплыл уже так близко, что чуть не уткнулся в стелющуюся по воде сеть, но все еще никого не видел в лодке, хотя она непрерывно трепыхалась. Может, это галлюцинация? Мираж? Может, лодку унесло в море, а женщина звала на помощь, пока не испустила дух? Кто она? Рыбачка? Жертва кораблекрушения? Нелегальная эмигрантка? Может, на нее напали акулы? Или пираты? Или убийцы? Мо, китайский Шерлок Холмс, движимый рыцарским духом и гражданской сознательностью, ухватился за борт лодки, но в тот самый миг, когда он готовился залезть в нее, со дна по-

1. Зд.: Тай-цзи (тай-цзи цюань) — широко распространенная оздоровительная гимнастика.
2. Имеется в виду время правления династии Тан (VII–X вв.).

неслись слабые, похожие на взвизгивания животного звуки. Мо замер. То были не столько вскрики, сколько прерывистое, натужное дыхание двух человек — мужчины и женщины. От стыда Мо покраснел до ушей и поскорей отцепился: не хватало еще, чтоб его приняли за гнусного типа, который получает удовольствие, подглядывая, как эта парочка совокупляется посреди моря.

Пальцы невидимого Рихтера порхали над клавишами. Соната Шуберта сопровождала скрип лодки, трепетавшей от вожделения, наслаждения, человеческой страсти и божественной воли. Соната посвящалась ловцу крабов, нагому морскому принцу в миг экстаза, и его невидимой подруге — пусть она нищая, оборванная, провонявшая рыбой, но в этот миг она королева темного прибоя.

Однажды прошлым летом ночью в моей парижской комнатке собрались гости — китайские изгнанники по политическим, экономическим и даже эстетическим причинам; облака густого, пряного пара поднимались от двух электрических плиток, на которых стояли кастрюли, и гости церемонно, кончиками палочек, доставали из кипятка креветок, ломтики говядины, овощей, тофу, кусочки бамбука, капусты, душистых грибов и прочей снеди. Как обычно мы, то есть политэмигранты, студенты, уличные художники, один слепой поэт и я сам, спорили, не помню уж о чем именно. Атмосфера накалилась от ругани, и вдруг из электрической розетки брызнули синие искры. Это всех рассмешило. Искры разлетелись в разные стороны. И тогда, в порыве ярости, слепой поэт вскочил, вытащил из портмоне две стофранковые бумажки и, размахивая ими у меня перед носом, крикнул:

— Какое право ты имеешь рассуждать о психоанализе, если ты никогда не спал с женщиной?

Все споры как отрезало — полная тишина!

— На! — кричал слепой. — Бери двести франков, хватай такси и поезжай на улицу Сен-Дени, трахнешь хоть одну девку, а тогда уж рассказывай мне про Фрейда и Лакана!

Поэт хотел швырнуть бумажки на стол, но они разлетелись и обе попали в кастрюли, поплавали немного на поверхности красного маслянистого бульона и пошли ко дну. Поднялась дикая суматоха, все кинулись выуживать деньги. Вдобавок ко всему перегорели пробки, и в комнате стало темным-темно.

Мо добрался до берега и стал кое-как выкарабкиваться на скалы, где оставил одежду. Особенно неуклюжий без очков, он, пошатываясь, переступал с камня на камень, пока не добрался до широкого выступа и не улегся там, растянувшись во весь рост. Ветер стих, но все же сквозь плеск набегающих волн он снова услышал постукивание костяшек маджонга и звуки губной гармошки. Видимо, беломясые крабы еще не сварились. В мелодии, которую наигрывал водитель, хоть и с трудом, но можно было узнать задорную арию из одной китайской оперы, заведомо не предназначенную для этого инструмента. Мо стал сначала насвистывать в лад, а потом тихонько запел. Гармоника перешла на чувствительную гонконгскую песенку, Мо же, войдя во вкус, свистел и распевал что вздумается, а дойдя до "Игрока в маджонг", так разошелся, что сидевшие там, на пляже за столиками, подхватили хором:

Час за часом до утра –
Что за дивная игра!
Маджонг! Маджонг!
Пусть в кармане ни гроша,
Но поет моя душа!
Маджонг! Маджонг!

Голоса вразброд, фигурки игроков рассыпаны на берегу, а на воде россыпь желтых огоньков – отражения крашеных лампочек плясали в набегающих с сонным ропотом, украшенных белым кружевцем волнах. Темное облако медленно наползало на луну, и чернильная синева бухты становилась все гуще. Вдруг в памяти Мо прозвучала фраза, сказанная судьей Ди, однофамильцем другого судьи Ди – героя детектива времен Танской династии, который написал ван Гулик[1], известный знаток сексуальной жизни в древнем Китае: "О эти косточки маджонга – гладкие, изящные, словно выточенное из слоновой кости запястье юной девственницы". Мурашки пробежали по спине Мо.

Его обоняния коснулся запах вареных крабов: аромат гвоздики, мелко порезанного имбиря, базилика, горных трав и корицы, смешанный с резким соленым дыханием моря. Костяшки маджонга перемешали, сгребли в кучу, отодвинули в сторону, а на их место водрузили дымящиеся блюда, миски с рисом, фужеры и стаканы, которые тут же наполнились китайской водкой, поддельным французским вином и фальшивым мексиканским пивом.

Лежа на камне, Мо снова и снова повторял про себя слова судьи Ди: "...словно выточенное из слоновой кости запястье юной девственницы".

В мае, за два месяца до кражи чемодана в поезде и за четыре с половиной до той бессонной звездной ночи в крабовой бухте, Мо пришел к судье Ди и принес ему верительную грамоту, читай – взятку, десять тысяч долларов. Полностью судью зовут Ди Цзянь-гуй. Ди – это фамилия, обычная в рабочей среде, а Цзянь-гуй – имя, тоже довольно распространенное среди китайцев, родившихся в 1949 году, одновременно с коммунистической республикой; оно означает "Партстроительство" – так называлась торжественная речь, которую Мао произнес на площади Тяньаньмэнь своим дребезжащим контртенором. В начале семидесятых Ди Цзянь-гуй поступил в полицию, которую называют становым хребтом диктатуры пролетариата, прослужил там пятнадцать лет и стал настоящим коммунистом, стрелком отборного расстрельного отряда. В 1985 году, когда развернулась экономическая реформа, его назначили судьей в Чэнду, город с восьмимиллионным населением. Получить такой завидный пост – подарок судьбы! В Китае всё и везде, а в суде – это уж само собой! – делается за взятку, так что Ди первым делом установил тариф – тысяча долларов за уголовное преступление. Сумма астрономическая, а по мере того, как все дорожало, он тоже поднимал цену, которая к моменту ареста Горы Старой Луны доросла до десяти тысяч. Дело-то политическое!

1. Имеется в виду Роберт ван Гулик (1910–1967), голландский ученый-востоковед и писатель, автор детективно-исторических романов о мудром судье Ди, жившем в эпоху Танской династии.

Наш психоаналитик родился и вырос в этой, дорогой его сердцу стране, пережил культурную революцию, видел все, что творилось тут в последние три десятка лет, и частенько говорил друзьям: "Лучшие и единственные правдивые слова во всем красном цитатнике Мао – это что 'под руководством Коммунистической партии Китая любое чудо может стать былью'". Но это чудо, совсем уж неслыханное – взятки судье, – ошарашило даже его. И все же скрепя сердце он заставил себя выполнить инструкцию адвоката своей возлюбленной. Адвокату было тридцать пять лет, официально он считался независимым, но на самом деле был назначен судьей, негласно состоял в том же суде и между прочим в той же партячейке, что и он. (Вот еще одно чудо, хоть и более скромное, чем предыдущее, зато многое проясняющее, – и оно тоже покоробило Мо.) Всему городу были известны его черные костюмы от Кардена и ярко-красные галстуки; как-то раз во время судебного заседания неграмотная продавщица, обвиняемая в краже (а адвокат защищал ее работодателя), не выдержала, вскинула голову и выпалила: "Ты на себя-то посмотри! Нацепил на шею женину использованную прокладку!" Он был нарасхват – из-за пухлой записной книжки, прочных связей с судьями и особого таланта свести накануне процесса за пышным ужином в пятизвездочном ресторане, в отдельном кабинете или за лаковой, под старину, ширмой, судью и обвиняемого в убийстве, чтобы они тихомирно договорились (о сроке, который первый завтра присудит второму), наслаждаясь изысканными деликатесами вроде моллюсков-абалон, или привезенных из Сибири медвежьих лап, или блюда под названием "три крика" – это новорожденные мышата, которых едят живьем, а они пищат совсем как грудные дети. Первый раз, когда их зажимают нефритовыми палочками, второй – когда окунают в имбирно-уксусный соус, и третий – когда попадают в рот и их раскусывают: судья своими желтыми зубами или адвокат, слегка распустив алый галстук, своими ослепительной белизны протезами.

Дело Горы Старой Луны оказалось весьма сложным, искушенный адвокат решительно заявил, что, коль скоро речь идет о политике, о нанесении вреда международному престижу страны, никакой, самый что ни на есть роскошный ужин тут не поможет и действовать надо "осторожно, методично и терпеливо, поскольку один неверный шаг может все погубить". Он развивал свой хитроумный план, сидя среди кастрюль на кухне родителей Мо. План строился на привычке судьи бегать, как он говорил, "для бодрости", трусцой каждое воскресенье по пустырю, где расстрельный отряд приводил и до сих пор приводит в исполнение смертные приговоры отдельным преступникам или целым преступным группам. Это место, хорошо знакомое и дорогое сердцу бывшего элитного стрелка, находилось на северной окраине города, у Мельничного холма. Адвокат посоветовал Мо отправиться туда и назваться не психоаналитиком, а ученым-юристом, профессором права какого-нибудь крупного китайского университета, который посещает места казни в порядке подготовки правительственного законопроекта. Встречу надо было представить чисто случайной. Мо должен был разговорить ветерана, а когда тот начнет делиться воспоминаниями о своем богатом опыте, записывать каждое его слово, ахая от восторга и удивления. Тонкий расчет состоял в том, чтобы судья согласился принять приглашение на чашку чая. А уж потом, в отдельном кабинете чайного домика, мож-

но будет упомянуть о судьбе Горы Старой Луны и подкатиться с предложением выкупить ее за десять тысяч баксов.

В следующее воскресенье Мо надел старый отцовский костюм, проглотил порцию лапши и сваренное матерью крутое яйцо (вообще его родители, скромные младшие научные сотрудники факультета западной медицины, предпочитали из осторожности ни во что не вникать и держаться от политического дела подальше) и вышел из дому. Поймал такси, проехал через весь город и в семь тридцать утра был на Мельничной горе. День едва занялся. Мо шагал под финальные рулады ночного хора жаб, лягушек и кузнечиков, стараясь восстановить в памяти топографию местности, которую когда-то хорошо знал: когда ему было двенадцать лет, он работал тут во время летней практики, помогал революционным крестьянам. Он нашел дорожку, которая, по его предположениям, вела прямо к цели. Раза два-три он чуть не упал — не оттого, что спотыкался, а оттого, что принимал каждого встречного, независимо от пола, за судью Ди. Лжепрофессора тут же окатывало жаром, как будто по жилам разливалась нечистая от злого умысла, густая кровь. В какой-то момент ему показалось, что он заблудился: пустынные аллеи раздваивались и разбегались во все стороны. Он свернул и пересек раскинувшееся на склоне громадным квадратом кладбище — ряды кочек-могил. Здесь были захоронены самые нищие из расстрелянных, чьи тела не востребовали родственники; на многих не было ни надгробия, ни даже дощечки с именем и датой — просто голый земляной холмик.

Вдруг раздалось звяканье: на другом конце кладбища, еле видный в тумане, замаячил между могил буйвол с бубенчиком на шее. Мо, которому все мерещился судья Ди, снова всполошился, но только на миг: позади буйвола шли двое. Молодой крестьянин в европейской куртке и закатанных до колен джинсах волочил на плечах деревянную соху, а рядом с ним женщина в юбке и туфлях на массивных каучуковых каблуках катила велосипед. Они ничуть не удивились появлению Мо, указали ему дорогу и спокойно пошли дальше, разговаривая о чем-то своем. Звонкий смех, мелодичное позванивание бубенчика — идиллическая сцена. О дивное утро! О великая моя социалистическая родина, твой заблудший сын благоговеет перед тобой!

К разочарованию Мо, в месте жутких казней не было ничего зловещего. Ни ропота и трепета высокой сухой травы, ни пропитанной слезами, желтой, как плевок больного старика, земли, ни полчищ мясистых белых поганок в тени и сырости под кустами, ни стаи стервятников, кружащих над головой черными точками, снижающихся черными крестами или взмывающих ввысь, хлопая черными крыльями. Самый обыкновенный пустырь. Ничем не примечательный, бесцветный, безобидный. Абсолютно безразличный к человеческим страданиям. Глаза Мо привыкли к полумраку, и он различил двоих мужчин, которые копали яму, бесшумно отбрасывая землю лопатами.

"Может, судья Ди придумал себе новую зарядку? — подумал Мо. — Или это призраки? Души убиенных вершат отмщение?"

В памяти Мо всплыло давно забытое лицо друга детства. Он содрогнулся от ужаса. Чэнь, по прозвищу Белобрысый, его единственный друг, в начале восьмидесятых достиг высокого положения, разбогател, женился на дочери мэра и стал главой фирмы, высоко котируемой на бирже, а три года назад был арестован и приговорен к смертной казни за спекуля-

цию иномарками. Может, и его расстреляли здесь, на горе? Поставили на колени спиной к холодному дулу винтовки, в нескольких метрах от шеренги? Залп — и конец... Он слышал, что приговоренным связывали сзади руки особым образом, так, чтобы пуля элитного стрелка попала в квадратик между большими и указательными пальцами, точно в сердце.

Люди с лопатами были одеты в военную форму, но без офицерских погон. Нет, судьи Ди здесь не было. Кровь отхлынула от щек Мо. На одном из землекопов была металлическая каска слишком большого размера, и когда он нажал своим дырявым грязным сапогом на край лопаты, чтобы загнать ее в землю, каска с красной звездой посередине свалилась с головы и угодила в недокопанную яму. Он нагнулся, подобрал каску и удивленно хмыкнул: на гладкой поверхности извивался зеленовато-коричневый червяк. Он скинул его и разрубил лопатой на кусочки, так что слизистые брызги полетели во все стороны. Напарники заржали.

Мо не раз приходилось дивиться самому себе, вот и теперь он с гордостью обнаружил в себе актерский талант, о котором прежде не подозревал. "О губы, как вы лжете в нагом цветении!"[1] — писал Малларме. Вот и с его губ полилась вдохновенная, поэтическая ложь. Ему даже удалось изобразить серьезный, с академическим налетом тон столичного доктора права. Новая роль была как раз по нему. Солдаты с большим почтением выслушали басню о правительственном задании. Мо осведомился, какой цели служат ямы, которые они копают.

— Иначе, — ответил первый солдат, тот, что казнил червяка, — клиент, перед тем как откинуть копыта, может брыкаться и заляпает все кровищей.

— Преступника, — солидно добавил его напарник более интеллектуального вида, — ставят на колени и поражают одним выстрелом в сердце. Он падает сюда, в яму. Если он начинает биться в агонии, земля осыпается и обездвиживает его. А потом врачи вырезают у него органы. Если вам интересно, получите завтра разрешение и увидите на месте, как все происходит.

Мо глянул на зловещие черные ямы, и мороз пробежал по его спине.

— Спасибо, вы и так все очень понятно объяснили, — сказал он, притворяясь, будто записывает их слова в блокнот.

— Он у нас взводный философ, — сказал первый, кивая на товарища.

Солдаты закончили свое дело и простились с Мо, выказывая чуть ли не рабские знаки уважения. Но не успели они уйти, как Мо увидел бегущего по дорожке человека лет пятидесяти в похожем на пижамную куртку белом в синюю полоску коротком халате, на котором не хватало двух пуговиц.

— Вот и судья Ди вышел на пробежку, — проговорил Мо дрожащим от нахлынувшего волнения голосом.

— Судья Ди? — спросил истребитель червей у взводного философа. — Кто это такой? А халат-то, посмотри — как будто из психушки сбежал.

— Ты что, не читал романов голландца? — возразил философ. — Судья Ди — гениальный сыщик. И никакой на нем не халат, а судейское платье времен династии Тан.

1. Стефан Малларме. Иродиада. Перевод Р. Дубровкина.

Довольный собой, он, посмеиваясь, пожал руку Мо, и оба солдата пошли прочь. Но Мо догнал их:

— Вы что, издеваетесь? Я жду самого главного судью во всем районе, человека, который любого может приговорить к смерти. Это он?

— Он, он! — подтвердил философ, тайком подмигивая товарищу.

— Ага, это он, знаменитый судья Ди из Чэнду, гроза преступного мира, — добавил истребитель червей.

Мо сел на землю посреди пустыря и издали следил за тем, как движется по кругу бегун. Обратиться к нему он не решался. Просто сидел и ждал. А тот двигался так же равномерно, механически, неуклонно, как муравьи, которые растаскивали кусочки червяка и цепочкой поднимались вверх по стволу дерева. Вдруг где-то вдалеке прогудел автомобиль. Судья, если это был он, резко остановился и замер, как на сцене, прислушиваясь. Мо не знал, на что решиться. Так прошла минута, а потом все произошло одновременно: шум затих, бегун облегченно вздохнул, муравьи поползли дальше. Мо встал и в полном смятении, покусывая пересохшую, растрескавшуюся губу, подошел к человеку в халате.

— Это вы, господин судья?

Тот, ничего не ответив, внимательно оглядел его. Все же Мо показалось, что он неопределенно кивнул. Сложная гамма чувств: страха, почтения, ненависти и презрения — завладела им при взгляде на бледное, изнуренное лицо стоявшего перед ним человека. Худой, костлявый — кожа да кости, — да еще этот полосатый халат. Волосы всклокочены. Под глазами огромные черные круги. Мо вдруг осенило: этот человек болен, его терзают призраки расстрелянных. И, забыв приготовленную ложь, он протянул несчастному руку и сказал:

— Меня зовут Мо, я психоаналитик, учился в Париже. Я могу помочь вам, господин судья.

— Помочь мне?

— Да. Вам, по всей вероятности, необходимо пройти курс психоанализа по методу Фрейда и Лакана.

Фрейда! Ни в коем случае нельзя было произносить это имя! Но поздно.

Не успел Мо договорить, как мнимый судья впал в буйство и так саданул его кулаком в лицо, что очки врезались в глазницы. Мо закричал от боли, в голове его что-то застрекотало, перед глазами вспыхнули искры, и все потемнело. Он рухнул на землю, но прежде чем потерять сознание, инстинктивно сорвал очки, жизненно важный для близорукого интеллигента предмет. А безумец разъяренно бил его ногами: в пах, по голове, по почкам и по печени.

Наконец мнимый судья Ди оставил Мо и пошел прочь. Однако, отойдя на несколько шагов, остановился и повернул обратно. Нагнувшись над бесчувственным Мо, он хладнокровно, со злорадно ухмылкой снял с несчастного куртку, а взамен надел на него свой халат и застегнул на все пуговицы, до самой шеи. Сам же, в куртке Мо, со всех ног бросился бежать. Совсем близко взвыла сирена. На пустырь вылетела машина "скорой психиатрической помощи" и развернулась, описав полный круг, в центре которого оказался Мо. Из машины вышли двое дюжих санитаров, держа в руках по фотографии, и на цыпочках стали приближаться к нему.

Мо очнулся, открыл глаза и увидел двух склонившихся над ним и внимательно изучающих его верзил. Еще он увидел, что на нем надет полосатый халат напавшего на него сумасшедшего, и почувствовал омерзительный запах.

– Как воняет этот дурацкий халат! – пробормотал он и снова потерял сознание.

Санитары изучали внешность лежащего и тщательно сверяли ее с фотографией. Без очков Мо стал не похож на себя, тем более что его физиономию украшали два здоровенных фонаря, а нос был разбит в кровь. В конце концов санитары решили, что перед ними тот самый тип, который изображен на фото, – сумасшедший, бежавший из больницы через выгребную яму. (Его искали уже два дня и напали на след благодаря сообщению молодой пары из местных крестьян.) Санитары пару раз хлестнули Мо по щекам, чтобы привести в сознание, но это ничего не дало.

"Скорая" включила мигалку и тронулась с места казни, увозя лежащего в наручниках Мо. Ну а настоящий судья Ди в то воскресенье был вынужден пропустить зарядку – у него раскалывалась голова после бессонной ночи, проведенной за игрой в маджонг. Да-да, вот именно! Маджонг! Маджонг!

Может ли один человек внезапно превратиться в другого?
(От нашего специального корреспондента из Чэнду)

С неделю тому назад г-н Ма Цзинь, бежавший из психиатрической лечебницы, был найден лежащим в коме у подножия Мельничного холма, на пустыре, где приводятся в исполнение смертные приговоры. Лицо его было все в синяках и кровоподтеках. У него обнаружено легкое сотрясение мозга. Когда же по прибытии обратно в лечебницу он очнулся, то категорически отказался признать себя тем, кем был раньше, и заявил, что он некто Мо, психоаналитик, приехавший из Франции, последователь Фрейда, не отвергающий также заслуг Лакана, которого считает "яркой личностью, человеком большого, оригинального ума, получавшим от своих парижских пациентов крупные гонорары за пятиминутные консультации". Обследовать больного был приглашен один из лучших отечественных психиатров, заместитель директора Пекинского центра психического здоровья доктор Ван Юй-шэн, а также профессор кафедры французского языка Шанхайского университета г-н Цю. Ученые провели тестирование пациента. Он зачитал на чистом французском языке обширные цитаты из Фрейда, отрывки из трудов Лакана, Фуко, Дерриды, продекламировал начало поэмы Поля Валери и указал названия улицы, на которой проживал в Париже, ближайшей станции метро и табачной лавки "Собака с трубкой", а также кафе, расположенных в его доме, в доме напротив, и т. д. Пациент предложил экзаменаторам оценить всю красоту слова "amour" и выразительность непереводимого "hélas"[1]. Испытуемый (Ма Цзинь или Мо?) признан блестяще владеющим французским языком. Он утверждает, что был избит и ограблен незнакомым человеком, который бежал по горе босиком. Что касается цели его собственного пребывания на месте казней,

1. Увы (*франц.*).

то он не мог ее вспомнить. Возможно, этот провал в памяти — следствие шока.

Оба эксперта признали, что столкнулись с уникальнейшим в истории психиатрии случаем. Это заключение тотчас получило большой резонанс в кругах образованной публики Чэнду. Исследователи, преподаватели, журналисты, студенты-филологи и особенно будущие философы, лелеющие мечту заняться психоанализом, устремились в психиатрическую лечебницу в часы посещений и заполнили палату беглого франкофона. Заметим, что это отдельная палата усиленного надзора, оснащенная новейшими средствами безопасности и охраняемая санитаром, день и ночь наблюдающим за пациентом через глазок. По поводу загадочного случая строятся самые различные теории. Когда я сам посетил Ма Цзиня — Мо, то застал у него специалиста по китайской мифологии из местного университета, который задавал ему вопросы и заносил ответы в толстую тетрадь, одновременно беседа записывалась на магнитную пленку. Маститый филолог пытался установить связь между Ма Цзинем — Мо и бессмертным хромым мудрецом, героем популярной легенды[1]. (Согласно преданию, душа упомянутого персонажа покинула тело и странствовала в высших сферах, вернувшись же, обнаружила, что один из учеников по оплошности сжег бренную оболочку мудреца, неделю остававшуюся безжизненной. Но милостивое божество чудесным образом устроило так, что неприкаянная душа вселилась в тело недавно умершего хромого нищего. Что было дальше, нетрудно вообразить: мертвый воскресает, встает, радуется благополучному исходу и, припадая на хромую ногу, спешит в монастырь, чтобы помешать удрученному ученику покончить с собой.) Среди подарков, которыми посетители завалили железную кровать загадочного пациента, мне попался самодеятельный студенческий журнал. В нем была помещена статья, отстаивающая особую гипотезу: будто бы беглец представлял собой реинкарнацию некогда расстрелянного на горе переводчика с французского. Так или иначе, все, с кем мне довелось поговорить в лечебнице, сходились на том, что этот человек разительно отличался от других больных. Не жаловался на дурную пищу и строгие порядки. По-видимому, ему даже нравилось там, где он очутился; он любил повторять, причем вполне серьезно, что психбольница — самый лучший университет. Вел он себя очень мирно, всегда был учтив и внимателен, все записывал: кто что кричит по ночам в припадке буйства, как действует на больных электрошок, кому что приснилось и т. д. "Занятный был тип, — рассказал мне приставленный к нему санитар. — Уж, кажется, пичкали его, пичкали успокоительными с утра до ночи, а он ничего, бодрый. Байки мне травил потешные, про китайцев и про иностранцев, одна другой похабней! А просил только об одном: приноси ему бумагу. Всё любовные письма строчил, длинные такие, как романы, хоть знал, что они никогда не дойдут, эта его женщина в тюрьме сидит, какое-то, он еще говорил, у нее необычное имя, но никогда не называл. Это, дескать, секрет!"

1. Имеется в виду Ли Тегуай (Ли Железный посох), один из "восьми бессмертных" мудрецов (даосов), популярный персонаж старинного китайского фольклора. Он традиционно изображался в облике хромого нищего с железным посохом и тыквой-горлянкой; считался покровителем магов.

Вчера по вызову больничной администрации приехала жена Ма Цзиня, бывшая оперная певица, чтобы опознать личность беглеца. Увидев его, она поначалу пришла в замешательство. Надо сказать, что ее муж три года назад ушел в буддийский монастырь. Видимо, внешность его изменилась до неузнаваемости. Женщина попросила, чтобы ей позволили поговорить с ним наедине. Ей не отказали. Беседа длилась около часа, а потом она заявила, что это действительно ее супруг, г-н Ма Цзинь. Выполнила все что требовалось, заполнила бумаги и забрала его домой. Но в тот же вечер – новая неожиданность: Ма Цзинь, настоящий или мнимый, запершись в душе, вылез из окна по лестнице, сделанной из полотенец и ночных рубашек. И бесследно исчез.

Наутро бывшая певица сказала журналистам, что очень хотела бы его вернуть.

4
Самолетик

Как и говорил адвокат, третий ящик письменного стола судьи Ди был приоткрыт. Невинная щелка служила сигналом того, что верительные грамоты посетителей будут благосклонно приняты. Взятку в красном конверте полагалось опустить именно туда, лицо же, которому она предназначалась, согласно неписаным правилам, делало вид, что ничего не замечает.

Мо пристально смотрел – синяки у него еще не прошли, зато чудом уцелели очки – на тонюсенькую, не больше сантиметра, щель: так секретный агент в шпионском фильме впивается глазами в какую-нибудь мелочь, условный знак, по которому он узнает своего в незнакомом человеке. Сердце героя колотилось, какой-то чудный хмель разливался по жилам. Помощник судьи Ди провел его в кабинет и вышел. Мо остался один. Он сел на диван, от которого исходил слабый запах потертой кожи, сунул руку в портфель и кончиками пальцев нащупал пухлый конверт – там лежала туго перетянутая резинкой пачка новеньких банкнот, сто купюр по сто долларов. Наконец встал и подошел к секретеру. Ему стало жарко, даже запотели очки. Какое-то неясное чувство захлестнуло его. Никогда в жизни не был он так близок к совершенному счастью. Письменный стол окружало сияние, казалось, вот-вот из приоткрытого третьего ящика вознесется сама Гора Старой Луны. Мо с вожделением глядел на дивную брешь, которую он наконец-то нашел в броне диктатуры пролетариата.

Его вдруг осенило – ну конечно! Знаменитый третий ящик никогда не закрывается. Всегда зеленый свет! Это приглашение относится не к нему одному, а ко всем. Сколько же красных конвертов достал из ящика коррумпированный хозяин стола, не зная, кто и за что их ему принес?

Возбуждение Мо несколько улеглось, стол приобрел обыденный вид: отполированное дерево, пыльная мраморная столешница, на которой стоит фотография в рамке – две улыбающиеся девушки (дочери судьи Ди?). Рядом телевизор, а на нем какой-то странный предмет, весь в черточках световых бликов из-под венецианской шторы. Единственная вещь в кабинете, которую можно было счесть украшением. Она была сделана из блестящих штучек, похожих на медные монетки, – миниа-

тюрная модель военного самолета, вся целиком из ружейных гильз. Сотни гильз, и на каждой выгравированы имя и дата.

Послышались шаги, сначала по каменному полу канцелярии, потом по деревянному паркету кабинета. Мо наконец оторвался от самолетика и встретил пристальный взгляд пожилого человека в темно-синем кителе с красным гербом Китая и надписью "Судья" на рукаве.

– Здравствуйте, – пробормотал Мо. – Вы господин Ди?

– Судья Ди, – поправил старик с жиденькими усиками и подошел к столу.

От судьи пахло как от усохшего чучела. Ростом он был не выше Мо, хоть носил черные туфли на довольно высоких каблуках. Сколько ему лет? По сморщенному личику трудно сказать. Пятьдесят пять? Шестьдесят? Ясно одно: на того психа, которого я встретил на месте казней, он не походил ничуточки. У этого не хватило бы силенки меня ударить. Его сила – другая и куда более страшная.

У судьи Ди были маленькие глазки, левый – совсем крошечный и почти всегда закрытый. Из верхнего ящика стола он достал несколько пузырьков, высыпал из них по паре таблеток, разложил рядком на мраморном столе и пересчитал. Их было с десяток. Он сложил все в рот и проглотил, запив чаем из стакана. Когда Мо представился редактором пекинского научного издательства, правый глаз судьи устремился на него, а левый прищурился еще больше – взгляд снайпера, хладнокровно разглядывающего цель.

Мо начал было объяснять, зачем пришел, но запинался, заикался и отводил глаза, безуспешно пытаясь вспомнить речь, которую составил для него адвокат, хотя до этого столько тренировался, что выучил ее наизусть. Произнести что-то связное он так и не успел – его прервал звонок мобильного телефона.

Разговор касался Олимпийских игр, которые как раз проходили тогда в Сиднее. Услышав, что Китай выиграл двадцатую медаль по дзюдо среди женщин и хоть не догнал США, но оставил позади Россию, судья пришел в возбуждение и включил телевизор. На экране, завывая и натужно дыша, катались по ковру две сцепившиеся девушки внушительного роста. Движения их были замедленны. Левый глаз судьи раскрылся и увлажнился слезами, исторгнутыми гордостью за торжество великой, горячо любимой родины, а правый умиленно замигал. Все еще говоря в телефон, он двинулся прямо к Мо. Психоаналитика охватило смятение, он не знал, как понимать этот неуместный порыв.

"Он что, собирается обнять меня?" – подумал Мо.

Судья восторженно вскинул руку – на рукаве которой, повыше локтя, был пришит красный кружок с китайским гербом – и будто ждал, что посетитель, разделяя его эмоции, ответит тем же и они хлопнут друг друга по рукам, как футбольные болельщики, когда игрок их команды забивает решающий гол. Мо, окончательно сбитый с толку, пришел к мысли, что это, возможно, еще один условный жест, о котором адвокат забыл его предупредить.

Поднятая рука судьи к чему-то его призывала. Но к чему? "Может, я должен сделать то же самое? Ну и рука – как у привидения, одни пальцы скрючены так, что и не разглядеть, другие более заметны, особенно толстый короткий указательный, с грязным ногтем, – палец элитного стрелка, привыкший спускать курок! Так что, мне тоже поднять руку?

Нет, Мо, это все испортит. На этот знак надо ответить другим, но каким же?"

Судья слегка удивился странной реакции посетителя, опустил руку, но продолжал метаться по кабинету. Теперь во весь экран показывали красное знамя с пятью золотыми звездами (большая символизирует могучую Коммунистическую партию, четыре другие, поменьше, – рабочих, крестьян, солдат и революционных торговцев), которое развевалось над трибунами во время вручения золотой медали. Трубы так громко грянули в честь победы национальный гимн, что миниатюрный военный самолетик на телевизоре задрожал.

Мо глубоко вздохнул, снял очки и протер их полой куртки. Это движение не укрылось от снайперского взора.

– Вы плачете от радости? – спросил он. – А я-то подумал, вам все равно.

И судья снова занес руку над головой Мо, чтобы на этот раз получился дружеский хлопок.

Мо решил действовать наугад и задрал ногу, оставшись стоять на одной левой, как несчастный инвалид войны.

– Да нет, руку! – незлобиво подсказал судья и подмигнул правым глазом.

Мо понял это по-своему: подхватил согнутую ногу рукой, и, сантиметр за сантиметром, преодолевая жуткую боль, поднял ее чуть ли не на до плеча, как балерина у станка. Левый глаз судьи захлопнулся. Правый холодно впился в Мо. Он отключил телефон.

– Это что за цирк? Вы где находитесь? Вы в кабинете судьи Ди!

– Это все адвокат виноват, – залепетал Мо и отпустил ногу. – Я... дело в том, что... Простите... Понимаете, адвокат моей подруги, ее зовут Гора Старой Луны.

Беспомощное бормотание оборвал смех судьи. От этого хриплого, злобного, явно не предвещавшего ничего хорошего смеха у Мо по спине побежали мурашки. Китайская чемпионка в телевизоре пропела, высоко подняв голову, национальный гимн, и ее сменил на экране хоккейный матч Россия–Канада.

– Гора Старой Луны? – переспросил судья, усаживаясь в свое кресло Великого инквизитора.

– Да, это моя подруга.

– Страшная преступница! Она продала снимки в западную прессу...

– Она не продавала! Не брала за них ни юаня.

Судья снова взял мобильный телефон и стал набирать номер.

– Постойте, я должен позвонить секретарю райкома.

Услышав это, Мо пришел в ужас и отчаяние. Зачем ему понадобилось звонить? Наверное, по поводу Горы Старой Луны. Неужели случай такой серьезный, что судья ничего не может сделать без согласования с партийным начальством? Рубашка Мо, вспотевшая от акробатических потуг, мгновенно заледенела.

Телефонный разговор затянулся. Сначала судья Ди говорил об отмене запрета на петарды, чтобы народ мог отметить победу китайского спорта. Потом перескочил на меры безопасности, опять увлекся спортивной темой, попытался выбить прибавку на финансирование правоохранительных органов, упомянул о строительстве нового Дворца правосудия и, наконец, пригласил собеседника на партию в маджонг.

Тогда-то и услышал Мо выражение, которое врезалось ему в память: "...выточенное из слоновой кости запястье юной девственницы".

Ожидание превратилось в пытку. Силы Мо были на исходе, при малейшем изменении тона, покашливании, неодобрительном слове сердце его начинало трепыхаться, как перепуганный заяц, и самые страшные предположения рождались в голове. Ложные понятия о приличиях мешали ему сделать что следовало, то есть достать из портфеля свое щедрое приношение, открыть третий ящик стола и положить туда конверт. Вдруг получится как-нибудь не так!

Диктор китайского телевидения отчаянно завывал: на последней минуте матча русский центрфорвард забил решающий гол. Болельщики бесновались на трибунах. Над стадионом взвился русский флаг.

Мо неуверенно подошел к столу. Ему казалось, что судья Ди исподтишка следит за ним. В этот миг он понял, что именно этого хозяин кабинета от него и ждал. Вся комедия для того и была разыграна — и разыграна превосходно! — чтобы он наконец сделал что следует.

Мо чувствовал себя жалкой марионеткой, которую дергают за невидимые нитки. Взгляд его снова упал на самолетик: теперь на медных гильзах уже не плясали блики. И вдруг он заметил, что на некоторых гильзах стояла одна и та же дата. Страшная истина открылась ему: выгравированные имена принадлежали людям, которых собственноручно расстрелял бывший элитный стрелок, а даты обозначали день казни. Иногда ему случалось расстреливать за раз по нескольку человек. Каждая гильза напоминала о смертоносной пуле, которая вылетела из дула винтовки и вошла в квадратик между пальцами приговоренного, в самое сердце.

И хотя для Мо не было новостью, чем занимался прежде почтенный судья, его потрясла эта игрушка, поразило, сколько старания, труда, времени и, главное, любви было в нее вложено. Ему показалось, что он имеет дело с кровожадным дьяволом, воплощением ужаса, зла и жестокости. И духи жертв не требуют мести? Никаких духов не наблюдалось. Мо скептически относился к Богу, но в духов верил с детства. Духи, духи в час полночный... Духи вольны бродить повсюду. Духи вершат возмездие. И все это полетело вверх тормашками. Он, Мо, должен платить дань тирану, которого не смеют потревожить даже духи. Не смеют припугнуть. Ни одно привидение ему не является, ни один призрак его не мучит. И почему-то решимость пустить в ход все доступные на этом свете средства, чтобы вызволить Гору Старой Луны, вмиг растаяла. Он положил конверт обратно в портфель и пошел к двери.

Судья Ди не понял, что произошло. Услышав, как посетитель пошел, а потом опрометью побежал по коридору, он выглянул из кабинета и увидел, как, поравнявшись с секретарем, тот вложил ему что-то в руку. Наверное, купюру в двадцать юаней. Это вам. Благодарю. До свидания.

5
По *блату*

Мертвец. Минуту или две Мо был уверен, что перед ним оживший мертвец. Он не сразу узнал его из-за огромных синих кругов под глазами. Этот человек показался ему знакомым, как только его фигура появилась на самом верху длинного застекленного туннеля, в котором проходил эскала-

тор ультрасовременного торгового центра, скопированного с Центра Помпиду в Париже. Но где же, где он видел эти грустные глаза? Кому они принадлежали? Или мне просто почудилось? Довольно неопрятный костюм, седоватый бобрик, костистое лицо и, главное, две глубокие складки, пролегающие от носа к уголкам губ, вдоль подбородка и теряющиеся в складках на шее. Матово-молочные стекла свода приглушали солнечный свет. Эскалаторы скользили параллельно друг другу, мертвец спускался, Мо поднимался. Вдруг мертвец, перескакивая через две ступеньки, бросился вверх, догонять Мо. В этих длиннющих скачках тоже было что-то знакомое. Да кто же это? Мо услышал свое детское прозвище: "Малыш Мо!" — и узнал голос. Это был зять мэра, несколько лет назад его приговорили к смерти и должны были расстрелять.

Эскалатор все поднимался. Но вот рука старого приятеля с клеймом зэка 3519 на тыльной стороне ухватила Мо за плечо, и он медленно, как во сне, пошел вниз, пробираясь между сумками и тележками едущих вверх людей. Вниз и вспять, за наваждением.

— Что ты тут делаешь? — спросил он, еле соображая, что говорит, собственный голос казался чужим и далеким.

Вопрос был самый неподходящий, Мо смешался и добавил:

— Я сбежал из сумасшедшего дома. А ты?

— Я делаю инспекторский обход.

— Обход чего?

— Ресторанов.

— Ты хозяин ресторанов?

— Не совсем. Моя тюрьма открыла два ресторана, а я в них управляющий. Тесть устроил так, чтобы мне заменили высшую меру на пожизненное заключение. Ну а уж я предложил начальнику тюрьмы завести ресторан и поручить мне управлять им, пообещал, что это будет прибыльным делом. Так и получилось. Он был так доволен, что скоро открыл еще один ресторан, здесь, в торговом центре.

— По тебе не скажешь, что ты разбогател.

— Нет. Вся выручка идет тюрьме. Зато я могу дневать на воле.

— Почему дневать?

— Ночевать я должен в камере для пожизненных. По соседству со смертниками. Если на утро назначен расстрел, вечером мимо нашей решетки топает вертухай с тарелкой мяса, сворачивает в соседний коридор, а там останавливается перед камерой того, чей черед подошел, и дает ему тарелку. И каждый раз я думаю: "А ведь я спасся чудом, я был на волосок от такого последнего ужина".

Друзья пошли отпраздновать встречу в "Монгольские котлы", тот самый ресторан тюремного ведомства. Там была система самообслуживания. Люди толпились и толкались в центре большого зала вокруг подносов со снедью, каждый набирал себе на тарелку что хотел: угрей, свиных мозгов, креветок, осьминогов, устриц, улиток, лягушачьих лапок, утиных ножек и т. д.; любое ассорти с бутылкой местного пива в придачу стоило двадцать восемь юаней. На столиках — их было около сотни — стояли монгольские котлы[1], пламя газовых горелок освещало склонен-

1. Монгольский котел — кипящая прямо на столе кастрюля или горшок, в который опускают кусочки мяса, рыбы, овощей и проч., варят несколько секунд, в результате чего получается крепкий бульон, которым завершают трапезу.

ные лица, посетители окунали кусочки мяса или овощей в кипящий бульон, крепкий, жирный, пряный, с маслянистой красной пенкой в центре воронки из тысяч и тысяч поднимающихся со дна пузырьков. От пара, чада, гомона, смеха и постоянной суеты между столиками и на раздаче у Мо мутилось в голове. Он плохо соображал, что рассказывает бывшему смертнику. Про место казни, психбольницу, адвоката, судью Ди... Грязный, заляпанный жиром пол ресторана был ужасно скользким. Посетители шли осторожно, точно по льду. Людям пожилым или близоруким и неловким, как Мо, такая эквилибристика давалась нелегко. Какой-то подвыпивший мужчина поскользнулся в туалете и попытался встать, но не нашел опоры на замызганном полу, снова упал да так и заснул, уткнувшись головой в унитаз... Своим процветанием и нарядным видом "Котлы" были обязаны счастливой идее зятя мэра установить единую цену в двадцать восемь юаней за порцию. "Это такая дуэль между хозяином и клиентом: кто уступает, тот проиграл".

Лил дождь. Машина зятя мэра, роскошный красный "фиат" с откидным верхом, с похожим на боксера плечистым шофером за рулем, отважно тряслась по ухабистой дороге к резиденции судьи. За ужином в "Монгольских котлах" старый друг предложил "уладить дело", чем почти до слез растрогал Мо, совсем было потерявшего веру в успех своей куртуазной миссии.

На вершине холма друг и помощник велел шоферу остановиться, закурил тонкую голландскую сигару и погрузился в размышления. Морщины по обеим сторонам носа, казалось, стали еще глубже. Мо не смел нарушить его раздумья ни словом, ни даже взглядом. И только терялся в догадках. Может, друг отшлифовывал план действий? Или собирался позвонить судье и предупредить о своем визите? Может, передумал и готов отказаться от своей затеи? Или, наоборот, собирался с духом? Шофер выключил двигатель, и минуту все трое сидели неподвижно. Мо уставился в окно. Тополя шумели под дождем и ветром, на рисовом поле вдали работал крестьянин в соломенной шляпе. Наконец друг взмахнул рукой. "Фиат" дернулся, тронулся с места и покатил по аллее, ведущей к железным воротам в двухметровой стене. Плечистый шофер вышел из машины первым и открыл дверцу зятю мэра, тот вылез и под дождем направился к домофону.

Прошел час, дождь утих. Мо по-прежнему сидел в машине. Вот уж и звезды показались на небе. Скоро его другу пора будет превращаться из управляющего в зэка. Наконец, когда Мо совсем извелся, ворота открылись и зять мэра, широко улыбаясь — от его морщин не осталось и следа, — подошел к "фиату".

— Все в порядке, — сказал он, усаживаясь. — Но денег он не хочет, их у него и так полно. За услугу он просит совсем другое — свежую девочку, чтобы с ней переспать. Невинную, у которой красная дынька еще не пустила сок.

Это странное выражение всегда напоминало Мо душную, пропахшую потом ночь, корзины с крабами, теплое крутое яйцо, лоснящееся лицо на каменистом фоне, горную пещеру в провинции Фуцзянь, на родине его отца. Именно тогда он первый раз услышал про "сок красной дыньки" как намек на лишение девственности. Ему было десять лет, и он приехал на каникулы к бабушке с дедушкой. В тот вечер он пошел купаться

в горной речке с дядей, учителем математики, которого по политическим причинам разжаловали в мясники. В свои тридцать лет он сутулился, как дряхлый старик. Их застала гроза, и они спрятались в пещере, куда набилось много разного народа: молодые и старые, крестьяне, путники, и среди них несколько носильщиков с полными корзинами черных шевелящихся крабов — их ловили неподалеку в высокогорном озере и продавали в Японию. Самый старый из носильщиков — Мо на всю жизнь запомнил его похожее на терку рябое лицо — уселся на землю, прислонясь спиной к стенке пещеры, и стал негромким голосом рассказывать историю, меж тем как кто-то покашливал, кто-то харкал, а сам Мо облупливал еще теплое крутое яйцо, которое ему сунула какая-то крестьянка. Дело было в эпоху Тан, японцы тогда только-только выбрали себе первого правителя и придумывали, какой бы им взять национальный флаг. В конце концов они надумали украсть идею у китайцев и послали в Китай, процветающую империю, своего шпиона. После долгого и трудного морского путешествия шпион ступил на китайский берег. Дошел до ближайшей деревни. Стояла тихая теплая ночь. Шпион увидел толпу людей, которые веселились, кричали, пели и плясали вокруг белого полотнища, посреди которого выделялся красный круг с черноватыми краями. Было похоже на большой праздник. "Наверное, это и есть национальный праздник, — подумал шпион, — а эта штука — китайский флаг". Он подождал, спрятавшись в кустах, пока все разойдутся по домам, и подкрался к тому, ради чего пустился в опасный путь, терпел голод, холод и не раз оказывался на краю смерти. Лазутчик схватил вожделенное сокровище и бросился бежать, не подозревая, что захватил простынку, запятнанную соком красной дыньки юной новобрачной, ставшей в ту ночь женщиной.

При упоминании о красной дыньке пещера огласилась дружным смехом. Только Мо ничего не понял. Он все пытался согреть ледяные руки, сжимая в ладонях теплое чищеное яйцо. Вдруг, сам не зная почему, он встал и направился прямиком к рассказчику. Пламя костра освещало голый торс носильщика, на каменной стенке трепетала его тень. Мальчик подошел и с силой засунул ему в рот целое яйцо. Тот чуть не подавился: прижатое к стене, ярко освещенное лицо его покрылось потом, маленькие блестящие глазки отчаянно вращались, — но наконец он кое-как проглотил яйцо. Мо запомнилось прикосновение к натянутой коже, похожей на промасленную оберточную бумагу. Он успел пересчитать все оспины и даже пощупал их. Так что выражение "сок красной дыньки" навсегда связалось у него с бурным и пестрым потоком эмоций. Он снова ощущал запах моря, видел каменное нутро пещеры.

На обратном пути дядя был в прекрасном настроении, что, в его-то положении, бывало не часто. (В пещере он сидел молчком и даже засмеяться со всеми вместе не посмел.) Листья после обильного дождя блестели будто отлакированные. Воздух был дивно свеж. Романтический лунный свет ласкал землю. Мо запомнил, как они сидели на склоне, вдыхали запах влажного папоротника и смотрели на смутно белевшую вдали снежную вершину. Дядя научил его стихам, написанным восемьсот лет назад, в эпоху династии Юань[1], и запрещенным при коммунистах.

1. Династия Юань правила в XIII—XIV вв.

Он читал тихим голосом, а мальчик повторял, пока не затвердил наизусть все от слова до слова:

Брачный пир нынче ночью мне был приготовлен,
Время настало сорвать благоуханный цветок,
Что же — как вижу, весна здесь давно отошла.
Много красного цвета иль мало — грущу не об этом,
Но ни много, ни мало — нисколько!
Белый шелк незапятнан, отсылаю обратно.

И все же никогда, даже в самых бесстыдных снах, Мо не мог себе представить, чтобы у него возникло такое странное, неистовое желание, каким был одержим старый, насквозь трухлявый судья, мечтавший вскрыть свежую красную дыньку своими корявыми пальцами элитного стрелка. Он даже был склонен предположить, что случай судьи Ди, или китайский комплекс, остался неизвестен его великому учителю Фрейду, знатоку всех человеческих перверсий. Наоборот, в "Табу девственности" Фрейд полагал, что страдающий комплексом кастрации мужчина, лишая свою невесту девственности, воспринимает ее как "источник опасности": "Первый половой акт с ней внушает ему особый страх". Кровь от дефлорации связывается у мужчины с раной и смертью. "Он боится, — продолжает Фрейд, — что женщина отнимет его силу, заразит его своей женственностью и сделает импотентом". Поэтому поручает лишить свою будущую супругу девственности какому-нибудь третьему лицу.

Фрейд и Ди — феномены разных миров. Если говорить начистоту, с тех пор, как Мо ступил на китайскую землю, его начали одолевать сомнения в безупречности психоанализа. Может, у Горы Старой Луны нет эдипова комплекса, как у всех людей? Действительно ли мужчины, которых она любила и еще полюбит, и даже он сам, Мо, всего лишь замещают для нее образ отца? Почему судья Ди так жаждет отведать красной дыньки и не боится за свой пенис? У него что, нет комплекса кастрации? Мо казалось, что судьба насмехается над ним, играет им, как капризный деспот.

По ночам эти вопросы заставляли его ворочаться без сна в постели. Он пытался подыскать на них ответы в рамках психоаналитического учения, но понимал, что все эти ответы притянуты за уши. Больше всего его мучало, что он никак не мог отделаться от этих мыслей, хоть и знал, что никогда не докопается до истины.

Иногда он с горечью думал, что не годится в аналитики. Ему не хватает уверенности в себе и практических знаний в области секса, он страшно робеет перед людьми.

Чтобы отблагодарить зятя мэра, Мо преподнес ему веер, расписанный в двадцатые годы художником-монахом: птички на камнях чистят перышки рубиновыми клювиками. В ответ старый друг снова пригласил его в ресторан, но для разнообразия не в свой, а в другой, на противоположном конце города. После обеда он повел его в чайный домик на берегу реки в стиле Шанхая тридцатых годов, с лаковыми ширмами, низкими резными столиками и вышитыми атласными подушками. Из глубины зала лились еле различимые звуки мягкой, нежной музыки.

— Видишь вон ту девушку, которая сидит в холле на бамбуковом стуле? — спросил зять мэра.

Мо посмотрел, куда он указывал. Девушка была молоденькая, лет восемнадцати от силы, со свисающими до плеч тусклыми крашеными рыжими патлами. На ней была белая блуза, доходившая до середины бедер. Чтобы взглянуть поближе, Мо встал и прошел мимо нее, как будто в туалет. Свет в зале был приглушен, но он разглядел невзрачное личико с выщипанными бровями, выставленную напоказ плоскую грудь — блуза была расстегнута, а черный кружевной бюстгальтер просвечивал насквозь — и костлявое тело.

— Девственница для судьи? — спросил он, снова усаживаясь за столик.

— Нет, шлюха, специально для тебя.

На несколько мгновений Мо онемел. Непроизвольно еще раз окинул взглядом девушку. И наконец пробормотал, чувствуя, что краснеет до ушей:

— Как это — специально для меня?

— Ну, можешь с ней забавляться. И не беспокойся — все оплачено.

— Нет-нет... Спасибо, мне не хочется.

— Ну, ты меня разочаровываешь, старик. А я-то в прошлый раз тебя зауважал. Ты с такой страстью говорил об этой своей подружке, которую посадили за фотографии, и о психоанализе — все это потрясающе. Но мне и жалко тебя стало. Вид у тебя утомленный, измученный, голодный. Бери пример с судьи Ди, подзарядись у женщины энергией инь, обнови свою жизненную силу.

Загадка разрешилась. В словах приятеля Мо открылось нечто важное. Его обдало жаром, он часто задышал, и даже очки его запотели.

— Ты хочешь сказать, что этот негодяй судья хочет получить девственницу, чтобы зарядиться жизненной силой?

— Ну разумеется, бодростью, силой, здоровьем... Хоть я и старый зэк, но могу просветить тебя по части секса. Так вот, для китайцев секс — это способ достичь двух очень важных и абсолютно не связанных друг с другом вещей. Во-первых, зачать ребенка. Обыкновенная физическая работа. Глупо, конечно, но иначе это не делается. Во-вторых, зарядиться, впитать женскую энергию партнерши. А если это девственница, подумай только! У нее слюна куда ароматнее, чем у замужней женщины, а вагинальные выделения во время полового акта действуют невероятно благотворно. Вот где источник чистейшей жизненной силы.

6
Полевая кушетка

Две длинные вертикальные палочки, перечеркнутые двумя короткими горизонтальными, — ложе. Еще три тонкие, как волоски, загнутые на концах — опущенные ресницы на закрытом глазу. Сверху над глазом — указующий перст, в знак того, что он видит и во сне. Все вместе — значок "сон" в старинной китайской иероглифической письменности, которой три с лишним тысячи лет. В студенческие времена, когда Мо было двадцать лет, его покорила лаконичность, придававшая этому

иероглифу таинственную, почти божественную красоту. Он отыскал его в Императорском музее – он был начертан на черепаховой пластинке, темной, растрескавшейся, полупрозрачной и такой древней, что, казалось, от одного дуновения вот-вот рассыплется в прах вместе с чудесными письменами.

Писец, живший в те далекие времена, и представить себе не мог, что пройдет несколько десятков веков, и его детище станет афишей бродячего психоаналитика. Мо старательно скопировал иероглиф, пропорционально увеличив его, на лоскут черного шелка, вырезал и попросил портного пришить на приятно пахнущую стиркой и камфарой белую простыню, которую без ведома матери стащил из ящика комода черного дерева. А сверху распорядился поместить три строчки красной краской: большими иероглифами "Толкователь снов" и помельче "Психоаналитик. Обучался во Франции. Последователь Фрейда и Лакана".

Оставалось приделать к знамени древко. Мо обошел весь строительный рынок, перебирая бамбуковые жерди. Но все они никуда не годились. Им не хватало гибкости и крепости, чтобы удержать знамя и не сломаться от ветра. Нечто подходящее нашлось дома: он долго колебался между шестом, на который матушка вешает белье, и отцовской складной удочкой, состоящей из нескольких лакированных бамбуковых палок. В конце концов выбрал удилище – пусть не такое прочное, но более приятное на вид.

В ту теплую летнюю ночь сон Мо был коротким и тревожным. Просыпаться по утрам, с тех пор как он прочитал "Превращение" Кафки, всегда было для него пыткой. Но на этот раз он чувствовал себя на диво свежим и бодрым. Встал, оделся, выглянул в окно. На северной стороне неба еще виднелась одинокая звезда – наверно, Полярная. Впервые с самого приезда он видел звезду в этом насквозь закопченном городе. Он счел ее появление добрым предзнаменованием для намеченной психоаналитической вылазки. Звезда еще не успела исчезнуть, когда он выехал из дома на старом дребезжащем велосипеде отца. Улицы в этот час были неопределенно серые, будто утратившие краски. Мо доехал до самой окраины и остановился перед небоскребом, в окнах которого, точно в огромном зеркале, отражался во всей красе восход солнца над рекой Янцзы. Он развернул свое знамя и привязал его к концу тщательно укрепленного на багажнике удилища. А затем снова вскочил в седло и помчался во весь опор – знамя гордо развевалось по ветру. Вперед, на юг!

Не скрою от читателей, что психоаналитическое мероприятие служило лишь предлогом, прикрытием для поисков особы женского пола, у которой он мог бы купить девственность для судьи Ди. То был первый решительный шаг к освобождению томившейся в неволе возлюбленной. Именно это было его конечной целью.

Мо что есть сил жал на педали, в голове у него звучали строки Бодлера: *"Вихрь дует чувственный, плоть бывшую тревожа, / И хлопает она, как обветшалый стяг"*[1]. Он отъезжал все дальше от города и спустя час доехал до коммуны "Красные ворота". Первый же поселок, Нефритовый бамбук, удостоившийся чести попасть под модернизацию, являл собой

1. Шарль Бодлер. Прóклятые женщины. Перевод В. Микушевича.

какое-то призрачное зрелище: на скупленных землях на месте разрушенных до основания крестьянских домов возвышались каркасы недостроенных, скорее всего из-за нехватки средств, казенных зданий — ни стен, ни крыш, ни перекрытий. Мертвые скелеты, которым явно не суждено ожить. В дверных и оконных проемах, в трещинах между кирпичами, росли желтые полевые цветы. Их стебли шевелил ветер. Мо остановился и зашел в один из недостроенных домов по малой нужде. На первом этаже пышным зеленым ковром разрослась трава. Вся в блестках утренней росы, она издавала упоительный запах. Небольшое стадо овец паслось на ней в свое удовольствие, не обращая ни малейшего внимания на Мо. В довершение пасторали сытое блеяние время от времени вплеталось в гулкое журчание направленной на стенку струи.

Здесь, в этих развалинах с дырами вместо дверей и пустыми оконными глазницами, Мо истолковал первый в своей практике сон. Он мог совершать, иной раз сам того не замечая, множество оплошностей в повседневной жизни, мог даже выглядеть глуповатым. Но в психоанализе, особенно в интерпретации сновидений, знания его были обширны и безукоризненны.

Его первым клиентом стал хозяин стада, человек лет сорока пяти, на костылях. Он сам подошел к Мо, и тот, хотя старался деликатно отвести взгляд, все же заметил, что одна нога у пастуха короче и, судя по болтающейся штанине, тоньше другой. Пастух стал выторговывать скидку с двадцати юаней до десяти, на что Мо легко согласился.

Закурив сигарету, пастух стал рассказывать, что ему приснилось. Во сне он шел или, вернее, брел по щиколотку в воде, скорее всего, по берегу Янцзы, вместе с женщиной лет пятидесяти, с которой жил несколько лет тому назад. Их сфотографировал сосед, работавший в туристической фирме. А дальше ему снилось, что он спал и его разбудила та самая бывшая любовница, пришла веселая и показала снимок: вода в Янцзы такая прозрачная, что видны камушки и травинки на дне. На середине реки кораблик, на палубе развешано белье. Женщина держит мужчину под руку, он улыбается, ненужные костыли висят под мышками. Штаны закатаны, но промокли, а из расстегнутой ширинки торчит длинная твердая палка и доходит почти до самой воды. Палка сияет, как хрустальная, и в ней будто пляшут цветные огоньки.

Расшифровать этот сон для Мо было парой пустяков — все равно что чемпиону мира по шахматам обыграть начинающего любителя. Ни о чем больше не спросив клиента, наш аналитик уверенно сообщил ему, что у него вскоре может отняться еще одна часть тела, половой член, что его вот-вот покинет демон, которого верующие люди называют сатаной, а писатели — пламенем вожделения, и посоветовал обратиться к врачу.

Все это он выпалил единым духом, но не успел договорить, как уже пожалел о сказанном, вспомнив о своей задаче: найти девственницу! Он хотел перевести разговор на эту тему и расспросить пастуха, но поздно. Клиент пришел в ярость, узкие глаза его вспыхнули, и весь он так и затрясся. Он заорал, что Мо издевается над бедным калекой и все наврал, чтобы лишить его последней радости; он обозвал аналитика последними словами, плюнул в него окурком и замахнулся костылем, целясь в лицо. Мо увернулся и побежал прочь. Пастух за ним, он скакал на одном костыле, а другим размахивал над головой, как в фильме про кун-фу.

Ошалевшие овцы разбежались в разные стороны. Дикие вопли калеки еще долго неслись вдогонку Мо, который, не получив никакой платы, улепетывал со своим знаменем, и замолкли, только когда его поглотил окрашенный в нежные рассветные тона утренний туман.

Так начались его странствия по округе в роли толкователя снов. Его долгий Одинокий Путь. Великое испытание. Каждый день, три недели подряд, он вставал рано утром и отправлялся в дорогу на стареньком отцовском велосипеде. К полудню асфальт начинал плавиться от зноя, и Мо казалось, что он едет по болоту. Его слепили пот и пыль. Однажды лопнула шина, и ему пришлось целый час катить велосипед по дороге, изнемогая от жары.

Шину он починил в ближайшей деревне, но седло так раскалилось, что невозможно было сесть. Разъезжая по деревням под развевающимся стягом на удилище, он всячески старался приманить клиентов. Делал вид, что торгуется, но нередко снижал тариф до одного юаня, а то и вовсе работал бесплатно. К вечеру же, вымотанный до предела, он возвращался в родительский дом буквально без ног.

Бывало, на обратном пути ему казалось, что не он крутит педали, а велосипед-развалюха везет его сам. Ему нравилось все: запахи полей, буйволы на рисовых плантациях и даже автомобили. Он был частью дорожного потока. Иной раз на обсаженных платанами улицах попадались хорошенькие велосипедистки. (Женщины на велосипеде всегда казались ему особенно привлекательными, и он мечтал устроить как-нибудь показ мод на велосипедах.)

Но поиски девушек продвигались плохо, поскольку почти вся молодежь уехала из сельской местности на заработки в города. Весь вопрос был в том, кто из оставшихся сохранил невинность. Зато ему попадались случаи, довольно интересные с профессиональной точки зрения. Дома он доставал французские школьные тетрадки, толстый словарь и делал записи на языке Мольера. О парочке блестящих интерпретаций, пожалуй, стоило бы рассказать отдельно.

Как-то июньским утром Мо свернул с шоссе и петлял между луж по грунтовой дороге, проходившей вдоль ручья по широкой зеленой долине. Вскоре он подъехал к одиноко стоявшему дому с дощатыми стенами, черепичной крышей и высоким порогом у массивных резных двустворчатых ворот, простоявших уже не одну сотню лет. За забором в квадратном дворике сидели рядышком и разговаривали две старые женщины, перед ними под навесом стояли друг на друге два новехоньких гроба. (Таков был местный обычай: загодя готовить гробы для престарелых родителей и до последнего дня держать их постоянно на виду, чтобы старики были уверены, что не останутся без приюта на том свете.) Мо слез с велосипеда, поднялся на полуметровый порог и направился к женщинам. Кроме запаха свежеоструганного дерева, во дворе чувствовалось еще что-то странное, трудноопределимое.

Громко и нараспев выкрикивая слова, на манер бродячего цирюльника, точильщика или холостильщика петухов, он предложил им свои услуги по толкованию снов — качественно и недорого!

Сестры — они походили друг на друга как две капли воды, — покашливая, выслушали его рассказ о чудодейственном методе учителя-Фрейда, но интереса не проявили.

Мо не огорчился. Он уже привык и не ждал, что они примутся рассказывать ему свои сны. Да, может, старухам, глядящим на собственные гробы под навесом, уже ничего и не снится. Поуговаривав их для порядку, Мо хотел уже было спросить, не знают ли они тут поблизости какой-нибудь девицы, как вдруг одна из сестер саркастически, не без яда в голосе проговорила:

— Мы обе — известные на всю округу колдуньи. А наш отец был медиум, как раз по снам специализировался. И уж верно знал побольше, чем твой заграничный учитель.

От неожиданности Мо поперхнулся. Теперь он понял, откуда взялось ощущение чего-то странного, что витало в воздухе. Он засмеялся. Извинился. Засмеялся снова. И пошел назад. Но его вдруг разобрало желание подразнить старушек — он обернулся и спросил:

— А вы случайно не были влюблены в своего отца?

Этот вопрос, заданный невинным тоном, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Кажется, гробы и те пошатнулись.

— Согласно теории, которую я применяю, — продолжал Мо, — все женщины в детстве испытывали желание спать с отцом.

Он ждал бурной реакции. И она не замедлила последовать. Но возмутилась и пригрозила заколдовать его только одна из сестер, другая же остановила ее и задумчиво сказала:

— Пожалуй, в этом есть доля правды, особенно по отношению к тебе. Ты вечно по утрам, как только мама вставала, норовила залезть к отцу в постель, а он тебя выгонял. Забыла, что ли?

— Ничего подобного! Это ты, хитрющая, как кошка, к нему залезала, и тебя он пинками гнал назад, в нашу кровать. Ты даже иногда пряталась в темноте, чтобы подсмотреть, как он писает! Тебе это ужасно нравилось!

— Врунья! Да ты сама недавно еще мне призналась, что тебе приснилось, будто отец писает во дворе, а ты попыталась сделать как он, стоя, и он засмеялся. Неправда разве?

Мо нарочито медленно, чтобы не упустить ни слова из их перебранки, шел к воротам. Отъезжая от дома по той же грунтовой дороге, он жалел, что не успел увидеть, как сестры разрыдаются. В глубине души они были ему даже симпатичнее, чем другие "клиенты". Он обожал наблюдать такие выяснения застарелых отношений, как будто река в полнолуние прорывала плотину. Признания, разоблачения... Психоанализ действовал как волшебная палочка! Да здравствует обнажающее слово!

В долине он не нашел ничего интересного. Там было всего две-три деревушки, из которых вся молодежь давно разъехалась. Остались только старики со своими гробами, замужние женщины с привязанными за спиной детьми, поля, которые надо обрабатывать, да свиньи, которых надо кормить. Однажды ему почудилось, что счастье близко: это было, когда за прилавком единственной на всю заброшенную деревню лавки он заметил пухленькую девушку лет восемнадцати и остановился понаблюдать за ней. Девушка записала несколько имен в расчетную книгу, наклеила марку на конверт с адресом налоговой инспекции. На вид это была бойкая молодая особа, полная решимости успешно вести свою торговлю. Но надежды Мо скоро испарились: на почти детском личике выделялись выщипанные брови — отпечаток тлетворной моды. Бесплатный сеанс толкования снов обернулся исповедью и морем слез. Де-

вушка оплакивала свой недолгий опыт жизни в городе; она служила в ресторане и заплатила девственностью за то, чтобы остаться, но и это не помогло. Опять осечка! Мо спросил, где туалет, девушка проводила его на второй этаж, указала дверь в грязную кабину и без намека на улыбку, с самым будничным видом вошла вслед за ним. Внутри с жужжанием носился целый рой зеленых мух.

— Помочь вам расстегнуться? — спросила девушка с непринужденностью опытной проститутки.

— Нет, спасибо, — пробормотал оторопевший Мо.

— Я недорого беру, сущие пустяки для такого богатого человека, как вы, профессор.

— Выйдите! — закричал Мо. — Вы сошли с ума! И кто вам сказал, что я профессор?

Она покорно вышла и преспокойно заняла свое место за прилавком. Начни она упрашивать Мо, расписывать, как плохо идут у нее дела, как бедствует семья, или разыгрывать несчастную сироту, еще неизвестно, чем бы закончилась эта комедия.

Мо Непреклонный! Верный рыцарь! Дон Кихот! С именем прекрасной дамы на устах, с ее образом в сердце, под развевающимся знаменем, на котором запечатлен символ грезы, он мчался по ухабам, прочь из долины искушений.

Он еще не доехал до шоссе, но уже слышал нетерпеливые гудки грузовиков. Вдали, посреди грунтовой дороги, перед ветхим деревянным домом, виднелись две черные точки. Велосипед дребезжал, багажник скрипел, руль болтался в руках, а цепь при каждом повороте педалей грозила сорваться. Хоть бы глотнуть воды! Или взять в рот ложечку мороженого! Точки явно перемещались, менялись местами. Впереди длинный подъем. Мо налег на педали, переднее колесо, побуксовав на месте, с натугой двинулось на приступ. О где ты, ледяное лакомство!

Две темные точки на минуту скрылись, потом появились снова, они все так же шевелились, но по мере приближения росли и превратились в двух ведьм, ставших поперек дороги. Едва поняв, что это они, Мо соскочил с велосипеда. Его снова прошиб пот, на этот раз холодный. Никогда еще за все время своей психоаналитической экспедиции он не дышал так тяжко.

Однако сестры приняли его как дорогого гостя. Они попросили у него извинения, сказали, что поверили ему, и даже изъявили интерес к психоанализу. Мо не слишком поверил в такую резкую перемену и хотел проехать дальше, но сестры и слышать ничего не хотели. Они настояли, чтобы он завел велосипед во двор, провели его в дом и усадили за стол. Стены низкой столовой были оклеены газетами. В простенке между двух закрытых окон висела фотография пожилого мужчины — без сомнения покойного отца. В доме пахло тибетским ладаном. Над глинобитным очагом посреди комнаты висели два красивых, цвета охры, лука, видимо, орудия изгнания бесов. В очаге горел огонь. Вскоре закипел чайник и был подан чай.

Надо отдать сестрам должное: их лапша, пряная уха из карпа и свиные шкварки по виду, аромату и вкусу не имели себе равных. Пока он наслаждался этим пиршеством, этим чудом кулинарного искусства, сестры рассказывали ему сон, который им никак не удавалось разгадать. Отец до самой своей смерти так и не посвятил их в искусство толкова-

ния снов. (В обширных, как океан, анналах китайской истории не упоминается ни об одной женщине, которая бы им владела!)

Этот сон приснился сыну старшей из сестер за два месяца до смерти, а скончался он в тридцать пять лет. Умер своей смертью, скорее всего задохнулся. Никаких следов насилия не обнаружили. Последние несколько лет он работал в мраморном карьере, в городе Чунцине, в пятистах километрах от родного дома. Врачи заметили на рентгене затемнение в правом легком — обычная вещь у камнетесов. На Первое мая ему дали пять дней отпуска, и он приехал домой повидаться с женой и со всем семейством. За год до того он построил себе дом, лучший на всю деревню: двухэтажный, с балконами, отделанный по фасаду белым кафелем; мать и тетка выкладывали его вручную — несколько сотен плиток, одна к одной, — стоя на бамбуковых мостках. Бедняга даже не успел порадоваться своему новому жилищу, каждая пядь которого была полита его потом и кровью, оплачена его тяжким трудом. Приехал он поздно вечером и так устал с дороги, что у него не хватило сил ни поесть, ни помыться. Жена согрела корыто воды и вымыла ему ноги. Потом вроде бы она помогла ему раздеться и надеть чистую футболку и штаны. Он вышел во двор по малой нужде и вернулся в спальню. Сказал жене, что хочет перед сном помолиться. Он принадлежал к запрещенной секте Фалуньгун[1]. Жена вышла из комнаты и слышала, как он молится. Когда она закончила свои дела по хозяйству и присоединилась к мужу, он уже спал. А наутро она проснулась в семь часов и увидела, что он лежит мертвый. Поскольку он состоял в Фалуньгун, а она не хотела осложнений с полицией, вскрытия делать не стали.

В тот вечер, перед тем как пойти к себе, он проведал мать и тетку. Пробыл у них с четверть часа, проверил, в порядке ли их гробы, и рассказал сон, который приснился ему накануне отъезда. Как будто он едет на мощном мотоцикле по берегу Янцзы, оборачивается и видит, что борозда от его мотоцикла разделяет песок и камни на две части: слева они светлые и сухие, справа — темные и мокрые.

Загадочная история. Мо слушал рассказ сестер, не сводя глаз с фотографии их отца. У него было смутное чувство, что медиум и толкователь снов внушает ему какие-то чисто китайские мысли, но решение пришло не сразу. Он попросил у сестер несколько дней на раздумье и вернулся к родителям. С тех пор он стал мало спать (всего часа два-три в сутки) и много курить (больше, чем могли выдержать легкие). Нередко ему приходил на ум знаменитый английский сыщик, который так умело распознавал ложный след. Аналитические поездки продолжались, но Мо стал рассеянным. Однажды на проселочной дороге, где не ходил автобус, его остановил больной старик и попросил подвезти. Мо, тронутый его видом — одни кости, обтянутые землистой кожей, — согласился. Старик устроился на багажнике и очень скоро уснул под мерный скрип педалей. Поглощенный мыслями о странном сне, Мо ехал целый час, не слыша ни слова от своего пассажира, так что и вовсе о нем забыл. И только притормозив, чтобы передохнуть в тени большого дерева, вспомнил и оглянулся: старика не было. Он свалился по дороге. Наконец аналитик

1. Фалуньгун — религиозная организация, учение которой представляет собой смесь буддизма, даосизма и традиционной оздоровительной гимнастики цигун. Основана в 1992 г. отставным военным Ли Хунчжи. В 1999 г. китайские власти запретили Фалуньгун.

решил залечь и спать несколько дней и ночей подряд: может, его собственные сны дадут ключ к тому, неразгаданному. Однажды он проснулся на рассвете, когда небо за окном только-только наливалось голубизной; ему приснилась Гора Старой Луны в полосатой арестантской форме — она упрекала его за то, что он ее забыл. И тут вдруг все прояснилось. Он помчался к сестрам-ведьмам и поведал им разгадку: покойному приснился вещий сон, из которого следовало, что он подсознательно подозревал жену в неверности; она изменяла ему с человеком по имени Фэн Чан, который и стал его убийцей. (Иероглиф "Фэн" состоит из двух частей: левая обозначает воду, правая — лошадь, иначе говоря мотоцикл. А "Чан" изображается двумя наложенными друг на друга солнечными дисками: двойное солнце обозначает двух мужчин, которые делят одну женщину[1].)

Старшая из сестер, мать покойного, разразилась рыданиями. Младшая рассмеялась. Человек с таким именем действительно жил по соседству. Через несколько дней после этого разговора сестры добились, чтобы его арестовали, и на первом же допросе он признался в преступлении.

Но Мо дорого заплатил за то, что ему удалось подглядеть чужой сон. Часто по ночам, а то и среди дня, во время сеансов психоанализа, ему виделся черный мотоцикл, на котором восседал он сам; мотоцикл ехал вдоль Янцзы. Вода в реке была темно-зеленая, песок с левой стороны сухой, с правой — мокрый. Над головой мотоциклиста носились, задевая его крыльями, белые чайки. На заднем плане картинки присутствовала рыбачья лодка под парусом или баржа с писающим в реку мальчиком.

Заслуживает упоминания еще один сон, рассказанный ночным сторожем со стройки. Мо запомнилась его будка под шиферной крышей, видневшаяся с дороги сиротливым темным силуэтом, если ее не освещали фары проезжавших грузовиков. Со сторожем он познакомился как-то вечером в чайной, и тот сразу пригласил его к себе. "Будет весело, придут девчата со стройки!" — пообещал этот невысокий, ростом с Мо, но очень прыткий и сильно пьяный человечек лет тридцати. Когда они с Мо подошли к запертой на висячий замок будке, обнаружилось, что сторож потерял ключ. Тогда он, еле держась на ногах, подобрал с земли ржавую железную палку и всунул ее между створок. Замок с грохотом отскочил, и дверь открылась. Когда Мо зашел внутрь, стены и крыша еще тряслись.

Обстановка в будке была самая убогая, но в холодильнике кое-что имелось. Сторож достал пиво и спросил Мо, согласен ли он заплатить за двух шлюх.

— Позабавились бы вчетвером, а?

— Не надо мне шлюх, — не сразу ответил Мо. — Кругом одни шлюхи, сыт по горло!

Он решил изменить тактику и, при всей своей любви к скрытности, заставил себя как можно развязнее спросить:

— А девственниц ты случайно не знаешь?

— Кого-кого?

Сторож хлопнул его по плечу.

1. Имеется в виду не точный смысл иероглифов Фэн и Чан, а их толкования.

— Ну, девственниц. Невинных девушек, которые еще не... Девственниц! — повторил он еще раз, как будто наслаждаясь звучанием старомодного слова.

Сторож неприятно захохотал. Мо вдруг почувствовал себя грязным развратником. Пьянчуга же оборвал свой дурацкий смех, взял Мо за рукав, подвел к взломанной двери и велел убираться вон, будто он был опасный сумасшедший.

Стараясь не терять достоинства, Мо поправил свое знамя и, не садясь на велосипед, медленно покатил его по усыпанной песком и гравием дорожке. Шагая вдоль стройки, он поднял голову и посмотрел на многоярусные бамбуковые леса, похожие на огромную шахматную доску. "Жизнь похожа на шахматную партию, — подумал он. — И моя охота за девственницей тоже. В какой момент я сделал неверный ход? А может, партия уже проиграна?"

В ушах у него звучал смех ночного сторожа как доказательство полной нелепости его затеи.

Он заметил соединяющую ярусы лесенку из железных прутьев, и ему вдруг взбрело на ум забраться на самый верх этой недостроенной махины и там покурить. Соблазненный этой идеей, он как альпинист-одиночка начал ночное восхождение. Лестница была слишком узка, Мо с непривычки оступился и чуть не сорвался. Это заставило его засмеяться. На душе полегчало. Но вдруг он подумал о велосипеде. Если его украдут, придется тащиться пешком до самого дома — хуже не придумаешь! Мо посмотрел вниз — слава богу, велосипед на месте. Тогда он спустился, взвалил велосипед на плечи и снова полез наверх.

Крыша была более или менее доделана и представляла собой огромную покрытую гудроном площадку. Когда ночной сторож тоже поднялся туда, Мо, привстав на педалях и согнувшись над рулем, с бешеной скоростью описывал круги вдоль металлического парапета. Наконец он выдохся, опустился на седло и, проехав еще сколько мог по инерции, свернул на середину. Там он остановился и оперся ногой на дорожный каток. Потом, не слезая с седла, зажег сигарету, затянулся, выдохнул вместе с клубом дыма пар своих мечтаний и боль отчаяния и, оттолкнувшись, рванул по новой.

У ночного сторожа, вероятно впервые в жизни, пробудилось чувство ответственности: он испугался несчастного случая, а то и, чего доброго, самоубийства, и потребовал, чтобы Мо немедленно спустился на землю. Но аналитик продолжал свой смертельный номер, горланя что есть мочи слова великого английского поэта: "Я похититель моря, звезд, луны", добавляя от себя: "и похититель девственниц".

Знамя со знаком грезы трепетало и хлопало у него за спиной. Мо казалось, что его вот-вот унесет на этом парусе в поднебесье или швырнет через парапет на землю. Он обливался потом. Ветер вдруг взъярился, взвыл и застонал, словно пытаясь вырвать древко и растерзать в клочья знамя. Но так же внезапно вой перешел в тихий ропот, порыв улегся. Воздух ласкал кожу, как теплая вода. Небо нависало совсем близко. Протяни руку — достанешь. Крупные звезды слепили глаза Мо.

До его слуха дошел вдруг голос ночного сторожа, но он не уговаривал его спуститься, а рассказывал сон.

— Это приснилось не мне и не моей жене, а нашему соседу, бывшему врачу на пенсии. Жили мы тогда на южной окраине Чэнду. Сосед зани-

мался традиционной медициной и, когда кто-нибудь заболевал, давал ему целебные травы. Иглотерапией тоже владел в совершенстве. Вот он однажды и рассказал мне, что видел во сне мою жену, как она рано утром стоит на коленях перед дверями магазина. На улице больше никого нет. Жена наклоняется, поднимает с земли собственную голову, приставляет ее к шее, встает и, придерживая голову руками, бежит по пустынной улице. Пробежала мимо него и не заметила.

Мо чувствовал себя в отличной форме и, перебив сторожа, вдохновенно спросил:

— Сказать вам, что означал этот сон?

— Да, пожалуйста.

— Ваша жена должна была вскоре умереть. Скорее всего, от болезни горла. От рака.

Не успел он произнести этот безапелляционный приговор, как ночной сторож бросился ему в ноги и стал просить прощения: его жена, сказал он, действительно скончалась через месяц после того, как сосед увидел этот сон.

Однако, хоть авторитет Мо и поднялся в глазах сторожа на недосягаемую высоту, назвать ему девственницу он не смог, поскольку такой диковины среди "девчат со стройки" и прочих его знакомых давно уж не водилось. Единственное, чем он мог помочь аналитику, так это отвести его с утра на рынок, куда сходились все желающие наняться в служанки и где скорее можно было рассчитывать на успех.

7
Железная леди с рынка прислуги

Мо и представить себе не мог такого сказочного места, настоящего девичьего заповедника. И хотя само существование рынка прислуги оскорбляло его нравственное чувство как вопиющая социальная несправедливость, но тело его затрепетатало, когда он очутился среди толпы девушек и на него нахлынули женские запахи. Даже в звуке голосов было что-то плотское. "Боже мой, — подумал Мо, — я бы отдал все на свете, чтобы остаться на этой улочке, помогать этим девушкам, любить их, сжимать эти маленькие груди, ласкать обтянутые джинсами бедра. Я мог бы предложить им не работу и не деньги, а нечто большее — тепло и любовь". Колени его дрожали, никогда еще он не был так близок к цели.

Рынок прислуги занимал всю длину пологой мощенной камнями улицы, прилегавшей к скалистой горе. Она до сих пор носила имя, которым назвали ее в годы Революции: улица Большого Скачка. С другой стороны протекала подернутая туманом Янцзы, оттуда, из-за реки, прибывали хозяйки, по большей части горожанки, искавшие девушек в услужение. Оставив машину на другом берегу, они переплывали Янцзы в наемных моторных лодках, расхаживали по рынку и вели себя как на каком-нибудь овощном базаре: выбирали товар, спорили о цене. А через полчаса вместе с нанятой девушкой плыли назад в такой же моторке, рассекавшей мутно-коричневые, пенистые от канализационных стоков и промышленных отходов воды великой реки.

Управляла рынком и поддерживала тут железную дисциплину некая госпожа Ван, женщина-полицейский лет пятидесяти, подтянутая, дело-

витая, издали казавшаяся вполне привлекательной и даже элегантной: высокая, коротко стриженная, в очках с тонкой оправой. Вероятно, когда-то она действительно была недурна собой, но перенесенная в молодые годы оспа изуродовала ее лицо, продырявив его как решето. За экономность, граничившую со скупостью, страсть к деньгам и строгость в расчетах (никто никогда не обманул бы ее и на юань) ее прозвали "рябой леди Тэтчер с рынка прислуги". Она, верно, знала об этом прозвище, Мо понял это, когда пришел к ней за разрешением заниматься на рынке толкованием снов. Ее контора располагалась в единственном на всю улицу и смотревшемся как крепость двухэтажном доме. Под портретом действующего китайского правителя на этажерке среди брошюр, распространяемых властями, и сборников речей крупных коммунистических деятелей стояла биография Маргарет Тэтчер.

Директриса послушала Мо пару минут и остановила его, подняв руку:

— Ты же знаешь, что мы, коммунисты, — атеисты.

— Да, но при чем тут психоанализ? — растерянно спросил Мо. Он был сбит с толку.

— Твой психоанализ — все равно что гадание.

Не сводя с нее пристального взгляда (ему сказали, что она терпеть не может, когда ей не смотрят в глаза), Мо сказал:

— Если бы Фрейд услышал ваши слова...

Договорить он не смог — не хватило смелости. Да и сил смотреть на это лицо больше не было. Чтобы не поддаться желанию отвести взгляд, он вытаращил глаза.

— Кто такой Фрейд? — спросила начальница.

— Основатель психоанализа. Еврей, как Маркс.

— Не надо так смотреть на меня, — вдруг проговорила она, как робкая девушка, с ложной дрожью в голосе. — Я старая и уродливая.

— Вы слишком скромны.

— Это вы слишком вежливы. — Она погладила Мо по рукаву. — Я расскажу вам свой сон, и если вы правильно его растолкуете, дам вам разрешение заниматься вашим ремеслом на улице Большого Скачка.

Воскресенье, 25 июня

Из-за этой паскуды Тэтчер у меня поехала крыша! Первый раз я употребляю в своих психоаналитических записях ругательные слова (обычно прибегаю к нейтральной, научной лексике), но только в таких грубых, откровенных выражениях и можно описать жуткую беседу с этой представительницей власти. Я буквально повредился в рассудке. Начать с того, что, глядя на эту мерзкую рябую рожу, я растерял все свои способности. За время моей, пусть короткой, практики у меня сложилась привычка закрывать глаза, слушая сны пациентов; тогда меня наполняет какая-то невидимая, почти волшебная сила. Сам рассказчик исчезает, слова слышатся издалека, но вдруг какое-нибудь из них словно электризуется, звучит как раскат грома и освещает все, как молния. Таков мой метод. Но сегодня я не имел физической возможности применить его — эта Тэтчер здешнего околотка не терпит, чтобы перед ней закрывали глаза. Пока она рассказывала сон, я пялился на нее, и мне казалось, что я вижу ее мозг, такой же дырявый, как физиономия. Кажется, она рассказывала, что видела во сне собачье чучело, но с той са-

мой секунды, когда она открыла рот, на меня накатило какое-то оцепенение и полное бессилие. Я с ужасом понял, что еле соображаю. Разом выветрились все психоаналитические термины, все принципы Фрейда и Юнга, к которым обычно примешивались китайские слова и изречения Конфуция, я только смутно помнил, что должен как-то выйти из положения, сделать то, чего эта мымра от меня ждет, то есть предсказать, что с ней случится. А что с ней вероятнее всего могло случиться?

— Собачье чучело означает, что вас скоро пригласят на роскошный банкет, — сказал я. (Простите меня за эту профанацию, доктор Фрейд! Эти оспины меня просто гипнотизировали.)

— Когда? — спросила Тэтчер.

— Сегодня вечером или завтра, — ответил я и все-таки опустил веки. Тотчас перед глазами расплылись странные черные пятна.

Она расхохоталась и снова положила свою лапищу на мой рукав. Смех был трескучий, нарочитый, подчеркивающий ее могущество. Лицо ее исказилось гримасой; оспины задрожали, запрыгали, сотни дырочек растягивались, набухали, становились с горошину величиной, потом вдруг сморщивались и разбегались. Бомба лопнула. Мне стало страшно. Я решил, что она никогда не даст мне этого паршивого разрешения. А жаль! Мне так полюбился рынок прислуги, и у меня было предчувствие, что он станет золотой жилой в моих поисках девственницы.

Понедельник, 26 июня

Ура, я продолжаю записи! Рябая Тэтчер выдала мне разрешение на практику. И я могу с гордостью сказать, что все послушно моей воле и моим предсказаниям: вчера вечером нашу леди внезапно пригласили на ужин к районному начальству.

Сегодня я водрузил свое знамя посреди рынка. (Пока профессиональная удача мне еще ни разу не изменила!) То, что я утвердился здесь, на улице Большого Скачка, несомненно предвещает скорое завершение миссии, которую я должен выполнить для судьи Ди.

Между прочим, я с радостью и интересом замечаю, что ремесло толкователя снов и особенно ясновидца начинает меня забавлять.

Вторник, 27 июня

Иногда сон тесно сплетается с явью. Сегодня был довольно неудачный, с точки зрения моих поисков, день. Приходили только немолодые женщины, которых я называл про себя перестарками, таких здесь меньшинство.

Обычно я веду прием верхом на деревянном ящике, позаимствованном в единственной на всю улицу съестной лавочке, — не слишком удобное сиденье. Клиентку же усаживаю под сенью знамени на настоящий стул, который беру напрокат у одного пенсионера. Это почти кресло, плетенное из бамбука и достаточно длинное, чтобы можно было на нем полулежать, вытянув ноги. Получилось отдаленное подобие кушетки в кабинетах моих европейских коллег.

Первые посетительницы были относительно богаты. Я установил цену в три юаня за сеанс, это почти даром, но сам факт, что эти женщины в состоянии оплатить услуги толкователя снов, был в их глазах при-

знаком буржуазной роскоши и отличал их от начинающих конкуренток. Как правило, они уже имели стаж работы у каких-нибудь директоров фирм, врачей, адвокатов, профессоров и даже местных знаменитостей, звезд кино и театра. Бамбуковое кресло трещало, когда они на него взбирались. Поза полулежа никому не нравилась. Они смеялись, охали: "Господи! Пытка какая-то!" — и предпочитали сидеть. Связного разговора почти не получалось. Они честно пытались рассказывать мне свои сны, но все время сбивались. Сон ускользал из памяти, оставался беспомощный лепет. Некоторым и хотелось бы — а я еще и подначивал их — излить душу, поговорить о себе, но они не умели этого сделать. Чаще всего мне удавалось подцепить отдельные детали их сновидений, похожие на осколки разбитой вазы: половинка зеленого яблока, Учитель Фалугун, сушеная рыбина, свеча с дрожащим пламенем; или как будто в темноте громко пищит крыса, как будто у них вылезают целыми прядями или седеют волосы, сморщивается и сползает, как у змеи, кожа.

Хоть работал я за гроши, но относился к делу со всей серьезностью. Если позволяла память, не упускал возможности почтить своих кумиров и привести цитату из Фрейда, Лакана или Юнга по поводу того или иного сна. Надо признать, что специфическая терминология психоанализа практически не поддается переводу. Когда я громко и торжественно произносил эти каббалистические слова не на мандаринском, а на мелодичном сычуаньском наречии, они приобретали комический смысл, так что женщины, как правило обступавшие меня тесным кольцом, покатывались со смеху. Со стороны можно было подумать, что я даю для них этакое эстрадное моношоу, хотя на самом деле терпеть не могу кривлянье.

Самая первая клиентка была дамой лет пятидесяти, с перманентом и массивным дешевым перстнем. Ей приснилось, что она поймала рыбу. Большую или маленькую? Она не помнит. Чтобы показать ей, как важна эта деталь, я постарался, как мог, перевести длинный пассаж из Фрейда, в котором объясняется, что маленькая рыбка обозначает мужскую сперму, а большая — ребенка, удочка же символизирует фаллос. Невозможно описать, какую бурную реакцию вызвало это толкование. Пациентка побагровела и закрыла лицо руками, а толпа зрителей разразилась хохотом, веселыми возгласами и оглушительными аплодисментами. Лица женщин, на миг сбросивших бремя заботы о хлебе насущном, сияли. Улица Большого Скачка приняла меня и утвердила в звании шута.

Во многих снах присутствовал общий мотив — утюг, символ конфликтов и рабства. ("Это значит, вы хотите, чтобы ваше положение изменилось", — твердил я каждой, кому пригрезился этот предмет.) Одной снилось, что она гладит белье и зевает (как на картине Дега, которая свидетельствует о его сочувствии беднякам). Она будто бы широко раскрыла рот, потянулась и тут же увидела себя в одежде хозяйской дочки, которая лет на десять старше ее.

Вечером, когда я уже сворачивался, меня посетила леди Тэтчер. В отличие от других женщин, она без возражений улеглась на бамбуковую кушетку, положила голову на деревянный валик и застыла с напряженным лицом, уставившись в землю. От нее исходил какой-то странный запах, не похожий на духи или местный одеколон. Говорила она с трудом, очень тихо и неразборчиво. Глядя на нее, я вспомнил описанных Фрейдом истеричек.

— Прошлой ночью мне опять приснилось собачье чучело.

Я попытался выжать из нее хоть какие-то детали. Была ли собака в той же позе? Больше или меньше, чем в прошлый раз? Той же породы или другой? И какой именно? Может, она лаяла? А куда смотрела? Бесполезно. "Видела чучело" – и точка.

– Правда, удивительно?

– Да нет. Повторяющийся образ – типичное психическое проявление бессознательного. Этот феномен послужил одной из отправных точек исследований Фрейда. У него сказано: "Повторяющееся действие находит отражение в снах в виде постоянно появляющегося предмета".

У железной леди отвисла челюсть. Впрочем, вряд ли она расслышала конец моего перевода, потому что, едва я произнес имя Учителя, как толпа грохнула. Некоторые девушки даже стали повторять его, как дразнилку.

– Что это еще за Фрейд?

– Я вам уже говорил в прошлый раз: создатель новой теории интерпретации сновидений.

– Я из его рассуждений ни слова не поняла.

– Суть его учения заключается в том, что истоки всех наших сновидений следует искать в детстве. Вспомните, когда вы первый раз в жизни увидели чучело собаки?

– Не помню.

– Ну постарайтесь, пожалуйста! Одно из величайших открытий Фрейда – доказательство разрушительной роли подобных повторений. Дело не в том, чтобы расшифровать сон, разгадать загадку. А в том, чтобы найти средство, как вырвать вас из этого замкнутого круга, помочь свернуть с заезженной колеи, показать возможные отклонения...

И снова взрыв смеха не дал мне закончить цитату. Полицейская дама нахмурилась, складки по сторонам носа стали еще заметнее.

– Я хочу знать одно: к чему мне приснилось собачье чучело. И плевать мне на твоего паршивого Фрейда! –.Она резко села и выкрикнула это визгливым, истеричным голосом, а под конец несколько раз нервно прищелкнула языком. – Вот, я вспомнила. От этой собаки воняло, как от старой, заплесневелой книги. – Она наклонилась поближе ко мне. – Почти так же, как от тебя.

– Такой сон означает, что вы скоро охромеете.

Это не было ни озарение, ни умозаключение, просто я разозлился и захотел в отместку обидеть ее. Сам не знаю, как у меня такое вырвалось! Наверное, сработало подсознание. В китайском есть такое устойчивое выражение для обозначения всех убогих: "рябые, хромые, шелудивые"...

В повисшей гробовой тишине проскрипело бамбуковое ложе, послышалось щелканье языка и испуганное шушуканье в толпе. А потом леди Тэтчер засмеялась.

Когда я со своим велосипедом садился в моторку, лодочник сказал мне, что женщины на рынке заключали пари: что станет с ногами леди Тэтчер.

Два часа ночи. Я вдруг проснулся и попытался вспомнить, что мне снилось. Встал, хотел записать, но не успел. Самое главное утекло сквозь пальцы. Осталось общее ощущение чего-то страшного и отрывочные эпизоды. Какое-то политическое сборище под открытым небом на улице Большого Скачка – море черных женских голов. Жара, ревут динамики, я стою посреди трибуны на коленях. На шее висит на цепи

тяжелая, как жернов, бетонная плита и пригибает меня к земле. На ней написано мое имя и преступление: похититель девственниц. Леди Тэтчер произносит в микрофон обвинительную речь, но я не могу расслышать, что именно она говорит. С моего лба стекает пот — накапало целую лужу. Потом вдруг ни с того ни с сего, как это бывает во сне, девушки привязывают меня к отцовскому велосипеду (заляпанное грязью переднее колесо крутится у меня носом), на котором по-прежнему укреплено знамя толкователя снов, и под злобные крики бросают в Янцзы. Река бурная и темная, я иду ко дну, а там колышутся какие-то листья (вернее, трава или водоросли). Черная вода сначала становится изумрудно-зеленой, потом тускнеет и, наконец, приобретает оливковый цвет. Древко сломалось, знамя покружило у меня над головой и, мерно покачиваясь, уплыло вдаль.

Среда, 28 июня

Всю дорогу до рынка прислуги, долгую и утомительную, странный сон не шел у меня из головы. Я пытался разобраться в нем: если первую часть, то есть собрание, можно отнести, так сказать, к судебно-процессуальной категории (вспомни, Мо, знаменитое начало "Процесса" Кафки, самую жуткую во всей мировой литературе фразу: "Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест"[1]), то вторая, когда я тонул, согласно неумолимой логике и хронологии, должна означать приговор. Не надо быть психоаналитиком, чтобы уразуметь символ грозной опасности, витающей над моей головой, подстерегающей меня катастрофы, и я вполне отчетливо видел, как полицейская леди приставляет дуло к виску бедного толкователя снов. Знак Судьбы. Я пытался прогнать тревогу, пожимая плечами — жест внутреннего подчинения неизбежному, — но чувствовал, что рубашка на мне стала влажной от холодного пота.

И все же верилось не до конца. Что-то удерживало меня от полного отчаяния и искушения отступиться от своей цели. В голове шла ожесточенная борьба между здравым смыслом, страхом и рекомендациями моих высокочтимых учителей. Наконец, когда я дошел до реки и ждал моторку, мне на ум пришла одна фраза из Юнга. Вот оно, настоящее озарение! Сновидение стало для меня кристально ясным: суд означал, что я что-то скрываю (свой замысел? свой план? свою любовь?), ну, а в эпизоде, где я тонул, главную роль играет вода, а она, по Юнгу, есть не что иное, как еще первобытный символ пусть прихотливых, но плодотворных сил. Не помню сейчас названия книги, но я бы легко нашел ее в библиотеке любого французского университета. Неожиданный поворот так обрадовал меня, что я достал термос и отхлебнул несколько глотков зеленого чая, как будто это было отменное виски. Потом снял туфли, связал их шнурками и повесил на руль велосипеда, закатал брюки, вошел в воду, а сам велосипед взял на плечи. Туфли болтались на шнурках. Я сделал несколько неловких шагов к подошедшей моторке и переступил через борт. На душе было легко и весело, я плыл и с удовольствием смотрел по сторонам. Пышные облака дрейфовали по небу и

1. Перевод Р. Райт-Ковалевой.

растворялись в синеве. Лодка плясала по волнам, вода плескалась и пела, наполняя меня новыми силами.

"Спасибо судье Ди, — думал я. — Благодаря ему я прикоснулся к сокровенным глубинам жизни".

Такого приема, какой устроили мне на улице Большого Скачка, я никак не ждал. Только я появился, как навстречу мне устремилась лавина радостно возбужденных женщин, они верещали, как сверчки, трепыхались, как бабочки. Старые и новые поклонницы облепили меня и зашептали мне в уши: "Леди Тэтчер охромела! Вчера вечером выходила из лодки и вывихнула левую лодыжку!"

Четверг, 29 июня

Ни вчера, ни сегодня рябая леди, вопреки обыкновению, не показывалась. Причина ее травмы пока неясна. Не исключено, что сработал психологический закон, который я называю внушением наоборот: чем больше человек, которому внушили страх перед какой-нибудь опасностью, старается от нее уберечься, тем неизбежнее она его настигает. И никакого ясновидения в том смысле, как это понимают в народе, тут нет.

Так или иначе, но все два дня я был окружен ореолом славы, и клиентура моя значительно увеличилась. Всем вдруг стали сниться сны, и все бросились рассказывать их мне. Многие ухитрялись увидеть нечто, требующее толкования, прикорнув ненадолго посреди дня, после наспех проглоченного бутерброда, тут же, посреди улочки. Лучше всего было то, что у меня прибавилось контактов с молоденькими кандидатками в горничные. (Охотник за девственницами хищно вглядывался в лица: кто сгодится в жертву судье Ди?)

Я понимал теперь, какое чисто физическое наслаждение испытывает ботаник, втыкая лопату в почву неизведанного края. Забывая о своей прямой задаче — описывать новые растения, — он то упивается необычными пряными ароматами, в которых сладость мешается с горечью, то восхищается необыкновенными формами и красками. Я едва мог удержать в памяти все обилие причудливых предметов, которые фигурировали в сновидениях моих юных клиенток: зеркало, железная дверь, дверь из крепкого дерева, ржавый перстень, заляпанное соевым соусом меню, перламутровый флакончик, еще один флакончик — из матового стекла, длинное мыльце в черной коробочке, крутящийся поднос с губной помадой в витрине магазина, рухнувший мост, выбитые в скале ступеньки, которые крошатся и проваливаются под ногами, раздавленный кусочек угля, падение с велосипеда, у которого было седло с разноцветной бахромой, старинный пояс, увязающие в глине красные лакированные босоножки... Нищим девушкам, в основном приехавшим из горных деревушек, никогда не снились куклы, плюшевые мишки или слоники и уж тем более белые или бледно-розовые подвенечные платья.

— Мне знаете что снилось... (Хихиканье.) Мне часто кино снится. (Хихиканье.) Как будто я играю в фильме. Каком? Я уж не помню. Какая сцена? Погодите. Ну, вот, например, снилось, как будто я по ходу действия должна с кем-то поцеловаться... и рядом еще кто-то целуется... Мне ужасно стыдно. Но я знаю, что это все только снится... сама сплю, а все равно знаю. Понимаете? Так и думаю: это сон, — и остаюсь во сне...

Девчушке было лет шестнадцать. Совсем еще плоскогрудая, босоногая, зато с блестящим гребешком в волосах. (Лежа на моей бамбуковой кушетке, она все время почесывала левой пяткой забрызганную грязью правую голень.) Я вспомнил, что видел ее дня два назад на берегу реки — она громко ругалась с товарками. Пока она говорила, я любовался ее изящными бедрами, которые еле-еле прикрывала короткая юбчонка. Кожа была покрыта, "точно шкурка у персика, легким прозрачным пушком", который воспевали поэты эпохи Тан. Мне показалось, что это должен быть несомненный признак девственности. Готовый прослезиться от волнения, я спросил:

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— Неправда, ну да все равно. Мне надо кое-что уточнить. Значит, ты видела во сне, как кто-то целуется. А у тебя самой уже есть такой опыт?

— Вы говорите как учитель.

— У меня мать почти учительница. Но ответь мне. Это важно для толкования сна. Ты с кем-нибудь целовалась?

— Ой, как стыдно! В жизни никогда. Но однажды мне снилось, что я смотрю по телевизору фильм и сама же в нем играю. Там один парень, известный киноактер, хотел меня поцеловать. Дело было ночью, на мосту. Он наклонился ко мне, почти прикоснулся губами к моим, но тут я проснулась.

— Прекрасно, милая, поздравляю! Твой сон предвещает перемены к лучшему.

— Вы думаете? Я получу работу?

— Больше чем работу, вот увидишь!

Услышав такое, обступившие нас женщины охнули от изумления и зависти. Я решил на этом завершить сеанс, а попозже переговорить с девушкой еще разок наедине. На кушетке устроилась другая клиентка, за ней еще и еще, некоторые вымогали счастливые посулы для себя тоже, когда же я обслужил последнюю, киносновидицы уже не было.

Пятница, 30 июня

Проснулся одетым и даже в ботинках, как шахматный гроссмейстер, который всю ночь разрабатывал наступательную комбинацию. Брюки и рубашка оказались безбожно измятыми, ясно, что надо переодеваться. Я перерыл весь шкаф и мало того, что не нашел никакой приличной одежды, так еще нечаянно засунул палец между дверцами и прищемил до крови. На мои вопли прибежала матушка. Оказалось, благодаря некстати обуявшей ее заботливости, все три пары моих брюк как раз сейчас прокручиваются в стиральной машине. Пришлось дожидаться конца цикла. Чуть не рыча от злости, в одних трусах, я метался по убогой душной гостиной и все время натыкался на зеркало, безжалостно являвшее моему взгляду неприятного хлюпика с намечающимся брюшком. Кончилось тем, что я задел стоявшую на столе фаянсовую тарелку, она упала и разбилась вдребезги.

Наконец я нацепил влажные брюки, вскочил на велосипед и вылетел из дома, позабыв про мусор, который матушка велела вынести на помойку. Вспомнил же о нем только тогда, когда остановился на перекрестке перед пожилым регулировщиком с повязкой службы уличного

движения и флажком в руке. Он покрутил носом, принюхался и заметил белый пластиковый пакет, болтавшийся у меня на руле. Из пакета капала липкая черная жидкость. Регулировщик подозрительно покосился на нее, подошел поближе и взялся рукой за удочку на багажнике. К счастью, загорелся зеленый свет, я налег на педали и рванул вперед.

Доехав почти до самой окраины, я наконец остановился на минутку и выкинул пакет. Дул сильный встречный ветер, аж свистело в ушах, поэтому поднимать флаг я не стал. Ехал довольный, спокойный, уверенный в себе. Мне даже хотелось слегка притормозить, чтобы насмотреться, возможно в последний раз, на благостный пейзаж Южного Китая: туманные холмы на горизонте, рисовые поля вдоль дороги, прячущиеся в бамбуковых рощах вдоль Янцзы деревушки. Приятно было подумать, что вот сейчас на рынке я встречусь с девушкой — на самом деле девушкой, без всякого сомнения! — которой снилось кино, и если она согласится на мое предложение, моим психоаналитическим вылазкам конец! А флаг я сохраню как драгоценную реликвию — доказательство моей пламенной, вечной любви к Горе Старой Луны.

Моторка уже поджидала меня, я влез в нее с велосипедом вместе. Перевозчик молча сунул мне конверт.

Я удивился:

— Это что, мне письмо? Кто тебе дал?

— Начальница.

Лодка отчалила и на малой скорости поплыла к другому берегу, к рынку прислуги. Я распечатал конверт, стал читать письмо. И обомлел с первых же строк. Судьба опять решила сыграть со мной дурную шутку.

Меня передернуло от омерзения. Руки противно тряслись. Не дочитав до конца, я порвал письмо и выкинул в реку.

— Разворачивайся, я туда больше не поеду, — сказал я лодочнику.

Он замедлил ход, выключил мотор и застыл, держась за руль и уставившись на меня.

— В чем дело? Поворачивай!

— А ты заплатишь за переправу в оба конца?

Я кивнул. Помедлив, я отцепил флаг с древнекитайским иероглифом "сон". И, при всем драматизме ситуации, чуть не рассмеялся. Потом размахнулся и бросил полотнище в воду. Оно спланировало на темно-бурые волны, попало в водоворот, крутанулось и пошло ко дну.

Это проклятое письмо, написанное почерком прилежной школьницы, шариковой ручкой с жирной, пачкающей бумагу пастой, так и стоит у меня перед глазами. Начало его я помню наизусть: "Никогда не поверила бы, что в моем возрасте я еще могу влюбиться. Но это так! Знайте же, что мне сроду не снилось никаких собачьих чучел. И первый, и второй раз я все наврала. Придумала эти сны и попросила вас разгадать их, чтобы все поверили в ваши способности. Вы тронуты? Дайте мне знать. Любовь моя, давайте поженимся и будем вдвоем владеть всей улицей Большого Скачка. Если же вы не хотите, пожалуйста, уезжайте и никогда больше сюда не являйтесь. Оставьте меня в покое". (Дальше на двух страницах перечислялись сведения о ее детях, внуках и родителях...)

Жениться на рябой старухе, у которой уже и внуки есть, — лучше утопиться в Янцзы! Господи! Да за что мне такая честь, такая любовь, такое наказание! Что самое смешное, первый раз в моей жизни женщина предлагала мне стать ее мужем. Но какая женщина!

Письмо леди Тэтчер делало продолжение практики толкователя снов на рынке прислуги совершенно невозможным. Часов в шесть вечера следующего дня Мо, единственный на весь Китай психоаналитик, забившись в уголок своей комнаты в родительском доме, готовился к новому путешествию — в островную провинцию Хайнань. Правительство объявило ее свободной экономической зоной, а народ прозвал "островом удовольствий", потому что сюда стекались девушки со всей страны, и расположен был этот остров за тысячу километров от родного города нашего героя, судьи Ди и тюрьмы, где томилась Гора Старой Луны.

В голубой чемодан фирмы "Делси" Мо уложил портативный радиоприемник, прозрачный дождевик, солнечные очки (вернее, скрепленные тонкой металлической проволокой темные стекла, которые надевались поверх обычных очков, как окуляры, — чудо французской оптики), одежду — майки, шорты, несколько рубашек, пару летних сандалет и шлепанцы на тонких, как лист картона, подметках. Потом наступил черед самых главных сокровищ — любимых книг, неизменных спутников во всех странствиях (ежедневная пища для ума, без которой я не могу обойтись и суток). Друг за другом проследовали в чемодан: толстый Ларусс в переплете с золотыми буквами; двухтомный "Словарь психоанализа" весом с добрых пять килограммов, в футляре; "Моя жизнь и психоанализ" Фрейда в переводе Мари Бонапарт, одобренном самим Фрейдом, одно из первых французских изданий 1928 г., издательство "Галлимар"; одна книга из серии "Изучение подсознания" под руководством Ж.-Б. Понталиса; "Отчет о психоаналитическом лечении маленькой девочки"[1], переведенный женой Мальро (описание того, как, по словам Фрейда, "тайна половой жизни сначала смутно брезжит в детской душе, а затем полностью овладевает ею"); "Ниспровержение субъекта и диалектика желания" Лакана, лучший, по мнению Мо, труд о женском либидо; "Тайна золотого цветка", древнекитайский трактат по алхимии, который на протяжении всей жизни изучал Юнг. Пока Мо на минуту замешкался, выбирая, что взять: "Случай навязчивого невроза с преждевременной эякуляцией" Андреаса Эмбрикоса, поэта и первого греческого психоаналитика, или "Печальные тропики" Клода Леви-Стросса, — из стопки книг выскользнула "Сексуальная жизнь в древнем Китае" Роберта ван Гулика, упала на вытертый ковер и раскрылась на странице с выполненной пятьсот лет тому назад ксилографией, на которой были изображены четыре раздевающиеся женщины. Две уже сняли халаты, третья, приподняв полусогнутую ногу, снимала шелковые штаны с вышитыми мелкими цветочками. Мо задержал взгляд на прелестном затылке четвертой женщины, которая собиралась распустить нагрудную перевязь. И тут же достал из ящика стола карточку и записал ссылку: ему пришло в голову, что по возвращении с Хайнаня хорошо бы сходить в библиотеку и проверить, не первое ли это изображение китайского предмета туалета, сходного с европейским бюстгальтером.

Перебирая и упаковывая эти изысканные яства для души, Мо получал чистейшее, невиннейшее наслаждение. И, подобно мальчишке-сластене, не мог устоять, чтобы не полакомиться страничкой-другой из того, что приходилось оставить дома. Отхватив кусочек из книги, он

1. Книга классика психоанализа Д. Винникотта (1896–1971).

закрывал ее и поглаживал корешок кончиками пальцев, думая уже о чем-то другом. Иногда ему вдруг казалось, что такую мысль он встречал прежде, и в поисках источника он принимался лихорадочно перелистывать тысячи страниц конспектов. Если же долго ничего не находил, то проверял новую догадку: наверное, нечто подобное он слышал на лекциях от преподавателя. Как это проверить? Он залезал в картонные коробки времен своей молодости, когда они с Горой Старой Луны учились в университете.

Наконец, сидя на кровати рядом с раскрытым чемоданом, он опознал последнюю цитату. Ширмы на окнах были опущены, в комнате горели пять или шесть лампочек. Сверяясь с заранее составленным списком, он прибавил к уложенным вещам термос для чая, баночку жгучего красного перца, чтобы добавлять в еду, еще одну баночку маринованного зеленого перца к завтраку, несколько банок консервов, много пачек лапши быстрого приготовления, расческу с парой выломанных зубчиков, чистые тетради для записей, три-четыре шариковые ручки с корпусом под металл, несколько цветных карандашей... На дне ящика ему попалась хорошенькая, хотя чуть заржавевшая точилка, блестевшая в темноте как золото. Он испытал ее, с удовольствием глядя, как с тихим скрежетом выползает и повисает в воздухе тонкая спираль карандашной стружки.

Вдруг Мо откинулся назад, закрыл глаза и застыл, прислонившись затылком к стене в такой позе, словно слушал музыку; на самом же деле у него перехватило дух и резким спазмом свело желудок (может, от запаха свинцового грифеля?).

"...Мне сроду не снилось никаких собачьих чучел. И в первый, и во второй раз я все наврала..."

Строки из письма рябой леди сами собой возникли в памяти.

Мо встал и пошел в ванную. Не включая света, снял с себя все кроме очков. Белая ванна неясно мерцала в полумраке. Он пустил воду. Из гудящего на разные лады крана вырывалась горячая струя, от которой шел пар. Мо растянулся в ванне, очки его уплыли. Он был похож на затонувший корабль. Чувство унижения, которое заставила его пережить начальница рыночной полиции, нахлынуло с новой силой. Его едва не стошнило.

Могло ли у меня зародиться хоть малейшее сомнение, когда она рассказывала свои сны? Да нет! Хотя... если вспомнить, как она лунатически смотрела куда-то вверх, сбивчиво, еле слышно бормотала... Мо терзала мысль, что психоанализ, это совершеннейшее оружие мысли, позволяющее проникать в глубины человеческих душ, пасовал перед примитивной, тупой, невежественной коммунисткой, которая сначала за милую душу выдумала сновидения, а потом еще и симулировала предсказанные толкователем-специалистом последствия! Лежа по горло в горячей воде, Мо проклинал эту лгунью, эту мнимую хромую, эту чертову леди Тэтчер. Снова подступила тошнота. Вода полилась через край. Мо встрепенулся, вылез. "Нет, я этого так не оставлю!" — подумал он, наскоро вытерся и вернулся в комнату. Он сел за стол, положил перед собой лист бумаги, взял ручку, отвинтил колпачок и стал набрасывать черновик письма.

"Госпожа начальница полицейского участка! — почерк Мо был более разборчивым, но и более отрывистым, чем обычно. — Имею честь сооб-

щить Вам, что истины, открытые психоанализом, распространяются на всех, включая законных представителей власти и блюстителей общественного порядка. Позвольте сказать Вам, что, с психоаналитической точки зрения, сновидение, которое не имело места, а было придумано, ничем не отличается от того, которое на самом деле явилось бы Вам в бессознательном состоянии, поскольку бессознательное в данном случае проявилось в работе Вашего ума. Психически это абсолютно равноценные явления, которые одинаково свидетельствуют о вашей тревожности, подавленных желаниях, комплексах, о том, как грязна, гнусна, стерильна и инфантильна ваша душа..."

Тут перед мысленным взором Мо, опять-таки сам собой, возник образ юной девушки, которой снилось кино и которая чрезвычайно привлекала его в сексуальном и профессиональном аспектах. Он вспомнил, с каким выражением лица рассказывала она о том, как снималась в фильме и ждала поцелуя. С нежностью и горечью снова увидел ее босые ноги и то, как она потирала левой пяткой заляпанную грязью правую лодыжку. Какой яркий случай! Настоящая девственница, восточная Алиса в Стране киночудес! Подумать только — я был так близок к цели!

Письмо к леди Тэтчер осталось недописанным — Мо побоялся, как бы она ему не ответила и все это не вылилось в длинную и вздорную полемику о значении вымышленного сна или в бесконечную переписку. Черновик же он спрятал в одну из папок, которую также уложил в чемодан.

А спустя несколько дней это письмо пропало в ночном поезде по дороге на остров Хайнань, вместе с голубым чемоданом фирмы "Делси", хоть и привязанным железной цепочкой в розовой пластиковой трубочке. Это случилось 6 июля.

Что было дальше, читателю уже известно: несколько недель Мо без всякого результата продолжал поиски на этом огромном острове, пока случайно, беседуя по телефону со старинной знакомой, которая когда-то была его соседкой в Чэнду, не нашел наконец девушку (если можно так назвать бальзамировщицу трупов не первой молодости), не потерявшую невинность.

Вторая часть
События одной ночи

1
Ночной фургон

Примерно через неделю после возвращения Мо с Хайнаня в квартире его родителей около часа ночи зазвонил телефон.

Голос бывшей соседки, Бальзамировщицы, на другом конце провода произнес:

— Он умер. Я только что от него.

— Кто умер?

— Судья Ди. Все кончено. Какой кошмар!

(Единственное, что почувствовал Мо в то мгновенье, это охвативший все тело озноб. Холодный пот прошиб его. "Судья Ди? – с ужасом подумал он. – Наверно, не выдержало сердце, и он умер в постели, во время любовного свидания, которое я ему устроил. И теперь меня арестуют – уже не за подкуп должностного лица, а как соучастника предумышленного убийства. Так и будет. Господи, где же я читал что-то похожее? В каком-то романе, нет, в рассказе. Только не помню ни автора, ни названия. Что же делать? Как спасти Гору Старой Луны? Нет, сейчас надо выслушать Бальзамировщицу. Вот только голова у меня не варит. От каждого слова мороз по коже, но смысл того, что она говорит, уходит, как вода в песок, теряется где-то в извилинах мозга, слова кувыркаются, колотят изнутри по барабанным перепонкам, по черепу, бултыхаются в крови, вызывают какую-то странную смесь облегчения, оттого что с невыполнимой задачей покончено, и темного страха перед арестом. А внутренний голос твердит: иди сдавайся в полицию!")

– Послушай, как было дело, – продолжала Бальзамировщица. – Ты сказал, что за мной придут в восемь вечера, а он явился в семь, прямо в морг. Какой-то тип. Представился шестым секретарем судьи Ди. Такой нервный коротышка. Сказал, что надо немедленно идти, судья торопится. Я не успела ни переодеться, ни помыться. Ну и ладно, думаю! Старый судья небось и не ждет звезду экрана. Чем раньше все произойдет, тем скорее Мо получит, что ему нужно. Пошла с этим секретарем как была. Только подвела губы французской помадой "Шанель", которую ты мне подарил на день рождения. Вышли мы из морга, а на улице секретарь никак не мог поймать такси. Минут десять что-то кричал в мобильник, но не про такси. Видно было, что он страшно трусит. И перед кем дрожит-то? Перед судьей Ди. Жалкая шавка! Он только что вернулся из Штатов – учился там на юриста – и всячески старался это показать. Кстати и некстати вставлял английские словечки. Противно слушать. Тут я и предложила ему взять один из наших служебных фургонов, ну, знаешь, в которых мы покойников перевозим. В шутку, конечно. Один такой как раз у ворот стоял. Я показываю на него: вон, говорю, почти такой же, как ваши бронированные грузовики, на которых возят приговоренных к смерти, и фары такие же – отдельно посаженные, похожие на вылезшие из орбит глаза. Старый такой фургончик, с металлической перегородкой посреди ветрового стекла. Американец этот липовый так и опешил. Давай опять звонить в гостиницу, где судья играл с приятелями в маджонг, спросить разрешения, но ему сказали, что судья уже поехал домой. Он звонит на виллу, а там почему-то не отвечают. А уже меж тем полвосьмого. Тогда он решил погадать – достал из кармана монетку в пять юаней и подбросил. Выпала решка – мы сели в фургон и поехали. Сейчас, как вспомню, делается не по себе. Перст судьбы! Ты только подумай, если бы выпал орел, или подъехало такси, или я бы просто не сказала ему про фургон и что у меня есть от него ключ, судья Ди, может, остался бы в живых. Выходит, это я виновата. Но влипла-то по твоей милости!

(Голос Бальзамировщицы жужжал и жужжал в трубке. И вдруг на этом фоне в сознании перепуганного Мо всплыла непрошеная ассоциация: кинозал и мокрые штаны. Пятидесятые годы, частный просмотр в

Кремле — Сталину крутят фильм "Ленин в Октябре". Режиссер сидит несколькими рядами дальше. И вот видит в потемках, как маленький Вождь Народов наклоняется к соседу и что-то ему шепчет. Как потом выяснилось, он сказал: "Надо послать телеграмму такому-то". Но режиссеру со страху послышалось: "Дерьмовый фильм". В зале и так было темно, а у бедняги совсем почернело в глазах. Он потерял сознание и съехал с кресла на пол. Подбежали охранники, вытащили его из зала, и тут обнаружилось, что у него мокрые штаны — обмочился со страху. Мо удивился, что ему пришел на ум этот анекдотический случай, и порадовался, что сам при известии о смерти судьи Ди только покрылся холодным потом.)

— Веду я, значит, фургон, и теперь уже сама помрачнела и занервничала. Как подумаю, что ждет меня на вилле, — кровь в жилах стынет. Ты мне всего не объяснил, но я не такая идиотка, чтоб не понять. Вообще, Мо, я хотела тебе сказать...

— Ну говори.

— Я была на тебя очень зла. Ты представить себе не можешь, как я тебя ненавидела всю дорогу. Ты жестокий, безжалостный человек! Ради собственного счастья готов на все.

— Не знаю, что тебе возразить. Может, ты и права.

— Мерзавец ты! Ладно, слушай дальше. Пока мы ехали, секретарь оклемался. Без конца командовал, давал мне указания, как ехать, рассказывал всякие пакости про судью. Знаешь, сколько времени судья Ди играл в маджонг? Угадай.

— Перед тем, как вернулся к себе на виллу?

— Ну да.

— Наверно, сутки.

— Трое суток: три дня и три ночи! Как засел с партнерами в гостиничном номере с вечера четверга, так и не отходил от стола. В "Холидей-Инн" — ты, может, не знаешь, это пятизвездочный отель в центре города, с греческими колоннами под мрамор. Роскошный, с двумя крыльями по двадцать пять этажей, а посередине — деревья, ухоженный газон и фонтан. Идеально чистый, но холодный, бездушный — достаточно взглянуть на стеклянные двери-турникеты. А уж внутри, секретарь говорит, стойки на этажах из черного гранита, а лифты отделаны бронзовой чеканкой. Но самое потрясающее, по его словам, это когда подходишь к номеру. На дверях ничего не указано, а с потолка льется такой рассеянный свет и на мягком бежевом ковре черными тенями вырисовываются цифры. Как в детективном фильме. Он говорит, даже в Америке ничего подобного не видел. Года три-четыре назад, когда отель только открылся, судья Ди был среди почетных гостей. По этому случаю он сутки просидел за маджонгом, не пил не ел. Он сумасшедший, буйно помешанный! Все хочет так же возбудиться, как бывало раньше, когда он направлял винтовку на осужденного и держал палец на спуске. Ты это знал и бросил меня на растерзание этому извращенцу.

(Не отнимая трубки от уха, Мо шарил в темноте и никак не мог нащупать выключатель лампы в изголовье кровати. Он натянул брюки, надел пиджак. Надо идти сдаваться в полицию или, во всяком случае, приготовиться к этому. Рубашка пропиталась потом. Может, сменить ее? Что-

то выпало из кармана пиджака на пол. В эту самую секунду он вспомнил: Зингер! Автор рассказа, в котором описывается ситуация, похожая на его нынешнюю, — Исаак Башевис Зингер. Правда, имен действующих лиц Мо не помнил — только сюжет в общих чертах. Действие происходит в одной из коммунистических стран. В Польше? Или в Венгрии? Не важно. Герой, обаятельный молодой человек, прожигатель жизни, легко завоевывает женские сердца. Однажды, из жалости, он решает переспать с пятидесятипятилетней школьной учительницей, тощей как спичка, болезненной и хрупкой, страстно его обожавшей. До полуночи она ждала, пока он вернется домой, а дождавшись, достала из сумочки пижаму и шлепанцы, приняла душ и легла в постель рядом с ним. Но в разгар соития тело ее вдруг одеревенело, она забилась в судорогах и умерла. Несчастный соблазнитель не знает, что делать, и боится, как бы его не арестовали по обвинению в убийстве. Действительно похоже. Дальше, помнилось Мо, герой ищет способ избавиться от трупа и тащит его по пустынным ночным улицам большого города. Он слышит какие-то шорохи, шум шагов, проезжают полицейские патрульные машины, попадаются навстречу бродяги, пьяницы, проститутки... Наконец он добирается до пруда, где только что растаял лед, какая-то собака роется в мусорных баках на берегу... "Вот что надо сделать — избавиться от трупа судьи Ди", — подумал Мо, тяжело дыша в темноте. А Бальзамировщица говорит без умолку — видимо, ей надо выговориться, чтобы не сойти с ума, после того как она держала в объятиях мертвеца.)

— Я сказала, что страшно злилась на тебя, пока сидела за рулем фургона. Это не совсем так. Скорее я пыталась понять, не схожу ли с ума, что собираюсь в сорок лет провести свою "первую ночь" с судьей, помешанным на маджонге? Как меня угораздило ввязаться в эту бредовую историю? Я не впала в истерику, не стала выть и кричать, но была во власти галлюцинаций. Свет фонарей казался каким-то неестественно желтым, призрачным. Сигналы встречных автомобилей звучали словно бы издалека, как в тумане. Точнее, мне казалось, что все происходящее уже было со мной когда-то раньше, во сне. Да я и сейчас еще не уверена, что не сплю. В таком безумном, лунатическом оцепенении я вела фургон, а шестой секретарь что-то без конца бубнил, настроение у него окончательно исправилось. Он показал мне трюк, который всегда пользуется успехом на вечеринках и который завоевал ему симпатию судьи Ди: как-то особенно причмокивая и прищелкивая языком, он имитировал звуки партии в маджонг на пикнике. Штука и правда изумительная, ничего не скажешь! Временами слышишь самый настоящий шум реки, потом постукивают косточки маджонга, тихонько складываются одна к одной, паузы сменяются бурным ликованием или мрачным отчаянием. Я прямо видела, как белые кости смешиваются, разлетаются, строятся в комбинации... Странно — глядя на этого паяца, я оттаяла. Напряжение еще оставалось, но не такое сильное. Как будто у тебя что-то жутко болело и тебе вкололи морфий. Причина боли не устраняется, зато какое облегчение!

(Куда же девать труп? В голове соучастника убийства мельтешили типичные кадры из фильмов. Сначала он увидел, как тяжелое тело летит в воду и медленно идет ко дну. Но вот развязывается веревка, которой

оно связано. Крыльями раскидываются полы судейского кителя, живот вздувается как мяч. Ноги, освободившись от пут, взбрыкивают (один башмак срывается и летит в грязь на берегу), но очень скоро замирают, костенеют. Густо-зеленая тина, листья, объедки, куски прогнившей коры, разный мусор — все сливается в какое-то мутное месиво. Судью Ди, застывшего в позе деревянного идола со скрещенными на груди руками, подхватывает течение и несет к опоре моста. Опора выдается вперед острым клином — здесь будет конец безумной траектории, конец бывшего элитного стрелка, фаната маджонга. Вот-вот его тело разобьется, разорвется на куски, но в последний момент его засасывает, как сухой лист, и закручивает водоворот, похожий на гигантский глаз циклопа. Нет, не заслуживает этот кровавый палач чистого водяного погребения по освященному веками тибетскому обычаю и не заслуживают такого надругательства воды Янцзы, от которых поднимались к небу древнейшие на земле молитвы. "Словесных волн размеренный поток в двойных надежных скрепах рифм". Кто это сказал? Джойс? Валери? Правильно ли я процитировал?)

— Я ехала позади какого-то грузовика, по дороге, которую знаю лет двадцать с лишним, но у меня было чувство, что я попала в незнакомый город и вряд ли найду обратный путь. Когда проезжали мимо базара, было видно, как мясники у себя в лавках рубят туши. Взлетающие топоры блестели под голыми электрическими лампочками. Бледно-желтое призрачное сияние окружало каждого рубщика. Глядя на них, я ощутила первые симптомы мигрени. Потом потянулась стена музыкальной школы. Кто-то, вернее всего студент, играл там, за стеной и за деревьями, на пианино. "Какая силища!" — воскликнул шестой секретарь судьи Ди. Он узнал Двадцать девятую сонату Бетховена, и в первый раз я почувствовала к нему уважение. А он, довольный случаем блеснуть своими музыкальными познаниями, стал рассказывать, как, живя в Америке, ночами напролет слушал радио. Полюбил джаз, потом фортепианную музыку. Я похвалила его вкус. Он поблагодарил и, проникшись ко мне доверием, признался, что принял там, в Америке, христианство. А я подумала: надо же, этот человек, который конвоирует меня, как полицейский конвоирует заключенного на суд или на казнь, оказывается, христианин. Это потрясло меня, и мне стало его жалко. Разоткровенничавшись, он рассказал, что у него еще в Америке развился геморрой, который теперь уже нельзя вылечить. Узлы разбухают, перегораживают кишку, а иногда лопаются, и начинается сильнейшее, похожее на менструальное, кровотечение. Здесь, в нашем городе, эти непредсказуемые приступы создают ему массу проблем. Из-за них он не может участвовать вместе с начальством в марафонских, длящихся несколько суток турнирах в маджонг. Ему не светит попасть в кружок приближенных к судье Ди лиц — тот подбирает сотрудников из числа партнеров по игре. Так что шестой секретарь может ставить крест на своей карьере.

Мы миновали завод и поехали по направлению к Южному мосту. Дорога была не такая тряская, как в те времена, когда будущий муж возил меня с работы домой на велосипеде. Проехали мимо того самого общественного туалета. Помнишь, я тебе говорила по телефону. Теперь на месте прежней развалюхи стоит домик с черепичной крышей и белыми кафельными стенами. Не могу тебе передать, как я ненавижу это место!

Там я первый раз услышала слово "гомосексуалист", и этот вонючий, мерзкий сортир накрепко связан с Цзянем, со мной, стал частью моей жизни. Я иногда думаю, где ж теперь, после смерти, он встречается со своими возлюбленными. И мне вдруг пришло в голову спросить своего конвоира – его зовут Лю: "Слушай, Лю, раз ты христианин, ты, наверное, изучал Библию и все прочее?" – "Что, – говорит он, – прочее?" – "Ну, – говорю, – например, что такое рай? Ты думал про него?" – "В каком смысле!" – "Как ты думаешь, есть в раю туалеты? И какие они, лучше, чем тут, или..." Он меня оборвал: "Тьфу! Делать мне, что ли, нечего, – думать про такие гадости!" Кажется, он жутко разозлился, я и не стала продолжать разговор. Молча крутила баранку. Но перед Народным парком он заговорил сам: "Понимаешь, я юрист и привык употреблять точные термины. Испражнения исходят из твоего тела. Тело же на тот свет не попадает. В рай возносится только душа. А души, как и ангелы, которые их окружают, не писают и не какают. Значит, сортиры им не нужны". – "Ну, а в аду они есть?" Он сказал, что не знает. И мы снова замолчали. В центре города я остановилась купить воды. А когда вернулась и мы снова тронулись, он сразу заговорил, как будто мой вопрос не давал ему покоя: "В Запретном городе[1] в Пекине сортиров не было". Я как-то растерялась и только спросила: "Да?" – "Да. Ты там была? Ну, значит, сама видела: ни в дворцовой канцелярии, ни во внутреннем императорском дворе, ни в покоях императрицы и наложниц, ни у евнухов – нигде никаких клозетов, как на небе!" – "А как же, – говорю, – они справляли нужду? В ведро?" Он снова рассердился: "Дура! Ведро – это ведро, а не клозет!"

(Правой рукой Мо держал трубку, а левой нащупывал точное место между лопатками, куда элитный стрелок всадит ему пулю – прямо в сердце. Ясно как дважды два: за подкуп должностного лица и соучастие в убийстве его приговорят к высшей мере. В одно прекрасное утро расстрельный взвод отвезет его на пустырь у Мельничного холма – знать, не случайно его туда занесло. Солдаты самого низшего ранга заранее, накануне выкопают яму. Его свяжут толстой веревкой, поставят на колени спиной к стреляющему, и тот в оптический прицел возьмет на мушку квадратик между большими и указательными пальцами. "Интересно, ты тоже обмочишь штаны, как тот русский режиссер?" – думал он, исследуя свою левую лопатку. Плоская остроконечная костяшка. Потом перебрался к позвоночнику. Где же она, роковая точка? Интересно, уцелеет или раскрошится грудная клетка, когда в спину врежется пуля? Пуля-убийца, безжалостная капля свинца. В народе ее называют "фисташкой". По форме, что ли, похожа? Он вдруг вспомнил, что за пулю надо платить. Когда-то давно он слышал, что родственникам казненного присылают за нее счет. А без квитанции об оплате не выдают тело для захоронения. Если жертве посчастливилось умереть с первого выстрела, оплачивать приходится только одну пулю – по тем временам семьдесят фэней в Чэнду, один юань в Пекине и юань двадцать в Шанхае. А сегодня небось обойдется в десяток, а то и два юаней. "Господи, – подумал Мо, – неужели моим родителям придется на старости лет тащиться к

1. Так называется обнесенная высокой каменной стеной территория императорского дворца в Пекине.

Мельничному холму и оплачивать расходы по моей казни? Какой ужас! Нет-нет, не бывать этому!")

– Ты был когда-нибудь у судьи Ди? Это довольно далеко. В десяти километрах к западу от Чэнду, по направлению к Вэньцзяну. Едешь вдоль Янцзы до озера Мечей. Знаешь, искусственное озеро в форме олимпийских колец, откуда поступает питьевая вода для всего района. Там отличная, хотя и узкая, дорога. Поднимаешься на лесистую гору, проезжаешь виллы нуворишей в западном стиле, с острыми крышами, освещенными верандами, длинными аркадами, статуями на ухоженных газонах и колокольнями с куполами-луковицами, как у русских церквей. Сплошной китч, безвкусица, один дом уродливее другого. Жуть! Мне снова показалось, что все это сон. Несколько раз я чуть не поддалась желанию развернуться и поехать назад, мигрень все усиливалась, боль переползла из шеи в висок. Жестокий приступ был обеспечен, причем очень скоро.

Вилла судьи Ди в самой середине поселка, ее окружает двухметровая стена. Перед входом секретарь вышел из фургона, позвонил и что-то сказал в домофон. Вспыхнул прожектор, луч ослепил меня. Медленно, с театральной помпезностью открылись тяжелые железные ворота.

Самого дома я пока не видела и спросила конвоира, какой он – тоже в западном стиле? Он ответил, что это двухэтажный особняк. Мы проехали по темной аллее, потом через бамбуковую рощу, повернули раз, другой, третий, почти под прямым углом. Фонари не горели. И вдруг в свете фар возник какой-то странный силуэт, какое-то фантастическое чудовище, не то дракон, не то змей – плоская голова раскачивалась в метре от земли. Мне почудилась раскрытая пасть со страшными зубами, и я закричала от страха. Секретарь рассмеялся и сказал, что это редкая хризантема, которую кто-то подарил судье. Растение требовало особого ухода, и к нему приставили четверых садовников, которые за ней следили, обрезали, поливали водой особого, секретного состава – все для того, чтобы сохранить такой драконий вид. Цветок стоил огромных денег. Я вышла из фургона, чтобы разглядеть его поближе. Действительно хризантема, но с очень широкими листьями и вывернутыми наизнанку лепестками, похожими на закрученные спиралью чешуйки, из которых образовывался такой столбик. Я сорвала несколько штучек и размяла в ладонях – у них оказался сильный аромат. Рядом росло еще несколько таких же растений, на одном цветы были в форме лошадиных голов, на других – не пойми чего.

За следующим поворотом начался, как сказал секретарь, пионовый сад. Лучи фар скользили по низкой бамбуковой ограде, но для пионов сейчас не сезон, поэтому смотреть было не на что. Но когда начался сад карликовых деревьев, я опять испугалась. По спине поползли мурашки. Ты не можешь себе представить, сколько их там было, они занимали целый склон, снизу доверху. Скрюченные, скорченные, с щетинистыми верхушками, какое-то сборище уродцев. Глядя на них, я вспомнила заспиртованных младенцев-монстров в музейных склянках. Некоторые были подстрижены и имели идеально симметричные формы. Вот уж чего терпеть не могу! Полное извращение природы! На этот раз у меня не возникло желания выйти. Наоборот, я прибавила скорость. Но зеленых карликов было слишком много, так сразу не про-

едешь: горбатые тисы, изображающие лиры и вазы; заросли аконита с ядовитыми шипами; согнутые в три погибели индийские смоковницы, у которых каждая ветка была притянута к земле корнями и давала новое деревце; вязы с черными стволами; мне даже попалась на глаза одна мини-папайя: гладкий, похожий на колонну ствол, утыканный крошечными зелеными дыньками и с зонтиком из зеленых листьев наверху. А еще смехотворно ужатые японские софоры, липы, тюльпанные и гвоздичные деревья. Легче всего было узнать кипарисы — даже самые маленькие сохраняли пирамидальную форму. Про многие же другие растения я не могла бы точно сказать, как они называются, настолько их изуродовали. Например, одно, судя по серой коре, я бы приняла за бук, но полной уверенности не было. Та же история с магнолиями, дубами, ююбами, остролистами.

Наконец на фоне темного неба вырисовался силуэт судейской виллы. Я уж думала, что полоса бонсай осталась позади, но с нового пригорка на нас, как банда дикарей в головных уборах из зеленых перьев, обрушились карликовые лиственницы. Я опустила стекло и вдохнула поглубже — в воздухе пахло смолой и ладаном.

И тут произошло что-то странное. Неожиданно нам перегородил дорогу полицейский. Он указал, где поставить фургон, и велел подождать. Шестой секретарь сначала растерялся, а потом впал в ярость. Вытащил из кармана свое удостоверение и стал размахивать им под носом у полицейского, пока тот не уступил и не разрешил ему — но только ему одному! — пройти дальше к дому пешком.

Мне эта заминка была на руку. Я осталась сидеть за рулем, как будто приехала раньше времени на свидание. И разглядывала через лобовое стекло стоявший по ту сторону покрытого кувшинками пруда дом, который должен был изменить мою судьбу, где я должна была лишиться девственности. Это было кирпичное здание смешанного, китайско-западного стиля, над входом увитый плющом навес, плети уходили вверх по стене и цеплялись за балкон второго этажа. Сквозь решетку были видны открытые настежь окна, освещенные красными фонарями в форме бочонков, как на празднике. За окнами мелькали, перемещаясь из комнаты в комнату, человеческие фигурки.

Секретарь все не возвращался. Тогда я медленно-медленно, до невозможности растягивая каждое движение, спустилась из кабины на землю. Полицейский смотрел на меня, не говоря ни слова. Я стала прохаживаться вокруг фургона. Под ногами хрустели сосновые шишки и сухие стручки дрока. Передо мной была рощица эвкалиптов, обожаю этот запах, особенно смешанный с ароматом дрока, напоминающим горький миндаль. Я снова посмотрела на окна с красными фонарями — в них продолжали сновать люди. Судя по всему, они были чем-то встревожены: переговаривались, размахивая руками, но голоса их, приглушенные густой листвой и расстоянием, доносились до меня еле-еле. Я впивалась глазами в эту картинку, как мы часто делаем, когда бессознательно ощущаем, что на нас надвигается что-то страшное, опасное, угрожающее. Мигрень прошла. Еще одна машина подъехала по аллее. Полицейский остановил ее тоже — я слышала, как заскрипели тормоза. Это была карета "скорой помощи", лучи мигалки полосами расчерчивали стволы деревьев. Наконец бегом примчался мой конвоир-секретарь. Судья Ди умер. Трех суток непрерывной игры в маджонг ему показалось мало, он

собрал весь обслуживающий персонал, и они сыграли еще пять партий, а на шестой он вдруг обмяк и сполз с кресла, мертвый.

Ну, Мо, что ты на это скажешь? Невероятно! Ты рад? Я тоже. Я сейчас на работе — его надо бальзамировать сегодня. До утра, до прихода родственников и большого начальства, все должно быть закончено... Ладно, жду... Пока... Нет, постой, захвати мне что-нибудь поесть, я проголодалась как собака.

2
В *два часа ночи*

Мо толкнул дверь служебного входа, и в нос ему ударил запах разложения. С чем сравнить его: с конским навозом? С перегнившей лимонной мятой? С камфарой? С ладаном? Нет, то был резкий запах, обжигавший нос, как обжигает рот острый перец. Что же это? Мирра! Это Бальзамировщица жжет ароматические палочки, чтобы перебить запах формалина, от которого новичку может стать дурно.

—Ты одна? — спросил он. — Больше никого нет? И ты не боишься?

— Боюсь, конечно. Особенно когда задержишься допоздна, вот как сейчас, — ответила Бальзамировщица. Она была в рабочей одежде и заканчивала приготовления. Руки обтягивали длинные, по локоть, резиновые перчатки.

— Я забыл поздороваться. Добрый вечер!

— Разве еще вечер?

— Скоро уже утро.

Мо представлял себе бальзамировочный зал совсем иначе. Белым, голым, пустым. На самом деле ничего подобного — палата в психушке была куда мрачнее. Под потолком горели пять-шесть не слишком ярких ламп. Стены закрыты огромными полотняными шторами, кое-где сверкали какие-то хромированные детали, медные задвижки. Похоже на корабельную каюту, трюм или на подводную лодку. Это впечатление еще усиливалось от шума воды, льющейся в ванну, которая поблескивала в темном углу. Мо вдруг вспомнил свой сон: как будто он очутился в затопленном доме. Черепичная крыша облеплена белыми ракушками; на резных дверях и подоконниках кишат мелкие красные крабы, яркими огоньками расцвечивая весь дом.

И хотя Мо ступал по черным и белым плиткам похожего на огромную шахматную доску пола, он не удивился бы, если б услышал хруст крабьих панцирей под ногами. Сам воздух вокруг казался глубоководно-синим. Он подошел к Бальзамировщице и спросил:

— Куда положить еду? Ночь, все закрыто, я нашел только одну лавочку на Южном мосту. Купил тебе бутерброд с пряной ветчиной и вареные в чае яйца.

— Обожаю яйца в чае. И умираю — хочу есть. Помоги мне их почистить, я в перчатках — не могу.

Яичную скорлупу разбили при варке, чтобы чай впитался внутрь. Мо отколупнул ее всю по кусочкам, чищеное яйцо, все в чешуйчатых разводах кофейного цвета, походило на сосновую шишку.

— Желток вынимаю — говорят, он вредный, в нем холестерин.

— Ладно.

Бальзамировщица запрокинула голову, и Мо вложил в ее широко раскрытый рот кусок яйца. Он видел, как исчез в розовом зеве белок, подхваченный языком, и показался вновь, перемолотый зубами.

— Еще, — попросила она.

Оба яйца были проглочены молниеносно. Во время этой невинной кормежки Мо ненароком прикоснулся к алчному, горячему языку своей подруги детства. Глядя на давно знакомое лицо, он заметил, что кожа на лбу уже не такая гладкая и как будто набухшая, в уголках глаз собрались мелкие морщинки, а подбородок дрябловат.

— Ну, пошли, — сказала Бальзамировщица. — Простишься с судьей Ди — он же твой приятель, а потом выйдешь и подождешь, пока я закончу.

Мо пошел за ней на середину зала, где на кровати под лампочкой с шелковым абажуром лежал матово-белый пластиковый чехол. Этот мягкий свет напоминал освещение витрин на какой-нибудь археологической выставке. Бальзамировщица потянула замочек молнии, он пополз вниз с металлическим скрежетом, от которого барабанные перепонки Мо готовы были лопнуть, — так трещит кокосовый орех под щипцами. Показалась голова судьи, потом одетый в черную рубашку торс.

— Чтоб тебе, зало! — фыркнула Бальзамировщица. — Иди-ка, ты мне поможешь.

— Ты думаешь?

— Что значит — я думаю? Давай тяни!

Но, несмотря на все усилия, то слаженные, то вразброд, Бальзамировщицы (она даже сняла перчатки) и ее ассистента-любителя, застежка не сдвинулась ни на миллиметр, два зубчика никак не желали сцепляться. Мо слышал собственное дыхание и еще какой-то непонятный булькающий звук. Иногда он задевал рубашку судьи — мягкий, тонкий, приятный на ощупь шелк. Наклонившись так низко, он различал сквозь аромат мирры запах табака, затхлости, винного перегара — ни дать ни взять парижский клошар. Верно, этот раб маджонга не мылся все три дня, а то и целую неделю.

— Постой, — сказала Бальзамировщица. — Я принесу ножницы и разрежу этот проклятый чехол.

Она отошла, а усердный Мо осторожно потянул блестящий металлический замочек сначала вверх — упрямые зубчики легко сомкнулись, — а потом потихоньку, миллиметр за миллиметром, стал продвигать его вниз. Молния поддавалась, еще немного — и все, но на последнем миллиметре замочек намертво застрял на том же самом месте! Мо продолжал нервно возиться с застежкой, но вдруг, когда до полной победы оставалось совсем чуть-чуть, он почувствовал на себе чей-то взгляд. А поняв, чей именно, мгновенно покрылся холодным потом, словно на спине у него растаяла и растеклась весенними ручейками большущая льдина. Это смотрел судья Ди! Веки его не совсем открылись, но Мо с ужасом видел, что они приподнялись, а стеклянистые глаза, бессмысленно повращавшись в разные стороны, остановились на нем. Взгляд был тусклый, затуманенный, словно судья возвращался в этот мир откуда-то издалека. Страх сковал Мо, он застыл в той позе, в какой был: нагнувшись над самым лицом судьи, но душа его рванулась из тела вон. Что это: видение? Сон? Или явь? Мертвый воскрес! Может, врач, констатировавший смерть, ошибся? Или это очередное чудо ком-

мунизма? Эти вопросы вихрем проносились у него в голове и не находили ответа. Тем временем меж приоткрытых век судьи зажегся блеск — он завидел ЕЕ. Бальзамировщица возвращалась с ножницами в руках. Она наклонила абажур и, в свою очередь, застыла, как пораженная молнией. Ножницы выпали у нее из рук и со звоном упали на каменный пол. Судья рывком приподнялся и обхватил ее. Она закричала. Но он, не выпуская ее, высвобождался из чехла и прижимался к ней всем телом. Она стала вырываться, закричала еще громче. "Это ты — бальзамировщица?" — проговорил он. Она ответила: "Да", не переставая отбиваться. Он покрывал ее слюнявыми поцелуями, шептал: "Не бойся, все девушки когда-нибудь становятся женщинами!"

Эти слова прозвучали в ушах парализованного страхом Мо как взрыв. Ватными руками он попробовал оттащить судью. Тот отпихнул его, но психоаналитик не сдался, с невесть откуда взявшейся бешеной силой он накинулся на судью и вцепился в воротник его рубашки, так что шелк затрещал. "Беги!" — крикнул он девушке, и тут же сноп искр рассыпался у него перед глазами и он растянулся на полу — судья саданул его своим острым жестким локтем. Бальзамировщица бросилась бежать. Мо встал, но кровь текла у него из носа и ноги подгибались, так что он снова упал. Судья же наконец, кряхтя, слез с кровати.

— Где я? — спросил он, озираясь. — Черт возьми! Да это морг!

Распростертый на полу Мо услышал, как судья выбежал из зала и помчался прочь, не разбирая дороги. На какое-то время наш герой потерял сознание. Когда же пришел в себя, то обнаружил, что лицо его в крови, как у героя американского вестерна, а штаны промокли, как у русского режиссера на кремлевском просмотре, причем сам он не помнил, когда обмочился.

"Браво, Мо, — подумал он. — Ты один воплотил в себе две мировых сверхдержавы".

3
Микрорайон Светлый

Единственное, что оставалось Мо, чтобы избавиться от постыдно мокрых брюк и трусов, это переодеться в рабочую одежду Бальзамировщицы, которую он нашел в ее шкафчике. Что он и сделал и в таком виде вышел на улицу. Голубая хламида из грубой ткани была чем-то средним между комбинезоном и мантией средневекового ученого, чем-то смешным и строгим одновременно; спереди и на спине красовалась белая надпись — "Космос. Бюро ритуальных услуг", желтый рисунок — ракета и космонавт — и красные адрес и номера телефона и факса. Мо больше всего понравились карманы, в которые он рассовал все, что лежало в брюках: сигареты, зажигалку, бумажник, ключи и новенький мобильник с мигалкой и подсветкой.

Было еще темно. Возвращаться домой не хотелось. Разбудишь родителей, перепугаешь их женским, да еще и с погребальной символикой, нарядом. ("Почему так поздно? — наверняка скажет мать. — И когда ты наконец женишься — осчастливишь нас?..") Поэтому, вместо того чтобы взять такси, Мо пошел куда глаза глядят по улицам спящего города. Пройдя немного, он решил повторить постоянный маршрут Бальзами-

ровщицы: мимо ворот пустой в этот час музыкальной школы, потом направо до самого рабочего квартала — там тоже ни души. Мо посмотрелся бы в витрину, чтобы узнать, на кого он похож, но здесь не было ни магазинов, ни даже фонарей. Время от времени на улицу выбегала какая-нибудь собака, останавливалась около него, обследовала и провожала на противоположный тротуар. В мусорных баках шуршали и дрались за объедки крысы.

На перекрестке Мо остановился — уж не сошел ли он с ума? Исхлестанные ветром щеки горели. Кажется, он сбился с пути и не понимал, где находится. По спине его пробежал озноб. Что со мной? Я родился и вырос в этом городе, а этот квартал знаю как свои пять пальцев. И я заблудился? Мо отогнал панические мысли, а осмотревшись, утешился: дикий капитализм внес в облик города сокрушительные изменения. Он обследовал по очереди все новые улицы, неотличимые друг от друга, с совершенно одинаковыми, облицованными искусственным мрамором домами. С четверть часа он прикидывал, в какую сторону идти, и наконец решил, что надо двигаться в северном направлении. Но, сколько ни глядел на небо, определить, где север, не мог, а тут еще закапал дождь. Тогда он просто-напросто пошел, никуда не сворачивая, вперед по улице, обсаженной, как и все остальные, молодыми эвкалиптами, разве что тут они казались не такими чахлыми, решив пройти ее до конца.

"Что сказала бы Гора Старой Луны, если бы я вдруг явился к ней в тюрьму в костюме Бальзамировщицы? — думал он. — Засмеялась бы? Да, наверное. Смех у нее такой заливистый, одни удивляются, другие возмущаются. Я ей скажу по телефону через стеклянную перегородку (черт знает что — в такой нищей стране такие сверхсовременные тюрьмы!)... Вот, скажу, видишь эту ракету с космонавтом, это мое новое увлечение!.. Или нет, придумаю что-нибудь получше. Скажу, что у меня теперь другая работа, я подался в ангелы: сопровождаю людей на долгом пути в рай. Объясню, что такое бальзамировщик: тот, кто приводит покойников в эстетичный вид. А она скажет: "Не смеши меня — ты ничего не смыслишь в эстетике!" Я придвинусь поближе, чтобы она могла вытянуть руку поверх перегородки и пощупать своими тонкими длинными пальцами человечка в скафандре на моем комбинезоне. Но она же умница — прищурится и испытующе на меня посмотрит: правду я говорю или валяю дурака? Поймет все без слов и горько заплачет. Такую чуткую душу не обманешь. Она поймет, что все опять провалилось. И теперь окончательно. Непоправимо. Уронит голову, закроется руками и просидит так, пока за ней не придут охранники. Да и им придется нелегко. В таком положении даже дуболомы-полицейские с ней не сразу сладят. Она как каменная. Попробуй-ка ее подыми! Нет, не надо идти к ней ни сейчас, ни в ближайшие дни. Только расстраивать. Я и сам-то чуть не плачу — иди разберись в этих многоэтажках!"

В первый раз Мо видел Гору Старой Луны в слезах, еще когда они оба учились в Сычуаньском университете. В тот год стояла суровая зима, в конце ноября несколько дней подряд шел снег — большая редкость для этого города на юго-западе страны. Как-то вечером Мо пошел к профессору Ли, который читал у них курс по драматургии Шекспира и числил Мо в любимых учениках. В большой гостиной профессора был адский холод, тепло было только в кабинете (комнатушке в пять квадратных метров, с пола до потолка уставленной книгами), где стоя-

ла жаровня с горячими углями, там они и устроились для беседы — болтали как два приятеля, обо всем и ни о чем. Мо принес свой последний перевод, профессор нацепил очки с веревочкой вместо отломившейся дужки и стал придирчиво читать, сверяя каждое слово с оригиналом. В это время кто-то постучал в дверь. Профессор Ли перешел из кабинета в гостиную, туда же, как увидел Мо, вошла Гора Старой Луны. Он очень удивился: она никогда не интересовалась английским языком, не говоря уж о Шекспире. Девушка была не похожа на себя: бледная, глаза опухли. Стояла с замученным, несчастным видом и даже не отозвалась, когда профессор поздоровался с ней. Только подошла нетвердым шагом к стоявшему посреди комнаты столу, опустилась на стул с плетеной ротанговой спинкой и, уронив голову на руки, разрыдалась. Мо со своего места видел только рассыпавшиеся по плечам и мелко трясущиеся длинные волосы, при каждом новом рыдании по ним пробегала крупная волна. Он нервно ходил взад-вперед по крохотному кабинету и никак не мог решить, надо ему показаться или нет. Профессор Ли заговорил, но както странно: куда девались уверенность и звучность его хорошо поставленного голоса, обычно без усилия покрывавшего большую университетскую аудиторию? Тоном провинившегося школьника он просил прощения за своего сына (студента филфака, высокого, видного юношу, отъявленного донжуана, кумира девушек и героя их снов). Гостья попрежнему молчала. Профессор называл сына скотиной, гнусным, бессовестным негодяем, которому нельзя верить, и т. д. Мо подошел к окну и увидел свое изображение в матовом стекле: расстроенное лицо, текущие по щекам слезы. Между тем огонь, уютно потрескивавший в жаровне, погас. Мо попробовал разжечь его: подбросил угля и стал дуть в дверцу. Поднялось облако золы, забившей ему рот и нос. Дым вырвался наружу, проник в гостиную. Профессор бросился на помощь, Мо же, наоборот, кашляя, выскочил из кабинета. Неожиданный шум испугал Гору Старой Луны. Она встрепенулась и удивленно глядела на явление Мо в клубах дыма. Трудно сказать, кто из них испытывал большую неловкость: она, оттого что ее застигли в таком состоянии, или он, оттого что в таком состоянии ее увидел. Он попытался вытереть лицо рукавом, но только размазал сажу и стал похож на клоуна из китайской оперы; пробормотал что-то невнятное в свое извинение. Она уже не плакала. Мо взял стул, хотел сесть рядом с ней, но, сам не зная, как это получилось, опустился на колени. "Не думай о нем больше, забудь его", — умолял он девушку. Она кивнула и положила руки на плечи Мо, вернее всего, чтобы заставить его встать. Но Мо почудилось, что она готова довериться ему. "Гора Старой Луны, дорогая моя! — хотел он ей сказать. — Я неказистый, неинтересный, бедный, близорукий, маленького роста, но гордый, и я отдам тебе все, всю свою жизнь, до последнего дыхания". Однако от волнения не мог выжать из себя ни слова. Он поднял голову. Вот, совсем рядом, ее грудь, в которой бьется страдающее сердце. Он осмелился начать и уже произнес ее имя, но она нагнулась, стараясь поднять его с колен. "Встань, а то он увидит!" — сказала она, хотела прибавить что-то еще, но замолчала, чтобы не расплакаться. Однако не сдержалась — слезы потекли из ее глаз по щекам и по губам. Мо хотел утереть их ладонью, но рука его была черная, вся в угольной пыли. Тогда, поддавшись порыву, он поцеловал ее в губы. Это был не столько поцелуй, сколько легкое, невинное прикосновение. Он ощутил горечь ее

слез. Девушка отстранилась, и он тотчас поднялся. Она замерла, устремив на Мо взгляд опухших глаз, но при этом не видела его, и он это знал. Она была похожа на больную, ждущую своей очереди в приемном покое больницы, среди других, чужих людей. Наконец она встала, сказала "До свиданья" воюющему в кабинете с дымом профессору Ли и легким шагом вышла из комнаты.

Теперь, спустя двадцать лет, шагая по городу в костюме служащей погребального бюро, Мо вспоминал об этом поцелуе, своем первом поцелуе, нежном и страстном, приправленном солеными слезами. Гора Старой Луны, страшно бледная, была в стеганой куртке из черного бархата, черных брюках и ботинках и приковывающем глаз белоснежном свитере. Тот ноябрьский день остался для него памятной датой, тайным праздником, который он торжественно и в трогательном одиночестве отмечал каждый год, неизменно надевая давно превратившийся в лохмотья фиолетовый плащ и залоснившуюся шляпу, которые были на нем в Великий Час. (Настало время открыть секрет нашего психоаналитика: говоря попросту, он до сих пор оставался девственником, мало того, не жаждал приобрести недостающий опыт, — это бросалось в глаза каждому, кто видел его в женском обществе.) Каждый ноябрь, где бы он ни был, в Китае или в Париже, нищенские обноски, с которыми связаны его самые драгоценные воспоминания, пробуждали в нем романтический восторг.

Моросил мелкий дождь. Вода скапливалась на листьях деревьев и холодными каплями падала на костюм и на голову Мо. Он пожалел, что у этого комбинезона, в отличие от лыжного, нет капюшона. Его догнало и притормозило у тротуара, ожидая сигнала, такси. Но Мо не стал его останавливать. Не нужно ему такси. Он уже нашел дорогу по верному признаку: за рядом еле различимых в тумане величественных платанов вдруг замаячил сортир, бывшее прибежище геев, с неоновыми буквами WC на крыше. Движимый любопытством историка, Мо свернул и заглянул внутрь. Ему казалось, что он в сказке. Теперь заведение охранялось унылым старцем с мешками под глазами, в спецовке, похожей на комбинезон Мо. Он сидел за стеклянным окошком, под слабой лампочкой, весь какой-то прозрачно-призрачный. "Вход — два юаня", — проговорил он тоном музейного сторожа.

Проходя мимо конфетной фабрики, Мо достал из кармана мобильный телефон, но только с досадой и неприязнью посмотрел на этот светящийся аппаратик — звонить-то некому. Единственным человеком, с кем ему хотелось бы говорить, была Гора Старой Луны, а она в тюремной камере. Он подумал о своем французском аналитике Мишеле. С учетом разницы во времени, тот должен уже проснуться. Мо укрылся под буковым деревом, чьи листья трепетали, как его сердце, а вершина волновалась, как его душа, и набрал номер. Гудки, щелчок и далекий голос его наставника произнес: "Да". Холодное, равнодушное, бесстрастное "да". Слишком часто Мишеля донимают звонками взвинченные пациенты, и у него выработалась привычка: снимая трубку, он холодно говорит "да" и ждет натиска. У Мо сразу пропало желание говорить с ним, и он прервал связь, даже не поздоровавшись. Но через несколько секунд телефон зазвонил в кармане.

— Простите, Мишель, — смущенно пробормотал он, — не хотелось вас беспокоить, но я влип в жуткую историю.

— Где ты, Мо? Ты с ума сошел? На каком языке ты со мной говоришь?

Голос Бальзамировщицы! Как же он мог начисто забыть о ней?! Мо стал горячо извиняться и сказал, что немедленно к ней зайдет.

Бальзамировщица... Мо не помнил точно, кто и когда начал так звать соседку сверху. Теперь все только так ее и называли. Все, включая родителей, г-на и г-жу Лю, бывших преподавателей анатомии, лет двенадцать тому назад они вышли на пенсию и оставили дочери жилплощадь. Скромную двухкомнатную квартирку на последнем этаже бетонной шестиэтажки без лифта, побеленной снаружи, с торчащими цементными швами и зарешеченными (защита от воров), как клетки в зоопарке, окнами. Над входом рабочий, крестьянин и солдат из белорозовой мраморной крошки держат похожее на венок зубчатое колесо. Это здесь "муж" вдовы-девицы выбросился перед свадьбой из окна шестого этажа.

Уже отключив мобильный, Мо сообразил, как нелегко ему будет попасть к Бальзамировщице, минуя квартиру собственных родителей на втором этаже, придется действовать как профессиональный домушник.

Ломая голову над этой задачкой, он дошел до университетского городка медиков. Обсаженная пышными платанами и протянувшаяся на километр Малая Индийская улица делит его на две части: в южной расположены учебные корпуса и общежития, в северной — дома преподавателей и служащих. (Китайские университеты предоставляли и предоставляют своим работникам ведомственное жилье. Руководители таких учебных заведений располагают полномочиями, какие и не снились их западным коллегам, они распоряжаются всем: от приема на работу преподавателей, штатного расписания и назначения на должности до оплаты больничных листов, починки труб, проводов, прочистки канализации, составления меню и сметы для столовых, а также графика запланированных беременностей сотрудниц, записи детей в сады и ясли и, главное, распределением квартир.)

Жилые дома делятся на пять микрорайонов: Западный Сад, Персиковая Роща, Бамбук, Мирный и Светлый. В каждом по несколько кварталов стандартных пяти-, семиэтажных домов без лифта. Путь по этому сонному царству долгий и трудный. Минут пятнадцать Мо вышагивал под дождем по Малой Индийской, миновал микрорайон Мирный, Персиковую Рощу, прежде чем добрался до Светлого.

Несмотря на красивое название света на улице не было. Мо подошел к наглухо закрытым воротам и стал громко звать сторожа. Его вопли далеко разносились в ночи, он почти охрип, когда наконец у него над головой зажегся фонарь и осветил величественный, пышный портал: глянцевая черепичная крыша, резные колонны с мифологическими фигурами и массивные двустворчатые деревянные ворота, покрытые облупившейся красной краской. На воротах наклеены в несколько слоев пестрые афиши и объявления: часы работы, правила и запреты, фотографии преступников в розыске, расписание собраний местной партячейки, покаяния разоблаченных воров, анонсы американских фильмов, лозунги, публичные доносы, оставшиеся от прежних времен, но все еще прекрасно различимые, статьи из старых и новых журналов обо всем на свете. Прорезанная в одной из створок дверца открылась, проскрежетав ржавыми петлями, и на пороге появился сторож, незна-

комый Мо молодой человек в накинутой на плечи шинели Китайской народной армии.

— Благодарю вас, вы очень любезны, — сказал ему Мо и сунул бумажку в два юаня.

Сторож взял чаевые, пропустил Мо, закрыл за ним дверь, задвинул тяжелый железный засов и только тогда пригляделся к нему.

— Кто-нибудь умер? — спросил он, подозрительно осматривая костюм Мо.

— Да. Хромой Ляо из одиннадцатого корпуса третьего блока, — выпалил Мо, удивляясь собственной находчивости.

Хромой Ляо был когда-то их соседом по этажу, он действительно умер, только лет десять тому назад. Но новый сторож с соболезнующим видом кивает и испускает долгий вздох, достойный героя сентиментального американского телесериала, как будто бедный Ляо был его близким другом.

— А как вы заберете тело, вы же без машины? — крикнул он уже в спину Мо.

— Не важно. Я заберу его душу.

Ошеломленный загадочным ответом, сторож остался стоять, разинув рот и глядя вслед Мо. Призрачный силуэт скользнул под дождь; не замедляя шага и не поднимая глаз, прошел мимо шести бетонных корпусов-близнецов первого блока, а у ограды второго, где дорога разветвлялась, свернул налево и скрылся из виду.

Калитки в кирпичных заборах третьего и четвертого блоков располагались ровно друг напротив друга. Одинаковые мокрые от дождя никелированные решетки, чугунные цепи, выкрашенные в зеленый цвет, как лианы, и тяжелые медные замки, с которых капала вода, — можно подумать, там, в типовых корпусах, хранятся несметные сокровища!

Мо снова прокручивал в голове разные варианты того, что скажет родителям, особенно матери, если встретится с ними на лестнице. А сам уже машинально постучался в левые ворота. Никто не отвечал. Он крикнул и снова постучал, на этот раз не так громко, и голос постарался изменить, чтобы мать его не узнала. Смотреть вверх, на окна стандартных бетонных коробок, верхушки которых тонули в тумане, он не решался. Так было и в детстве: каждый раз, стоя перед этой решеткой (тогда она была вся ржавая и ворота закрывались на ночь не в половине двенадцатого, как теперь, а в половине седьмого), он испытывал страх перед матерью.

Наконец вышел сторож, тоже молодой и тоже в военной шинели, но поменьше ростом и худощавее первого. Положив в карман свои два юаня, он, не взглянув ни на того, кто их ему дал, ни на его комбинезон с погребальной символикой, быстро запер ворота и побежал спать дальше в свою комнатенку. В голове Мо пронеслось смутное подозрение: "Когда я уходил из дома около полуночи, меня выпустил другой сторож, пожилой, лет шестидесяти, вроде того, что работает в уборной, а этот парень смахивает на него — наверно, сын или зять, который его подменяет, чтобы сводить концы с концами, и еще не научился благодарить за чаевые".

В такой час все спят. Единственные свидетели возвращения Мо — это бело-розовые рабочий, крестьянин и солдат над дверями подъезда. Он тихонько проскользнул в пустой коридор, где привычно воняло бле-

вотиной. Лицо, шея, комбинезон — все было такое мокрое, как будто на него вылили ведро воды. Дрожа от холода, Мо прислушался: слава богу, все тихо!

Он стал на цыпочках подниматься по ступенькам. Но перед последним пролетом, ведущим на третий этаж, наш чересчур почтительный и боязливый сын почувствовал, что у него не осталось больше ни воли, ни сил и отказывают нервы. Озноб прошел, теперь его снова бросило в жар, пот весенними ручейками стекал по телу. Однако самое трудное было впереди — путь с третьего этажа до четвертого. С каждым шагом Мо все явственнее ощущал запах дома. Непередаваемый, но с детства знакомый, который узнаешь даже в полной темноте.

В этих домах на каждой лестничной площадке было по две квартиры, вот и тут, на третьем, слева дверь семьи Мо, справа — семьи давно покойного хромого Ляо. Мо крался, не поднимая глаз. Впрочем, все равно, ничего не видно, а включить свет нельзя. Он ступал с величайшей осторожностью, стараясь не спотыкаться. Пощупал ногой, чтобы убедиться, что дошел до последней ступеньки. Точно. Теперь надо пересечь площадку и дальше по лестнице, на четвертый. Отец уже давно, с тех пор, как повредил барабанную перепонку, плохо слышал и, когда смотрел телевизор, включал звук на полную мощь, у матери же ослабло из-за диабета зрение, а слух, наоборот, обострился, она слышала все: как чихает кот в соседнем доме или ползают за холодильником тараканы. Проходя перед дверью, он сжался в комок и даже перестал дышать, но вдруг наткнулся на что-то левой ногой и чуть не упал — это был пластиковый мешок с мусором. Мешок опрокинулся, мусор высыпался на площадку, среди прочего банка из-под кока-колы, которая покатилась вниз по лестнице, подскакивая на каждой ступеньке, долетела до второго этажа и со всего маху врезалась в дверь соседей снизу. У Мо от ужаса захватило дух и едва не лопнуло сердце.

Он застыл, грохот, как ему показалось, не стихал целый час. Наконец все смолкло, и он с облегчением убедился, что никто не проснулся, даже его мать. Просто чудо! Может, жильцы привыкли, что по ночам на лестнице хозяйничают крысы. Однажды, лежа на кушетке у своего психоаналитика, он сам сказал ему: "В нашем доме полно крыс, такие крупные, будьте уверены, не водятся больше нигде на свете".

На пятый и выше, на шестой, он взбежал бодро, резво, ощущая прилив сил и легкость во всем теле, будто спешил на любовное свидание. Кое-как причесался, запустив пальцы в волосы, подышал на ладонь, проверяя, не пахнет ли у него изо рта, и протер стекла очков.

На шестом этаже располагалось четыре двухкомнатные квартиры, дверь Бальзамировщицы — справа в конце коридора, у окна, через которое на нее падает рассеянный свет уличного фонаря. Мо уже занес руку, чтобы постучать, но этот блик его остановил. Он был какой-то странный, с переливчатым стеклянным блеском. Мо легонько прикоснулся к светлому пятну: так и есть — дверь застекленная! Но вчера, когда он приходил уговаривать Бальзамировщицу встретиться с судьей Ди, у нее была нормальная дверь, такая же, как у всех: металлическая, на массивных петлях, со щеколдой, замочной скважиной и глазком.

"Может, я поглядел на воскресшего судью и спятил?" — подумал Мо.

Он щелкнул дешевенькой одноразовой зажигалкой и поднес ее поближе к двери — слабого пламени вполне хватило, чтобы все разгля-

деть. Мало того, что дверь действительно оказалась застекленной, но еще справа на стене была пришпилена карточка: "Г-н и г-жа Ван". Бальзамировщицу звали совсем не так.

В изумлении Мо попятился и поднялся на несколько ступенек по лестнице.

"Так. Случай клинический: я утратил рассудок".

Надо было немедленно протестировать мозги. Мо решил, что быстрее и вернее всего будет испытать память, например проверить, помнит ли он французские слова. Он представил себе на секунду, что французский язык, который дался ему упорными многолетними занятиями, вдруг возьмет и улетучится у него из головы. Не дай-то Бог!

Первым французским словом, которое он вспомнил, было "merde"[1]. В памяти всплыли строчки из "Отверженных": "...английский генерал... крикнул: "Сдавайтесь, храбрецы!" Камброн ответил: "Merde!" Из уважения к французскому читателю это слово, быть может, самое прекрасное, какое когда-либо было произнесено французом, не до́лжно повторять"[2].

Какое счастье! Наслаждаясь блестящим доказательством своих мыслительных способностей, Мо подумал, по ассоциации с именем Гюго, о другом, тоже очень выразительном словечке – "Hélas!" Ему вспомнился известный спор между Полем Валери (его любимым поэтом) и Андре Жидом. Первый уверял, что самый великий из французских поэтов – Виктор Гюго; "Увы!" – отвечал на это второй. Было еще одно особенно дорогое ему слово, одно из тех, которые по-французски звучат лучше, чем по-китайски или по-английски: "l'amour" – любовь. Как-то во время очередного свидания с Горой Старой Луны он, разговаривая с ней через стеклянную перегородку, поделился этим своим лингвистическим пристрастием, а она несколько раз произнесла это слово. Звук "ль" ей не давался, поэтому она опустила артикль и произносила просто "amour", сначала чуть шевеля губами, потом все яснее и яснее, пока наконец прекрасное, волшебное слово не разнеслось чистой нотой, перекрывая беспорядочный гомон заключенных и их родных. Все, от мала до велика, поддались его обаянию. Упоительное, благоуханное чужеземное слово! Если бы не вмешались охранники, весь зал свиданий подхватил бы его хором.

Убедившись, что он в здравом уме и трезвой памяти, Мо вернулся к тайне стеклянной двери и попытался разгадать ее. Он снова осветил карточку на стенке с именами г-на и г-жи Ван и постарался представить себе, как бы эти люди отнеслись к его появлению в форме служащего похоронного бюро. Но поскольку ему не хотелось, чтобы по его вине у них случился разрыв сердца, он позвонил по мобильному Бальзамировщице и услышал ее панический голос:

– Где же ты? Что-что?!. Ванов знаю конечно, они оба учителя физкультуры. Ты перед их дверью? Но они живут в четвертом блоке, а мы – твои родители и я – в третьем! Ты что, уже собственный дом не можешь найти?

1. Дерьмо (*франц.*).
2. Перевод Д. Г. Лифшиц. Ч. 2. кн. 1, гл. 15–16.

Мо помчался вниз, перепрыгивая через ступеньки, у двери, которую принял за свою, он притормозил и мстительно пнул ногой валявшийся посреди площадки пакет с мусором. Бумажки и очистки разлетелись по всей лестнице. На улице все еще шел дождь, и, пока Мо дошел до своего дома, он успел снова промокнуть до нитки и был похож на выдру, которая вылезла из одной норы, нырнула и вылезла около другой. Вода текла с него ручьями, на носу повисли капли.

Все происходило как на дне морском. Было трудно дышать, бетонные ступени беззвучно проседали под ногами, как резина, то расширялись, то сужались, то обретали обычные размеры. Мо казалось, что он передвигается по мягкой, болотистой, жирной и зловонной почве. Это было похоже на сон, который приснился ему когда-то, будто он идет большими шагами по мраморному полу в черных и серых прожилках, а камень размягчается и в конце концов превращается в огромный ломоть сыра.

А виной всему Бальзамировщица, которая взяла его за руку и ведет за собой по лестнице.

Войдя в подъезд, он слепо потыкался в поисках выключателя, а не обнаружив его, был вынужден, как и в предыдущий раз, пробираться по лестнице в полной темноте и крадучись, как вор. Но когда он дошел до второго этажа, вдруг на одном из верхних этажей кто-то зажег свет и по ступенькам застучали подошвы шлепанцев, все ближе и ближе. Мо догадывался, кто это, по спине его пробежала дрожь.

Он затаил дыхание и вслушался получше, пытаясь понять, не матушка ли это, — тогда надо скорее прятаться. Но, покинув Китай и живя за границей, он разучился различать по звуку шагов, какие подошвы у шлепанцев: пластмассовые, кожаные или резиновые — и какому человеку они принадлежат: женщине или мужчине, решительному или робкому, благодушному или угрюмому. Прежде он мог иной раз угадывать такие тонкие вещи, как настроения. Например, у человека, принятого в партию, шаги меняли тембр, звучность и даже приобретали особую значительность: еще долгое время после знаменательного события они словно бы выпевали национальный гимн.

В приближавшихся шагах прочитывались стремительность и непринужденность. Свет на лестнице снова погас, но шаги не замедлились. Вот они уже сбегают на третий этаж. Мо снова двинулся вверх, и приглушенный, солидный звук его шагов слился с дробным, звонким цоканьем шлепанцев в стройной двухголосой серенаде.

Двадцать шагов вверх, поворот, еще пролет — и Мо услышал голос Бальзамировщицы:

— Это ты?

— Тише, — еле слышно отозвался он, — разбудишь мою мать.

На расстоянии нескольких метров из густой темноты в пролете третьего этажа вынырнула бледная тень. Ритм шагов не убыстрялся и не замедлялся, а изящная фигурка, казалось, застыла на верхней ступеньке крутого пролета, все так же плавно перебирая ногами.

— Не шуми. У мамы очень чувствительный слух... — зачем-то прибавил Мо придушенным голосом и осекся.

Оборвалась и партия шлепанцев. Последний звук еще отдавался эхом у него в ушах. Рука Бальзамировщицы сжала его руку. Вдрогнула го-

рячая упругая ладонь, нервно сжались пальцы. Он почувствовал что-то твердое и понял, что это ее обручальное кольцо. Она была совсем близко, Мо ощутил какой-то лекарственный запах от ее лица. Он прикоснулся к ее коже.

– Что это у тебя за одеколон? – шепнул он.

– Никакого. Наверно, от меня пахнет формалином.

– Нет.

– Правда?

– Правда.

– Тогда хорошо. Терпеть не могу этот запах после работы.

– Нет, пахнет скорее йодом. Ты не поранилась?

– Нет. Просто наложила увлажняющую маску. Твой судья Ди так меня перепугал, что я и дома все дрожала и никак не могла успокоиться. Вот и решила сделать такую маску. Немножко пощипывает кожу, зато знаешь как успокаивает! Видишь, уже не дрожу. И почти забыла про эту мерзкую историю.

– Я сам чуть не умер от страха.

Держась за руки и неуверенно нащупывая ступеньки, перешептываясь, а порой спотыкаясь и покачиваясь, как танцоры в комическом номере, они пошли наверх. Дверь в квартиру Мо была закрыта, свет нигде не горел, но Мо показалось, что он слышит, как мать кашлянула.

– Бедненький, какая у тебя холодная рука. И я никак ее не согрею.

– Я промок. Видела, в чем я пришел? В форме ритуального бюро, может это твоя, мне она маловата и тесновата.

– Я дам тебе переодеться. В память о муже я сохранила все его вещи. По росту тебе должно подойти.

4
Пельмени готовы

Спустя всего несколько минут Мо всунул голые ноги в синие замшевые тапки с тремя вышитыми цветочками в фиолетовых тонах – ношеные, с шаркающими подошвами.

При входе в квартиру Бальзамировщицы стояла небольшая полочка в несколько ярусов, на которой она выстроила всю обувь. Мо снял свои стоптанные, разбухшие от дождя, забрызганные грязью туфли и поставил их рядом с красно-черными кроссовками, сандалиями, шлепанцами, высокими белыми ботинками со шнурками... Все маленькое, намного меньше тапочек, которые принадлежали ее покойному мужу и были велики Мо. Стоило ему закинуть ногу на ногу, как одна тапочка повисла, держась только на большом пальце босой ноги. Мо предпочел бы надеть что-нибудь другое, но выбора не было.

– Это хорошие тапочки, – сказала Бальзамировщица. – Мы купили их за несколько недель до свадьбы в Народном торговом центре. Стоили пять юаней пять фэней, как сейчас помню. После смерти мужа я их тут держу, чищу, иногда ношу, но они мне велики.

В комнате, почти как в бальзамировочной, горело штук пять-шесть слабых ламп. Расплывчатые ореолы мягкого матового света создавали атмосферу замкнутого пространства, чуть ли не погребка. Хозяйка порхнула в комнату, легкая как воробушек, помолодевшая. Лицо ее бле-

стело от крема. На коротком халатике из розового шелка были вышиты голубые цветы и белые птицы.

— Что тебе приготовить? У меня в морозилке есть пельмени с бараниной и сельдереем, хочешь? — спросила она и, не дожидаясь ответа, скрылась на кухне.

— Наконец-то у меня в доме мужчина, — выдохнула она, возясь у плиты.

В квартире, точно легкий дымок, точно подвешенная в воздухе пыль, точно запах ладана, стоял унылый холодный дух бездетной старой девы. Пол устилала бамбуковая циновка тонкого плетения. Кое-где — перед кроватью, перед телевизором и перед каждым из двух кожаных кресел — лежали разноцветные коврики. Стола не было — видимо, хозяйка ела на кухне. С дивана и кресел не снята прозрачная упаковочная пленка. Водруженный на тумбочку телевизор покрыт пурпурным бархатным чехлом, пульт обернут хрустящим целлофаном. На телефон наброшена махровая салфеточка. На стене увеличенная цветная семейная фотография в рамке. Отдельных портретов — ни ее, ни мужа — не видно, только несколько его профилей, вырезанных из черной бумаги, и один общий снимок — пара на велосипеде. Он, согнувшись над рулем, крутит педали, полы плаща разлетаются в стороны; она сидит сзади на багажнике и вяжет развевающийся на ветру свитер.

Бальзамировщица владела настоящим сокровищем — коллекцией марионеток, которая привела Мо в полное восхищение. Он завороженно разглядывал каждую наряженную в шелк и атлас куколку: императоров в платьях с драконами, императриц в драгоценных уборах, ученых с веерами, воинов при саблях и копьях, нищих и т. д. — расставленные на верхней полке невысокого шкафчика, они смотрели на мир сквозь мутноватое стекло. Это был подарок мужа, он же получил коллекцию в наследство от какого-то родственника. Два десятка фигурок немыслимой красоты, одна другой лучше. Мо мог бы рассматривать их часами. Перед смертью муж Бальзамировщицы успел устроить на полочке мягкое освещение. Каждая из кнопок на боковой стенке соединялась с лампочкой, запрятанной в складках бархата, которым полка была обита изнутри. Мо опустился на колени, раздвинул стекла и стал зажигать по очереди все лампочки, которые, как прожекторы на сцене, высвечивали кукол. Бальзамировщица между тем подошла к нему и рокочущим феном стала сушить его волосы. Под воздушной струей одежда на куклах зашевелилась, задрожали веера в руках ученых, зазвенели украшения на императрицах. Не помня себя от восторга, Мо безотчетно коснулся рукой шлепанцев Бальзамировщицы, потом погладил ее изящную левую лодыжку, пощупал острую косточку.

Нежную прелюдию оборвало громкое шипение: из кастрюли с пельменями убегала на горячую плиту пена. Бальзамировщица отскочила и бросилась на кухню. Мо остался стоять на коленях, руки его дрожали, дрожь передалась марионеткам. Они раскачивались, приседали, грациозно поднимали широкие рукава, покачивали головками в коронах или высоких шапках и приветствовали своего единственного зрителя, охваченного бурей эмоций. Очки его запотели, так что он различал лишь пляшущие, сливающиеся друг с другом цветные пятна, которые вспыхивали ярким пламенем, рассыпались тысячами искр и бесчисленными светлячками мерцали в волшебной ночи.

По настоянию хозяйки (большая мастерица по части пельменей, она сочла, что вкус этого изысканного кушанья испорчен, и поставила вариться новую порцию) Мо пошел подыскать себе сухую одежду. Количество вешалок в стенном шкафу поначалу обескуражило его. С одной стороны висело все женское: атласные комбинации с кружевами, шуба из искусственного меха, блузки, платья, юбки и т. д., с другой — все мужское: синяя маоцзедунка, черная тройка, белая рубашка с крахмальным воротником и надетым на вешалку черным шелковым галстуком-бабочкой, брюки, потертая кожаная куртка, пояса, солдатские фуражки, но ничего летнего. Все эти аккуратно развешанные, пропитанные тяжелым запахом камфары вещи, дающие представление о том, как выглядел покойный, несколько смущали Мо. Он открыл другой, зеркальный шкаф. Там на полочках было разложено стопками чистое отглаженное белье. Преобладали три цвета: белый, розовый и голубой. Мо выбрал спортивный костюм и расправил его, не в состоянии при этом отделаться от чувства, что прикасается к чему-то живому. Он закрыл шкаф и отправился в ванную комнату переодеться.

В ванной лился с потолка холодный и какой-то сумеречный неоновый свет, отражаясь влажными бликами в фарфоровой раковине и унитазе. Овальное зеркало над умывальником со стеклянной туалетной полочкой, где лежали зубная щетка, косметичка, тюбики крема и стояли флаконы с туалетной водой, отразило превращение служащего похоронного бюро в студента восьмидесятых годов. Теперь Мо был облачен в костюм покойного мужа Бальзамировщицы из ярко-синего вельвета, с сеточкой под мышками, украшенный на груди красным факелом и желтой эмблемой Лиги коммунистической молодежи. Мо сообразил, что это форма университетской баскетбольной команды. Он долго недоверчиво разглядывал себя в зеркало. Припомнив черты лица бывшего владельца костюма, попробовал в шутку воспроизвести их и был поражен сходством взгляда и небрежного выражения губ.

Этот осмотр вновь поверг аналитика в тревогу, которая мучила его с той минуты, как он перешагнул порог бальзамировочного зала. "Тебе придется переходить к делу, Мо! — сказал он про себя. — Но нельзя же нарушать обет целомудрия только из чувства благодарности, в возмещение морального долга. Надо уносить ноги. Даже если тебе представляется случай доказать свою великолепную мужскую силу, ты не имеешь права отступаться от принципов! И вообще, ты никому ничего не должен. Абсолютно никому!"

С напускной беспечностью он вышел из ванной и закрыл за собой дверь. Раздался глухой металлический щелчок. Прислушавшись, он понял, что хозяйка дома все еще хлопочет на кухне. Лучшего момента для побега не придумать. Но тут в голове у него прозвучали слова Фрейда (или какого-то другого классика, его смятенный ум был сейчас не способен точно назвать источник): "...часто убийцы маскируются под доблестных воинов, а импотенты рядятся аскетами".

"Я-то, слава богу, не импотент. И нарядился не аскетом, а баскетболистом, — Мо усмехнулся и пожалел, что некому оценить эту шутку. — Но так ли уж я уверен в своей силе?"

Он посмотрел вниз и убедился, что штаны покойного супруга облегают красноречивый тугой бугор. "Подумай, не спеши. Быть может, теперь или никогда. Стоит ли упускать случай приобрести опыт, который

когда-нибудь может оказаться полезным". Напомним читателю, что хоть голова Мо была набита книгами по психоанализу, теоретическими знаниями о сексе и его разновидностях от античности до наших дней, но в практическом плане он оставался полным невеждой.

Он вернулся в комнату. Но ноги понесли его не направо, к входной двери, а налево, в кухню. Он шел уверенным, нетерпеливым шагом мужа, который вернулся с работы и умирает с голоду.

— Ну как, готовы твои пельмени? — проговорил мнимый супруг. — Пахнет чертовски аппетитно.

Бальзамировщица, колдовавшая у плиты, отвернулась от кастрюли и посмотрела на него. При виде мужчины, одетого как ее любимый муж, у нее защемило сердце. Она испустила тихий, жалобный стон, полный радостного предвкушения, и едва устояла на ногах. Веки ее опустились, по спине пробежала дрожь. Она вновь открыла глаза: да, вот он, тот самый спортивный костюм восьмидесятых годов, кое-где разорванный и зашитый (она узнавала свою штопку), куртка со стоячим воротничком, треугольным вырезом и болтающейся на ниточке пуговицей. По мере того как Мо надвигался на нее, эта пуговица разрасталась и заслонила собой все.

— Надо пришить, — сказала она, прикоснувшись к ней и продолжая другой рукой помешивать пельмени.

Мо грубо схватил ее за талию и обнял, неловко, но с такой страстью, что чуть не повалил на буфет. Гибкое женское тело затрепетало и обмякло под его руками. Их языки, сначала робея и стесняясь, а потом поддавшись хмельному порыву, терлись, ласкались и лизали друг друга, ныряли изо рта в рот, точно два молодых дельфина. Неискушенный Мо млел от аромата сельдерея, аптечного запаха косметической маски, от дыхания Бальзамировщицы и твердости ее похожих на острые камни на дне пещеры зубов, от рокота холодильника, скрипа буфета, от стонов, вырывавшихся у них обоих, от пара, который поднимался из кастрюли и обволакивал их сплетенные тела марлевым пологом, летучим покровом, райским маревом. Мо провел рукой по ее бедрам — она томно и шумно вздохнула. Он был поражен, видя, как она преобразилась почти до неузнаваемости, как затуманились и размягчились ее черты, каким непорочным, близким к блаженству вожделением она разгорелась и какую сладостную прелесть это ей придавало. Оба они пылали, точно сухие ветки в костре. Идти в комнату было уже некогда. Рука Бальзамировщицы скользнула к поясу спортивных брюк, стащила их вниз и отпустила, так что они съехали на пол и легли кольцом у тощих голых ног Мо. Потом точно так же она стянула с себя брюки и розовые трусики и отшвырнула их ногой. Они слились в любовном объятии стоя, прислонившись к буфету. Деревянные створки, не выдержав такой сейсмической мощи, распахнулись и стали при каждом новом толчке извергать фонтаны бамбуковых палочек, пластиковых вилок и ложек. Вскоре сокрушительные колебания передались стене, и затряслись хрупкие полки, висевшие над головами любовников. Разъехалась шаткая пирамида кастрюль, шмякнулся набок и раскрылся пакет с мукой. Белые клубы взметались из него сообразно силе и ритму толчков, тонкий порошок вперемешку с бумажками (какими-то записками? неоплаченными счетами?) кружил по кухне, сыпался им на волосы, плечи, ли-

ца, попадал в кипящие вовсю пельмени. Несколько клочков прилипло к намазанному кремом лицу Бальзамировщицы. "Снег идет!" — шепнул ей Мо, но она не ответила. И снова он был изумлен ее исступленным видом и понял, что она его просто не услышала. В эту минуту он вдруг постиг сущность современного искусства. Моя дорогая, несравненная Бальзамировщица, ты одна воплощаешь всех женщин, чьи портреты висят в лучших музеях мира, — женщин с перекошенными глазами, лицами, раздробленными на углы, круги и плоскости, и особенно ты похожа на картину Пикассо, на которую теперь он будет смотреть с восторгом посвященного, на "Женщину с мандолиной", с ее растекающейся грудью и плечами, изломанными теперь понятной ему сладкой судорогой. Он вспомнил ее голову, упрощенную до крошечного квадрата с огромным глазом посредине и возносящуюся из темной грушевидной мандолины. Первое половое сношение психоаналитика прошло самым идеальным образом, точно как описано в учебнике, и теперь превращалось в докторскую диссертацию о творчестве Пикассо. Он сам захотел стать этим художником, желая обрести не славу и талант, а зоркий, бесстыдный, свободный от условностей взгляд. Глазами Пикассо, гениального ценителя красоты, он посмотрел на кувыркающиеся в кипятке пельмени и увидел пенные вихри, буруны, встающих на дыбы белогривых кобылиц, готовых с бешеным ржанием вырваться на волю... Но в самый последний миг Бальзамировщица схватила ложку и помешала воду в кастрюле. Глядя на ее руку и оседающие на дно пельмени, Мо с удивлением понял, что даже в страстном забытьи она не отрывалась от реального мира. Он подумал о мертвых телах, которых касалась эта влажная от пота и крема, блестящая, почти светящаяся рука, рука девственницы, присыпанная мукой; рука, которая сейчас ласкала его член. Задыхающимся, горячим шепотом она сказала ему в самое ухо: "Любимый". Непривычное, возбуждающее ощущение. Мо почувствовал, что, пожалуй, тоже испытывает что-то вроде влюбленности. Он хотел сказать: "Я люблю тебя", но из горла вырвался только хрип. Вдруг она напряглась, расширила глаза и воскликнула: "Муж мой!" На Мо обрушилась тишина. Он не слышал больше ни урчанья холодильника, ни бульканья кипятка. Только это священное слово звенело в воздухе.

Он не совсем понял, возводит ли его это звание в почетный ранг главы семейства или унижает до роли простого заместителя, а то и жалкой жертвы.

Бальзамировщица сняла с него очки, положила их на буфет, обхватила ладонями его лицо и покрыла поцелуями.

— Муж мой! Обними меня сильнее! — пронзительно выкрикнула она. — Не покидай меня никогда больше!

Не оставляя судорожных усилий, Мо упирался ослепшими без очков глазами то в пол, то в потолок, потом глубоко вздохнул и сказал:

— Твой муж шлет тебе пламенный привет.

Это прозвучало так неожиданно, что она опешила, недоуменно посмотрела на него, а потом откинула голову и разразилась смехом, от которого оба они затряслись. Это приятное сотрясение оказалось для Мо роковым — он истек спермой.

— Как, уже? — разочарованно спросила она. — Пельмени еще не сварились.

— Прости, — пробормотал он, натягивая штаны и отыскивая очки.

Он вновь обрел ясность зрения. И что за непотребство! Первым, что увидели его лишившиеся невинности глаза, был пельмень. Дырявый пельмень, который, трепыхаясь, как больная бабочка, вылетел на поверхность, а потом по широкой спирали пошел на дно, оставляя за собой вихревой хвост из мясного фарша с сельдереем.

Мо сел на пол у дверцы холодильника. Бальзамировщица взяла клочок бумаги и вытерла струйку крови с его ноги. Потом другой бумажкой — остаток спермы.

"Вот, я больше не девственница", — подумала она. По щекам ее покатились слезы и прочертили борозды в синеватой, припудренной мукой корочке высохшей маски.

— Идем, — сказала она и поцеловала Мо в щеку. — Давай поедим, я жутко голодная.

— Подожди, я сначала помоюсь.

Пельмени отдавали гарью, но соус к ним она приготовила превосходный: с уксусом, пряностями, резаным зеленым луком, толченым чесноком и капелькой кунжутного масла. Они сидели друг напротив друга за низеньким столиком, покрытым газетой, и ели молча. Молчание было довольно тягостным. Мо старался впихнуть в себя все, что лежало на тарелке, боясь обидеть хозяйку. К счастью, ей пришло в голову достать фаянсовую бутылку дорогого спиртного напитка под названием "Хмельной дух", который славился своей крепостью, тонким букетом и оригинальной упаковкой в форме грубого мешка. Несколько глотков чудесной жидкости быстро подняли настроение расстроенного преждевременным семяизвержением психоаналитика и вылечили его травмированное мужское самолюбие. В Мо было здоровое упорство. Проиграв, он не отступался. Всю жизнь его преследовали неудачи, но вместо того чтобы смириться, он каждый раз снова бросался в бой и каждый раз терпел еще худшее поражение. Так уж он был устроен. Вот и теперь, взглянув на вещи с точки зрения Пабло Пикассо, он стал искать случая затеять все сначала, смыть позор и утвердить свое достоинство.

Инстинкт подсказывал ему, что он располагает еще двумя-тремя часами, чтобы поправить дело, а там уж пора будет уходить и продолжать борьбу с жестоким миром.

Не желая тратить энергию, вселённую в него "Хмельным духом", он отказался от дыни, которую его подруга вынула из холодильника. Длинным кухонным ножом она разрезала плод, из-под ножа потек и пропитал газету сок. Семечки были собраны в фарфоровую миску. Она кусала мякоть, и по подбородку стекал красный сок. На Мо вдруг навалилась страшная сонливость: сначала поддавался расслабляющей истоме рассудок, а за ним словно резко проваливалось в пропасть тело. У него отяжелели веки, очки свалились с носа в дынные корки. Он крепился как мог, с улыбкой водрузил очки на место, забыв протереть стекла, подавил зевок и наконец встал, взял со стола бутылку "Хмельного духа" и направился к ванной.

— Я только приму ванну и вернусь.

— Погоди, я с тобой, — сказала она. — Не хочу оставаться одна.

Чтобы прийти в себя, ему пришлось несколько раз окунуться с головой в горячую воду. Но окончательно взбодриться было нелегко. Разомлевшее тело не слушалось. Мо с тревогой видел, что его драгоценный мужской член обмяк, сморщился и совсем спрятался в гущу распушив-

шихся в воде волос. Между тем Бальзамировщица села на стул рядом с ним, поставила ноги на бортик ванны и принялась красить лаком ногти.

– Сегодня вечером, – начала она, – я чуть не умерла от страха с твоим судьей Ди. Сколько лет работаю, но никогда не бывало, чтобы мертвый проснулся. Раньше я видела такое только в гонконгском фильме ужасов. Жуть!

С ней случилось то, что испокон веков случается со всеми после любовных ласк: ее потянуло на душевные откровения, слова лились и лились из ее уст, как вода из крана. И она не задумывалась о том, что весь ее бесконечный монолог посвящен покойному мужу, а бедному Мо в нем не хватило места. Ни слова о нем самом. Столь явное замещение доконало его, как будто после физической осечки, которую он ощутил как пощечину, его безжалостно лупили кулаками. "До чего жестока женщина! Бесподобное создание!" – думал несчастный дублер, погружаясь глубже в ванну, чтобы вода залилась ему в уши и перекрыла слух.

– Самое сильное впечатление за всю мою практику, это когда я занималась телом моего мужа. Вообще-то у нас так заведено, что бальзамировщик не прикасается к тем, кого знал: своим родственникам, друзьям или даже соседям. Это железное правило. Поэтому к делу приступили четверо моих коллег, а я осталась ждать внизу. Они обмыли тело, принялись разминать его. После падения с седьмого этажа сосуды полопались, и требовалось немало времени и терпения, чтобы свернувшаяся кровь снова стала жидкой. И тут вдруг являюсь я и прошу, чтобы все ушли и дали мне доделать все самой, включая самое трудное – реставрацию черепа. Они были только рады уступить мне эту изнурительную и, главное, неблагодарную работу. Что ж, я их понимала, они знали, что, сколько бы ни старались, хорошо все равно не получится – череп раскололся как арбуз, почти пополам. Запекшаяся кровь, засохший мозг и множество трещин по всей голове – как тут отреставрируешь! И начинать-то рискованно! Чуть что не так – развалится на куски, и тогда уж никто не склеит. Даже я. Страшно подумать! Ну, я сжала зубы, вытерла слезы. Приступаю к работе, а сама дышать и то боюсь. Выбрала самую тонкую иглу. Нитки были японские, хирургические, самого высшего качества – я даже не смогла оторвать, пришлось откусывать зубами. Кости разошлись сантиметров на двадцать в длину и на пять, не меньше, в ширину. Я начала шить с самого узкого места. Коллеги внизу включили магнитофон и стали отрабатывать вальс под медленную и грустную фортепианную запись. (Помнишь, тогда вальс был в большой моде. Его танцевал миллиард китайцев. А потом все помешались на маджонге.) Такого печального вальса я никогда не слышала, он был еще печальнее реквиемов, которые поют европейцы, вот как по телевизору показывают: женщины в шляпах с траурными вуалетками, и у всех в руках свечки...

Мо, побежденный дремотой и алкоголем, слышал эту исповедь сквозь сон, слова доносились из другого мира, отделялись от живого человека и превращались в звуковое облачко. Наверное, такой голос у призраков. Он перестал понимать, происходит все это наяву или во сне, на самом ли деле она говорит или ему только грезится. Вдруг глаза его лениво открылись, и он увидел сквозь воду тонкую змейку, которая болтается у него между ног. Он протянул руку, чтобы схватить ее, но не смог. Змейка выскользнула и снова юркнула под воду, а в руке у Мо остался пучок волос. Это его рассмешило. Он поднес ко рту бутылку "Хмель-

ного духа", стал пить из горлышка и одновременно затеял другой рукой ту же игру в прятки с хитрой змейкой.

— Швы на черепе — дело долгое, настоящий марафонский забег. Миллиметр за миллиметром, стежок за стежком, я наконец все зашила. Два раза меняла иглу: кость страшно твердая, волосы мешают... Закончила и наложила воск на лицо. Как раз в это время печальный вальс сменился каким-то танго повеселее, хотя и в нем, и даже в шарканье танцующих коллег мне слышалось что-то трагическое. Я работала и заливалась слезами. Плакала так, что воск на лице трупа, который должен был предохранять кожу от разрушительного действия времени и перепадов температуры, но еще не успел застыть, был весь в дырочках от капающих слез. Это никуда не годилось. Пришлось все переделывать и сдерживаться изо всех сил. Потом я взялась за макияж. Подкрасила глаза, придала векам их обычный цвет. Причесала его. И все бы ничего, но тут случилась ужасная вещь. Я уже собиралась уходить, как вдруг мне показалось, что чего-то не хватает, и я вернулась. Смотрела-смотрела и поняла: не хватает улыбки. Я стала осторожно, кончиками пальцев растирать уголки рта, и когда улыбка уже стала прорисовываться, череп затрещал. Это был громкий и длительный скрежет, точно открывалась старая несмазанная дверь. Меня передернуло. Весь мой шов разъехался, посреди головы опять зияла глубокая черная дыра. Я сжала череп руками и заорала как ненормальная. Но меня никто не услышал — там внизу запустили музыку на полную громкость. Танго дошло до самого романтического, самого упоительного места. Я постаралась снова собраться с силами. Один Бог знает, как это было трудно. Каким-то нечеловеческим усилием я все же справилась с собой и начала все сначала, снова стала зашивать рану, а она никак не стягивалась... Что с тобой, Мо? Ты плачешь? Дай мне свои очки. Успокойся, не надо... Почему ты плачешь? Из-за меня?.. Да ты смотри, смотри! Он у тебя стоит! Прямо в воде!.. Ой, куда ты меня тянешь? Ты с ума сошел! Я же одетая! (Громкий всплеск.) Мы оба сумасшедшие! Да, да, погладь меня вот здесь... Тебе так нравится? Сними с меня лифчик, он вымок и липнет к коже. Ай! Больно! Не кусайся! Соси тихонько. Я волчица, а ты мой волчонок. Теперь другую грудь... Мне так хорошо с тобой. Тебе не тяжело? Я боюсь тебя раздавить. Я же сильная, мускулистая. Иначе как бы я работала? Чтобы таскать трупы, нужна сила. Постой, я сама сниму... Это не так просто. Ты еще соображаешь, что делаешь? Я — уже ничего... Не понимаю, что со мной творится... Не шевелись. Я все сделаю сама. Вот так, мне хорошо... Ох, как хорошо! Иди ко мне, ты мой! Приподнимись чуть-чуть. Еще, пожалуйста еще... О, я умру от счастья. Умираю, умираю...

Окно с вставленной изнутри деревянной рамой, на которую натянута темная сетка от комаров, достаточно широкое и низкое, чтобы Мо, проигравший битву на суше и одержавший победу на воде, мог, хоть еще толком не протрезвел, легко забраться на подоконник. Он даже мог бы выпрыгнуть. Насколько позволяет сетка, он высовывается наружу, но видит только какие-то блики в темноте.

У него кружится голова, и он решает сесть верхом на подоконник, так что одна нога свешивается в комнату, а другой он свободно болтает в таинственной пустоте, над мерцающей, дышащей, манящей бездной. Дождь кончился. Весело щебечет невидимый зяблик, ему отвечает зали-

вистая трель канарейки. Вдали белесый луч прожектора с телебашни прошивает небо по горизонтали и вычерчивает подвижный световой конус. Мо уверен, что где-то уже видел эту картину. Но где? Из окна гостиницы? Из дома друга? Или в каком-нибудь фильме?

Ну и крепкая штука этот "Хмельной дух"! Глотка у него так и горит, икота с винной отрыжкой разрывает грудь.

"Готово, — подумал Мо. — Я напрочь потерял голову".

Он пожалел, что не захватил свою тетрадь и ничего не записал за весь этот полный событий и эмоций день. Ничего, ни единой мысли! Какая потеря! Ведь нечего и сомневаться, что из-за "Хмельного духа" он все позабудет и уже завтра ничего не сможет вспомнить. Он слез с подоконника, надел тапки покойника и стал искать где-нибудь в доме бумагу и ручку. Бальзамировщица осталась в ванной и, что-то напевая, стирала там в раковине свое белье — последнее, которое носила еще девушкой.

Мо вернулся к окну и устроился на подоконнике в той же не слишком устойчивой позе. На этот раз он забыл снять тапочки. Он нашел на кухне большие спичечные коробки, притащил их с собой и теперь нацарапал на одном:

"Я не Фань Цзин. Но я совсем потерял голову. В этом мире больше всего ценится успех, но мое безумие никак не связано с моими любовными подвигами, скорее наоборот".

(Упомянутый Фань Цзин — седовласый вечный студент, знаменитый герой "Тайн китайских ученых", который год за годом, до шестидесяти лет, безуспешно пытался сдать экзамен на мандаринский чин. Когда же на шестьдесят первом году он узнал, что прошел наконец по конкурсу, то так обрадовался и разволновался, что попросту рехнулся.)

Мо посмотрел наверх. Небо расчистилось, но еще пахло дождем, звезды, названий которых он не знал, сияли, казалось, совсем близко — рукой подать. Белая краска на оконной раме растрескалась или обгрызена крысами и осыпается чешуйками. Он посмотрел на себя в стекло: волосы всклокочены, как бурьян. Две светящиеся точки, отражения двух горевших в комнате ламп, плясали на поверхности очков, как крохотные блуждающие огоньки, перескакивали то на лоб, то на нос и исчезали, если он наклонялся. Он перечитал то, что написал на первом коробке, и почувствовал гордость, которая, точно целительный бальзам, помазала его по сердцу и освежила разгоряченную голову. Он взял второй коробок и написал:

"SOS. Я потерял голову. SOS.

Я сделал страшное открытие о себе самом: я люблю всех женщин, к которым испытываю физическое влечение. Абсолютная власть Горы Старой Луны рухнула, единственная любовь подорвана. Во мне поселился другой человек, молодой и жадный, этакое морское чудовище. И я был свидетелем его триумфа. Который же из нас настоящий?"

Рядом кружил и выводил свое скрипичное скерцо комар-переросток. Он потыкался в стекла очков и приземлился на левом запястье Мо, между выпуклыми полосками вен.

— Что тебе, малыш? — нежно обратился к комару наш герой.

Осторожно, кончиками пальцев правой руки он натянул кожу на левой в том месте, где злосчастная козявка расположилась угоститься его кровушкой. Натянул и отпустил, так что поры сжались и комар остался

с защемленным хоботком, а Мо несколько секунд забавлялся, глядя, как тот складывает крылышки, тужится и сжимается чуть ли не до размера самой поры. Наконец, судорожно замахав крыльями, комар вырвался, взлетел, как вертолет, прямо вверх, поднялся на уровень очков наблюдателя, укусил его в нос, сиганул вниз и исчез.

Мо истолковал это происшествие как намек на то, что и ему, как отважному комару, пора улепетывать.

Он чувствовал, а житейский прагматизм подтверждал это чувство, что Бальзамировщица, которой, как и ему самому, уже стукнуло сорок, искала не только и не столько любовных приключений, сколько нового мужа. Это вполне понятно и закономерно. Она хочет завести семью. Выйти замуж за первого китайского психоаналитика — отличный выбор! В расчете на это она и согласилась сделать ему огромное одолжение — пойти к судье Ди.

"Как бы выпутаться из этих осложнений? — думал Мо, сидя на окне и дрожа от холода. — Как рассказать все это Горе Старой Луны?"

Ему вдруг захотелось обвязаться всем кухонным запасом спичек, поджечь их, как поджигают бомбу фитильком, броситься вниз и полететь, словно объятый пламенем самолет, переворачиваясь в воздухе, пронзая облака и туман и оставляя за собой столб черного дыма.

Но сквозь этот воображаемый дым он видел того, другого себя, который бился головой в иллюминатор и орал, чтобы его выпустили.

Вдруг новая идея осенила его — помолиться.

А как это делается? До сих пор он никогда не молился. И что выбрать: буддизм, даосизм? Впрочем, в обоих случаях люди ведут себя одинаково: становятся на колени и складывают руки на уровне груди. Вот только про христиан он ничего не знал. Во времена его детства религия была под таким строгим запретом, что родители не водили его ни в храм, ни в церковь. Первый раз он увидел молящихся, когда ему было семь лет, в разгар культурной революции. Однажды к ним в дом пришли красногвардейцы и забрали мать на допрос. Пробило полночь, а она все не возвращалась. Тогда они еще жили в одной квартире с бабушкой и дедушкой. Мо никак не мог уснуть. Посреди ночи он встал и, проходя по коридору, увидел какой-то необычный свет в комнате стариков. Они оба стояли в постели на коленях перед зажженной свечкой (боялись, что ли, включить лампу?). Мальчику никто никогда не объяснял, что такое молитва. Но он сразу понял, что они именно молятся, хоть и не знал, какому богу. Жестов он не запомнил, но слабое колеблющееся пламя свечи, светящийся ореол над головами бабушки с дедушкой, их напряженные, страдальческие, покрытые морщинами лица, которые выражали благоговение, достоинство и трепетную надежду, навсегда запали ему в память. Как они оба были прекрасны!

"Чего мне просить у неба? — подумал Мо. — Чтобы на меня обратили внимание? Чтобы помогли сбежать, избавиться от этой женщины? Но не слишком ли это дерзко? Какое до меня дело Высшей Силе, или там Господу Богу? Ему плевать, выпрыгну я сейчас из окна или нет. Разве до него дойдет вонь от моего разбившегося в лепешку трупа посреди двора? Скорее всего он будет только рад моему избавлению, концу всех мук, полному, радикальному очищению.

Может быть, размышлял он далее, на меня так действует окно? Искушение выброситься в окно — не такой уж редкий феномен. Или дело

в том, что это проклятое окно? Однажды, десять лет назад, муж Бальзамировщицы, гей, уже поддался роковому соблазну. Может, это было не просто самоубийство, может, его погубил зов окна, бездна стыда? Я тоже принадлежу к тем немногим (интересно, какую долю от всего человечества они составляют: пять процентов? десять?), которые испытывают смертельный позыв на краю пропасти. Сколько я ни читал мудрых книг Фрейда, сколько ни изучал психоанализ, с этим ничего не поделаешь. Хоп — и все! Врожденный рефлекс, безотказный, как реакция мужчины на запах женщины".

Со странным чувством, будто он погружается в туманный поток, Мо старался повторить движения, которые делал его дед в ту далекую ночь. Он подтянул ноги и очутился на корточках — настоящий орел на утесе. Орел в очках, с костистыми лапами, а утес в семь этажей высотой. Потом попробовал выпрямиться, не теряя равновесия. Замахал руками, будто вот-вот полетит, и наконец встал на колени на самом бортике из розовых кирпичей, обмазанных темным от дождя цементом. Сырость сразу пропитала его колени и чужие штаны. Он заглянул в пустоту, точно в пруд перед прыжком.

В этот миг он услышал тихий голос прямо над ухом. Мерещится, что ли? Нет. Это комар! "Ах, мерзавец, — подумал он, — опять ты! Узнаю по мелодии!" Комар сел ему на нос и приготовился отсосать еще немножко крови. Мо замотал головой, чтобы прогнать его, проявляя ловкость и осторожность циркового акробата. Чуть сильнее — и он сорвался бы вниз.

Дул холодный, но не слишком сильный ветер. В темном стекле отражались бегущие по небу тучи. Мо соображал, чего бы пожелать в молитве. С горечью подумал, что больше всего он хотел бы остаться девственником до тех пор, пока Гора Старой Луны не выйдет из тюрьмы, и подарить свою невинность ей. Но теперь поздно. Вся история с судьей Ди и Бальзамировщицей снова всплыла в памяти, и черная тоска подхватила его, как смерч.

Он почувствовал себя козявкой, изувеченным комаром с помятыми крылышками и неуклюжими, длинными (длиннее, чем кажется со стороны) лапками коленками назад, которого стиснула рука Судьбы, и он, раздавленный, дрожащий, испускает дух. Мо сложил руки для молитвы, как его дед, но из уст вырвалась песенка, которую он часто слыхал, когда был маленьким, а с тех пор за многие годы ни разу не спел:

Мой папа директор в народной столовой,
Его обвинили в хищенье талонов.
Каких? На продукты,
На масло и рис.
Мой папа веревками крепкими связан,
Стоит на коленях, за кражу наказан,
Вокруг все кричат: отвечай, негодяй!
За все отвечай, отвечай, отвечай!

Первые строчки Мо прошептал неслышно, как молитву, невнятным из-за "Хмельного духа" голосом. Но мало-помалу разошелся и стал выкрикивать слова так же громко и хрипло, как дрозд, который сидел на крыше дома напротив и отвечал ему. Голос его окреп, стал уверенным, в

нем появился разухабистый задор. После первого куплета он пропел припев, протрубил губами "ту-ру-ру!" и весело засмеялся, услышав в собственном пении знакомые интонации кумира своего детства – соседского мальчишки по прозвищу Шпион. Он был сыном профессора анатомии, после перевоспитания стал главарем воровской шайки, а в семидесятых, когда ему было лет двадцать, сел в тюрьму за вооруженное ограбление банка. Это была любимая песенка Шпиона, он любил распевать ее во все горло, чтобы подразнить девчонок, насвистывать, спускаясь по лестнице или гуляя по двору, при этом он молодецки гикал, и шапка подпрыгивала на его взъерошенной шевелюре. Бедный Шпион! Он один умел так петь, подпуская легкие трели.

Закончив второй куплет душещипательным тремоло, Мо перешел к лихому припеву, и вся боль, вся тоска от неудач, все раскаяние в измене испарились вместе с мыслями о любителе девственниц судье Ди. Блатная песня заглушала и убаюкивала совесть. Но вдруг его пение прервали самым варварским образом! Сильные руки обхватили его сзади за ляжки. Мо дико закричал, небо в звездах пошатнулось, накренилось и перевернулось, а вышитые тапочки покойного мужа устремились в космос и вышли на орбиту как два небесных тела.

Крик аналитика зазвенел среди домов, к нему сочувственно присоединились дрозд и воробей. Снова пошел дождь. Капли застучали по оконному стеклу.

Оказалось, это Бальзамировщица напала на него сзади. Когда она вышла из ванной и увидела его стоящим на подоконнике, то приняла за своего мужа. Неслышно, чтобы не спугнуть, она подкралась к нему, а потом молниеносным броском схватила и рванула обратно, в комнату. Так, сцепившись, они покатились по полу.

Да уж, силы ей было не занимать. Не зря коллеги-мужчины считали ее непревзойденным мастером своего дела. Захлебываясь слезами, она затолкала Мо в стенной шкаф, захлопнула железные створки и навесила солидный замок.

Аналитик вопил, колотил в двери ногами, но тщетно.

– Клянусь, это ради твоего блага. Я не хочу, чтобы все повторилось, не хочу потом латать тебе череп, – твердо сказала Бальзамировщица.

Третья часть
Тропинка

1
Не *проглоти мой зуб*!

Через окно кассового зала железнодорожного вокзала в Чэнду Мо смотрел на убегающие вдаль и поблескивающие в мягком свете уходящего дня рельсы. Сквозь разбитые стекла и паутину пробивались янтарно-желтые лучи. Ржавая решетка отливала благородной зеленью старинной меди. "Достигает ли этот прекрасный чистый свет вышек женской тюрьмы, где томится Гора Старой Луны, а теперь еще и Бальзамировщица? И сколько, интересно, этих вышек? Четыре? По одной на каждой

стене? Так же ли прозрачно небо за спиной неподвижных, как статуи, дозорных?"

Вот уже четверть часа стоял он в очереди за билетом, пряча лицо под серым капюшоном. Рядом ругались две женщины, постепенно в свару вступили их родственники всех поколений. Гул голосов, рык громкоговорителей, запах пота, табачного пепла, лапши быстрого приготовления... Длинная очередь чуть сдвигается и опять надолго застывает в сонном дурмане.

За треснувшими стеклами потихоньку сгущаются и обнимают землю сумерки. Вдоль рельсов зажигаются сигнальные лампы и расплываются красными и зелеными туманными пятнышками, будто сказочные блуждающие огоньки. Мо же они напоминают мигалки полицейских машин, которые, должно быть, патрулируют сейчас город и ищут психоаналитика в очках, объявленного заклятым врагом судьи Ди.

"Не паникуй, не падай духом, — увещевал себя Мо. — Никто не будет тебя арестовывать в такой час. Все полицейские сидят за ужином".

И все же, стоило в дверях появиться человеку в полицейской форме, как у Мо задрожали поджилки. По мере того как страшный человек пробирался в толпе и приближался к нему, дрожь сменялась болезненной судорогой. Но полицейский, слава богу, на середине зала свернул в туалет.

Чем ближе к кассе, тем теснее сутолока и тем спокойнее чувствовал себя Мо, затиснутый в густую толчею. Какая-то женщина потеряла босоножку с рваным ремешком и дырявой подметкой. Наконец Мо хватается за никелированную решетку перед кассой.

— Один билет до Куньмина, — кричит он в окошко. — На сегодня, на поезд в 21 час.

— Не слышу, говорите громче! — надрывается в микрофон кассирша. — Куда вам ехать?

— В Куньмин!

Мо пытается схватиться за прут поближе к кассе, но не успевает — его относит толпой в сторону, он вновь проталкивается к окошку и выкрикивает название города. В конце концов ему уже не достается билета в спальный вагон, а только в общий жесткий, такой же, в каком он ехал месяц тому назад, когда у него украли чемодан фирмы "Делси".

Через несколько минут Мо, не снимая капюшона (в такое время года наряд довольно нелепый, придававший ему клоунский вид), ужинал инкогнито тут же на вокзале перед павильончиком фаст-фуд; собственно, это был простой ларек, такой же, как десятки других мелких торговых точек под пышными, высокими, в стиле советских пятидесятых годов аркадами, превращенными в полутемные торговые ряды. Съестные лавочки соседствовали с камерами хранения, сувенирными и газетными киосками, где продавались журналы с портретами китайских и зарубежных секс-символов на обложках.

Над столиком жужжала настырная муха.

Ни тарелки, ни миски тут не давали. В квадратной пластмассовой коробочке лежали кусочки холодного жареного цыпленка, ломтики кальмара, тоже холодные, обмазанные перечным соусом, и паровая лапша с растительным маслом. Стоило это недорого: пять юаней за все, включая стаканчик соевого молока. Дешевле, чем одна поездка в парижском метро. Практичная пища для неимущего беглеца. Однако цыпленок оказался совершенно безвкусным, просто несъедобным. Мо попро-

бовал кусочек жареного кальмара – еще того не легче! Как ни старался, он не смог перекусить его – жесткий как камень и упругий как резина, он не поддавался зубам. По громкоговорителю передали объявление: разыскивался некий Мао – имя почти такое же, как у него. Кальмар наконец был раскушен, и Мо жевал его, как жвачку. И вдруг... "Что это?" Что-то не так у него во рту, что-то изменилось, он понял, что жизнь его вступила в новую фазу, которую будущий биограф назовет "посткальмаровой". Кажется, чего-то не хватает? Он стал методично ощупывать челюсти языком: так и есть, исчез передний зуб.

А муха все жужжала.

Кончиком языка он обследовал дырку между двумя другими зубами, и она показалась ему на удивление глубокой и широкой. Но ни капли крови почему-то не выступило.

Он поискал, опять-таки при помощи языка, выпавший зуб во рту, но не нашел. Наверное, он его проглотил, как куриную или рыбью косточку. Мо стало не по себе. Вот ему уже трудно глотать слюну! Где зуб? Застрял в горле или проскочил в желудок? К великому облегчению, зуб нашелся в пластмассовой коробке, в гуще лапши. Целенький, желтовато-чайного цвета, местами, впрочем, темно-коричневый, а на конце почти черный. Первый раз Мо видел свой зуб "живьем", а не в зеркале, и впечатление у него сложилось не из приятных. Длинная, сантиметра три, костяшка с торчащим, как каблук-шпилька, корнем навевала мысли о вампирах из триллеров. Другой же конец, сорок лет исправно служивший Мо для кусания и разгрызания, был похож на зазубренное кремневое лезвие.

Бережно, как археолог ценную находку, он завернул зуб в бумажную салфетку. Потом закурил сигарету – у дыма, проходящего через новое отверстие, был совсем другой вкус.

Страшно разозленный, он вышел из здания вокзала и перешел на другую сторону площади. В памяти ярко всплыл образ девушки, которую он месяц назад встретил в поезде, и он решил купить бамбуковую циновку, чтобы по ее примеру постелить себе на ночь под лавкой.

Вдруг его обдало неприятным запахом, и женский голос прошептал в самое ухо:

– Ищем гостиницу, шеф?

Мо подскочил от неожиданности.

– К сожалению, у меня через два часа поезд.

– Ну, тогда, – не отставала грубо размалеванная женщина, – тут у нас есть караоке-бар, с отличными девочками. Пошли, чуток расслабитесь, а, шеф?

– Спасибо, нет. Да и какой я вам шеф!

– Это просто модное словечко, то же самое, что "господин". Или, может, вам хочется, чтоб я вас называла по-другому, поласковее, а?

Мо остановился и в бешенстве проорал шлюхе прямо в лицо:

– Да отвяжись ты от меня!

Это возымело мгновенный эффект. Оскаленный щербатый рот, страшный до жути, особенно под тусклым фонарем, отпугнул женщину – ее как ветром сдуло.

В единственном еще открытом магазине напротив вокзала циновки не оказалось, Мо удовольствовался тонким, как бумага, полиэтиленовым дождевиком для велосипедистов цвета бледной розы.

Поезд на Куньмин тронулся с опозданием всего в десять минут. Мо смотрел в окно, как уплывают и остаются позади улицы Чэнду, города судьи Ди, и напряжение отпустило его — теперь можно хоть немножко посидеть спокойно. Он открыл тетрадь и записал:

"Когда арестовали Эзру Паунда, он подобрал на память эвкалиптовую шишечку. Я же в память об этом бегстве сохраню выпавший зуб".

Ну а Бальзамировщице предстояло провести первую ночь в тюрьме. Ее взяли на работе, сразу же после воскресения судьи Ди. Стояло ясное, безмятежное утро, венецианские шторы в большом зале трепетали под ветерком из кондиционера. Вдруг зазвонил телефон. Директор будничным тоном попросил ее зайти к нему, уточнить кое-что по поводу медицинской страховки. Она только стянула перчатки и как была, в халате, предстала перед двумя полицейскими в штатском, поджидавшими ее в директорском кабинете, и тут же была арестована. Сослуживцы утверждали, что, когда она влезала в черный полицейский фургон, стоявший у административного корпуса, на ней были наручники.

— Я-то думал, это обычная труповозка! — рассказывал один из них ошарашенному Мо, когда тот около полудня заехал за подругой в такси, чтобы вместе пообедать.

Двести метров от морга до такси показались аналитику бесконечными. Ноги сводило судорогой, сердце билось так, что казалось, вот-вот разорвется. Наконец он добрался до машины, плюхнулся на сиденье и обнял обеими руками неудержимо трясущиеся коленки.

Он стоял перед трудной дилеммой: явиться в полицию с повинной или преступно бежать? Призвав на помощь трезвый рассудок, Мо сделал выбор в пользу первого решения и хладнокровно, не теряя времени, приступил к закупкам всего необходимого для отбывания длительного срока. Механическим голосом он велел таксисту отвезти его в магазин "Книжный мир" в центре города. Там он купил семь томов Фрейда на китайском (вот что значит прожить несколько лет во Франции: он даже не подумал узнать сначала, разрешается ли в китайской тюрьме читать — Фрейда или вообще что бы то ни было!), двухтомный "Словарь психоанализа" на французском и сборник комментариев к своему любимому Чжуан-цзы[1]. Весь этот запас духовной пищи будущий зэк погрузил в два больших пакета, которые дал ему продавец. Прощания с родителями он бы не вынес, поэтому заезжать домой за вещами не стал, а купил в магазине нижнее белье, несколько полотенец, зубную щетку и рабочую обувь — прочные черные кроссовки. Уж это-то он знал, слышал сотни раз, что в китайской тюрьме заключенных водят на работы.

Он снова поймал такси и доехал до перекрестка у конного рынка, откуда до суда было уже недалеко. (Подкатывать в такси прямо туда ему казалось неосторожным. Чокнутому судье Ди могло почудиться в этом что-то вызывающее.) Последнюю часть пути надо было проделать пешком. Ему казалось, что с каждым шагом пакеты с книгами становятся все тяжелее, еще немного — и до предела растянутые ручки оторвутся, а книги с чудовищным грохотом полетят на усеянный опавшими листьями, плевками и собачьими какашками тротуар. При виде Дворца право-

1. Чжуан-цзы (ок. 369–286 до н. э.) — древнекитайский мудрец, автор книги парадоксальных притч, оказавших огромное влияние на словесность Китая.

судия у него опять начались судороги, голень свело нестерпимой болью, так что он не мог больше идти. Он остановился, положил книги на землю и сел на них. Когда же боль утихла, двинулся дальше, припадая на одну ногу и являя собой довольно комическое зрелище.

Сорок восемь слов, не больше и не меньше, — таков, как вычитал когда-то Мо, словарный запас, достаточный, чтобы прожить в казарме любой страны мира. А сколько нужно слов, чтобы прожить в китайских местах лишения свободы? Сто? Тысяча? Во всяком случае, десять томов на французском и китайском уж наверно обеспечат ему высокое положение среди тюремной элиты, можно сказать аристократии.

Судорога немножко отпустила. Он ковылял по тротуару со своими пакетами и мечтал: "Если когда-нибудь я стану миллиардером, накуплю себе книг, сколько душа пожелает, и распределю их по разным местам. Всю художественную литературу, китайскую и иностранную, буду держать в парижских апартаментах, в Пятом округе, где-нибудь на улице Бюффона, около Ботанического сада или в Латинском квартале. Книги по психоанализу — в Пекине, где буду жить большую часть года, в университетском городке, на берегу Безымянного озера (да-да, именно так это живописное озеро и называется). А остальные: по истории, живописи, философии и т. д. — в маленькой квартирке (она же будет моей приемной) в Чэнду, где-нибудь неподалеку от родителей".

Вдруг он вспомнил о своей бедности и ясно осознал, что у него на этом свете нет и, скорее всего, никогда не будет ничего, даже жалкой хижины или каморки, куда сложить книги. "Быть может, этот десяток томов, — подумал он, — мое последнее богатство, все, что у меня осталось в жизни". Слезы хлынули у него из глаз. Хромая, всхлипывая, шел он по улице и даже не мог прикрыть заплаканное лицо — руки были заняты тяжелыми пакетами. Хотел подавить плач, но только разрыдался еще пуще. На него оглядывались прохожие. Даже водители автомобилей и автобусов. Некоторые посматривали с опаской. Но ему не было дела до окружающего мира.

— Черт знает что! Я реву из-за денег! — бормотал он. — Из-за каких-то паршивых денег! Неужели хоть сейчас, когда меня вот-вот посадят за решетку, нельзя было дать мне хоть маленькую передышку и не выставлять на посмешище?

Сквозь слезы он представил себя со стороны: вот он еле плетется, хромает, волочит тяжеленные пакеты, как муравей, который тащит в одиночку хлебную крошку, карабкается и карабкается с ней вверх по склону...

Сам себе сценарист, он прокручивал в воображении заключительный эпизод автобиографического фильма. Сейчас он войдет во Дворец правосудия. Под сводами длинной мраморной колоннады разнесется эхо его шагов. В линзах очков засияют два маленьких солнца. Потом он спустится под землю, туда, где расположены судейские кабинеты. Пойдет мрачными, чем дальше, тем больше сужающимися коридорами по этому царству ужасов. Едва он переступит порог кабинета судьи Ди, как тот, решив, что непрошеный гость притащил два пакета взрывчатки, завизжит в смертельном страхе и запросит пощады. (Тут последует серия крупных планов: лицо одного — лицо другого.) А Мо утомленным жестом снимет очки, протрет рукавом запотевшие стекла и очень просто скажет: "Наденьте наручники на меня и освободите Бальзамировщицу!"

Вид у него будет такой же, как у капитана "Титаника", который решил умереть на борту тонущего судна и отдает распоряжения первыми погрузить в спасательные шлюпки женщин и детей. (Страшное дело, как может кино заморочить человеку голову, даже когда он идет сдаваться правосудию.) Далее — ночь, переполненная камера, многоголосый храп, мертвенный свет, Мо пишет по-французски первую страницу своего дневника: "В чем отличие западной цивилизации от нашей? Каков главный вклад французского народа в мировую историю? На мой взгляд, это не революция 1789 года, а рыцарский дух. И я совершил сегодня рыцарский подвиг".

Ультрасовременное здание Дворца правосудия, построенное по проекту австрийского архитектора на холме, под которым, по преданию, был похоронен генерал Чжан Фэй, воин эпохи Троецарствия[1], представляло собой сияющий стеклянный замок. Солнце зажигало грани этого огромного бриллианта, серебрило струи искусственного дождя, который поливал газоны и подвешивал капли под крышей массивной башни, возвышавшейся над дворцом как крепостной донжон и подставлявшей лучам мраморный циферблат с застывшими на трех часах стрелками. (Видимо, у архитектора было неплохо развито чувство юмора — этот циферблат напоминал горожанам слова, которые традиция приписывает самому Владыке ада: "Берегитесь, час настал!")

Одна, две, три... — сосредоточенно глядя себе под ноги, Мо считал ступеньки, ведущие к входу в стеклянный замок, откуда несколько часовых, в том числе вооруженных, молча наблюдали за его восхождением со скрипящими от натяжения пакетами в руках.

Мо поднимался медленно, тяжело дыша, стараясь не сбиться со счета. На середине лестницы он изнемог и остановился передохнуть. Отдышался немного и посмотрел наверх, на часовых, чьи темные силуэты выделялись на стеклянном фасаде. Один из них, безоружный, спустился на пару ступенек, подбоченился и крикнул, как строгий надсмотрщик:

— Ну, что застрял?!

— Устал.

— Давай-давай, еще немножко!

Солдат сложил руки на груди и продолжал расспросы:

— Что это ты тащишь в пакетах?

— Книги, — ответил Мо. Спокойный, беззлобный голос часового успокоил его. — Я иду к судье Ди. Вы его, наверное, знаете.

— Не повезло тебе. Он только что вышел.

— Я подожду в кабинете, — сказал Мо и торжественным тоном прибавил: — У меня к нему дело.

Когда до верха оставалось всего несколько ступенек, самых последних, вдруг случилось комическое происшествие. Мо так шумно перевел дух, что очки соскочили с его носа. Он инстинктивно разжал руки, потом попытался поймать выпавшие пакеты на лету, но поздно — из левого вывалились шедевры Фрейда, из правого — комментарии к Чжуанцзы. У Мо защемило сердце, когда он увидел, а точнее, услышал, как

1. Эпоха Троецарствия — период царств Вэй, Хань и У (220–64 гг. до н. э.).

полетели вниз по ступеням его сокровища, сначала компактно, потом вразброд.

Часовые покатились со смеху, точно марионетки, у которых отрезали ниточки. Один из них вскинул к плечу винтовку, прицелился в книгу и сделал вид, что спустил курок. Отдернулся, будто приклад ударил его в челюсть, прицелился в другую книгу, снова выстрелил понарошку и заплясал от радости — попал!

Только что купленный баллончик с пеной для бритья "Жиллет", шампунь от перхоти и зубная щетка улетели еще ниже, чем книги, резвее всех оказался "Жиллет". Баллончик со звоном скакал по ступенькам, пока не докатился до самого низа, куда Мо спустился подобрать его. Когда он снова поднялся, взмыленный, нагруженный туалетными принадлежностями для тюремного быта, то увидел, что какой-то человек лет пятидесяти, высокий и худощавый, с набитым кожаным портфелем под мышкой, наклонился над одной из его книг. Чтобы лучше рассмотреть, ему пришлось согнуться чуть ли не пополам. Маленькая головка, длинная шея — он был похож на журавля.

— Ты знаешь, что это за книги? — спросил он Мо.

Тот кивнул.

— Вот что, приятель. Я требую, чтобы ты, с позволения сказать, отвечал мне ясно и точно: да или нет, — произнес Журавль негромко, но с угрозой в голосе. — Повторяю вопрос.

— Да, знаю, — сказал Мо.

— Будешь отвечать, когда я повторю вопрос. Ты знаешь, что это за книги?

— Да.

— Они твои?

— Да.

— Следуй за мной. Я забыл в кабинете очки, а они мне нужны, чтобы выяснить кое-какие детали. — Он показал Мо служебное удостоверение с фотографией. — С позволения сказать, я судья Хуань, председатель Комитета по борьбе с нелегальными изданиями. Сочинения Фрейда у нас строжайше запрещены.

— Но я купил их в книжном магазине!

— Вот именно. Я и хочу узнать, кто, с позволения сказать, издал и напечатал их по фальшивой лицензии.

В отличие от своего коллеги Ди, любителя подземелий, Журавль свил себе гнездо на последнем, пятом этаже стеклянного замка.

Недоразумение возникло в лифте. Мо упомянул имя судьи Ди, и Журавль решил, что перед ним гость его собрата, консультант по вопросам психологии. Желая искупить давешнюю грубость, он показал себя любезным и весьма словоохотливым, пожаловался, что ему не хватает кадров, что он должен надрываться один-одинешенек и часто засиживается до ночи. Словом, обычный треп. Дежурная пластинка всех чиновников. Судья Журавль говорил суконным языком, засоренным канцелярскими оборотами, а время от времени смеялся трескучим смехом, от которого вибрировали стены застекленной кабинки, в которой они поднимались. Слушать его было довольно утомительно, он не мог сказать и двух фраз, чтобы не ввернуть свое "с позволения сказать" (любимая приговорка генсека Коммунистической партии и главы государства в телевизионных интервью). Мо узнал, что он вышел из бедноты и сделал головокру-

жительную карьеру: в конце девяностых рядовой коммунист, школьный учитель был по приказу Партии переброшен на работу в правоохранительные органы. Правда, как скромно признал судья Хуань, он не мог соперничать с многими товарищами, пришедшими из армии.

— Вот и твой, с позволения сказать, всемогущий судья Ди, по правде говоря, часто внушает мне страх.

Застекленная дверь с названием упомянутого Журавлем Комитета была закрыта на три замка: один на тяжелой предохранительной решетке, два других — на самой двери, врезанные на разной высоте. Хозяин отключил сигнализацию, набрав код на панели с кнопками, затем достал бренчащую связку ключей. Щелкнул замок, заскрипела решетка, распахнулась дверь, и наконец церемонию увенчало жужжание кондиционера.

Свежее дуновение не могло, однако, развеять запаха, с порога ударявшего в нос: запаха морали, повиновения, власти, тайных операций, душных камер, нетленных мумий.

Первая комната Комитета по борьбе с нелегальными изданиями была очень просторной и очень темной — из-за опущенных штор. Мо шел шаг в шаг за Журавлем. Сначала он подумал, что попал в подвал. Его близорукие глаза еле-еле различали какие-то неясные тени и светлые пятна, но скоро он понял, что вокруг него со всех сторон громоздились запрещенные книги, многим из которых не было цены. Они были свалены кое-как на стеллажи, занимающие все стены снизу доверху. Пахло заплесневелой бумагой. По обычаю старинных китайских домов, из небольшого углубления посреди потолка в центр комнаты падал конус тускло-серого света, остальное пространство тонуло во мраке. Мо казалось, что он идет по заброшенной библиотеке. Полки из скверной фанеры, без всякой нумерации, прогибались под тяжестью книг, на которых тоже не было никаких ярлыков. Стены были словно расчерчены в поперечную линейку, причем некоторые линии стали волнистыми, другие превратились в дуги, а самые нижние осели так, что касались пыльного ковра.

Дойдя до более или менее освещенной середины зала, Мо воспользовался тем, что Журавль отвлекся, поставил свои пакеты и вытащил с полки первую попавшуюся книжку. Это оказались "Записки личного врача Мао". На обложке черно-белая фотография: автор в шортах, с благодушной улыбкой, а рядом прищурившийся от слишком яркого света Мао в рубахе навыпуск и широких штанах. Мо воровато открыл книгу и наткнулся на страницу, где говорилось о некой болезни Великого Вождя, связанной с фимозом. Сам он был только носителем, но заражал всех своих партнерш. Однажды врач посоветовал ему (с той же благодушной улыбкой?) почаще промывать половой орган, на что глава государства отвечал, что предпочитает полоскать его в женской влаге. Мо захлопнул книгу, поставил ее на место и продолжал осмотр. Дальше шли полки с политической литературой, в основном свидетельства о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и их анализ, а кроме того разоблачительные документальные книги о борьбе за власть внутри правящей партийной верхушки, о подозрительной смерти Линь Бяо, об истинном лице Чжоу Эньлая, архивные материалы о голоде в шестидесятые годы, об уничтожении интеллигенции в трудовых воспитательных лагерях, о каннибализме во времена культурной революции... У Мо

закружилась голова, он задыхался среди такого множества книг, документов, докладов, кричащих о кровавых зверствах и жестоких преступлениях. Он не заметил, как его занесло, затянуло в море эротических романов, фривольных книжек распутных монахов, он чуть не утонул в фантазиях маркиза де Сада, с полок смотрели подпольные перепечатки учебников по технике секса, альбомы порнографических гравюр эпохи династии Мин, разные версии "Камасутры" на китайском, десятки изданий "Цзинь, Пин, Мэй"[1] (эту книгу Мо читал в Париже и так увлекся, что хотел исследовать ее с точки зрения психоанализа, но дело не пошло дальше разбросанных по разным тетрадям отрывочных заметок). Целых два стеллажа занимали оригиналы древних книг, на старинной бумаге, сшитые вручную. Мо спросил у Журавля, о чем они и почему их запретили.

— Это тайные даосские трактаты о семяизвержении, — ответил он.

— Вы хотите сказать, о мастурбации?

— Нет, именно о семяизвержении или, вернее, о неизвержении. Они много веков изучали способы заставить сперму циркулировать в теле во время полового акта, чтобы она проникла в мозг и превратилась в сверъестественную энергию.

Мо еле удержался, чтобы не вытащить свою тетрадь и не записать сведения об этих книгах. "Какая жалость, — подумал он, — что я не могу взять их с собой в тюрьму! Я бы написал к ним многотомные комментарии!"

Вторая комната освещалась точно так же, но была поменьше. Вместо стеллажей с книгами здесь в могильном сумраке хранились металлические коробки с кинофильмами. Десятки, сотни, тысячи бобин, целые пирамиды и штабеля. Мертвенный свет придавал этому кинематографическому кладбищу совсем зловещий вид. Некоторые штабеля обрушились, ленты вывалились из коробок и раскинулись петлями и кругами, как мертвые змеи, или связались в толстые узлы, местами пленка ссохлась, местами покрылась зеленой плесенью.

В третьей комнате находился кабинет самого Журавля, председателя и единственного сотрудника Комитета. Он надел очки, открыл большую тетрадь в черной ледериновой обложке, наклонился над томами Фрейда, вытянул шею и принялся изучать их один за другим, выписывая сомнительные выходные данные. Мо же обнаружил в этой комнате нечто, заставившее его содрогнуться еще больше, чем в двух предыдущих: тут был склад доносов. "Моя личная коллекция", — гордо заявил Журавль.

Прочтенные письма были тщательно, как музейные экспонаты, рассортированы, снабжены наклеечками и разложены по семи роскошным шкафам черного дерева, с искусной резьбой и стеклянными створками. Каждый имел свою специфику.

В первом лежали доносы детей на родителей и наоборот, во втором — супружеские, в третьем — соседские, в четвертом — доносы на коллег, в пятом и шестом — анонимные. Внутри каждого шкафа письма распределялись, в зависимости от тематики, по папкам всех цветов ра-

1. "Цзинь, Пин, Мэй", или "Цветы сливы в золотой вазе" — знаменитый китайский роман неизвестного автора XVII века, весьма откровенно описывающий любовные похождения главного героя.

дуги. Красный цвет означал политику, желтый — хищения, голубой — внебрачные связи, фиолетовый — гомосексуализм, синий — изнасилования, оранжевый — азартные игры, зеленый — воровство и грабеж.

Седьмой шкаф был отведен для "саморазоблачений", доносов на самих себя. В дверце торчал ключ, и Мо, спросив разрешения, открыл этот шкаф. Письма относились к временам культурной революции и были по большей части весьма пространными. Некоторые насчитывали по сотне страниц и были похожи на автобиографические романы, в которых автор безжалостно обнажал самые темные стороны своей жизни, порочные мысли, тайные страсти, потаенные желания.

В углу громоздились папки с красными этикетками, наполненные еще не прочитанными и не разобранными письмами. Очевидно, увлечение требовало от Журавля массы времени и сил.

— Кажется, я мог бы пополнить вашу коллекцию еще одним письмом, — сказал Мо.

— На кого ты хочешь донести?

— На судью Ди.

Журавль не сдержал смеха. Оторвавшись от своего занятия, он сказал:

— С позволения сказать, теперь я понимаю, почему судья Ди просил тебя притащить с собой Фрейда.

— Почему же?

— Он разыскивает преступника, вроде бы психоаналитика, организатора убийств в моргах. Наверное, он надеялся найти в книгах Фрейда ключ к этому делу.

Улыбка застыла на губах Мо. Дикая боль снова парализовала его икроножные мышцы и отдалась в пояснице, как только он понял, что означают эти слова.

— И что же, судья Ди собирается приговорить его к расстрелу?

— По меньшей мере, с позволения сказать, к пожизненному заключению.

— Скажите, пожалуйста, где тут туалет? — спросил Мо, стараясь не выдать смятения.

— Дальше по коридору и налево.

Едва закрыв за собой дверь, Мо во всю прыть, как только позволяли схваченные судорогой ноги, бросился к лестнице — садиться в лифт он не стал, чтобы не встретиться с судьей Ди. Опрометью скатился вниз до первого этажа и выскочил вон из стеклянного дворца. Скорее бежать!

"Наверняка судья уже перекрыл аэропорт, — подумал Мо. — Единственный выход — сесть в поезд".

Забыв о хромоте, он мысленно разработал маршрут бегства: из Чэнду в Куньмин по железной дороге, из Куньмина автобусом к бирманской границе. Там найти проводника и пешком в Бирму. А дальше самолетом Рангун—Париж.

Из темноты с ревом вырвался, мгновенно разросся, заслонил собой все окно и исчез паровоз. Потом замелькали в какой-то пьяной тряске огромные тени. Товарные вагоны. Последнее, что мелькнуло перед глазами Мо во время этой секундной встречи двух составов, были вооруженные охранники, сидящие в хвостовом вагоне под зеленым абажуром — единственный слабенький огонек в мрачном видении.

Поезд въехал в туннель, и на оконном стекле постепенно, как фотография в проявителе, проступило отражение головы старика. Были отчетливо различимы зубы, кончик языка, ощупывающий бугорки по краям черной дыры, зияющей посреди рта и уродующей лицо.

"Это я, – подумал Мо с каким-то нарциссическим надрывом, и на глаза его навернулись слезы. – Такой, каким буду лет через двадцать. Мо – старый дед, возможно зэк, раб в руднике, который вкалывает по приговору судьи Ди. Но пока все хорошо. Бегство – мое спасение".

Вдруг в стекле появилось еще одно отражение – молоденькой девушки лет восемнадцати, которую он, кажется, знал или где-то видел. Она стояла в коридоре у двери его купе – наверное, тоже узнала его. Мо, не раздумывая, сорвал очки, закрыл лицо капюшоном, опустил голову и притворно захрапел. В таком положении, не смея даже мельком взглянуть в сторону коридора, он оставался до тех пор, пока поезд не выехал из туннеля. Когда он снова поднял голову, девушки уже не было. Мо снова задышал полной грудью и даже позволил себе прислушаться к оживленной беседе соседей.

Лоло! Они говорили про нацменьшинство лоло, или, на мандаринском языке, и. Эта народность живет в тех самых горах, которые тянулись за окном. Мо мало знал об этих людях, слышал только, что они носят грубые холщовые балахоны вроде плащей; мужчины ходят в них днем, а на ночь в них же заворачиваются и ложатся у огня, который разводят прямо в жилище, посреди земляного пола. Как говорят, плащ лоло – его дом. Рабочий, сидевший рядом с Мо и, видимо, часто ездивший этим путем, рассказывал с легкой улыбкой о том, что с ним случилось месяц тому назад среди бела дня между станциями Эмэй и Эбин. На вагон, в котором он ехал, напали грабители – обычное в этих краях дело. Десятка полтора лоло в черных балахонах, с длинными ножами ворвались в вагон. Трое бандитов перекрыли одну дверь, еще двое или трое – другую, остальные в полном молчании орудовали внутри. Пассажиры тоже молчали. Даже дети не заплакали. Лоло разделились на две группы, как контролеры. Одни двинулись с одного конца вагона, другие – с другого. Когда приставят нож к горлу, каждый станет послушной овечкой. Карманы курток, штанов, рубашек, сумки, портфели, крестьянские торбы, чемоданы – твердые, как железо, пальцы бандитов мигом обыскивали все. Надавать щелбанов по лицу, по очкам, по груди, по интимным частям – они это обожают. А это очень больно. Большие или плотно набитые чемоданы они опрокидывали на пол. Добыча обычно бывает немалой – ведь в этой стране не пользуются чеками, деньги, иногда сбережения всей жизни или всей семьи, перевозят наличными. Вся операция заняла минут десять. И знаете, как эти лоло убрались? Просто-напросто выпрыгнули из поезда. Даже не стали ждать, пока он поедет в гору и замедлит ход. Плевать им – соскочили на полном ходу. С ума сойти!

"За мной и так гонятся сыщики, для полного счастья не хватало только лоло!" – подумал Мо.

Страх закрался ему в душу. Он опасался за доллары, спрятанные в потайном кармане трусов. Величественный, поэтичный ночной пейзаж, проплывавший за окном, вдруг показался враждебным. Чужая страна подступала со всех сторон. Горы оцепили горизонт, вздыбленные, остроконечные, все как одна похожие на балахоны лоло: черные, серые

или темно-коричневые. А на переднем плане призрачными тенями мелькали леса, болота, ущелья и словно бы бросали на Мо взгляды, полные самой лютой ненависти — ненависти к чужаку. Даже редкие огоньки в разбросанных по горным склонам или зеленым долинам деревушках, казалось, горели злобой.

Скорее! Скорее! Хоть бы поскорее проехать эти места!

Соседи о чем-то заспорили. Он встал и вышел в тамбур покурить.

С первой же затяжки он почувствовал, что без переднего зуба сигарета курится как-то совсем не так. Не тот смак, не хватает тонкости и сладости. Дым, вместо того чтобы просочиться сквозь зубы и разлиться во рту, лаская язык и нёбо, струей ворвался через дырку и, не успев оставить никакого вкуса, проскочил в горло. Из широкого устья рот превратился в канал, водопроводный кран, печную трубу.

В тамбуре его никто не видел. Он развернул салфетку, достал свой зуб, нащупал его место между двумя другими и вставил, погрузив корень в десну. Чудесным образом зуб удержался. А дырка исчезла.

Совсем другое дело! Мо курил маленькими затяжками, наслаждаясь вкусом "Мальборо", как изысканным блюдом. Рядом хлопала на ветру дверь уборной (какой-то растяпа забыл ее закрыть), и откуда тянуло вонью. Но ничто не могло испортить Мо удовольствие от курения. Поезд опять въехал в туннель, в вагоне на минуту отключился свет, и в темноте Мо увидел красную искорку. Он тут же узнал ее — то была первая в его жизни сигарета. Он выкурил ее в тринадцать лет. Нет, в четырнадцать. Окурок "Цзинь ша цзян" (что означает "Река золотого песка" — была такая марка, по тридцать фэней пачка). В честь этого знаменательного окурка он написал тогда довольно неуклюжее, высокопарное стихотворение, которое помнил по сей день. Называлось оно "Очкарик".

О первое лобзанье
Упругой ягодицы...
В февральской тьме мерцает
Река золотого песка.

Гулкий перестук колес в туннеле, радость от починки рта, приятные воспоминания о далеком детстве... Мо разнежился и не заметил, что снова загорелся свет. Вдруг за спиной его раздался женский голос:

— Здравствуйте, господин Мо!

Все оборвалось. Все застыло в испуге: дым, поезд, тело и мозг Мо. "Вот и конец, это сыщик", — подумал он, почти теряя сознание.

Голос повторил приветствие, к нему примешалось какое-то звяканье. Что это? Связка ключей? Нет, наручники! "Боже мой! Я весь взмок. Бедное мое сердце не выдержит!" Мо поднял руки и медленно, как в детективном фильме, повернулся, ожидая увидеть китайскую Джоди Фостер, приставляющую пистолет к его виску, — "Молчание ягнят" по-сычуаньски.

— Отведите меня... — дрожащим голосом произнес он.

Он хотел сказать: "Отведите меня к судье Ди", — но не договорил. Он не верил своим глазам: перед ним стояла девушка, чье отражение он только что видел в вагонном окне.

Она стояла перед ним разинув рот. Непомерно широко. Впрочем, все у нее было непомерно большим: джинсовая куртка, красные в белый

горошек брюки, канареечно-желтый рюкзак и целая упаковка баночного пива "Heineken", которую она держала на весу. Банки подрагивали в ритме колес — вот оно, таинственное звяканье.

— Вы меня не помните, господин Мо? — спросила девушка. — Вы еще толковали мне сны на рынке прислуги.

— Меня зовут не Мо. Вы обознались, — буркнул он, раздавил окурок в пепельнице на стенке вагона и, опустив голову, не осмеливаясь взглянуть в глаза девушке, резко развернулся и пошел прочь.

Чтобы у нее не создалось впечатления, будто он убегает, как вор, он старался сохранять достоинство и приличные манеры. Но от смущения шагнул не туда и оказался в уборной. Злясь на себя, он захлопнул дверь. "Совсем рехнулся, — подумал он, схватившись за раковину умывальника и нависая над ней, как будто его одолевала тошнота. — Идиот! Конечно это она. Как я мог не узнать эту деревенскую девчушку, которая мечтала сниматься в кино! Хорош! Надо было отчитать ее как следует: ах ты дрянь! Как ты смеешь тревожить меня, когда я погружен в созерцание, это возвышенное, священное состояние?!"

Он ругался в полный голос, и вдруг что-то выпало у него изо рта и упало в раковину. Прошло несколько секунд, прежде чем он сообразил, что это его зуб. К счастью, раковина была давным-давно забита и зуб потонул в мутной воде с плавающей сверху пеной. После долгих и упорных подводных поисков Мо наконец выудил его. Помыл, вытер, еще раз помыл, но запах помоев, угля и уборной въелся так, что избавиться от него было невозможно.

В коридоре вдруг раздался шум: топот, возня, препирательства. Он приложил ухо к двери и прислушался. Трое контролеров что-то грозно говорят девушке, а она отвечает им дрожащим плаксивым голоском. Она едет без билета. Контролеры так кричат, точно застукали на месте преступления воровку. Бедная девушка оправдывается как может. Лепечет, что у нее нет денег. Что за восемнадцать лет она никогда ничего не нарушала. Клянется, что это будет первый и последний раз. Контролеры неумолимы: они требуют, чтобы она вместо штрафа отдала им свое пиво. Она упрашивает: это подарок отцу на день рождения, она работала служанкой и потратила на него все свое жалованье за два месяца. Но все бесполезно. Им очень хочется пива. Один пытается отнять у нее упаковку. Она сопротивляется. От отчаяния у нее вырывается крик, пронзительный, дикий, как у раненого зверя. (Еще долго каждый раз, как Мо вспоминал о девушке, у него в ушах звенел этот крик, и ему снова делалось страшно.)

Он выскочил из уборной. Ему хотелось защитить девушку, но, как это сделать, он не знал. Она сама обратилась к нему:

— Господин Мо, объясните им, пожалуйста, что случилось с моим билетом. Кроме вас, больше никто не видел. Я положила его на край окна, и его унесло ветром.

Мо решительно подтвердил, а потом вынул из кармана три бумажки по десять юаней и дал контролерам:

— Это вам, ребята. Всем поровну, и забудем об этом.

Смутно-смутно звучат голоса пассажиров, как будто доносятся издалека, оттуда, куда плавал "Черный нарцисс", корабль из романа Конрада, или

судно Марлоу, забравшееся в поисках Курца[1] в сердце тьмы. Сонные, ватные голоса. Будто люди разбрелись по широкому полю и время от времени перебрасываются словами. Голоса порхают, пересекаются, то вдруг нахлынут и приблизятся, так что слышен смех, кашель и натужный чих, то отдалятся, стихнут, сойдут на нет, изойдут тихим вздохом или зевком. Кто говорит, кто слушает, уже и не поймешь.

Смутно-смутно доносится стук колес до слуха Мо, который забился под деревянную скамью, ухом прямо в вагонный пол. Правда, когда поезд идет на подъем, слышно, как колеса налегают на рельсы и гудят отдаленным громом, а иной раз заскрежещут так, что чуть не лопаются барабанные перепонки, и тогда его потайная лежанка превращается в птичье гнездо посреди грозы. Кажется, из-под колес должны разлетаться искры. Зато когда состав скатывается с горы и несется в ночи, звук колес становится масляным, мягким, едва уловимым. Остается невнятный, слитный шум, похожий на шум моря в прижатой к уху перламутровой раковине: однообразный, ровный ропот прибоя, лижущего голубовато-серый в предутреннем свете пласт прибрежной гальки. Приятнее всего, когда поезд останавливается на станции. Тогда слышишь, как от одних колес к другим передается вздох, будто кто-то дышит во сне. Кто-то живет и дышит прямо под тобой. Так, что тебя касается тепло и влага этого дыхания.

Кое-что из разговоров полуночников Мо все же ясно слышал. Например, один рассказывал бархатным, напоминающим сказителей былых времен голосом, будто в каждой горной цепи, в каждом горном крае бывает своя особая порода людей, как в каждом океане — свои особые моряки. Здешние лоло умеют ловко прыгать с поездов. Они этому не учатся, это врожденный дар. У некоторых эта способность доходит до гениальности, они совершают прямо-таки цирковые прыжки и могут на полном ходу запрыгнуть в любой, самый неприступный вагон и выпрыгнуть из него. Это умение отличает лоло от других племен. Самое поразительное — как они берут приступом товарные вагоны без подножек, запертые на железные перекладины. Вот идут себе лоло гуськом вдоль путей, тихо-спокойно, с виду чуточку усталые или, может, выпивши. Проезжает поезд. И вдруг один из них пускается бежать. Разбежится и прыгает. Потрясающе красивый, точно рассчитанный полет с приземлением на вертикальную стенку вагона. Лоло приникает к ней всем телом, держась руками за перекладину, а его черный балахон хлопает на ветру. Потом он вынимает из кармана молоток, сбивает замок, вытаскивает перекладины, сдвигает тяжеленную дверь и влезает внутрь. А через минуту уже стоит у открытой двери с каким-нибудь телевизором. Снова прыжок — вниз. На этот раз — свободное падение, романтический полет: черный парус позади, добыча в руках. Летит, как лыжник с трамплина, чем дальше, тем лучше, и так же, не падая, касается земли. Телевизор передает подбежавшим приятелям, те привязывают его веревками ему на спину, и все смываются. Иногда полицейские устраивают погоню, открывают стрельбу, но угнаться за лоло, даже с телевизором за спиной, в родных горах никто не может. Пули и те не успевают настичь или пролетают мимо целей — мелькающих, снующих, порхающих, словно заколдованных.

1. Марлоу и Курц — герои романа Джозефа Конрада "Сердце тьмы".

— Вы здесь, господин Мо?

Под лавкой кромешная тьма. Мо не видит, а скорее чувствует какое-то движение и узнает голос: это она, кинозвезда с рынка прислуги. С него мигом соскочил сон. Памятуя о неприятности, которая случилась с ним в прошлый раз в другом поезде при сходных обстоятельствах, он решил не откликаться. Поступок малодушный, зато праведный. Мо хранит аскезу.

Девушка снова и снова зовет его по имени. Шепотом, чтобы не разбудить других пассажиров. Даже шепот у нее веселый, жизнерадостный. Беглый аскет притворяется храпящим, но храп слишком часто меняет тон и ритм. Хоть видеть девушку он не может, но знает, что она скользнула на его лежанку.

— А тут неплохо, — шепнула она.

Двигаться можно было только ползком — под скамейкой слишком тесно и низко. В темноте девушка врезалась в Мо, и оба вскрикнули.

— Тише! — сказал он.

— Не бойтесь. Кругом все спят.

— Давай на "ты". Что тебе нужно? — Голос у него холодный как лед.

— Ты любишь юбу? Я тебе принесла несколько штук.

— Тише! — повторил он, отгораживаясь баррикадой добродетели.

Он не позволял себе улыбаться, хоть она и не разглядела бы его улыбки.

— Прибереги их для твоего отца.

— Не беспокойся, у меня есть еще. Бери. Они чистые. Я помыла.

— Ладно, только одну штуку.

Девушка потыкалась в темноте, но не нашла его руку.

— Где твоя рука?

Небольшая манипуляция, и юба попадает по назначению. Мо осторожно, чтобы не задеть передний зуб, кладет ее в рот.

— Хочешь еще?

— Потом.

Ночная дегустация. Мо не спеша жует сочный, свежий, мясистый плод.

— Я хочу показать тебе книжку, которую я купила, — сказала девушка. — Чтоб ты ее оценил. У тебя есть огонь?

Мо чиркнул спичкой и увидел девушку прямо перед собой: она стояла на четвереньках. "До чего хорошенькая!" — невольно подумалось ему.

Чтобы осветить книгу, пришлось зажечь еще одну спичку. Девушка держала ее в руке. Потертая тоненькая книжонка, на обложке написано по-китайски: "Начальный курс грамматики французского языка". Некоторые страницы загнуты, на полях пометки.

Мо застыл, не шевелясь и не говоря ни слова. Он был ошеломлен бесстыдством собственного тела: пенис его затвердел. В первый раз с тех пор, как он потерял девственность. Когда именно это произошло, он не мог бы сказать: пока он ел юбу или пока рассматривал учебник.

Спичка догорела, длинный ломкий фитилек упал на обложку книги, отскочил и попал на подстилку-дождевик. Девушка ловко задула искру и снова исчезла в темноте.

— Ну что, — прозвучал ее голос, — стоит она пять юаней или нет? Я ее купила по случаю. Чтобы запудрить мозги отцу.

— Как ты ему запудришь мозги, раз ты не знаешь французского?

— Скажу то самое, что ты нам тогда говорил на рынке: дескать, все слова этого языка созданы для того, чтобы нравиться женщинам. Как это?.. Чтобы ухаживать за женщинами. Плевать мне, что я его не знаю. Главное, побесить отца. Он хочет выдать меня замуж. За сына деревенского старосты. А мне этот парень не нравится.

— Но, может, он тебя любит?

— Не надо мне его любви.

Она замолчала. Мо чувствовал, что она пристально смотрит на него.

— Почему ты скрываешься, Мо?

— Что?

Как она догадалась?! Мо не сообразил, что ответить, от неожиданности и страха эрекция прекратилась.

— Ты скрываешься, потому что боишься полиции, — сказала она.

— Хочешь знать правду? Поклянись, что никому не скажешь! Я уезжаю из Китая. Но я терпеть не могу разводить слюнявые прощания, поэтому решил тайком совершить последнее путешествие по стране, объехать ее под скамейкой ночного поезда. Такой я патриот.

— Врешь.

— Знаешь Бирму? Вот я еду туда. Замечательная страна, люди там целый день жуют бетель и сплевывают красный, как кровь, сок. Всюду сплошные храмы. Я поступлю в монахи. Там буддийским монахам разрешается есть мясо. А я обожаю мясо.

— Не морочь мне голову. Толкователя снов ни за что не возьмут в монахи. Ты бежишь. Это видно. Только что говорил, что ты не Мо.

Она сменила тему.

— Можно я лягу рядом с тобой? Я ужасно устала.

— Ложись, только на плащ. Тут страшно грязный пол.

Больше он не сказал не слова. В темноте было слышно, как она жует юбу, громко — Мо казалось, на весь вагон — чавкая по-деревенски или по-детски. Но мало-помалу чавканье становилось все реже и сменилось ровным дыханием — девушка уснула. Смутно доносился шум колес. Смутно звучали голоса пассажиров. Смутно — рулады храпа. Вдруг Мо разбудил девушку:

— Послушай, я даже не знаю, как тебя зовут.

— Все зовут меня сестричкой Ван. А почему ты спрашиваешь? Ты уже выходишь?

— Нет. Я хочу задать тебе один вопрос, но ты, если не хочешь, можешь не отвечать.

— Давай.

— Ты девственница?

— Что-что?

— Ну, ты ни разу не спала с мужчиной?

— А! Значит, девственница.

Она прыснула.

— В самом деле? — переспросил он.

— Ну да.

— Если ты согласишься спасти нас, меня и моих друзей, я увезу тебя во Францию.

— А что я должна сделать?

— В Чэнду есть такой судья Ди. Он посадил в тюрьму двух женщин, которые мне дороги. А теперь разыскивает меня. Я предлагал ему деньги. Он отказался. У него их куры не клюют. Ему нужно другое — он хочет, чтобы ему привели девственницу.

Договорив, он ждал, что она закричит так же оглушительно, как в коридоре, когда к ней приставали контролеры, — он как бы уже слышал этот жуткий звериный визг. Но она молчала: ни слова, ни звука. Даже дыхания ее больше не было слышно. Повисла невыразимо тягостная тишина. В конце концов Мо потерял надежду и, горько усмехаясь, удивился про себя, что она еще не удрала. И тут она неуверенно спросила:

— Ты правда потом возьмешь меня во Францию?

— Да.

— Тогда ладно, я согласна...

Он чуть не потерял сознание. Забыв о своем обете, он обнял ее, не успела она еще договорить.

— Спасибо, — бормотал он тоном растроганного отца. — Огромное спасибо! Я научу тебя французскому.

Давно забытые строки Гюго, Верлена и Бодлера теснились в его мозгу и просились наружу. Он дал им волю, и они полились из его уст, покрывавших поцелуями невидимые волосы, глаза, нос девушки. Она опустила голову, но не отталкивала его. Вдруг он впился поцелуем в ее губы. О, сладость сочного дикого плода!

— Что это такое? — прошептала она. — Что-то попало мне в рот. Из твоего.

— Мой зуб! — закричал он с такой силой, что из образовавшейся дырки во рту струей брызнула слюна. — Не проглоти его!

2
Голова Дракона

Чэнду, 5 октября

Дорогая, несравненная моя Гора Старой Луны! Не разлюбила ли ты загадки? Может, тюрьма отбила у тебя вкус к ним? Ты ведь была лучшей мастерицей по загадкам во всем нашем 75-м потоке, умной, как сам Эдип! Помнишь, в конце первого курса ты выиграла на конкурсе сочный спелый арбуз весом в пять кило и мы разделили его с восемью твоими соседками по десятиметровой комнатке в общежитии? У нас не было ножа. Мы накинулись на бедный арбуз с ложками, пихались, смеялись до упаду. А на следующий год ты выиграла словарь и подарила его мне, Словарь простонародной прозы эпохи Мин[1], редкую книгу, я ее обожаю и столько раз перечитывал, что мог бы сам написать роман в духе той эпохи.

Так вот тебе загадка: почему я пишу это письмо — понятия не имею, какой длины оно получится — на иностранном языке, которого прекрасный адресат совсем не знает, — на французском?

1. Скорее всего, речь идет о словаре "Собрание лексики прозы с толкованиями" Лу Чжаньаня (1964).

Загадка, которая звенит и лучится счастьем, как новенькая монетка. Я сам вздрогнул, когда моя рука самопроизвольно вывела первое слово по-французски, — какое нечаянное хитроумие! Я возгордился, зауважал сам себя, аж закружилась голова! Нет, правда! Жаль, я не додумался до этого раньше. Вот бы вертухаи помучались проверять! Воображаю, как им станет кисло, когда какой-то ненормальный засыплет их любовными письмами на французском языке! Бюджетный лимит и возрастающий поток заключенных не позволят нанять переводчика, чтобы расшифровывать эту абракадабру. (В Чэнду языком Вольтера и Гюго владеют всего трое-четверо профессоров из Сычуаньского университета. "Скажите, господин профессор, сколько будет стоить страница перевода?" — "Порядка ста — ста двадцати юаней. Такова ставка".)

Отныне, дорогая, несравненная моя Гора Старой Луны, чужой язык соединяет нас, связывает изящным бантом, который ловкие пальцы вывязывают в виде раскинувшей крылья экзотической бабочки. Язык с нездешней письменностью. Из-за диковинных надстрочных значков и апострофов он кажется тайнописью. Наверняка твои сокамерницы будут помирать от зависти, когда ты будешь читать и перечитывать мои письма, чтобы извлечь какой-то смысл. Помнишь, как в студенческие времена мы целыми вечерами слушали вместе записи любимых поэтов: Элиота, Фроста, Паунда, Борхеса... Каждый читал по-своему, в своей особой манере, и мы слушали как зачарованные, восторгались, замирали, хотя ни ты, ни я не понимали ни слова по-английски или по-испански. Для меня до сих пор эти голоса, эти непонятные фразы остаются лучшей на свете музыкой. Музыкой избранных душ, мечтателей, романтиков. Нашей музыкой.

Знаешь, о чем я жалею, когда пишу эти строки? Не о том, что выучил французский, а о том, что не выучил другие языки, потруднее и еще менее известные. Например, вьетнамский. Кое-что я знаю об этом шеститональном, со страшно запутанной грамматикой языке. Представляешь, если бы я писал тебе письма по-вьетнамски, а судья Ди захотел их прочесть, ему бы ни за какие деньги не найти переводчика во всей Сычуани! Или взять язык еще позаковыристей, каталанский! Может ли хоть один из ста пятидесяти миллионов жителей нашей провинции разобрать письмо на каталанском? Знаешь, чего бы я хотел? Выучить самые редкие языки: тибетский, монгольский, латинский, греческий, иврит, санскрит, древнеегипетский. Проникнуть в их сокровенные святилища, встать на колени, зажечь три палочки ладана и молиться за нас с тобой на всех этих божественных наречиях.

Нас было двое: сестричка Ван с упаковкой пива в руках и я, Мо, беглец с щербатой, но счастливой улыбкой, разыскиваемый судьей Ди и полицией, — Мо, который передумал бежать в Бирму и после нескольких часов езды на поезде вылез из своего жесткого убежища и пустился в обратный путь вместе с новой соратницей, потенциальной спасительницей, самой подлинной и бесконечно драгоценной девой.

Мы сошли с поезда в Мэйгу в три часа ночи. На земляном перроне стояли лужи после недавнего ливня. Захудалая станция, затерявшаяся между громадами гор. Поезд Чэнду—Куньмин, мой поезд, отъехал и скрылся в ночи, оставив после себя долгое эхо свистков начальника станции, которое многократно отразилось от каменных склонов и растворилось в шуме ветра, шелесте деревьев, далеком ропоте невидимой реки.

Первым делом необходимо было связаться с зятем мэра Чэнду, помнишь, я тебе о нем писал, с него несколько месяцев тому назад и началась вся эта запутанная эпопея с девственницами. Только он мог все уладить с судьей Ди, но, чтобы позвонить ему, надо было дождаться утра, ведь днем он заведовал ресторанами, а ночь проводил в тюремной камере, как ты, и выключал свой мобильный.

Мэйгу — название речки, которая протекает у подножия гор и огибает одноименный городок, расположенный рядом с железной дорогой. Вниз по течению сплавляются длинные толстые стволы деревьев, поваленных в высокогорных лесах, бревна ворочаются, сталкиваются друг с другом с каким-то глухим, потусторонним мерным стуком. Идешь по берегу, и собственные шаги кажутся чужими. Меняется ритм дыхания и речи. Становится страшно, как будто ты попал в неведомую страну, населенную враждебными тенями и звуками, и сам превратился в пришельца-призрака. На мосту при входе в город стоит старинная плита с полустершимися надписями на китайском и на языке лоло, там говорится, что эта река берет начало на вершине горы с тем же названием, к северу от города. Ее исток — чистейший родник с прозрачной водой. Если во время засухи бросить в него мусор, во всей округе пойдут дожди с веревочными струями.

Нам повезло. На главной улице городка еще не закрылся караоке-бар. Вот уж никогда бы не подумал, что в таком маленьком, бедном захолустном местечке можно найти подобное заведение, открытое в три часа ночи. Бар назывался "Шанхай-блюз". Это было потрясающе. Жаль, ты не видела, как поет наша будущая звезда кино. Ее милая мордашка сияла молодостью, кокетством и удовольствием от музыки. В салоне было жарко и так темно, что не видно других посетителей. Она скинула куртку и пошла к эстраде как настоящая дива. Довольно смело для деревенской девочки. Футболка болталась на ее худеньких плечиках, и во всей щуплой фигурке с неразвитой грудью, гибкими руками была какая-то полудетская прелесть, которую даже такой слепой крот, как я, не мог не оценить. Чем дольше я на нее смотрел, тем сильнее она напоминала мне тебя. Не то чтобы она была так на тебя похожа, но что-то общее угадывается в форме головы и в лице, особенно в профиль, те же лукавые глаза, высокий лоб, та же манера потирать пальцами у корней волос, подстриженных так же коротко, как у тебя. И в голосе есть что-то твое: он у нее довольно низкий, с хрипотцой. У вас обеих здорово получается петь вместо черной исполнительницы блюзов. Она знает много популярных песен — верно, выучила, пока работала у хозяев, которые держали студию записей для караоке. Некоторые из тех, которые она выбирала, были просто ужасны, но одна очень недурна: "Я хожу этой тропинкой только раз в тысячу лет". Слова, мелодия, голос — все задевало за душу. Я даже сам не удержался и, хоть слуха у меня ни на грош, взял микрофон и запел вместе с ней, перевирая все на свете. Я похвалил ее. Она ужасно обрадовалась. Хотя и так знала, что у нее хороший голос и она хорошо поет. Под впечатлением этой песенки я сказал, что если она будет выступать на сцене, то имя Тропинка подойдет ей лучше, чем Сестричка, оно гораздо лучше звучит. Она повторила несколько раз: Тропинка, Тропинка... — и сказала совершенно серьезно:

— Хорошо. С сегодняшнего дня так меня и называй.

Я человек суеверный, и как вспомню, что случилось на другой день, то думаю, уж не вещей ли была эта песня. Про путь, которым можно пойти раз в жизни, не больше...

Хозяину бара, симпатичному парню лет тридцати, кажется, тоже понравилось, как поет Тропинка. Когда все остальные посетители разошлись, он спросил, любит ли она танцевать. Она сказала, что умеет танцевать хип-хоп — научилась, когда работала в одном доме, балкон которого выходил во двор какого-то училища. Она каждый день смотрела, как ученики на перемене танцевали хип-хоп, и запомнила фигуры. Хозяин бара предложил, что устроит ей аккомпанемент как диджей. Сначала он поставил запись Цуй Цзяня, китайского рок-певца восьмидесятых годов: "Я не имею в этом мире ничего". Под волшебными пальцами новоявленного диджея надсадные сиплые вопли Цуй Цзяня стали более сдержанными и ритмичными. По правде говоря, лучшего диджея, чем этот любитель, я в жизни своей не встречал. Он не нажимал кнопки беспрерывно: сначала давал волю Цуй Цзяню, а уж потом вступал сам и играл на кнопках, почти как джазовый ударник на своих инструментах. Тропинка с улыбкой на губах, подхваченная музыкой, прошлась через весь зал мелким шагом с энергичными поворотами. Потом начался сам танец: волнообразная дрожь передавалась от плеч рукам, ногам, и вдруг все тело разламывалось, и каждая его часть принималась конвульсивно, словно в трансе, двигаться отдельно от других. Диджей поставил другой диск, на этот раз китайского рэпера. Ты, конечно, знаешь стихи из знаменитого романа "Сон в Красном тереме"[1]: "Деньги — идол людской". В рэп-переложении они звучат превосходно. Тропинка сделала задний кульбит. На лету ее футболка задралась и стал виден тощий — ребра торчат! — живот. С этого места ритм и фигуры изменились. Упираясь ладонями в пол, она стала вертеться вниз головой вокруг своей оси. Поднятые ноги сгибались и разгибались, скорость вращения все нарастала, и вдруг — раз! — точкой опоры стала голова, а тело, тоненькое, но такое сильное, выпрямилось в воздухе, как струна. Я зааплодировал. И, не дожидаясь, что она будет делать дальше, присоединился к молодежи.

"Сейчас дедушка покажет вам революционный танец!" — сказал я им. И сплясал старую штуку, помнишь, мы учили в школе такую танцевальную сценку: слуга злого помещика отнимает последние деньги у бедных крестьян-арендаторов. (Поскольку я всегда был самым уродливым мальчишкой в классе, эта роль досталась мне. И сделалась моим ярлыком, моим образом в глазах других, так что я стал изгоем и чуть не дошел до гомосексуализма.) Ощеренный рот без переднего зуба, пояс вместо кнута — и готово дело. Я был на высоте: крабья пробежка боком, пируэты, подскоки, щелканье кнутом, — только в самом конце неудачно прыгнул, поскользнулся и врезался носом в пол. Угадай, какую музыку подобрал мне этот диджей? Революционный балет "Седая девушка". Клянусь! В "Шанхай-блюзе" в Мэйгу есть любые пластинки: от Битлз, U2, Майкла Джексона и Мадонны до "Солнца наших сердец", "Красного Востока" и речей председателя Мао в исполнении гонконгских звезд под электронную музыку.

1. "Сон в Красном тереме" — роман классика китайской литературы Цао Сюэциня (1724–1763).

Мне посчастливилось дозвониться до зятя мэра с первого раза, сразу после завтрака. Этот король смертников, отбывающий свое тяжкое наказание, ехал в такси. Мне показалось, что, услышав мой голос, он удивился, но виду не подал и внимательно выслушал мой рассказ. Под конец я спросил, как он думает: может ли свидание с другой девственницей, Тропинкой, исправить положение или, по крайне мере, помочь вызволить Бальзамировщицу?

Трубка довольно долго молчала. Я думал, он размышляет. И наконец он заговорил:

— Как у тебя-то дела с женским полом?

Я растерялся, но скромно ответил:

— Ничего. Есть даже некоторый прогресс по этой части.

Он рассмеялся. Негромко, но я все же услышал.

— Браво! Как говорит старый Сун, мудрейший из зэков, жизнь сводится к трем вещам: пожрать, посрать и потрахаться. Если ты все это можешь, значит, все в порядке.

— Оригинальная мысль.

— Давай тащи сюда поскорей свою девочку. Как ее зовут? Тропинка? Чудесно! Звони мне, как только приедете. А я пока договорюсь с судьей.

Под конец он прибавил почему-то на мандаринском наречии (может, подражая кому-то из сокамерников):

— Все у тебя, Мо, не как у людей!

И отключился.

Я был рад без памяти. Глупо, но мне хотелось заорать. Хоть родители в это время уже должны были обходить своих пациентов в больнице, я позвонил и им — больше-то было некому. Разумеется, никто не подошел. На этом я успокоился и стал обдумывать обратный путь. Тут-то нам и подвернулась "Синяя стрела".

Микрофургон этой китайской марки стоял у въезда в город. Он был весь в грязи, краска во многих местах облупилась — не синяя стрела, а скорей уж желтая. Кузов с открытым верхом позади кабины водителя весь избит и искорежен, задняя дверца привязана веревкой. Водителя мы с Тропинкой встретили в столовой, куда пришли позавтракать. Это был человек неопределенного возраста — можно дать и тридать, и пятьдесят, — обросший бородой или, вернее, давно не бритый, сутулый, с нездорово-желтым лицом, то и дело заходившийся густым кашлем. Откашляется, прочистит горло, харкнет тебе под ноги и разотрет ногой — все по ходу разговора. Этакая карикатура на шоферюгу в худшем виде.

Единственный поезд на Чэнду останавливался в Мэйгу часов через пять-шесть, а любое промедление могло разрушить планы зятя мэра, поэтому я решил отправиться на "Синей стреле". После недолгих переговоров, взяв двадцать юаней за проезд, водитель согласился отвезти нас.

Этот переезд через Студеные горы я запомню на всю жизнь. Раздолбанный фургончик трясся по самой ухабистой в мире дороге. Драная обивка кое-где была заклеена липкой лентой. Мы сидели будто прямо на рессорах, скрипевших, как старый матрас, и при каждом толчке нас подбрасывало до потолка кабины. Хуже, чем на лодке в шторм. Потешно вякало радио, у которого не осталось ни одной кнопки. Оно явно плохо переносило качку. То затыкалось, то начинало робко дребезжать,

снова надолго умолкало и вдруг, когда мы успевали про него забыть, принималось шипеть, трещать и орать как сумасшедшее. По иронии случая передавали революционную песню "Мы победим Америку", помнишь, про раненого солдата, который бросается в бой с американцами: свистят пули, разрываются снаряды, но он идет вперед, с автоматом наперевес, среди огня и адского грохота. Когда радио замолкало, можно было подумать, что солдат упал, сраженный пулей, был слышен только жуткий хрип — наверно, предсмертная агония. Но вот подскок — и он воскрес. Снова поет и поливает врагов из автомата, только гильзы отлетают. Здорово! Я заметил, что окно в левой дверце, со стороны водителя, закрыто неплотно, оставалась щель сантиметров пять, в которую задувал ветер. И я не стал зажигать сигарету, чтобы дым и пепел не полетели в лицо Тропинке, которая сидела рядом со мной. Кто бы мог подумать, какое важное значение будет очень скоро иметь эта вроде бы мелкая деталь. Вот уж действительно никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом.

Бесстыжий водитель попросил, чтобы я рассказывал ему какие-нибудь игривые байки, потому что он не спал прошлую ночь и боялся уснуть за рулем — укачает на этой "чертовой дороге":

— Такие, чтоб ширинку распирало, ну, сам знаешь...

Я сухо ответил, что мое ремесло — выслушивать сны, которые часто имеют сексуальную окраску, но в них нет ничего интересного.

Видела бы ты, какую рожу он скорчил. Делать нечего. Я стал вспоминать похабщину, которую слышал в мужских раздевалках и душевых. Но ничего не приходило в голову.

— Для этих баек тоже нужен психоанализ.

— Чего-чего? — подозрительно спросил водитель.

— Ну, их тоже извлекают из подсознания.

Мы проезжали вдоль горного склона, где на фоне обгоревших елок ярким пятном выделялись цветущие кусты азалий и рододендронов.

— Можно я попробую? — предложила Тропинка.

— Что может рассказать такая малявка? Шуточку из детского садика? — сказал наш шеф с ухмылкой, которую, наверно, считал, неотразимой.

К моему удивлению, Тропинка попросила сигарету — "чтобы освежить память".

В общем-то в ней не было ничего деревенского. Никогда не скажешь, что она из семьи бедных крестьян. Надо было видеть, как она обращалась с сигаретой! Не набирала, как я, полные легкие, а затягивалась потихоньку, смаковала удовольствие и маленькими порциями изящно выпускала дым из носа. Длинные тонкие пальцы с ненакрашенными ногтями стильно держали сигарету "у приоткрытого бутона губ".

Рассказала она вот что: жил в стародавние времена в горной хижине один монах-отшельник, и был у него воспитанник, сирота, которого он растил с трех лет. Мальчик рос в полном затворе. Прошло время, ему исполнилось шестнадцать лет. Ну, учитель решил показать ему мир. Стали они спускаться с гор и через три дня вышли в долину. Юноша совсем ничего не знал, поэтому отшельник объяснял ему: вот это лошадь, вот это мул, вот это бык, вот это собака... Наконец попалась им навстречу женщина. Юноша спрашивает у мудреца: "А это кто?" — "Отвернись, —

старческим голосом проблеяла рассказчица. — Не смотри на нее, это тигрица, самый опасный зверь на свете. Не подходи к ней никогда, иначе она тебя сожрет".

Вернулись они в свою хижину, и вот ночью старый монах видит — юноша никак не может заснуть, ворочается с боку на бок, будто на раскаленных углях. Никогда с ним такого не бывало. "Что с тобой?" — спрашивает старик. А тот отвечает: "Учитель, я все думаю про ту тигрицу, которая пожирает людей".

Я засмеялся. У малышки есть чувство юмора. Но капитан "Синей стрелы" и бровью не повел. Прелестная история оставила его совершенно равнодушным. Я нарочно не переставал смеяться, чтоб его заразить. Все впустую. Тогда я стал как мальчишка хлопать его по плечу — и это не помогло. Наконец его высочество изрекло:

— Ничего себе байка, но, по мне, уж больно... диетическая. Я люблю что-нибудь позабористее.

Я выглянул в окно. Бешеное радио снова запело. Мы поднялись на большую высоту. Река Мэйгу, вдоль которой мы недавно ехали, виднелась далеко внизу, на дне пропасти, и была похожа на золотистую ленточку с блестками. Водитель объявил, что теперь он сам расскажет нам один случай:

— Вам небось охота послушать!

И тут начались неприятности.

Прямо на перевале, к которому вела дорога, я увидел, как мне показалось, какие-то каменные глыбы, такие же темные, как скалы по сторонам. Они выделялись черным пятном на фоне голубого неба и желтой глинистой дороги.

— Ах ты зараза! — крикнул водитель. — Лоло! Закрывайте окна, живо!

Тропинка быстро выполнила его приказ, но сам он не смог закрыть свое окно доверху — оставались все те же пять сантиметров.

По мере того как фургон приближался к перевалу, темные глыбы разрастались и принимали величественные, картинные, почти царственные очертания; черные плащи развевались по ветру, как знамена древних воителей.

— Это разбойники? — спросили Тропинка.

— Лоло — гроза и ужас здешних мест, — сказал я.

— Ну, мы еще посмотрим, чья возьмет! — огрызнулся водитель. — Моя "Синяя стрела" покажет этим вонючим дикарям!

И он продемонстрировал чудеса современной техники: нажал на акселератор и загудел, чтобы прогнать лоло. Но на подъеме большой скорости не разовьешь, к тому же старая колымага выла и чихала, даже ее затяжной сигнал, эхом раскатившийся по горам, был похож на жалобный рев обессилевшего верблюда где-нибудь в Такла-Макане, бескрайней пустыне смерти.

Лоло не дрогнули. Их тени застыли на желтой глине причудливым узором. Когда фургон подъехал к ним вплотную, произошла резкая смена декораций: все лоло повалились под колеса. Я закричал водителю, чтоб он нажал на тормоз. Тропинка тоже. Но он будто не слышал. Лоло лежали неподвижно. Черным каменным барьером. Наступил решающий миг. "Синяя стрела" рванула напролом. Фургон запрыгал на буграх

и, как тигр, ринулся на лоло. Рессоры под сиденьем подкинули нас до потолка.

Я закрыл глаза. Водитель затормозил. Слава богу! В самый последний момент трагедия была предотвращена. Лоло было десятка три, все молодые ребята, лет от восемнадцати до тридцати, наверняка все мастера по прыжкам из вагона. Они навалились на лобовое стекло и окна фургона, размахивали кулаками, осыпали посягнувшего на их жизнь водителя ругательствами на своем языке, а также на китайском, причем не на мандаринском, а на сычуаньском наречии, орали: "Скотина", "Ты у нас попляшешь", "Мокрое место останется" и прочее. Перед нами мелькали выдубленные ветром и солнцем лица с жесткими, словно вырезанными из дерева, чертами. В ушах блестели серьги. На какое-то время все отошли и сгрудились вокруг молодого парня, видимо вожака, с бутылкой пива в руках. Он отхлебнул и пустил бутылку по рукам. Лоло загомонили.

Водитель потихоньку вытащил из кармана портмоне и засунул внутрь сиденья, между клочками обивки и рессорами. А как же мои доллары в трусах? Что делать, уже поздно!

Вожак подошел к нам. Его угловатое лицо перечеркивал шрам. Видно, нрав у молодого человека был крутой. Он замахнулся и саданул пивной бутылкой в лобовое стекло — по стеклу потекла пена.

— Ну и старая кляча! — крикнул он по-сычуаньски и довольно захохотал, показав черные зубы и красную глотку.

Остальные тоже принялись поносить "Синюю стрелу" кто во что горазд.

— Ты что, задавить нас хотел, падла? Да если б ты хоть задел кого-нибудь, я бы тебе морду разбил в лепешку!

Водитель униженно молчал, но я почувствовал, как он напрягся всем телом, и увидел, что он поставил ногу на акселератор. Мне стало страшно.

— Ты знаешь, где находишься? — продолжал меченый вожак. — В ущелье у Головы Дракона. Раскрой глаза пошире! На этом месте мы, лоло, уложили тысячи воинов Циньской династии!

Нога водителя подрагивала на акселераторе, словно противилась приказам мозга.

— Мы возвращаемся в деревню, — сказал Меченый. — Подвезешь нас?

— Залезайте в кузов, — ответил водитель, избегая его жгучего взгляда.

Фургон снова тронулся.

Если верить Меченому, ближайшая гора называлась Голова Дракона. Она стала вырисовываться перед нами, как только мы миновали злополучный перевал, и действительно обнаруживала все большее сходство с каким-то исполинским ползучим доисторическим чудовищем, которое вытянулось с запада на восток и как будто ворочалось в легкой дымке, будто затаилось в засаде. Вдруг — странный оптический эффект! — хищник поднял голову, гордую, великолепную, грозную. На скалистом черепе была ясно различима чешуйчатая морда, задранный подбородок с щетиной из укоренившихся в камне плетей папоротника. Издали — точь-в-точь бородатая голова дракона из мультиков или с картинки, которая висит на двери у моих родителей.

– Вот оно: все не как у людей, понимаешь?

Водитель посмотрел на меня как на сумасшедшего.

– Поворачивай при первой возможности и поезжай назад, в Мэйгу. Лоло не могут помешать нам вернуться.

– Ты просто трус!

Итак, кормчий нашей славной колымаги отверг мою здравую идею. Я давно заметил, что стоит человеку взяться за руль, как он почти всегда становится наглым, самонадеянным и обидчивым. Как будто управляет не машиной, а целым государством. Тропинка тоже явно была в тревоге – она поминутно прижимала ладошку ко рту. Мне надо было предложить водителю хороший куш, чтобы заставить его развернуться. До сих пор не могу простить себе, что я этого не сделал. Не из скаредности, поверь, а потому что мне нужны были деньги на будущее. Как знать, может, еще пришлось бы бежать в Бирму? Да и не так уж много у меня оставалось.

"Синяя стрела" с трудом карабкалась на Голову Дракона и несколько раз останавливалась отдышаться, пока добиралась до верхотуры. Тут нас ждала новая неожиданность: за первой драконьей головой прятались еще две, они были еще больше, до невероятности похожи на сказочное чудище и презрительно смотрели на нас с двух скал в несколько сот метров высотой. Ей-богу, я начинал думать о лоло с уважением: как это им удается спокойно жить среди этих гор! Я бы не выдержал! Мне достаточно один раз на них взглянуть, и уже жутко становится.

– Скажите-ка, вы оба, чем, по-вашему, у меня была занята голова, когда вокруг скакали эти недоумки?

Мы не ответили.

– Ну, вы бы сами о чем подумали на моем месте? – настаивал он и, поскольку мы по-прежнему молчали, продолжил: – Ладно, я вам скажу: я думал о той забористой байке – дошло? – которую я вам собирался рассказать.

Он посмотрел на меня так, как будто обыграл в футбол с разгромным счетом.

– Эти идиоты так орали, что я ее позабыл. Вот и старался вспомнить.

Я был готов притвориться спящим, слепым, мертвым, не знаю кем, лишь бы он не начал прямо сейчас нести свою похабщину.

– Лоло сзади что-то кричат, – вмешалась Тропинка. – Наверно, им сходить там, наверху.

Как раз в это время кто-то из наших пассажиров шарахнул изо всех сил по крыше кабины. Но водителю хоть бы хны – он дорвался до своей байки и знать ничего другого не хотел. Случай был из его собственной жизни. Два года назад он был шофером при штабе пехотного полка (восемь лет оттрубил в армии!). И как-то раз повез одного майора, партийного, лет пятидесяти, инспектировать гарнизоны. Поездка должна была продлиться четыре дня. И вот к вечеру остановились они в маленьком городишке, в какой-то задрипанной гостинице. Майор, человек горячий, провел ночь с единственной тамошней проституткой, толстой уродливой девкой. Видать, здорово приспичило, если и на такую позарился. Водителю же пришлось попоститься.

Рассказ прерывался приступами кашля, между тем как по крыше кулаками и ногами колотили лоло. Когда фургон доехал до вершины второй головы, я сказал водителю, чтоб он остановился — лоло хотели выйти. Но он повернул голову и посмотрел на меня уничтожающим взглядом:

— Еще чего! Трусишь, так молчи. Они выбрали это место, чтоб нас ограбить, раздеть догола! За дурака меня считают!

И он нажал на акселератор. "Синяя стрела" неслась под гору, а водитель продолжал свою историю:

— Ну вот, на другой день майор мне говорит, что шлюха обошлась ему в двести пятьдесят юаней и что надо исхитриться списать этот расход на казенный счет. Я подумал было, что это у него не получится. Но майор был совершенно спокоен. Есть, говорит, придумал, пиши рапорт, что во время инспекторской поездки я задавил старую свинью и вынужден был уплатить ее хозяину двести пятьдесят юаней в возмещение убытка.

Он затрясся от смеха. Начал фальцетом, а потом стал забираться еще выше, наконец смех его перешел в нестерпимый пронзительный визг, похожий на истерику.

— Очень остроумно, — сказал я. — Но послушай! По-моему, кто-то ползет по крыше у нас над головой.

— Ой, не могу! — простонал он. — Сейчас лопну!

Он откинулся на сиденье, держа руль одной рукой, а второй схватился за живот.

— Надо ж так сказать, в самую точку: старая свинья! Небось сам, собственными глазами ночью видел: свинья и есть!

Вдруг в кабине стало темно, как при затмении солнца, тьма опустилась густая, непроглядная, зловещая. Чья-то рука набросила на ветровое стекло черный плащ, вернее, черный балахон лоло. При появлении этой подвижной завесы смех водителя оборвался, а у нас захватило дух.

— Говорил я, кто-то над нами есть!

— Останови машину! — взмолилась Тропинка, прижимая ладонь ко рту.

Но водитель не признал себя побежденным, наоборот. Не сбавляя скорости, он бормотал проклятия, вертел головой, пригибался, старался найти не заслоненные плащом уголки. Я же говорил — сумасшедший, помнишь? Кто угодно с ума сойдет после восьми лет в армии, восьми лет муштры, а тут еще старые колымаги да разбитые дороги!

При одном из бесчисленных толчков, когда нас в очередной раз подбросило к потолку, давно заткнувшееся радио разразилось оглушительным "Болеро" Равеля. На беду водителю и нам, спуск закончился, и теперь дорога зигзагами поднималась к третьей скале. "Синяя стрела" захрипела и замедлила ход. Лоло сочли это сигналом к новой вылазке. Сверху свесилась голова. И хотя мы видели ее в неестественном положении, но по шраму через все лицо легко узнали, кто это. Сам вожак рискнул забраться на крышу и набросить на стекло свой балахон. А приятели, стоявшие в кузове, наверно, держали его за ноги.

Меченый дергал плащ во все стороны, стараясь полностью закрыть обзор сидящему за рулем. Злобный нрав, застарелая, тысячелетняя ненависть к чужакам, жажда крови и насилия — вот что читалось в его глазах и управляло стальными мускулами. Пожалуй, он внушал мне не мень-

ший страх, чем судья Ди. Смертельный номер исполнялся под мощный аккомпанемент Равеля. Какая музыка! В ней звучали сокрушительные иерихонские трубы, трубы дерзких лоло!

Дрожащим голосом я попытался урезонить водителя:

– Кончай дурить!

Но тот яростно заорал в стекло:

– Хрен тебе, лоло поганый!

Что он делал, этот псих! Как боксер, уворачивающийся от ударов, метался то вправо, то влево. Бывали моменты, когда черная тряпка заслоняла все и он крутил руль вслепую. Но тотчас наклонялся и выглядывал в неожиданном для Меченого месте, быстро ориентировался и виртуозно направлял "Синюю стрелу" на самую обочину. Он не пропускал ни одной кочки, ни одного камня или ухаба, надеясь при сильном толчке сбросить противника наземь.

Мы с Тропинкой не участвовали в схватке, изредка я ловил ее взгляд, испуганный, застывший, отрешенный – наверно, такой же, как у меня. Каждый жест Меченого отлично укладывался в ритм "Болеро", получалась отточенная хореография, танец с черным плащом. Под эту музыку враги осыпали друг друга угрозами и ругательствами, хотя ни один толком не слышал другого.

Меченый исхитрился с помощью встречного ветра плотно приклеить плащ к стеклу. Всё – перед нами опустился занавес. Черный занавес с солнечной кромкой. Но бешеный шофер не сдался. Смертельный трюк: отклонив корпус по горизонтали, почти лежа на моих коленях, а руки оставив на руле, выше головы, он глядел на дорогу через эту микроскопическую полоску света под занавесом. Утих ветер – плащ отлип и снова затрепыхался. Водитель распрямился.

– Я тя уделаю, мразь! – проскрежетал он сквозь зубы.

По привычке прочистив горло, он метко харкнул в щель между стеклом и дверцей. Вот этого делать не стоило. Эта мелочь оказалась роковой. Глаза Меченого блеснули.

Дорога в этой части пути проходила меж каменных стен высотой с многоэтажный дом. Плащ внезапно исчез. В кабине физически ощущались флюиды страха. Временами стены расступались и были видны желтые поля кукурузы и хилой пшеницы или крутые склоны, на которых каким-то чудом удерживались террасы рисовых плантаций. Наконец мы добрались до верхушки третьей Головы Дракона. Снова мрачная гигантская глыба, ощетинившаяся кустарником и голыми скалами. Желтый шнурок Мэйгу извивается на дне пропасти, далекий шум потока вплетается в ритм "Болеро".

Пошел серпантин вниз с третьей Головы. И вдруг какая-то тень сиганула мимо дверцы, удар, и в пятисантиметровую щель просунулись и уцепились за стекло пальцы двух рук. Сначала мы видели только эти скрюченные, как орлиные когти, заскорузлые, бурые пальцы. Стекло едва не выламывалось под их напором. Потом в воздухе возникла, лишенная всякой точки опоры, человеческая фигура и показался неистребимый Меченый! Тут-то я и вспомнил, что рассказывали в поезде о фантастических налетах лоло на вагоны.

Все произошло мгновенно, с ошеломляющей быстротой и натиском, не помню даже, произносили ли водитель и лоло хоть какие-то слова. Водитель попытался разжать орлиные когти, сначала отдирал их,

потом лупил по ним кулаком, так сильно, что дрожала вся кабина. Меченому это было нипочем. Он хотел просунуть в кабину всю руку и дотянуться до ручки дверцы. Но щель была слишком узкая, и пальцы застряли в ней. Водитель отпустил руль и снова стал отцеплять их. Во время этой борьбы "Синяя стрела" беспорядочно виляла по дороге. Водитель выправил ее. Вдруг он заметил впереди, на повороте, торчащий гребень в каменной стене. Он прибавил газ и направил фургон прямо на скалу, с тем расчетом, что увернется в последнюю минуту, а противник разобьется насмерть о гребень. Форменный псих! За несколько метров до скалы Меченый отпустил дверцу, взмыл в воздух и целым и невредимым приземлился на ближайший уступ, а на гребень налетела не вписавшаяся в вираж "Синяя стрела". С грохотом разлетелось вдребезги лобовое стекло. Я еле успел обхватить Тропинку и пригнуть ей голову, чтобы уберечь от удара. Самого меня шарахнуло в грудь, висок и колени, но сознания я не потерял. На нас посыпался дождь осколков. Водитель окончательно потерял управление, фургон отбросило от скалы, швырнуло на дерево справа от дороги, а потом на противоположную скалу. Еще один удар, уже не такой страшный. Налево юзом к скале, стоп! Еще несколько метров — и мы бы рухнули в пропасть. К счастью, машина не опрокинулась. Она стояла и дымилась.

Я не мог шевельнуться, не чувствовал своего тела, но мозг работал. Смерть пощадила меня.

Страшно болела голова. Может, я получил тяжелую травму? И стану умственно неполноценным? Многие после аварии остаются слабоумными. Надо срочно проверить. Сейчас же. Спроси-ка у себя что-нибудь. Год рождения Фрейда? Вопрос поставил меня в тупик. Я не мог ответить. Ужас! Вдруг четыре цифры сами собой выскочили в памяти:

— 1856!

Тоном строгого учителя я продолжил экзамен:

— Год смерти Фрейда?

— 1939.

Самотестирование прервали стоны, совсем рядом. Это Тропинка, жертвенная дева. Она бормотала какие-то бессвязные слова.

— Можешь сказать, когда ты родилась?

Она, кажется, даже не слышала. Она стонала, жаловалась, что ей очень больно. Я не знал, что делать. Первый раз в жизни в моих объятиях кричала от боли девушка. Как последний дурак, я пристал к ней с проверкой памяти:

— Сосредоточься и скажи, где ты родилась.

— Я сломала ногу!

Эти слова прозвучали в моих ушах разорвавшейся бомбой.

Дела между тем шли все хуже. Лоло рвали дверцу, она не поддавалась, у нее было разбито стекло, заклинило замок. Они хотели добраться до водителя, который навалился всем телом на руль. Его словно подменили. Ран на нем как будто бы не было, но он не двигался, не говорил ни слова и даже не сопротивлялся, когда его стали молотить кулаками по голове. Сидел, крепко прижимая к себе руль. Меченый и еще несколько человек стояли поодаль и потрясали камнями. На плохом сычуаньском они скандировали приговор водителю:

— Мы будем разбить тебе череп камнями, размазать мозги по земле, бросить твой вонючий труп червям и собакам!

Я выдавил остатки лобового стекла и выполз на четвереньках на капот. Но прежде чем спрыгнуть на землю, замахал руками и закричал:

— На помощь! Моя дочь сломала ногу!

И сам до того растрогался от этого липового отцовства, что слезы на глазах выступили. Но никому не было до меня дела. На дне кузова были лужи крови. Два-три лоло серьезно ранены. Одного, с окровавленной головой, разбитым виском, вынесли на руках. Откуда-то сбегались другие лоло: мужчины, женщины, дети, — мелькали черные, коричневые, серые и желтые балахоны, некоторые сползали с отвесных скал, все кричали, бежали, размахивали лопатами и другими орудиями полевых работ, словно поражали ими воображаемых врагов. Вскоре вокруг "Синей стрелы" собралась толпа разгневанных лоло.

Я подошел к Меченому, которого обступили соплеменники, и стал жалобно умолять его, уговаривать, что в первую очередь надо оказать помощь раненым, "вашим людям и моей дочери", а уж потом наказывать водителя.

Из толпы ко мне ринулся какой-то старик лет шестидесяти, с "рогом лоло", то есть черной повязкой, свернутой спереди в форме рога. Ему говорили, что не я виновник аварии, в которой пострадал его сын. Папаша не слушал. Дрожа от негодования, он сжал кулак и замахнулся. Но так долго собирался с силами, что я успел снять очки, прежде чем он заехал мне в правое ухо. Кулак у него был такой костистый, что я чуть не упал. В голове шумело, и я не слышал ничего, кроме этого шума. Я заорал, обозвал старика идиотом или как-то еще. Он врезал мне ногой в пах. Кто бы мог ожидать такой подлости от патриарха с традиционным рогом на голове! От боли я согнулся пополам и не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть.

Слезы хлынули у меня из глаз и потекли по лицу. Какой стыд! Распустил нюни как мальчишка! Я поднял голову и, словно вчуже, услышал собственный голос, плаксивый, дрожащий от бешенства и унижения:

— Как ты смеешь?! Бить французского гражданина!

Я понимал, что это недостойно, и презирал себя. Но я был готов наговорить чего угодно, лишь бы уцелеть. А раз соврав, не мог остановиться и лепил дальше:

— Я не какой-нибудь хуацяо[1], а настоящий француз. Приехал за своей приемной дочерью. Ты ударил француза. Знаешь, что теперь с тобой будет? Сдохнешь за решеткой! Так и знай: тобой займется судья Ди! Знаешь, кто такой судья Ди? Исчадье ада!

"Фразцуз, француз..." — загомонили лоло, передавая друг другу слово, которое одни знали, другие нет...

— Как ты это докажешь? — недоверчиво спросил Меченый.

— Я тебе не верю! — сказал рогатый старик. — А ну, скажи что-нибудь по-французски.

Пожалуйста! Я свободно мог изругать его на этом языке, но не стал. А сказал, до сих пор помню слово в слово:

— Франция расположена в западной части Европы. Ее древнейшие обитатели звались галлами. Это имя сохранилось до наших дней в назва-

1. Так называют себя китайцы, живущие за границей, но не потерявшие связи с родиной.

нии сигарет "Голуаз". Самое замечательное, что внесли в мировую цивилизацию французы, это рыцарский дух...

Всю эту галиматью я излагал с важным видом, как профессор за кафедрой и не глядя на слушателей. Вдохновенно прищурившись, я созерцал три темные вершины, три свирепые Головы Дракона. Лоло выронили камни и как завороженные, с любопытством и некоторым почтением вслушивались в слова, интонацию, ритм моей речи. Никто не подумал, что я их оскорбляю. Я вытащил из кармана бумажник, достал свой вид на жительство и предъявил Меченому. Врать так врать:

— Это мой французский паспорт.

Он тоже отложил камень и внимательно, как таможенник, стал изучать мой документ, сличая фотографию. А потом передал его другим. Пока паспорт циркулировал по грязным мозолистым рукам лоло, я показал вожаку кредитную карточку, студенческое удостоверение, библиотечный билет и прочее. Он углядел что-то интересное в одном из отделений портмоне:

— А это что такое?

— Это проездной на парижское метро, — сказал я и протянул ему карточку. У него загорелись глаза. Сразу видно — чемпион по прыжкам из поезда.

— Метро, — объяснил я, — это такой поезд, который ходит под землей по туннелям.

— Только по туннелям?

— Да.

Он посмотрел на меня как на инопланетянина:

— И не выезжает наружу?

— Нет, все время по туннелям. Под землей проложены туннели на много километров.

— Нам такая страна не подходит, — заключил он.

Парень не лишен чувства юмора.

Остальные лоло, несомненно тоже мастера вагонного спорта, заготовали, оценив шутку.

— Это точно! Лоло там делать нечего.

Может, они не такие уж страшные головорезы, как считал водитель? Вполне вероятно. Во всяком случае, на европейцев они не нападают, даже на фальшивых, у которых нет ни голубых глаз, ни светлых волос, ни крупных носов. У лоло есть свои достоинства. Им не чужды своеобразный рыцарский дух и даже идеи глобализма, а также благоразумие: им вовсе не хочется связываться с китайской полицией, которая, как известно, ревностно охраняет безопасность иностранных туристов и жестоко карает за малейшее покушение.

Я дал им двести юаней в возмещение ущерба здоровью (пришлось расплачиваться за водителя), после чего француза, его приемную дочь и их ненормального шофера отпустили восвояси. Останки "Синей стрелы" остались на месте крушения, водителю разрешили забрать их, когда он сможет. Более того, Меченый и его приятели с помощью своей баррикады остановили первую же проходившую машину, микроавтобус с местной ГЭС: "Отвезите их в больницу, девушка сломала ногу!" То кричали сами горы.

Всю дорогу я обеими руками придерживал ногу Тропинки. Она лежала на сиденье и вопила от боли при каждом подскоке. Мало-помалу

все возвращалось в норму: вместо криков, слез и угроз солнце, шум мотора, кондиционер и покашливание нашего водителя. ("Я чуть в штаны не наложил от страха!" – признался он мне.) Микроавтобус серебряной птицей мчался по желтой ленте дороги, меж темных гор, лесов, зеленых лугов и азалий в цвету. Вольная, легкая, как луч света, птица.

Старый водитель рассказал новому свою байку про свинью. Я рассеянно посмотрел через заднее стекло. С этой стороны трехглавая гора уже не была похожа на вытянувшееся с запада на восток чудовище. Три вершины высились вдоль линии север–юг, над зелеными лесами, средняя, самая высокая, торчала острым конусом, две другие походили на пышные смуглые груди какой-то сумеречной богини. Мне пришли на ум строчки из стихотворения – не помню ни его названия, ни автора, – которые мы когда-то читали с тобой вместе:

И солнце на далеком горизонте,
Запрятанное в облаках,
Шафраном тронуло их кромку,
Dove sta memora[1].

3
Подвесной носок

После аварии у Головы Дракона несколько дней и ночей подряд Тропинке снятся кошмары. То огромная серо-паучьего цвета кобра со свитым кольцами телом и поднятой на полсотни метров от земли головой, змея разевает зубастую пасть и кусает ее сзади за ногу. То выпущенная из лука стрела, которая взвивается в воздух и преследует ее, у стрелы серебряное отравленное острие. Тропинка слышит во сне, как гудит подобно виолончельной струне тетива невидимого лука, и гул этот все нарастает. Наконец стрела впивается ей в ногу. Каждый раз в левую. Иногда змея или стрела превращаются в длинную светящуюся кость, ее сломанную берцовую кость, как она выглядит на рентгеновском снимке.

Снимки делают в лучшей сычуаньской клинике, так называемой Западной больнице, с прекрасным травматологическим отделением. Больница на несколько тысяч коек занимает десятиэтажное здание и располагает несколькими операционными блоками, оснащенными исключительно американским, немецким и японским оборудованием.

Отсюда каких-нибудь полкилометра до Дворца правосудия, из окна палаты, где лежит Тропинка, виден этот стеклянный замок, часто, особенно по утрам, утопающий в тумане. Судьи Ди там нет. По словам зятя мэра, все крупные чиновники провинции уехали на две недели в Пекин на какую-то конференцию.

– Когда вернусь, – сказал ему судья по телефону, – с удовольствием приму подарок твоего друга-психоаналитика.

1. Строки из "Cantos" ("Песен") американского поэта Эзры Паунда (1885–1972). Dove sta memora – Где находится память (*итал.*) – Эзра Паунд цитирует итальянскаго поэта XIII в. Гвидо Кавальканти (1255 или 1259–1300).

(Зять мэра говорил, что на другом конце провода почувствовал, как налились жаром пальцы элитного стрелка, как задрожали от нетерпения поскорее убедиться в девственности жертвы.)

Седая голова, накрахмаленный халат ослепительной белизны, очки в тонкой оправе с цепочкой на шее — по всему видно, что доктор Сю, заведующий отделением костной хирургии, — настоящий корифей. Он прославился на всю страну еще в шестидесятые годы, когда сделал первую операцию по приживлению пальца. Ходят слухи, что он по сей день упражняется у себя дома (на кухне, что ли?), пришивает отрезанные конечности мертвым кроликам.

В сопровождении свиты врачей и медсестер он совершает утренний обход десяти палат на восьмом этаже, в том числе той, где лежит Тропинка. Ее госпитализировали накануне. Светило чуть склоняет голову, когда ему представляют приемного отца пациентки, приехавшего из Франции. Доктор разглядывает снимки и ставит молниеносно безошибочный диагноз: перелом берцовой кости, необходима срочная операция, придется вставлять спицы. Затем на два месяца в гипс и новая операция по удалению спиц. Весьма вероятно укорочение сломанной кости, которое приведет к необратимой хромоте.

Лицо у Тропинки вытянулось, побледнело, потом порозовело. Что же, она останется хромой на всю жизнь? — спрашивает она у доктора Сю. Он уклоняется от прямого ответа и, не глядя ей в глаза, протягивает рентгеновские снимки:

— Сама посмотри, детка, дело скверное.

Мо впал в какой-то ступор. Доктор Сю и его свита удалились, соседки по палате, их родственники и санитарка, которая пришла собрать заказы на обед, принялись сочувственно обсуждать приговор. Только тогда Мо окончательно понял, что произошло и что будет дальше.

Он выскочил из палаты и бросился догонять доктора Сю.

— Умоляю, доктор! Помогите! Я уже купил два билета на самолет, себе и дочери. Нам непременно надо быть в Париже через две недели.

— Будьте благоразумны, месье. Вы, живущий во Франции, лучше меня знаете роман Флобера "Госпожа Бовари". Там хвалят искусство доктора Бовари, который вылечил сломанную ногу своего будущего тестя, отца Эммы, за сорок дней. Конечно, медицина шагнула далеко вперед. Но у французского пациента был простой перелом, без всяких осложнений. А у вашей дочери все гораздо серьезнее. Кость сломана на две части. Единственное, что я могу для вас сделать, это обещать, что буду оперировать сам и постараюсь свести неприятные последствия к минимуму.

Каждую ночь зять мэра возвращается в Исправительно-трудовое учреждение номер два и ложится спать в отдельной камере.

Кирпичное здание тюрьмы построено в виде иероглифа "жи" 日 ("солнце", или "свет"). Верхняя и нижняя горизонтальные перекладины соответствуют южной и северной частям. В южной расположена типография, где работают осужденные, в правой — консервный завод, там трудятся ожидающие суда. В вертикалях находятся камеры, в которых содержится в общей сложности три тысячи человек. В каждом крыле по четыре этажа. А пустое пространство между жилыми и рабочими частями занято дворами для прогулок. Средняя перекладина од-

ноэтажная. Там находятся камеры привилегированных заключенных, которым, в отличие от остальных, не бреют голову и не присваивают номера. (Обычно, едва переступив порог тюрьмы, человек получает номер, например 28 543, который в течение всего срока заменяет ему документы. Отныне вас зовут не по имени, а по номеру. Входит охранник и вызывает: "28 543, в столовую!" или: "28 543, на допрос!")

В тот октябрьский вечер, часов около десяти, в камере 518 на верхнем этаже восточного крыла номер 28 543, по прозвищу Калмык, сидит на циновке и снаряжает так называемый "подвесной носок", секрет которого известен каждому заключенному.

Калмыку позволено два раза в неделю работать на воле в одном из ресторанов, которыми заведует зять мэра.

По просьбе своего начальника и друга он пишет шариковой ручкой на клочке бумаги:

"Зять мэра ищет врача, который мог бы за десять дней вылечить сломанную ногу".

Бумажку он засовывает в носок, а для тяжести кладет туда же полупустой тюбик зубной пасты. Обматывает верх носка ниткой и затягивает как кошелек, а потом привязывает другую нитку, потолще и подлиннее, и проверяет ее зубами на крепость.

Громко пропетый отрывок арии из революционной оперы: "Пусть муж мой мало получает, зато идейно я чиста" — оповещает о запуске подъемного носка.

Сокамерник, стоящий у дверей и наблюдающий за коридором, кивает. Калмык с носком в руках залезает на плечи самого здорового в камере зэка, тот поднимает его на высоту окна, забранного такой плотной решеткой, что кулак не пройдет. Все же, действуя терпеливо и сноровисто, Калмык просовывает сквозь прутья пальцы, потом кисть и наконец руку до локтя. Носок повисает на нитке.

Как марионеточник, Калмык заставляет носок двигаться мелкими рывками мимо окон четвертого этажа. Чья-то рука перехватывает его на ходу. Калмык ждет. Пальцы его замерли, он поет другую революционную арию:

> Влюбленный коммунист — о диво!
> Снаружи лед, внутри огонь.
> Похож на прочный термос он.

Носок на конце нитки дергается, как поплавок, — знак того, что послание прочитано, Калмык вытягивает удочку. В носке по-прежнему записка и тюбик. Он снова затягивает носок и методично, с размеренностью метронома забрасывает и держит его перед окнами третьего, второго этажа... Раз за разом. Вот снова клюнуло. Иной раз мешает ветер, носок раскачивается, описывает беспорядочные кривые, подобно воробью, который бьется в стекло. Или зацепляется (он нейлоновый) за прут решетки или бугорок на кирпичной стене так, что не отцепишь.

Проходит час. Подняв в очередной раз носок, Калмык находит в нем другую бумажку:

"Номер 96 137 из камеры 251 знает такого человека. Сто юаней за адрес".

4
Старый Наблюдатель

Человек, прозванный Старым Наблюдателем, поднял хрустящий рентгеновский снимок и посмотрел его на свет. Рука у него грубая, иссохшая, с темной бугристой кожей, узловатыми, кривыми, похожими на древесные корни пальцами и широкими, срезанными под корень пепельно-серыми, с набившейся в трещины землей (или навозом?) ногтями.

При взгляде на белесые пятна, отпечатки костей Тропинки на негативе, лицо Старого Наблюдателя прояснилось. Мо не отрывал глаз от этого лица, от глубоких борозд, проведенных плугом старости, редеьких седых усов, тонких губ и сплющенного носа. Он ловил малейшее движение мускулов, беглый проблеск в глазах. Оба они сидели на стволе поваленного дерева на не просохнушей после дождя поляне в зарослях бамбука, перед хижиной старца высоко в горах, в стороне от хоженых троп. Над дверями висела белая табличка с надписью: "Наблюдение за пометом панд из Бамбукового леса".

Старый травник продолжал изучать снимок, но взгляд его застыл, потерял всякое выражение. Рентгенограмма будущей звезды балета, которой, по словам ее приемного отца, предстояло выступать через десять дней на всекитайском конкурсе, трепетала на ветру. Ей вторил шелест бамбуковых листьев.

Мо вдруг похолодел — он заметил, что старец держит снимок перевернутым. Какой удар! Он вырвал из рук Наблюдателя снимок, перевернул его как следует и ткнул пальцем в головку берцовой кости.

Старец уставился на пленку все с тем же отсутствующим выражением, словно не замечая разницы.

— Как называется вот эта сломанная пополам большая кость? — дерзко спросил целителя Мо.

— Не знаю.

— Не смейтесь надо мной, прошу вас. Я пятнадцать часов трясся в автобусе, чтобы добраться сюда. А вы не знаете, что такое берцовая кость?

— Нет, не знаю.

— Ваш бывший товарищ по заключению, номер 96 137, сказал, что десять лет тому назад он сломал берцовую кость в тюремной типографии, а вы ее срастили при помощи каких-то компрессов.

— Что-то не припомню.

— Ну как же, номер 96 137! Осужденный пожизненно! Вы поставили ему условие: за то, что вы будете его лечить, его родные должны оплатить обучение в школе вашей дочери, которая жила в с матерью.

— Не помню ничего такого.

Когда Мо возвращался от Наблюдателя за пометом панд вниз, на дорогу, по которой дважды в день проходит автобус, хлынул ливень. Он укрылся под выступом скалы. И решил, поскольку было уже поздно и он промок до нитки, переночевать в общежитии для холостых рабочих фабрики по производству бамбуковой мебели.

Построенная в старинном, средневековом стиле фабрика располагалась неподалеку от Наблюдательного пункта, все здесь знали нелюди-

мого старика с запятнанным прошлым — он отсидел пять лет за попытку нелегально перейти границу. (Говорят, хотел вплавь сбежать в Гонконг после событий 1989 года, плыл по морю всю ночь, уже видел огни Гонконга, но его засекли и схватили.)

Мо узнал, что его работа заключалась в том, чтобы обходить леса, где жила последняя в округе панда. Этот зверь еще больше сторонится людей, чем старик, и никогда не показывается. Старик должен собирать его помет и отсылать начальству в центр, где делают анализы и устанавливают, нуждается ли животное в дополнительной пище или медицинской помощи.

Дождь прошел, но на шиферную крышу еще капало с деревьев. Позади общежития журчал ручей. Рабочие играли в карты. Мигали и отравляли воздух керосиновые лампы. Мо налил воду в побитый медный чайник и подвесил его над огнем устроенного прямо в полу очага. Огонь тихо потрескивал. Мо уснул, как охотничий пес, на деревянной лавке, рядом с посвистывающим чайником. Во сне он услышал старинное имя Бэй Лэ, при звуке которого возник роскошный дворец (Запретный город или стеклянный Дворец правосудия в Чэнду?) и одетый в золото император, дающий утреннюю аудиенцию министрам, воеводам и придворным. Бэй Лэ — лучший в стране знаток лошадей. Он достиг преклонного возраста и называет императору кандидатуру своего преемника, человека по имени Ма.

— Это гений, Ваше Величество, — говорит он. — Он разбирается в лошадях лучше меня. Более достойной замены нельзя и желать.

Император вызывает Ма в столицу, приказывает ему явиться и выбрать в императорских конюшнях лучшую лошадь из многих тысяч. Этот император — жестокий и капризный тиран. Для Ма (как две капли воды похожего на Старого Наблюдателя) ошибка равносильна гибели. Он идет в конюшни, осматривает лошадей и уверенно выбирает одну из них. Взглянув, кого он выбрал, император и весь двор разражаются смехом: мало того, что у лошади нет белой челки на лбу, означающей чистоту породы, но это вообще какая-то плохонькая, тощая кобыла. Император призывает Бэй Лэ и говорит ему:

— Как ты посмел обмануть меня, властелина всей страны? Ты заслуживаешь смерти. Человек, которого ты мне указал, не умеет отличить жеребца от кобылы!

Но Бэй Лэ просит разрешить ему перед казнью взглянуть на лошадь, которую выбрал Ма, а увидев ее, испускает вздох:

— Ма в самом деле гений. Я ему в подметки не гожусь, — говорит он императору.

И действительно, через два года после того, как император был убит во время народного восстания, новый правитель взял себе ту самую лошадь, и она оказалась лучшей во всей стране, способной покрывать тысячи ли за день, как сказочный крылатый конь.

Мо проснулся в мгновенном озарении: он понял, что император — это судья Ди, а Ма, великий знаток лошадей, — Старый Наблюдатель за пометом панды. Ну а новый император, окруженный стражниками в доспехах, если снять с него пышное одеяние и накладную бороду, оказывался им самим, Мо. Что же касается крылатой лошади в шкуре неказистой лошадки, то это явный намек на снимок сломанной кости.

"Для Ма внешность не имела никакого значения, что же разглядывал Старый Наблюдатель, держа перевернутый снимок?" – задумался Мо.

На рассвете он снова поднялся к хижине старца. Тот с корзиной за плечами собирался в очередной обход.

– Можно я пойду с вами? – сказал Мо. – Это для меня прекрасная возможность посмотреть на панду не в зоопарке, а в природной среде.

– Чтобы делать дурацкие фотографии?

– Нет. У меня и аппарата нет.

– Предупреждаю, вы только зря потеряете время.

В голове Мо вертелась вычитанная неведомо где фраза: "Все люди действия немногословны". Если так, то Наблюдатель пандовых испражнений был великим человеком действия. Каждый раз, когда Мо обращался к нему, он явно испытывал желание заткнуть уши. Сначала аналитик подумал, что это объясняется презрением. Но чем глубже погружались они в дебри Бамбукового леса, куда едва пробивался солнечный свет и где Наблюдатель должен был буквально прорубать дорогу, тем понятнее становилось, что сама работа вынуждала его хранить молчание. Слух заменял здесь зрение. Большие волосатые уши Наблюдателя были постоянно заняты делом. Вдруг он остановился и сказал, что панда в сосняке. Они добрались туда через двадцать минут быстрой ходьбы и нашли свежие следы животного на влажной пружинистой почве, усыпанной рыжими сосновыми иглами и трухлявыми шишками. Пахло смолой и сыростью. Отпечатки были шириной с ладонь, большой палец на них далеко отстоял от остальных и смотрел в другую сторону. На некоторых следах можно было различить очертания пятки и когтей.

– И вы услышали, как ходит панда с другой стороны горы, больше чем за километр?

Старик никак не отозвался на восторженную реплику Мо, и тот прибавил:

– Я давно знал, что почти ослеп, но сегодня понял, что я еще и глухой!

Старый Наблюдатель не ответил. Он вытащил из своей корзины складной метр, наклонился и стал по-портновски измерять длину и ширину следов.

Мо снова заговорил:

– Вы не хотите лечить людей, потому что у вас нет диплома и вы боитесь, что придется отвечать, если что не так. Но что касается меня, клянусь и могу дать расписку, что не буду иметь претензий, если вам не удастся вылечить ногу моей балерине.

Наблюдатель старательно измерял расстояние между отпечатками, как будто ничего не слышал. Расстояние было небольшим – похоже, зверь бежал. Старик распрямился и пошел по следу.

Мо не отставал ни на шаг. Но старик шел быстро, как будто хотел в наказание оставить его одного в лесу. Он перескакивал через ручьи, скакал с камня на камень, не уступая в ловкости лоло. Мо с трудом поспевал за ним, а иногда терял из виду. И тогда ему самому приходилось отыскивать следы панды на влажной земле. Отпечатки множились, беспорядочно перекрещивались, было похоже, что панда не то рыскала в разные стороны, гонимая голодом или чем-то другим, не то на-

рочно запутывала Старого Наблюдателя, издеваясь над своим постоянным партнером. След раздваивался, делал резкие повороты, петлял, насмешливо поворачивал вспять и наконец терялся на берегу речки.

Мо нашел Старого Наблюдателя под деревом. Он что-то внимательно изучал на самой обыкновенной с виду березе. Но вокруг нее висели обрывки лиан, валялись истоптанные листья. А гладкая серебристая кора на стволе была вся исцарапана, измочалена, местами содрана и распространяла терпкий запах.

— От меня не так легко отделаться, — еле переводя дух, сказал Мо. — Но не беспокойтесь. Я только скажу вам кое-что и больше не буду приставать.

Не глядя на него, старик приникает к стволу. Ноздри его расширяются, он впивает кисловатый аромат березового сока.

— Скажу вам чистую правду...

Мо споткнулся на полуслове и с трудом подавил желание признаться во всем, объяснить, что от того, как быстро срастется эта нога, зависят судьбы нескольких людей, в том числе его собственная.

Нет, он не может произнести перед этим бывшим зэком слово "судья", оно для него ненавистно, мучительно, оно подобно огню, мечу и рекам крови.

— Я десять лет изучал во Франции психоанализ, — продолжил он. — И предлагаю вам сделку: если вы за десять дней вылечите ногу девушки, я обучу вас всем тонкостям этой новой науки, которая произвела переворот в умах людей.

Первый раз за все время старик повернул к нему голову и смерил оценивающим взглядом.

— Фрейд, основатель этой науки, открыл тайную пружину мира.

— И что это за пружина?

— Секс.

— Что-что, повторите?

— СЕКС.

Старик захлебнулся диким, неудержимым смехом. Он ничего не мог с собой поделать, хохотал, задыхался, сгибался пополам, едва не покатился на землю к подножию березы.

— Надо бы позвать сюда вашего господина Фрейда, — выговорил он, отдышавшись и показывая на ободранный ствол. — Пусть бы объяснил, зачем зверь терся об этот ствол.

— Наверное, он голоден. Фрейд сказал бы, что он испытывает материальную фрустрацию.

— Ничего подобного, молодой человек. Он как раз хотел оторвать себе яйца.

Потрясенный, взволнованный, онемевший Мо смотрел на это реальное доказательство самокастрации, феномена, о котором он читал в книгах. Солнце испещрило леопардовыми бликами безмолвный, сияющий, чудесный ствол. Мо было обидно, что его интерпретация оказалась ошибочной. Пока он корил себя, Старый Наблюдатель пошел дальше.

Час спустя Мо представился еще один случай удивиться. С утра им попадалось в лесу множество самых разнообразных бабочек, одна другой красивее, но Старый Наблюдатель не проявлял к ним ни малейше-

го интереса. Вдруг он застыл и дал знак Мо остановиться и не шуметь. Мо увидел, что посреди черной тропы в бамбуковых зарослях порхает над фиолетовыми васильками и желтой пижмой маленькая неприметная бабочка. Старик расплылся в довольной улыбке, как энтомолог, нашедший после долгих поисков редкий вид, и сказал:

— Сегодня мы вернемся домой не поздно.

Не зная, что еще может выкинуть старый натуралист, Мо сосредоточился, чтобы проявить себя блестящим и достойным учеником Фрейда. Они молча пошли вслед за черной с синим отливом и светлыми полосками бабочкой. Она летела медленно и низко, почти касаясь густой травы и ядовитых грибов, которые местами перегораживали тропу. Мо по щиколотку утопал в жидкой грязи. Он так напряженно смотрел на бабочку, что вовсе перестал ее видеть. Ее пятнышки и полоски сливались с зубчатыми листьями папоротников, раскинувшихся на узловатых, перекрученных белых корнях бамбука и темно-зеленых лишайниках.

Вдруг бабочка чаще забила крыльями, закружилась, заплясала в воздухе и словно бы расцвела, похорошела. Что ее прельстило: какой-то особый аромат? Запах самки? Но как раз в тот миг, когда Мо собрался дать фрейдистский комментарий поведению бабочки, она, к его разочарованию, опустилась в канаву и села на кучу помета. Крылышки ее трепетали от возбуждения.

— Повезло! — воскликнул старик, спрыгивая в канаву, и тихонько прибавил, глядя на хрупкое создание: — Приятного аппетита, малышка! Знаю, знаю, пандино дерьмо — твое любимое лакомство!

Эта картина потрясла Мо до глубины души: звериные экскременты, бабочка и старый зэк. В этой непреходящей троице было что-то возвышенное, почти вечное. Перед ее лицом Мо показались мелочными и суетными вся его жизнь, словари, тетради, все мысли и треволнения. Так же, как и его неверность, вранье в горах у лоло и вообще вся эта затея заявиться в Китай и разыгрывать спасителя.

Из-за висящей в воздухе влаги помет блестел, словно покрытый коричневым лаком. Бабочка улетела, а Старый Наблюдатель достал свои инструменты, собрал помет, погрузил в полиэтиленовый пакет и сложил все в корзину.

Они пустились в обратный путь к хижине старца. Там он расстелил перед домом бамбуковую циновку и разложил на ней помет для просушки на солнце. Потом принес из хижины еще несколько пакетов с таким же содержимым, на каждом стояла дата.

— В доме слишком сыро, — объяснил он Мо, — приходится все время просушивать. Человек из центра приезжает забирать добычу только два раза в месяц.

Старик вывалил на циновку помет из всех пакетов и разложил в хронологическом порядке. Катышки не обесцветились, но стали из-за влажности губчатыми, кое-где были видны полупереваренные кусочки листьев. Закончив работу, Старый Наблюдатель неожиданно спросил:

— Вы могли бы прожить всю жизнь с простой крестьянкой?

— О чем вы? Не понимаю, что вы хотите сказать.

— Согласны ли вы, если я вылечу ногу вашей балерины за десять дней, жениться на моей дочери?

5
Морской огурец

Проживая в пекинской четырехзвездочной гостинице "Новая столица", где проходил съезд китайских юристов и чиновников, судья Ди вел здоровый, почти аскетический образ жизни и придерживался диеты на основе морских огурцов, предписанной ему сексологом, — готовился к празднеству плоти, которое по приезде устроит ему психоаналитик Мо.

Лишиться ежедневного удовольствия набивать себе брюхо до отвала для такого закоренелого чревоугодника было страшным испытанием, пыткой на медленном огне. Он еще в детстве отличался прожорливостью. Бывало, мать перед каждой едой откладывала то яйцо, то кусочек мяса, то куриную ножку, чтобы потом, после семейной трапезы, дать его хилой сестренке, у которой не хватало сил бороться за пищу с братом-людоедом и которая из-за этого плохо росла. Будущий судья Ди уже тогда проявил редкостную ловкость пальцев, а именно большого и указательного правой руки, виртуозно орудуя палочками (позднее тот же железный указательный палец будет спускать курок, никогда не давая промаха). Он мог одним-единственным движением палочек выхватить из кастрюли целый фунт лапши. Хоп! — и больше никому ни лапшинки. Одно слово — гений! Родители его были люди бедные и необразованные, тарелок в доме не водилось. Мать подавала еду прямо в кастрюлях, котелках и сковородках, ставила их на стол, и каждый хватал что мог. Когда будущий судья заносил палочки над жирным закопченным чугунком, братья и сестры принимались изо всех сил отпихивать его, но перевес был не на их стороне. Повзрослев и поступив в отборный расстрельный взвод, он сохранил это свое превосходство и объедал товарищей по казарме — грубый солдатский харч тоже ели из общей миски.

В ту пору он любил прогуливаться по городу в одиночку и захаживать в "Ослиный котел". Проходил прямиком на кухню, где в огромном чане всегда варилась четверть ослиной туши. Повар уже знал его повадку и, ни слова не говоря, запускал в котел крюк и подцеплял здоровенный кус жирного, горячего, дымящегося мяса. Разрезал его тяжелым длинным ножом, клал в миску, заливал бульоном, приправлял мелко нарубленным луком, перцем и солью. А под конец задавал непременный вопрос, который стал между ними условным знаком:

— Добавим сегодня ослиной крови?

Если судья Ди отвечал положительно, это значило, что он в тот день расстрелял одного или несколько приговоренных. Тогда повар брал миску, выходил из кухни и, сидя на низком табурете, резал на кусочки комки свернувшейся крови, которые плавали на поверхности котла как красные желатиновые кубики. Судья Ди обожал — обожает и сейчас — лакомиться этими нежными, тающими во рту кровяными комочками. Потом он съедал мясо, проглатывал не жуя, будто страшно оголодал, хрящики, высасывал из кости мозг и наконец с шумом выхлебывал суп.

Еще несколько лет спустя, когда он надел судейский китель, а жизнь его озарилась ярким солнцем (не солнцем председателя Мао, как сказано в самой известной песне, которую миллиард китайцев распевал це-

лых полвека: "Краснеет небо на востоке. Восходит солнце. Это он, наш председатель Мао...", — а другим, западным солнцем капитализма на коммунистический лад) и приобрела ореол богатства, власти и нескромного очарования буржуазии, он приобщился к европейской кухне и стал скрупулезно соблюдать новый этикет. Белая салфетка вокруг шеи, бренчанье вилок, ложек и ножей и бесконечная перемена тарелок. Кролик по-охотничьи, савойская капуста "дюшес", почки в мадере, семга со сливками... Эти экзотические блюда для него театр, кино, шоу (он выучил какие-то крохи английского и обожает слово "шоу", которое произносит как "су" с сильным акцентом). Он открыл, что в западной кухне, как и в западной цивилизации, всё — сплошное су. Даже войну они объявляют прежде всего ради су. У него же все наоборот. Он, судья Ди, любит, чтобы все было основательно, никакого су; он выносит людям приговоры. Каждый вечер, возвращаясь домой, он чувствует себя помолодевшим, оттого что ему удалось разбить еще несколько жизней, разрушить еще несколько семей. Он печатает шаг и, входя на виллу, так топает по ступенькам, как будто в нее врывается полк солдат. При этом мощном звуке его жена выскакивает из спальни и бросается ему на шею, протяжно, как в китайской опере, голося:

— Ты вернулся, господин судья?

(Примечание автора для китайских читательниц, которые собираются вступить в брак: обращение к мужу по его должности кажется мне некоторым перебором, чем-то нетипичным, особенно в домашней обстановке. Зато сам вопрос поставлен с исключительной находчивостью. В нем содержится ключ к искусству супружеской жизни, благодаря которому на протяжении тысячелетий сохраняется крепость наших семей: никогда не задавать неудобных вопросов. Не спрашивайте мужа, откуда он вернулся и что делал. Никогда! Констатируйте сам факт в вопросительной форме, показывая не только, что вы о нем заботитесь, но и что его возвращение — чудо, в которое вы едва осмеливаетесь поверить. От счастья и восторга вы в силах лишь что-то пролепетать. Это касается и отношений с другими людьми. Если, например, вы заводите разговор с человеком, который сидит за столом и обедает, не спрашивайте его, что он ест, такой вопрос может поставить его в неловкое положение — вдруг он ест какое-нибудь очень дешевое кушанье, — спросите лучше: "Вы едите?" Это будет очень изысканно и безукоризненно.)

В европейской кухне судья Ди больше всего ценил колбасные изделия. Иногда он заходил позавтракать в "Холидей-Инн", лучшую в городе гостиницу. Там, в квадратном садике, где располагался буфет, он мог отведать колбаски, до которой был весьма охоч, а кроме того ветчины, копченой куриной грудки, салями или отбивной. По его меркам, все это были приятные закуски, слишком легкие для обеда или ужина, особенно когда надо утолить физический и моральный голод, который вызывало у него вынесение смертного приговора. По остроте ощущений и возбуждающей силе суд превосходит саму казнь, ведь там стрелок только выполняет чужую волю и чужие приказы. Как ни велико удовольствие убивать, чисто мужское и ни с чем не сравнимое, но во время судебных заседаний к мужскому упоению властью над жизнью и смертью человека прибавляется свойственное скорее женщинам наслаждение игрой, полное невинной детской жестокости, похожее на забаву кошки с мышкой: чуть отпустить жертву, самую малость, чтобы в ней зашевели-

лась надежда. Сначала мышь не ждет спасения и только больше сжимается. Кошка разжимает когти еще немножко, поощряет ее — давай! Мышка бросается прочь. А кошка поджидает, подстерегает и в последний момент, когда мышь уже поверит в свободу, вонзит в нее безжалостные когти — бац! — игра окончена. После такого напряжения весь организм, все мышцы истощаются и требуют подкрепления. Так многие мужчины после секса испытывают лютый голод и принимаются опустошать холодильник.

Вот чем объяснялось пристрастие судьи к свиным внутренностям. После суда или затяжной партии в маджонг он обжирался свиными почками, печенками, языками, хвостами, сердцами, легкими, кишками, ушами, ножками и мозгами. Он даже включил в судебный штат домашнего повара-шанхайца, который мог в любое время суток приготовить ему жаркое из потрохов в вине по-шанхайски; оно тушится на медленном огне и приправляется толченым имбирем, цветками кардамона, анисом, корицей, кусочками поджаренного тофу с гнильцой, желтым вином и клейким рисом, который обычно идет на перегонку. Сидя в пекинской гостинице, судья грезит об этом блюде, он словно видит воочию блестящие от прозрачного жира стенки глиняного горшка и кусочки потрохов, волокнистые, красноватые, мягкие, сочные, проспиртованные и пропитанные пряностями и травами, с резким, сладко-соленым вкусом, в котором мед смешивается с плесенью, и у него текут слюнки.

Рекомендованные пекинским сексологом морские огурцы — полная противоположность его любимому жаркому. Эти иглокожие моллюски — родственники морских звезд и ежей, они обитают на дне моря, в коралловых рифах. Продукт очень дорогой и редкий, поскольку добывают его только в Индийском океане и в западной части Тихого. Ловцы ныряют на большую глубину, ощупывают вслепую заросли кораллов и снимают урожай этих живых овощей. Вернувшись с добычей, ныряльщик раскладывает ее сушиться на берегу. Похожий на сороконожку морской огурец сжимается на воздухе, тает на солнце и превращается в студенистую массу. Чтобы она затвердела, ее надо сразу же посыпать солью, и тогда моллюск приобретает форму мужского члена длиной в десять-пятнадцать сантиметров, цветом он также напоминает человеческую кожу в прожилках, складках и бугорках. Для употребления в пищу его бросают в кипящую воду, он надувается, и конец его тоже становится похожим на головку пениса.

Благодаря фаллическому облику морской огурец занимал в древнекитайской медицине особое, аристократическое место, он, как монарх, вознесен над другими лекарственными средствами. Им пользовали императоров, истощенных ласками тысячи наложниц. В эпоху Тан его называли "морской силой", а спустя несколько столетий он получил наименование, под которым известен до сих пор, — "морской женьшень". Долгое время вкушать этот деликатес имели право лишь верховные правители. Изредка император мог предложить кусочек какому-нибудь министру или генералу, желая заручиться его преданностью в политической интриге или военном конфликте. В начале XX века, после падения последней династии, евнух-повар Хэ Гун-гун (злые языки утверждают, что он был не поваром, а цирюльником) открыл у северных ворот Запретного города ресторан "Стойкий боец", и в первый раз за всю ис-

торию китайских возбуждающих средств запах морского женьшеня проник за стены дворца и коснулся ноздрей столичных жителей. Но понадобилось еще сто лет, чтобы с наступлением китайского капитализма яство настолько демократизировалось, что попало, хоть и в посредственном исполнении, на стол нуворишей.

Одна беда — это редкостное кушанье, это легендарное снадобье совершенно безвкусно. Усилия многих поколений императорских поваров, перепробовавших все мыслимые приправы, ни к чему не привели — морской огурец был и остался пресным, отвратительно, тошнотворно пресным. Нетрудно понять, как должен был страдать судья Ди, соблюдая предписанную ему "огуречную" диету. Утром официант из ресторана напротив гостиницы приносил ему в номер поднос с никелированным колпаком, под которым стояла пиала рисовой каши с морским женьшенем. Согласно рецепту лучших гонконгских кулинаров, в кашу во время приготовления постоянно подливали воду до тех пор, пока все рисинки не разваривались. Но морской женьшень как был, так и оставался резиновым. В обед тот же официант под тем же колпаком доставлял "морской женьшень в красном масле", то есть порезанный мелкими ломтиками и политый морковным соком, фирменное блюдо пресловутого "Стойкого бойца". Пресная жвачка. На ужин все таким же образом подавался суп из морского женьшеня с душистыми грибами и бамбуковыми побегами. Вода водой.

Результаты диеты сказались на четвертый день. Судья Ди почувствовал, что его члена, ледяного с той ночи, когда он очнулся в морге, коснулось живительное тепло.

"Надо скорее ехать в Чэнду", — ликуя, подумал он.

6
Иволга

Появление на столике у постели Тропинки мази, изготовленной специалистом по пандовому дерьму, в невиннейшей, плотно закрытой таре: консервной банке, стеклянной баночке из-под варенья и флаконе, — вызвало гнев у всего медицинского персонала травматологического отделения лучшей сычуаньской больницы. Фанатики, свято веровавшие в единого бога-скальпеля, делали юной пациентке и ее опекуну Мо сначала устные, а затем и письменные предупреждения, угрожали немалым штрафом и немедленной выпиской, если они не выкинут вон сомнительное, шарлатанское, позорное, антинаучное снадобье.

Этот категорический запрет, говоривший о недостатке толерантности, а также спешка заставили Мо перебраться с девушкой в гостиницу "Космополитен", удобную, спокойную, полупустую, на южной окраине Чэнду. Принадлежала она пожилой крестьянской паре, разбогатевшей на торговле цветами из своих теплиц, и располагалась в их собственном, переоборудованном доме. В ней было восемь номеров, холл с алтарем Бога богатства и настенными часами, которые показывали время в Нью-Йорке, Пекине, Токио, Лондоне, Париже, Сиднее и Берлине. Во дворе перед домом стояла двухметровая клетка. Не ивовая, какие подвешивают на гвоздик, и не бамбуковая, какие укрепляют на ветках деревьев, а железная, в форме пагоды, покрашенная в зеленый цвет. В клетке

на жердочке сидела сонная птица. Это была иволга. При виде новых постояльцев птица проснулась и пропела несколько нот. Девушка на костылях скакала, не касаясь одной ногой земли, через двор. Мужчина в очках, нагруженный вещами, хотел помочь ей, но она гордо отказалась и поскакала еще быстрее. Можно подумать, прибыла благородная девица с поврежденной ногой и при ней старый, неуклюжий, близорукий лакей.

За несколько дней Тропинка сильно изменилась. Стала раздражительной, обидчивой, капризной, то и дело огрызалась. Спросит ее Мо: "Что ты хочешь на обед?" Она в ответ: "Все равно!" И больше ни слова. Кусает губы, накручивает прядь волос на палец и смотрит на него, надувшись как балованный ребенок. Мо покорно терпел такую перемену в их отношениях: ничего не поделаешь, у всех больных портится характер. Теперь, когда каждое движение причиняло будущей кинозвезде острую боль, она не могла оставаться такой же милой, веселой, кокетливой и лукавой, какой была прежде.

Комната Тропинки на втором этаже такая темная, что даже днем приходится зажигать висящую под потолком голую лампочку. Стены тонут в наводящих тоску потемках.

Девушка лежит на кровати, положив левую ногу поверх одеяла. Входит Мо с тазом теплой воды, ставит его на пол. Наклонившись, бережно спускает до колен пижамные штаны больной. Сломанная нога раздута, кожа как-то нехорошо блестит, чуть ли не светится и вся в темных пятнах.

— Синяков стало больше, чем вчера, — говорит Тропинка. — Противно смотреть. Не нога, а карта мира.

Мо улыбнулся. На ноге кишели, расползались, сливались друг с другом пятна разных цветов, от синего до черного, включая все оттенки фиолетового, и некоторые из самых крупных в самом деле напоминали очертаниями материки.

— Начнем с Черной Африки, — сказал он и снова улыбнулся, довольный тем, что смог за удачной шуткой спрятать чувство неловкости и вины, которое вспыхивало в нем при виде этой искалеченной ноги.

Он подложил под голень полотенце, смочил губку теплой водой и осторожно протер пятно в центре карты, густо-черное, с фиолетовыми, синими и красными прожилками, похожее на жертвенную черепаху, подвешенную так, что треугольная голова окуналась в океан. Посреди этого черного континента явственно выделялось углубление с двумя поперечными складками на коже. "В этом месте концы сломанной кости", — подумал Мо и, как умелая медсестра, обтер участок вокруг, не задев очаг боли.

— Говорят, самый удивительный подвиг Старого Наблюдателя, — рассказывал он, — это исцеление одного охотника. У того была сломана скула, и в месте удара образовалась вмятина. Так старик не только срастил кость, но и все выровнял — следа не осталось.

— Как это, без операции?

— Одними компрессами с той самой мазью, которую он мне дал для тебя. В ней намешаны какие-то чудодейственные травы, они притягивают осколки друг к другу.

Он обмыл всю ногу, достал из кармана связку ключей с нацепленным тут же перочинным ножиком, лезвием отковырнул крышку жес-

тянки. По комнате распространился резкий смрадный дух — запах грязи, тины, гнили, болотной жижи.

— Воняет ужасно, — поморщилась Тропинка. — Как будто сидишь на дне колодца у нас в деревне.

Жестянка неизвестно из-под чего (этикетка давно отвалилась) была наполнена черной, вязкой, похожей на слизь мазью.

— Старик сказал, что это для первой повязки.

Лезвием ножа он наложил мазь на сложенную в несколько раз тряпицу, которая мгновенно утратила свою белизну. Потом осторожно прижал компресс к ноге Тропинки и замотал бинтом.

Ночью Мо проснулся оттого, что девушка стучала кулаком в перегородку между комнатами.

— Тебе больно? — спросил он в темноте, прижимаясь губами вплотную к штукатурке.

— Да, но не в этом дело. Ты не можешь пойти накормить несчастную птичку? Она голодная.

— Какую птичку, бедная моя хромая принцесса?

— Иволгу, которая сидит в клетке.

Мо прислушался. Где-то над головой пробежала крыса. Ночная бабочка билась об оконное стекло. Вдали прогудел автомобиль. Квакала лягушка. И, перекрывая все эти звуки, свистела во дворе иволга, издавая острые, тревожные, металлические звуки, как будто кто-то в ночи играл на пиле.

— Чувствуется, что домашняя, — сказала Тропинка. — Дикие иволги кричат по-другому.

— А как они кричат?

Девушка несколько раз коротко свистнула, изображая иволгу, но получилось похоже на воробьиное чириканье. Мо засмеялся и окончательно проснулся. Он встал, взял из пакета пачку печенья и спустился во двор. Накрошил печенье в ладонь и просунул в клетку. Тропинка не ошиблась — иволга была страшно голодная. Она сорвалась с шестка и сверкающей золотой стрелой спикировала к Мо, забрызгав его водой из поилки. Птица зацепилась когтями за прутья клетки и повисла вниз головой, на крыльях перья у нее были ярче, чем на тельце. Она клевала с руки Мо и дрожала от удовольствия. Когда печенье было съедено до последней крошки, иволга, не выказав ни малейшего признака благодарности, снова уселась на шесток. Теперь она была сыта и, даже не поглядев на своего благодетеля, принялась щегольски чистить перышки. Мо, слегка обиженный, пошел назад, но вдруг у него за спиной, в клетке, раздался почти человеческий голос. Мо подскочил от удивления и обернулся. Самовлюбленное пернатое несколько раз произнесло одно и то же слово, по слогам и без выражения. Отчетливые, граненые и совершенно непонятные звуки.

Наутро Мо расспросил хозяйку гостиницы и узнал от нее, что родители благородной птицы принадлежали христианскому пастору. К нему приезжало много любителей со своими иволгами — предлагали деньги и разные подарки и просили позволения поставить клетки с питомцами рядом с этой парой, чтобы те наслушались и научились так же разговаривать. Но пастор не соглашался. После его смерти певчая чета прожила недолго. А осиротевший птенец вырос и время от времени выдает словечко, которое перенял у родителей. Вроде бы на латыни. Пастор

произносил его под конец богослужения. Это, кажется, последнее слово Христа.

Мо, как и его западные коллеги, читал Библию, но последнего слова Христа что-то не помнил. Он записал этот случай на первой странице новой тетради и пообещал себе отыскать священный источник загадочной цитаты. Но забыл.

Несмотря на плотную повязку, запах тины три дня не выветривался из комнаты хромой принцессы. Если ей хотелось принять душ, верный, безропотный, близорукий санитар, стоя на коленях перед кроватью, оборачивал больную ногу полиэтиленовой пленкой и закреплял розовыми резинками. От запаха мази у него кружилась голова.

На четвертый день он снял повязку и обмыл ногу, перед тем как наложить новую. Синяки посветлели. Африка была уже не черной, а серой, местами с синевой, и поверхность ее, как и других континентов, значительно уменьшилась. А у черепахи рассосалась шея. Треугольная головка превратилась в крошечный островок в океане.

Пациентка ужасно обрадовалась, а Мо открыл банку из-под варенья с мазью для второго раза. Банка была старая, стекло давно потеряло прозрачность и блеск. Темно-коричневая мазь имела какой-то странный, сложный запах. В нем смешивались жир, воск, опиум, ладан, какие-то корни, травы, кора, ядовитые грибы, слышался даже навозный душок. Мо разглядел кусочки листьев и грибных ножек, когда выкладывал мазь на тряпку.

— Правда, что этот твой золотарь выправил сломанную скулу так, что следа не осталось?

— Да. И знаешь, что ему помогло? Рентгеновский снимок. Глядя на него, он почувствовал, что какая-то невидимая ткань осталась неповрежденной и удерживала осколки кости. Его мазь стянула их, он так и сказал: "Стянула", — и срастила.

— И с моей ногой тоже так получится?

— Думаю, да.

— Где он всему этому научился? Он тебе не рассказывал?

— Когда-то в молодости в своем родном городе он изучал лекарственные травы и ходил к одному врачу старинной школы, который умел как никто лечить катаракту иглоукалыванием, знал какие-то точки в деснах. И предложил ученику передать ему секрет, если он женится на его дочери. Тот согласился и унаследовал драгоценный секрет. А много лет спустя, уже во время культурной революции, он скрывался в горах Эмэйшань и однажды, собирая травы, упал в яму и сломал ногу. Вот тогда-то один буддийский монах вылечил его за десять дней. Они подружились и обменялись секретами: как лечить катаракту и как сращивать кости.

Через два дня позвонил зять мэра и поднял тревогу: судья Ди решил вернуться раньше времени. Катастрофа! К счастью, через несколько часов дали отбой: передумал. Можно спокойно жить дальше.

Состояние больной ноги улучшалось с каждым часом.

— Как будто по ней пылесосом водят, я это каждой клеточкой чувствую, — говорила хромая принцесса. — Вот только что как будто червяк прополз от лодыжки к колену. А теперь спускается.

Последнюю повязку наложили, как велел Старый Наблюдатель, на шестой день. Остатки мази от предыдущего компресса тщательно смыли (Мо знал теперь каждый сантиметр этой ноги), подложили под голень полотенца, открыли флакон. Тропинка хотела вытащить тугую пробку зубами, но Мо воспротивился:

— Старик сказал, что там есть порошок из высушенного желчного пузыря павлина, это самый главный компонент, но им можно отравиться, и даже до смерти. Когда-то знатные монголы и маньчжуры глотали этот порошок, чтобы покончить с собой.

— Как, ты говоришь, эта отрава называется?

— Желчный пузырь павлина.

— Красиво! У павлина все красивое, даже желчный пузырь, хоть я и не знаю, что это за штука.

— Это такой черный мешочек около печени. Ты наверняка видела, когда потрошила курицу.

— Мне нравятся павлины. Они как короли...

— Говорят, смерть от павлиньей желчи безболезненная, тихая, спокойная. Есть такой старинный стих: "Умер в звездном фонтане, раскинувшемся, точно хвост огромного павлина".

Кто там идет с костистым, зловещим лицом?

Судья Ди? Во дворе темно — не узнать. Или мне уже не годятся очки? Теряю зрение. Если и дальше так пойдет, под конец всех этих приключений совсем ослепну.

Кожаные подметки скрипят по гравию. Он купил себе в Пекине новые итальянские ботинки? Или ему подарили — кто-нибудь более ловкий, чем я?

Шаги на лестнице — как будто целая армия идет парадным маршем. Вот он поднимет ногу и замрет, а потом как грохнет по ступеньке что есть силы. Шаги протопали по коридору и остановились за дверью Тропинки. Удар и долгий, рассыпчатый скрип — дверь открылась. Раздается голос судьи — он говорит о себе в третьем лице:

— А вот и судья Ди пришел к вам, барышня.

— Заходите, пожалуйста. Садитесь, господин судья.

— Микрофонов, скрытых камер нет?

(Слышно, как судья подходит к кровати и, кажется, опускается на колени — проверяет, нет ли чего-нибудь под ней.)

— Знаешь, где был судья Ди? В Пекине. Он собирался приехать пораньше. Но не вышло. (Скрип стула — видимо, он сел.) Его попросили сделать доклад. Все китайские чиновники и юристы хотели узнать, как он притворился мертвым, чтобы накрыть преступную шайку в морге Чэнду. История такая жуткая, по ней уже собираются снимать телефильм.

— И вы будете играть сами себя?

— Может быть. Чтобы был настоящий реализм... Но ты что-то неважно выглядишь.

— Да. Мне делали операцию, и я еще не совсем здорова.

— Вот видишь, у судьи Ди верный глаз! От него ничего не ускользнет. Как тебя зовут?

— Тропинка.

— Плохое имя. Наша страна стала могучей и процветающей, никто больше не ходит по тропинкам. Мы гордо и уверенно шагаем широкой дорогой социализма. Имя надо поменять. Судья Ди будет называть тебя Дорогой.

(Молчание. Молодец, правильно делает, что не спорит. Где она? Сидит в постели? Или стоит у стены? Злодей встает со стула.)

— Иди ко мне, Дорога. Возьми мою куртку и повесь в шкаф на вешалку.

— Тут нет шкафа. Я повешу ее на дверь.

(Первый раз слышны шаги Тропинки — она идет от стенки к двери, очень медленно.)

— Это что за шутки? Ты ходишь, как старушка с забинтованными ногами. А ну-ка...

(Она вдруг испускает громкий стон.)

— Тебя так поразил судья Ди? Прекрасный, сильный и неотразимый?

— Простите, это лоло.

— Что? Ты лоло? Невероятно! Дорога Лоло — вот твое полное имя. Люблю смотреть, как пляшут женщины-лоло. Они такие страстные, ритмичные, задорные. Станцуй-ка мне!

— Я не могу.

— Не ломайся! Все лоло умеют танцевать. Взмахнула рукой и пошла! Давай станцуем вместе, как влюбленные на празднике огней у вас в горах. Что за странный запах? От тебя пахнет порохом. Ну давай, пошли! "Пекинские златые горы"!

(Он подхватил ее и запел эту известную революционную песню, но не успел допеть строчку, как недолеченная нога Тропинки подвернулась и она упала.)

— Что происходит? Ты соображаешь, что делаешь? Упускаешь шанс потанцевать с самим судьей Ди! Его терпение скоро лопнет. Пойди прими душ и ложись рядом с ним.

(Она встает. Со стоном — ей, наверно, больно. Тяжелые шаги и скрип пружин. Судья взгромоздился на ложе. Ворочается. А девушка опять упала и вскрикнула.)

— Перестань паясничать перед судьей Ди. Не смешно.

— Я не паясничаю. Я попала в аварию и сломала ногу.

— Что?! Этот поганый психоаналитик хотел подсунуть мне хромую? Какое оскорбление! Судья Ди не станет спать с калекой!

(Одним прыжком выскакивает из кровати и разражается потоком брани. Уходит и захлопывает дверь, так что трясутся стены. Свирепые шаги по лестнице, по двору, и Мо проснулся.)

Еще минуту он, не до конца очнувшись, соображает, правда все это или ему только приснилось. Во дворе хрипло кричит в своей клетке-пагоде иволга, и эти крики возвращают его в реальность. Он приникает ухом к перегородке — Тропинка ровно дышит. Какая радость! То был всего лишь страшный сон...

Мо разглядывал свежий снимок: "Просто чудо!" Сломанные концы сошлись, кость вырисовывается цельным светящимся пятном. Вот она, волшебная живучесть, первобытная сила. Черная пленка с костями — как победоносный пиратский флаг.

Днем он водил Тропинку в больницу на рентген. Снимок обещали выдать через три часа, Мо остался ждать, а Тропинка ушла. Мо дал ей двести юаней и сказал:

– Пройдись по магазинам и купи себе что захочешь. Это мой подарок.

"Интересно, где она сейчас? – думал аналитик, идя домой со снимком. – Все еще ходит по магазинам? И что она купила? Помаду? Серьги? Платья? Туфли?"

От радости он не чуял под собой земли. Парил, летел над нею. Спустился вниз по главной улице, Народной, свернул налево, пошел вдоль Шелковой реки к Южному мосту. И по дороге улыбался всем встречным: мужчинам и женщинам, старикам и детям, даже полицейским, которые обычно нагоняли на него страх. Ему хотелось каждого остановить и показать снимок – доказательство настоящего чуда, сотворенного Старым Наблюдателем.

"Если я когда-нибудь женюсь... (На ком? На Горе Старой Луны? На Бальзамировщице? Или на Тропинке? Сейчас я так безмерно счастлив, что влюблен во всех трех, вернее, четырех, считая дочь Старого Наблюдателя, которой я еще даже не знаю. Если бы они согласились, я, несмотря на расходы и слабое здоровье, готов взять в жены их всех.) Так вот, если когда-нибудь я женюсь, то повешу этот снимок на стенку в семейной гостиной. Помещу под стекло, оправлю в рамку, устрою мягкую подсветку, чтобы все любовались этим шедевром".

Близился вечер. Солнце подернулось дымкой. От мутной, грязной воды потянуло теплым ветром, пахнуло чем-то затхлым. Как обмелела эта Шелковая речка со времен его детства! А была такая прозрачная, в ярких солнечных бликах и широкая – не переплыть. Сколько счастливых часов провел он здесь, загорая с приятелями на чуть выступающем из воды островке. Теперь он другой человек, зрелый плод, выросший из семечка, каким был Мо-подросток, близорукий, неловкий, представлявший себя покорителем женщин. Еще ребенком он часто видел одни и те же наивно-эротические сны о том, как влюбляется в кузину, учительницу, дочку прислуги, одноклассницу... список мнимых возлюбленных бесконечен. Судьба распорядилась так, что помог ему на этом пути, подтолкнул его к осуществлению давних мечтаний судья Ди, благодаря которому любезный сердцу Мо революционный романтизм соединился с пролетарским реализмом. Какой большой скачок! Коммунисты только и делают, что совершают большие скачки в разные стороны, но этот и правда был скачком вперед. Не пожелай судья Ди получить невинную девушку, может Мо и до сих пор оставался бы девственником и предавался умственной мастурбации с помощью книг по психоанализу во французском переводе. А теперь пожалуйста – он влюблен одновременно в четырех живых, реально существующих женщин, и все хороши как на подбор. Он вглядывался в лица встречных пешеходов и велосипедистов и думал, есть ли во всем городе человек счастливее его. По лицам видно, что нет. Для обычных людей любить сразу двоих – и то проблема. Ну а четыре любви синхронно – такого нет ни у кого, кроме бравого Мо. Никогда раньше ему не приходило в голову рассматривать свое положение в таком ракурсе, и он таял от этой мысли.

"Как жаль, что Гора Старой Луны сидит не в той же тюрьме, что зять мэра. (Бальзамировщица тоже, но о ней я иногда забываю, а о Горе Ста-

рой Луны — никогда, ни на минуту.) Может, он знает какую-нибудь женщину-заключенную, которая могла бы стать посредницей и запустить "подвесной носок". Голубенький (или любой другой) носочек, еще сохраняющий тепло чьей-то ноги, дырявый спереди и сзади, а в нем записка: "Для номера 1 479 437 из камеры 5 005. Завтра возвращается судья Ди. Послезавтра ты выйдешь на волю". Или лучше, избегая слов, пока дело не сделано, я нарисую девушку с шестом (это ты, моя Гора Старой Луны), которая перепрыгивает через стену с колючей проволокой. А внизу напишу только "С-2". Когда мы учились в университете, она входила в сборную по легкой атлетике и выиграла три бронзовых медали на студенческих соревнованиях. Я помню, как она тренировалась, разбегалась по дорожке, поднимая облако пыли, в спортивном, облегающем бедра трико, как упиралась в землю длинным шестом и взвивалась вверх, точно стрела из лука, как напрягались в этом броске ее тело и воля. И каждый раз я ждал, что она не опустится вниз, а растворится в небе, как колечко дыма, или превратится в ласточку".

С недавних пор Мо каждые две-три ночи снился один и тот же кошмар. Сначала — полная тьма, отвратительный запах тухлой воды и прерывающийся от натуги мужской голос: "Как мне надоел этот проклятый запор!" Потом шумный, на всю темную камеру, всплеск — кусок кала все же падает в парашу. Голос принадлежит бывшему начальнику женской тюрьмы. В камере трое: начальник, врач той же тюрьмы К. и он, Мо. Причиной их ареста послужило то, что одна заключенная, номер 1 479 437 из камеры 5 005, сидящая уже два года, оказалась на третьем месяце беременности. Это Гора Старой Луны. А они — единственные мужчины, с которыми она виделась за последние три месяца. Ясно, что один из них и есть виновник беспрецедентного в истории китайских тюрем преступления. Директор, который во врёмя долгих сидений на параше любил пооткровенничать, признался, что чуть не влюбился в эту заключенную, потому что она похожа на госпожу Тянь, великую танцовщицу революционного балета, кумир его молодости. Он вызывал Гору Старой Луны к себе в кабинет, заставлял одеться как главная героиня балета "Седая девушка" и надеть пышный седой парик (спасаясь от помещика, покушавшегося на ее девственность, эта девушка провела двадцать лет в горах, где у нее не было ни крошки соли). Директор ставил пластинку с записью музыки к балету, но Гора танцевать не желала, говорила: "У меня нет ни желания, ни таких пальцев на ногах, как у госпожи Тянь, чтобы держаться на цыпочках". Тюремный врач, который вечно сидел, забившись в угол, и плакал, рассказал другую историю, тоже вариацию на вечную тему девственности. Он приметил заключенную номер 1 479 437 во время гинекологического осмотра. В свои тридцать два года она еще была девственна — феномен, все более и более редкий в современном Китае, а в тюрьме и вовсе уникальный. Поначалу это не вызвало у него ничего, кроме простого любопытства. Но потом он прочитал в одной старинной книге секрет "красного дождя", средства для продления жизни, которое алхимики изготовляли для императоров эпохи Мин из менструальной крови девственниц. Ему захотелось воспроизвести эксперимент восьмисотлетней давности. Он вызвал девушку и велел ей принести ему пузырек крови от месячных, объяснив, что якобы нашел какую-то инфекцию в ее предыдущих анализах и хотел бы уточнить диагноз. Из этого ничего не вышло, потому что заключенная с того само-

го дня, как попала в тюрьму, страдала аменореей. Зато врача в одно прекрасное утро (в точности по Кафке) взяли и арестовали прямо на дому. Однако, при всей своей извращенности, ни начальник тюрьмы, ни врач не могли быть виновниками беременности, потому что, будучи законопослушными гражданами, они оба еще двадцать лет назад откликнулись на призыв правительства и в рамках кампании "одна семья — один ребенок" обзавелись "вечным презервативом", то есть добровольно подверглись перевязке семявыводящего канала. Еще меньше оснований было подозревать Мо, который виделся со своей подругой только в комнате свиданий, под бдительным присмотром надзирательниц и в присутствии других заключенных и их родственников. Эти невеселые встречи завершались каждый раз одинаково: звенели ключи, скрипела дверь, и в зал бесшумно входил стрелковый взвод — цепочка духов смерти в фуражках с китайским гербом и тем же холодным блеском в глазах, какой излучали их винтовки.

В первый раз, когда Мо увидел этот сон, он проснулся с горящими щеками, встал и подошел к окну. Это было в гостинице "Космополитен". Во дворе стояла клетка-пагода. Вдали взвыл автомобильный мотор. От фонаря падало на землю желтое пятно света. Кто-кто, а уж Мо понял, что в этом сне проявилось его подсознание и оно упрекало Гору Старой Луны. По Фрейду, это было "начало конца любви". Почему это случилось сейчас? Что послужило причиной? Присутствие девушки с забинтованной ногой, которая спала за перегородкой и которую он, неотлучный, как тень, выхаживал днем и ночью? Легкий холодок — предчувствие, мгновенная дрожь — пробежал по спине Мо.

Впрочем, никто не может до конца понять сон.

Даже Фрейд.

Непостоянство — свойство человеческой души. Кто это сказал? Пруст. "В поисках утраченного времени" (французская аналогия китайского "Сна в Красном тереме"). Художники, особая порода людей, тоже не понимают снов, но они создают их, живут в них и в конце концов заражают ими других.

Мо, агностик, лжемногоженец и настоящий полиглот, решил купить что-нибудь в подарок Тропинке. Он как раз проходил мимо открытого рынка у Южного моста, кипящего красками, звуками и запахами. На небе собирались тучи. Продавцы зазывали покупателей, сбрасывали цены. В клетках били крыльями голодные домашние птицы, с усыпанных льдом прилавков выпрыгивали и падали на землю с широко раскрытыми ртами рыбы. Корица. Анис. Абсент. Вермут. Горький перец. Экзотические фрукты. Фрукты американские, трансгенные. Местные овощи. Чем удивить и порадовать Тропинку?

Что-то черное, блестящее, похожее на крупного головастика плавало в прозрачной жидкости. Змеиный желчный пузырь в полиэтиленовом мешке со спиртом. Пузырь опустился на дно мешка, вывернулся, надулся, но сохранил форму.

Мо остановил свой выбор на этой штуковине не только из-за недавнего разговора о соответствующем органе павлина, только гораздо более дорогом и ядовитом, но еще и потому, что, как известно всем и каждому в Китае, желчный пузырь змеи отлично укрепляет сломанные кости. Ему приписывают и другое свойство, что также привлекло Мо, —

он будто бы придает смелости камикадзе. В обоих случаях, как укрепляющее и вдохновляющее, это снадобье считается самым лучшим.

Но та, кому оно предназначалось, так и не попробовала его. Через час после того, как Мо вынес с рынка свою покупку, идущий по улице слепой нищий почуял дивный запах спирта. Он стал ощупывать тротуар своей палкой и наткнулся на брошенный пакет. Поднял его, обнюхал. Спирт весь вытек, но на дне осталась какая-то скользкая капля. С пакетом в руках нищий подошел к ближайшей лавочке, где продавались напитки, сигареты, что-то съестное, а рядом была установлена телефонная кабина для внутренних и междугородных звонков – переговорный пункт помогал хозяйке лавочки сводить концы с концами. Она-то, взглянув на пакет, и сказала нищему:

– Это того господина в очках. Он зашел позвонить. У него разрядился мобильник, а ему надо было позвонить в какую-то загородную гостиницу. Я сказала, что загород по той же цене, что межгород. Он заплатил. Как я поняла, он получил плохое известие. Побледнел, закричал: "Не может быть! Вы шутите! Скажите, что это шутка!" Но, наверно, оказалось, что не шутка... Он бросил трубку, выскочил на улицу и бросился наперерез такси. Чуть не попал под колеса. Такси было занято. Тогда он побежал, но, видно, уж очень спешил, потому что остановил велосипедиста и прямо на месте купил у него велосипед. Сколько он за него отвалил, не знаю. Видать, прилично, потому что тот парень совсем обалдел – так и остался стоять с деньгами в руках. А господин в очках сел на велосипед и как припустит! Он оставил около телефона конверт с рентгеновским снимком. И еще, помню, когда он входил, у него был пакет. Наверно, он его уронил и не заметил.

– А что там внутри? Я-то давно ослеп.

– Ну-ка дайте. Что это за черная штука? Постойте, надену очки. Я и сама стала сдавать, еле вижу...

– Что вы! Вы необыкновенная женщина, я же слышу!

– По-моему, это змеиный желчный пузырь.

– Да неужели?!

Слепой схватил пакет, сложил его рожком и вытряхнул пузырь себе в рот. Пощупал языком:

– Настоящий, горький!

Пузырь лопнул под желтыми зубами нищего и заполнил его рот черной желчью. Пошел дождь.

Дождь застилал стекла очков Мо, он ехал и почти ничего не видел, даже переднего колеса, которое рассекало лужи, окатывая брызгами прохожих. Обогнал смутно различимого велосипедиста, потом еще одного, совсем призрачного. С бешеной скоростью мчался он к вокзалу, чтобы перехватить Тропинку. Хозяин "Метрополитена" сказал, что она ушла, прихрамывая, вскоре после обеда.

– На ней были новые черные очки, в руках – ящик пива. Она сказала, что едет домой к родителям. А перед уходом купила у нас иволгу за сорок юаней. Открыла клетку, взяла ее и выпустила. И все смотрела, пока она не исчезла из виду.

Были ли в поведении Тропинки какие-нибудь признаки того, что она собирается уехать? Сейчас некогда вспоминать, дорога каждая се-

кунда. Поезд в ее родные края, в котором он встретил ее две недели назад, отправлялся в девять часов.

Но чем ближе был вокзал, тем больше Мо проникался восхищением перед силой характера девушки. Такой выбор, разом определивший всю дальнейшую жизнь, внушал уважение.

"На ее месте я бы тоже уехал, – думал Мо. – Не потерпел бы, чтобы моя девственность досталась судье Ди".

Он крутил педали все медленнее. Дождь утихал. Пелена перед глазами прояснилась. Внезапно он резко развернулся и поехал в обратном направлении. Он хотел доказать себе, что не дошел до такой степени подлости.

"Ну и хорошо, – уговаривал он себя, ворочаясь без сна в постели. – Само небо спасло меня от полигамных наклонностей. Верность единственной любви не пострадала".

Ему вдруг послышался знакомый голос иволги-сироты из благородного семейства, принадлежавшего христианскому пастору. Все те же граненые слоги-четки.

"Откуда взяться этой птице? Или она решила вернуться? Может, это предвестие того, что вернется и моя великодушная спасительница?"

Иволга и ее таинственное слово заставили Мо вспомнить о его плане с участием невинной девушки. ("Надо бы назвать его планом Гелии, – подумал он, – в честь греческой богини девственности".) До встречи с судьей Ди оставалось меньше суток.

Мо сбежал по лестнице. Клетка-пагода стояла посреди двора, громоздкая, немая, пустая и безжизненная. Мо ухмыльнулся. Угрожающая пауза и взрыв детской агрессии: он изо всех сил тряс клетку, бился об нее головой, мутузил кулаками, старался приподнять и опрокинуть. Напрасный труд. Не успокоившись на этом, он высоко подпрыгнул, как в кино с кун-фу, и лягнул клетку ногами.

Однако долго тешить злобу ему не пришлось, потому что, бросаясь на клетку, он расшиб и чуть не вывихнул правую ногу, и силы его на этом иссякли. Тогда по лицу Мо, взрослого человека, расползлась глуповатая улыбка, и, словно впав в детство, он открыл дверцу клетки и залез внутрь.

– Я птичка, – сказал он, расхохотался и... со всего размаха налетел головой на жердочку. Очки его упали на землю. Он опустился на четвереньки и замер, как пойманный зверек.

В этом мире были свои запахи: холодных железных прутьев, облупленной краски, помета, соломы, поилки, сухих листьев, кукурузных зерен...

– Это подготовительная ночь, тюрьма понарошку. Репетиция настоящей. Как кружится голова. И тошнит. Хоть бы умереть прямо сейчас! Если бы в тот раз, у Бальзамировщицы, я выбросился из окна, как ее муж, то избавился бы от новых унизительных неудач. Интересно, если бы сейчас пришла Тропинка и застала меня запертым в этой клетке, она бы меня выпустила? Где эта девчонка? В поезде? Билет-то купила на этот раз? Скорее всего, нет. Бедняки привыкли жульничать, для них это такой спорт. А может, она и не уехала? Гуляет в городе с каким-нибудь парнем, нашла место служанки или официантки в ресторане? Она вернется. Судя по некоторым признакам, она меня любит. Возможно, потому и сбежала, что слишком сильно любит. Я чувствую! Вернись, пожа-

луйста! Кто это, с переливчато-прозрачными крылышками, сел на клетку? Кузнечик?

Вдруг в памяти его всплыло то, что он безуспешно пытался вспомнить несколько дней. Последнее, что сказал Иисус на кресте и что все повторяла иволга: "Свершилось!"

Жаль, он не может произнести этого на латыни, как та птица. Учи латынь, Мо! Ладно, выучу. В тюрьме. Даже стихи буду писать на латыни. Или хоть завещание составлю.

Наутро Мо пошел домой, последний день на свободе он решил провести с родителями. Часа в четыре они вышли в магазин. Мо остался в квартире один и вдруг услышал стук в дверь. Сначала он не поверил. Решил, что ему почудилось. Но стук повторился. Он открыл дверь — на пороге стояла молодая девушка. По виду крестьянка. Наверное, пришла по объявлению — мать наконец решилась нанять прислугу.

— Поздно, место занято, — сказал он.

Девушка залилась румянцем, потупилась. От смущения потерла ногой об ногу.

— Отец просил передать вам...

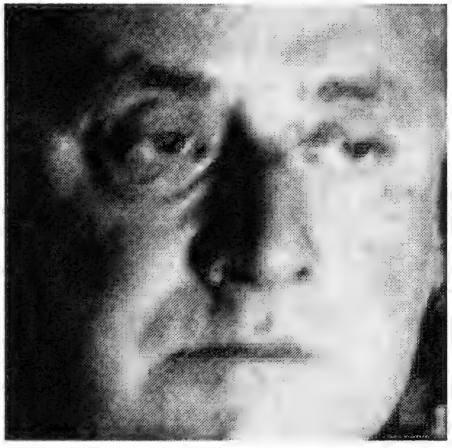
— Кто твой отец?

— Старый Наблюдатель.

Мо словно громом поразило, он еле устоял на ногах. На всю жизнь запомнил он эту минуту. Он замешкался, хотел пригласить девушку войти, напоить ее чаем, но с языка само собой слетело:

— Ты девственница?

Готфрид Бенн



Стихи

Перевод с немецкого и вступительная статья Вальдемара Вебера

"Того, кто углублен, вбирает вечность"

Писать о Готфриде Бенне (1886—1956) задача трудная: он сам о себе все написал в стихах, эссе, статьях и особенно в прозе. Тема творчества была для него одной из главных. Всю жизнь он думал о феномене искусства. Думал так много, что вскоре начал повторяться и, так сказать, "приворовывать" у самого себя. Причиной тому была, конечно, не забывчивость. Поэт повторялся совершенно сознательно, постоянно углубляя одни и те же свои мысли. Эта тематическая тавтологичность была одним из его художественных приемов.

Во всей европейской истории не было эпохи, когда бы художник ощущал столь сильное давление внешних обстоятельств, когда бы он чувствовал себя в такой опасности и зависимости от них, как это было в первой половине минувшего века. Никакая другая эпоха так безоговорочно не требовала от него ответа на свои вопросы.

Готфрид Бенн жил в эти десятилетия. Знающие его творчество могут мне, конечно, возразить, что как раз в отношении этого писателя, совершенно не верившего в "значение исторического мира", для которого "эта жизнь вовсе не столь уж ценна, чтобы так уж за нее сражаться", а "жизнь и дух — две абсолютно разные вещи", считавшего, что только произведения искусства, эти отдельные *законченные формообразования* могут дать смысл человеческому существованию, — как раз в отношении этого автора меньше всего, мол, уместны рассуждения об исторических обстоятельствах, о биографическом контексте его творчества.

© Вальдемар Вебер. Перевод, вступительная статья, 2005
Публикуемые стихи войдут в книгу "Готфрид Бенн. Избранное", которая готовится к печати в издательстве "Лагус".

Нежелание художника увидеть смысл в истории не удаляет, однако, художника из истории. Двойственность, заключенная в понятиях Жизни и Духа, противопоставление и сталкивание их друг с другом, создают в творчестве Бенна особенное напряжение.

Несмотря на элитарность и универсальность произведений Бенна, а также на то, что его темы и употребляемые им понятия до сих пор не потеряли своей остроты — "большой город, индустриальная действительность, интеллектуализм, все тени, которые отбрасывает эпоха в мое сознание", — современному читателю трудно обойтись без биографического контекста. Ведь дуализм был не только одним из свойств образного мышления писателя, но и его конкретной жизненной судьбой. "Двойная жизнь" — так назвал он свое жизнеописание.

Готфрид Бенн родился в селе Мансфельд в Бранденбурге, ему не было и года, когда семья переехала в село Селлин в Новом Бранденбурге, находившемся восточнее Одера. Ныне это часть Польши. То и дело возвращаясь в своих поздних произведениях к памяти детства — "...еще наш мир теченьем / реки не устрашен был, что звалась / в начале Счастьем, / а потом Забвеньем", — Бенн в одном из них меланхолически попрощался со своей малой родиной, навсегда унесенной роковым ветром:

Давно уже в прошлом
и старые те сердца, и волосы те седые,
наш сад во владеньи поляков...
... линия Одер-Нейсе
для тех, кто в могиле,
значения не имеет —
какое-то время
дети будут о них вспоминать,
вдовы с вдовцами,
и здесь, и там,
пока не отправятся сами...

И там, и здесь

Он был сыном сельского пастора, детство и отрочество его прошли среди равнинной северо-германской природы. Видимо, здесь нужно искать истоки его "прусской сдержанности", нелюбви ко всему чисто внешнему, броскому, нарочитому, его самодисциплины. Многие, знавшие Бенна в молодости, писали о его удивительном даре сохранять дистанцию со всеми и вся в любых ситуациях жизни, даже в его тогдашнем интенсивном общении с богемным актерским и литературным миром.

К этим качествам примешивалось поистине романское чувство формы, словно переданное ему с молоком матери, которая была родом из французской Швейцарии, до конца жизни говорила по-немецки с акцентом и тосковала по родным горам.

Время учебы в гимназии во Франкфурте-на-Одере и проживания в интернате отразилось, например, в стихотворении "Никто не заплачет":

С какой тоской вспоминаешь время,
когда марка и тридцать пфеннигов
были вопросом жизни,
да, мне приходилось их пересчитывать,
им дни свои подчинять,

какое там дни: недели на хлебе и сливовом джеме
из глиняного горшочка,
привезенного из родной деревни,
на котором еще был отсвет
домашней бедности,
как горестно было все, как трепетно и прекрасно!

Позднее он слушал лекции по литературе и философии в Марбурге (у того же неокантианца Германа Когена, у которого учился Борис Пастернак) и в Берлине, однако интерес к медицине, проявившийся рано, взял верх: последовали годы учебы в берлинской Академии имени кайзера Фридриха Вильгельма, которую Бенн окончил с дипломом доктора медицины и хирургии. В первые годы по окончании академии Бенн работал психиатром, патологоанатомом, хирургом. В качестве врача пробыл всю Первую мировую войну в действующей армии на Западном фронте.

Созревал поэт на виду у читающей публики. Печатал время от времени книги, содержащие небольшие циклы стихотворений или эссе.

То были годы, когда отдельное стихотворение могло стать событием литературной жизни.

Цикл "Морг", состоящий всего из нескольких стихотворений, написанный во время прохождения Бенном курса вивисекции и вышедший в 1912 году тоненькой книжкой тиражом в 500 экземпляров, сделал Бенна в один час знаменитым. Не сама тема стихов в этом цикле была нова — в немецкой поэзии уже существовали стихотворения о морге и Рильке, и Гейма, — поразило всех, *как* были написаны эти тексты, а еще больше позиция автора, вернее, как казалось, отсутствие ее: равнодушие к человеческой трагедии. Критика была бурной и уничтожающей. Единственный отзыв, по настоящему оценивший это литературное событие, принадлежал перу эльзасского поэта Эрнста Штадлера. В одном из страсбургских журналов он писал, что стихотворения "Морга" написаны так, "словно речь идет ни о чем другом, кроме как о чисто врачебном отчете после состоявшейся операции", но что в каждой его строке проявляется художник, особенно в том, как выстраиваются эти строки, и что в них "слышна беззвучная музыка внутреннего потрясения", а за демонстративной несентиментальностью профессионала стоит "сильное сочувствие, почти женственная чувствительность, отчаяние от сознания трагизма жизни и чудовищного безразличия к ней природы".

До сих пор в литературоведении бытует мнение, что стихи этого периода — сознательно эпатажные. Но, как я уже сказал, для Готфрида Бенна и в жизни, и в искусстве поза была абсолютно неорганична. Он никогда не искал литературной славы. Для него скорее была характерна самоизоляция, больше всего он ценил независимость от литературной среды и суеты, даже в своей врачебной профессии выбрал род деятельности, дававший ему наибольшую независимость, — отказался от карьеры психиатра, потребовавшей бы от него большой затраты энергии, необходимой ему для литературных занятий, отказался от предложений богатых меценатов открыть модную практику в центре города, которая позволила бы ему разбогатеть. Бенн предпочел частную практику дерматолога на одной из отдаленных от центральных магистралей улиц, приносившую ему минимум заработка и позволявшую сосредоточиться на чтении и литературной работе. Легенды о Бенне как о человеке недоступном, черством не подтверждаются ни письмами, ни воспоминаниями, напечатанными в последнее время. Так, голландский писатель Нико Рост, живший в двадцатые годы в Берлине в качестве корреспондента голландских газет и постоянно общавшийся с Бенном, хорошо знав-

ший бытовую сторону его жизни, создает образ человека, которого весь его квартал знал как доброго доктора, лечившего пациентов бесплатно или за символическую сумму, когда они не могли заплатить за лечение, безвозмездно помогавшего в трудную минуту своим ближайшим соседям, оплачивавшего их квартирные долги и расходы на уголь. Бенн никогда не упоминал об этом в своих письмах и разговорах с друзьями и знакомыми.

С самого начала своего творчества Бенн приобрел репутацию нигилиста. Нигилизм в России с базаровских времен ассоциируется с отрицанием искусства. Нигилизм Готфрида Бенна утверждал культ искусства и артистизма. Уже в раннем творчестве Бенна заявлена сущность его нигилизма: в основе мироздания находится Ничто, наполненное бескомпромиссным Духом. А выражением его, проявленным в нашем бытии, является Искусство. Пройдут десятилетия, и Готфрид Бенн напишет стихотворения, где высказывается надежда, что Дух не окончательная субстанция, что он тоже преодолевается. Эти стихи воспринимаются сегодня как само "преодоление", настолько они совершенны. Но это будет потом, а в первые годы своего творчества Бенн — "поэт страждущей плоти, сквозь которую проглядывает Ничто" (Владимир Микушевич).

Конец первого десятилетия и все второе десятилетие XX века вошли в историю искусства как эпоха художественного перелома. В каждой стране были свои течения. В Германии имелись и свои сюрреалисты, и свои футуристы, но доминировал экспрессионизм. Среди всех новаторских направлений того времени именно экспрессионизм отличается наибольшей серьезностью своих намерений. Литературный экспрессионизм менее всего ставил себе чисто формальные задачи. Не свойственно ему было и восхищение техницизмами нового века, его моторами и летательными аппаратами, что было типично, например, для итальянских футуристов. Экспрессионизм считал себя в ответе за действительность, за судьбу человеческого в мире, в котором все дробилось, демонтировалось, в котором распространялись убеждение в бессмысленности жизни, отчаяние и тоска, и не оставалось места для гармонии.

Экспрессионисты искали существо жизни, первичный смысл вещей. И хотя они считали, что человек вовсе не идеальное создание, что он подвластен темным порывам и силам, все же большинство экспрессионистов верило, что человек — Бог природы. И один только Готфрид Бенн, знавший не понаслышке о зависимости каждого от его физиологии, написал: "Венец творенья, свинья, человек!" (стихотворение "Врач"). Образы анатомического распада, проходящие сквозь первый поэтический сборник Готфрида Бенна "Морг", — это, конечно, ответ эстетике поздней романтики, импрессионистам, принципом которых было наблюдение, сторонний взгляд, отстраненность; здесь же реальность взаимодействует с человеком, здесь все происходит только в настоящем, в данном случае — в повседневности Бенна-врача.

В сознании современного читателя как на Западе, так и в России новаторские течения XX века связываются прежде всего с общественными и социальными событиями, с эпохой революций, вообще с революционностью. Но богемный Кандинский в Мюнхене, двигаясь к абстракционизму, и не помышлял ни о каких революциях, так же и Малевич, экспериментируя в молодости с новыми формами, не думал, что будет позднее расхаживать с большевистским наганом в кобуре. Все новые направления XX века зародились в его первом десятилетии, они политизировались лишь в конце второго и в двадцатые годы доживали свой век в виде агитационного искусства разных политических группировок.

Началась же эта эпоха задолго до всех революционных событий. Обычно началом ее называют 20 февраля 1909-го, когда в парижской газете "Фигаро" появился футуристический манифест, написанный итальянцем Маринетти. Но почему не взять точкой отсчета 1905 год, когда в Дрездене была создана группа художников "Мост", в которую входили Кирхнер, Нольде, Шмидт-Роттлуфф, Пехштейн. Важно не только констатировать оппозиционность нового старому, но и понять, что́ было свойственно новому течению, что́ его отличало, а отличало экспрессионизм, как выразился один немецкий критик, *обожженное лицо красоты*, его-то и пыталась передать поэзия экспрессионизма, тогда-то и возникло понятие *красота безобразного*.

Ну а если предположить, что это был вовсе не взрыв, а, пользуясь немецким выражением, "вино позднего сбора", Spätlese, — а предыдущими урожаями, "первыми сборами", были произведения Шопенгауэра, Достоевского, Ницше, Рембо, Мунка, Ван Гога, Сезанна?

Как бы то ни было, Готфрид Бенн со всей страстью отдался во власть новой волны в Берлине, где студенческая группа во главе с Карлом Хиллером создает в июне 1910 года "Новый клуб" и организует в нем вечера "Неопатетического кабаре", на которых Стефан Гейм, Якоб ван Ходдис и Эльза Ласкер-Шюлер читают свои "взрывные" тексты. Герварт Вальден основывает газету "Штурм", одна за другой открываются галереи нового искусства, а в феврале 1911-го выходит первый номер журнала Франца Пфайферта "Акцион". И хотя Бенн ведет жизнь отшельника и по возможности избегает литературных сходок, каждого номера этого журнала он ждет с нетерпением. Издаются небольшие сборники его поэзии "Сыновья" (1913), "Плоть" (1917), а также прозаический сборник "Gehirne".

Бенн написал в 1952 году по поводу переиздания своих ранних стихотворений: "Признаюсь: чтобы прочесть корректуры этого тома, мне понадобилось несчетное количество коктейлей и аперитивов для души и желудка; правда, потом все это в целом — как старт и как сумасшествие — показалось мне хорошим".

После Первой мировой войны поэт возвращается в Берлин. В двадцатые годы вырабатывается характерный стиль его зрелого творчества, формируется его стойкий скептицизм по отношению к прогрессистским теориям, по отношению к возможностям развития человеческой природы и общества. В двадцатые годы им создаются стихотворения, на первый взгляд словно призванные передать всю полноту бытия. Они сделаны по принципу монтажа: существительные здесь преобладают, друг на друга нанизываются предметы, названия. Мифы древности, Средиземноморье — точка пересечения разных культур и эпох, Восток, Запад, географические, зоологические, ботанические реалии, "геология" культуры, "геология" человечества, а также современная реальность, современный город — и все это представлено как *исчерпавшее себя движение*.

Что нам Тирренское взморье,
что нам долина олив —
Средиземноморье,
исчерпанный мотив.
Влага из горла кратера
вылита навсегда,
пусты под небом Гомера
белые города.

И все же, и все же
Перевод Сергея Аверинцева

Или из другого стихотворения:

Но вдруг светает, и порою
на море колорит — коралл,
боясь рассвет назвать дырою,
ты сонно пялишься в провал:

и там, в тумане, переправа,
стигийский мрак, и спать опять,
слеза, таласса, Боже правый, —
движение колосса вспять.

Регресс
Перевод Алексея Прокопьева

Позднее, после Второй мировой войны, Бенн возвратится к мотиву статики и заявит напрямую:

Равнодушие к изменчивости мира —
глубина мудреца.
Заботы детей и внуков
не проникают в него.
Следовать направлениям,
действовать,
прибывать, отбывать —
всё это для тех,
кому не дано ясного зрения.

Стихи о статике

Далее в стихотворении Бенн употребляет слово "перспективизм". Не знающего данного понятия оно может озадачить. "Перспективизм" — это такой взгляд на действительность, когда перспектива зависит от позиции или качеств смотрящего на объект и стремящегося познать его.

Перспективизм —
другое название статики:
набрасывать линии,
продолжать их
по закону ползучих растений —
струить ростки и побеги,
стаи ворон запускать
в пурпурные зори зимнего раннего неба,
а затем низвергать их...

Стихи о статике

Потерявший религию, вопрошающий небо новый Фауст, изучавший биологию, историю и естественные науки, уличивший прогрессистов в обмане человечества, Бенн не желал примкнуть к адептам прогресса. Но он не стоял по ту сторону своей религии, своей культуры. Его стихи — скорее жалоба на невозможность "да" в его устах. Он хотел найти способ сказать это "да", он искал эту возможность, искал точки опоры. Ею стало для него моление об искусстве слова: быть предельно честным перед ним и перед самим собой, а "надеяться — значит

иметь ложные представления о жизни". Бенн вслед за Ницше ощущал, что у современного ему мира нет идеи будущего, и остается только — быть стоиком безнадежности.

Бенн, видимо, где-то в глубинах души все же надеялся. Иначе как понять то, что однажды он обольстился "грандиозным всенародным движением", за которое вдруг принял национал-социализм, когда ему показалось, что немецкий народ нашел в себе силы противостоять гибели, что он ищет свой путь. В конце 1932 года вышла книга "После нигилизма", собравшая важнейшие эссе писателя. В ней даются точные определения новому времени, не потерявшие актуальности и по сей день, в ней он блестяще полемизирует со своим собственным дуализмом. После выхода этой книги его коллега по Прусской академии искусства Альфред Дёблин в письме к Бенну в декабре 1932 года выразил надежду, что период нигилизма Бенном будет уже в следующем 1933 году преодолен...

И вот литературный мир Германии с ужасом констатирует, что Бенн пишет статьи и речи в поддержку нового государства. Задумываясь в связи с этим о дуализме Бенна, спрашиваешь себя, не возникли ли его иллюзии в отношении Третьего рейха из представления, что новые власти создадут из хаоса современной жизни новое государственное *формообразование*, как это удалось в древности, по мнению Бенна, например, дорийцам, или же это его заблуждение было следствием надежды, что "тени эпохи высветятся" и "произойдет спонтанное преображение безнадежной жизни". "Есть мгновения, — писал Бенн в эти месяцы, — когда вся вымученная жизнь исчезает и ничего не остается кроме равнины, простора, времен года, земли, простых слов: народ". Глубже всех проник в этот кризисный момент жизни Бенна Теодор Хойс, будущий первый президент ФРГ. В 1934 году, когда еще многие издания могли позволить себе относительно независимое мнение, прочитав в прессе интервью с Готфридом Бенном, Хойс в издаваемом им журнале "Хильфе" подметил противоречие в позиции Бенна, которое вскоре и привело к концу его альянса с национал-социалистами: "Это монолог одинокого и потрясенного человека, который пленен властью, хочет ей принадлежать, ощущает в ней возможность осуществления чего-то важного и вместе с тем защищает свою интеллектуальную независимость..."

Нацисты знать ничего не хотели о Бенне, они не могли воспринять и доли того, что он говорил даже в своих статьях в поддержку нового государства. Школа экспрессионизма, учеником которой он остался до конца, была для нацистов школой дегенератов. Нацистские идеологи были не настолько слепы, чтобы не понять вскоре, что использовать Бенна для своих целей они не смогут. Из "Имперской палаты словесности" его исключили, печатать перестали, а после того, как в 1936 году многие газеты в столице и провинции, несмотря ни на что, уважительными статьями отметили 50-летие поэта, власти решились на радикальные меры. Бенну запретили печататься. Последним его сборником стали "Избранные стихотворения" 1936 года (в 1943-м он издал 22 стихотворения полуанонимно, на титуле стояли инициалы G. B.). Бенн лишается возможности не только печататься, но и вести частную практику, ему не остается ничего другого, как вернуться в армию (он выбрал, как он говорил, аристократическую форму эмиграции) и стать военном врачом. До конца войны он служит в тыловых частях вначале в Ганновере, а затем в Берлине. С этого времени, не идя ни на какие компромиссы, Бенн отказывается от любого рода литературной деятельности, пишет "в стол", сознавая, что при его жизни эти произведения, скорее всего, не увидят свет. Ведь в тридцатые годы даже многие противники нацистов считали, что гитлеровский режим может продлиться очень долго.

Неправильным было бы назвать этот период процессом отрезвления, как пишут некоторые биографы. Заблуждения поэта — это не опьянение. Бенн уже к началу 1934 года понял, что совершил ошибку. Но он не желал, чтобы осознание ошибки воспринималось как раскаяние. В письме к Тилли Ведекинд, своей бывшей возлюбленной, он писал в 1946 году: "Я ни о чем не могу сожалеть и уж тем более раскаиваться в том, что я публиковал, это было всегда искренним и исходило из моего существа... В такие времена, как наши, нет *общих* решений духовных проблем. Можно решать только за себя самого и брать последствия на самого себя. И я охотно это делаю. Я в полном согласии с самим собой и не нуждаюсь больше ни от кого в подтверждении этого чувства". Он до конца своих дней считал, что поступил правильно, оставшись в Германии, из которой до начала войны мог еще эмигрировать. В письме своему другу Ёльце он писал 23 марта 1945 года из уже полностью разрушенного Берлина: "Оглядываясь назад, я и сейчас считаю свое решение остаться в Германии правильным. Гибель народа... это серьезная вещь, от которой не уйдешь, сочиняя в Майами литературные арабески или пребывая в состоянии ненависти; последнюю, может быть, можно и оправдать — но здесь речь идет о корневых и субстанциальных вопросах, tau res agitur[1]".Чашу горя Бенн испил до конца. В 1945 году в страхе перед русскими солдатами в глухой бранденбургской деревушке кончает с собой его жена Герта (фон Ведемейер).

Период внутренней эмиграции был в творчестве Бенна чрезвычайно плодотворным — не по количеству написанного, Бенн никогда не писал помногу, — а по интенсивности разработки неизбывных "бенновских" тем. С 1934 года поэт становится в своих стихах все более задумчивым. Возвращается к теме десакрализации жизни последних веков, утраты людьми религиозного измерения. Человеческое бытие катастрофически оскудевает, живой организм заменяется техникой, энергию жизни призваны поддерживать искусственные аппараты. Готфрид Бенн называл это современное состояние мира "провоцированной жизнью" — das provozierte Leben.

После войны запрет печататься (наложенный теперь оккупационными властями) какое-то время продолжается, но уже к концу 40-х годов вышедшие одна за другой книги Бенна утверждают его репутацию крупнейшего немецкого поэта. Ему присуждается премия имени Бюхнера, высшая литературная премия ФРГ.

Бертольт Брехт назвал однажды Бенна "наркоманом смерти". "О нет, — возражает Брехту переводчица Бенна поэт Ольга Татаринова, — это не упоение смертью, это приглашение к совершенно новому духовному, творческому напряжению человеческого существования".

Кто ограничивает колею,
стремясь свою не ранить быстротечность,
тот предает себя небытию,
того, кто углублен, вбирает вечность.

Кто жил в мечтах своих былым
Перевод О. Татариновой

Берусь утверждать, что стихи и проза Бенна пронизаны истинной любвью к жизни. Его мрачные меланхолические мысли о мировых эпохах не столь уж

1. Часть латинского выражения, означающего: когда горит стена соседа, ты сам в опасности.

мрачны, их освещает вера в неисчерпаемые возможности языка, в силу слова, в его дух, и хотя это слово и не ведет человека к прогрессу, но оно сопровождает его по его таинственному пути через все столетья. В произведениях Бенна соединились воспитанная научными штудиями логика мысли с магической способностью выразить иррациональное, отбросить все случайное, повествовательное, не описывать существенное, а искать слово, передающее это существенное.

Зрелый и поздний Бенн — это попытка обрести опору во вселенной, где есть только "Die Leere und das gezeichnete Ich" — в дословном переводе: "Пустота и отмеченное (или: меченное) Я". Эту последнюю строчку одного из стихотворений Бенна переводчики переводят по разному: "Пустота и обреченное Я" (И. Болычев), "Пустота и тобой обретенное Я" (А. Гугнин), "Только Ничто существует и запечатлённое Я" (О. Татаринова). Как мы видим, одна только эта строка поэта могла бы стать темой серьезной онтологической дискуссии.

С каждым годом творчество Готфрида Бенна (как на родине, так и за ее пределами) вызывает все больший интерес литературоведов, историков литературы, поэтов и писателей. Анкета берлинского журнала "Литературен" недавно засвидетельствовала, что большинство немецких писателей нового поколения именно Готфрида Бенна — наряду с Рильке и Валери — считают важнейшим европейским поэтом прошлого столетия.

Переводы, представленные в данной подборке, конечно, лишь частично иллюстрируют сказанное в статье. Многие очень важные стихи Бенна мне как переводчику пока не дались. Чтобы составить себе более полное представление о творчестве Г. Бенна-поэта, читатель может обратиться к переводам И. Болычева, Е. Витковского, А. Карельского, В. Микушевича, А. Прокопьева, Г. Ратгауза, О. Татариновой в различных антологиях немецкой и европейской поэзии. "Русский Бенн" будет еще долго создаваться русскими переводчиками, как годами создавался "русский Рильке". Наибольшая удача на этом поприще ждет того, кто прочтет Бенна на уровне его самосознания, проникнет в глубину его прозрений.

Аугсбург

Стихи 1912–1920 гг.

Маленькая астра

Утонувшего возчика пива
водрузили на стол.
Меж зубов ему втиснуть
лиловую астру
кто-то нужным нашел.
Когда через грудь
я длинным ножом вырезáл
язык и мягкое нёбо,

я задеть ее, видимо, мог
и она соскользнула в мозг,
расположенный по соседству.
Когда его зашивали,
я бросил ее прямо в грудь ему,
в кучу опилок и прочей швали.
Вволю напейся из этой вазы!
Спи сладко,
малышка астра!

Аляска

Европа — сопля
из носа юнца, —
нам подавай Аляску!

Сын моря, дитя тайги,
тюленей жрущий,
медведя бьющий,
походя баб дерущий,
чревом зрящий, —
муж настоящий.

Матери

Ношу тебя как рану на челе
открытую... знать о себе подчас
она дает, но из нее в тоске
уж сердцу не истечь...
И лишь порой
я вдруг средь бела дня стою слепой,
вкус крови ощутив на языке.

У поля ржи

Стоя у поля ржи, он говорил:
постоянство и сказочный цвет васильков —
прелестный мотив для малюющих дам.
Мне по душе глубокий альт мака.
Думаешь о кровавом поносе и месячных,
о нищете, голоде, смерти —
короче: о потемках мужской судьбы.

Шопен

Был не очень речист,
не силён в теориях —
все ведь они вокруг да около;
когда Делакруа разглагольствовал,
он нервничал, сам бы он вряд ли сумел
"объяснить" ноктюрны.

Никудышный любовник
в тенистом Ноане,
где дети Жорж Санд
не желали слушать
его наставлений.

Болел чахоткой
в хорошо известной
затяжной форме
с кровотечениями и рубцами в лёгких;
смерть тихая —
сравнительно со смертью,
сопровождаемой
параксизмами боли
или от залпов винтовок;
к дверям пододвинули рояль (эраровский),
и в последний час
Дельфина Потоцкая
спела ему про фиалку.

С собою в Англию он брал три рояля:
Плейель, Эрар, Бродвуд,
играл вечерами по четверть часа
за двадцать гиней
у Ротшильдов, у Веллингтонов, в Страффорд-Хаусе
и для бесчисленных "Подвязок";
с душой, помраченной усталостью
и приближением смерти,
возвратился к себе
на сквер д'Орлеан.

Сжигает
рукописи и наброски —
только не оставлять
никаких фрагментов, заметок,
этих предательских улик;
под конец он сказал:
"Мои опусы завершены в той мере,
в какой мне дано было их завершить".

Каждый палец должен играть
сообразно своей природе,
самый слабый — четвертый,
(средний связан с ним по-сиамски).
Начиная учить игре, он говорил:
"Позицию руки находят,
ставя пальцы на клавиши
ми, фа-диез, соль-диез, си, до"[1].

Тот, кто слышал хоть раз
звуки его прелюдий —
будь то в загородном доме,
иль высоко в горах,
иль из дверей на террасу,
например, какого-нибудь санатория, —
едва ли забудет это.

Не написал ни одной оперы,
ни одной симфонии,
только эти трагические прозрения,
запечатленные маленькой рукой
уверенного художника.

Стихи 1949–1956 гг.

Фрагменты

Фрагменты,
выбросы души,
струйки крови двадцатого века,
рубцы — от нарушений кровообращения
у ранней зари творения,
осколки прошлых религий, раздробленных пятью веками,
наука: трещины в здании Парфенона,
Планк с его теорией квантов,
вновь всё замутивший,
вслед за Кеплером и Кьеркегором,

1. В данном случае у Бенна ошибка, Шопен советовал своим ученикам в начале игры ставить пальцы на клавиши ми, фа-диез, соль-диез, ля-диез, си — самое *естественное* их расположение (Я. Мильштейн "Советы Шопена пианистам". — М., 1967, с. 78.). В этом методическом пассаже угадывается *сопричастность* шопеновского творчества; этот же мотив *сопричастности* и у Б. Пастернака: "Опять Шопен не ищет выгод..." (*Здесь и далее – прим. перев.*)

но все же случались порой вечера,
завершавшиеся в тонах Отца Всего Сущего, –
легкие, разлитые до горизонта,
незыблемо безмолвные
посреди струящейся голубизны,
любимого цвета интровертов,
когда, собравшись, сидели,
уперев ладони в колени,
по-крестьянски просто,
предаваясь тихому пьянству
под гармошку слуги, –

и еще вечера другие,
издерганные душевным хаосом,
инсультами формальных исканий,
погонями за любовью,
кризисами творчества и припадками эротизма, –
это все человек наших дней,
чье нутро – вакуум,
постоянство личности сохраняется
посредством ладно сидящих костюмов,
которые при условии высокого качества ткани
носятся десять лет.

Остальное – фрагменты,
полугласные,
зачатки мелодий из домов напротив,
негритянские спиричуэлс
или аве марии.

Вспомни о тех, чья жизнь была тщетной

Когда вдруг отчаянье –
о ты, знавший в жизни минуты взлетов,
шедший уверенным шагом,
ты, способный одарить себя многим:
опьяненьем восторга, рассветом, внезапным порывом, –
когда вдруг отчаянье,
даже если оно
длань свою к тебе простирает
из непостижимой бездны,
суля погибель и тленье, –

подумай о тех, чья жизнь была тщетной,
о тех, оставшихся в воспоминаниях
нежной жилкою на виске,
взором, внутрь себя обращенным,
о тех, кто оставил нам мало надежды,
но кто, как и ты, говорил о цветах

и с невыразительною улыбкой
тайны души обращал
к своему невысокому небу,
что должно было вскоре погаснуть.

Конструкция фразы

У всех есть небо, любовь и могила,
не будем об этом,
в нашем культурном кругу
о сем говорено много.
Но что актуально, так это вопрос о конструкции фразы,
и он неотложен:
что нас побуждает чему-то искать выраженье?

Почему мы рифмуем или рисуем девушку,
с натуры или ее зеркальное отражение,
на лист простейшей бумаги
наносим бесчисленные растения,
кроны деревьев, ограды,
последние в виде жирных гусениц с черепашьими головами,
неимоверно низкие,
одна за другой ползущие
в определенном порядке?
Непостижимо: на это еще никто не ответил!
Нет, то не виды на гонорар –
от голода многие дохли за этим занятьем.
То некий моторчик в руке,
извне управляемый,
особый отдел мозга,
может быть, запоздалое исцеление
или связь с тотемом,
приапизм формы за счет содержания,
это пройдет,
а пока вопрос о конструкции фразы –
первичен.
"Те немногие, которые кое-что знали об этом" (Гёте) –
о чём об этом?
Полагаю: о конструкции фразы.

Натюрморт

Когда все облетает:
настроения, мысли, дуэты,
и мир лежит пред тобой

освежеванной тушей
(шкуры потоком унесены)
без шелухи, без кожи, без золоченой обертки
и кровавой клетчаткой
таращится в пустоту, —
что значит это?

Вопрос вопросов! Но ни один из думающих
не задаст его больше...
реминисценции ренессанса,
перенасыщенности барокко,
музеи-усадьбы...

глубже копать не стоит,
вод грунтовых не видно,
колодцы темны,
стили истощены...

в облике времени появилось
натюрмортное что-то,
дышат часы,
воспаряя над кружкою пива,
поздно, еще пара ударов,
легкий клинч и захват,
и вот уже гонг — я дарю этот мир
на радость всем, кто доволен им:
игрокам не нужно серьёзничать,

пьяницам удаляться в пустыню Гоби,
и эта дама с моноклем тоже
предъявляет права на счастье:
дайте же ей его...

Безмолвно озеро
в окружении незабудок,
а гадюки хохочут.

К***

У порога ждал, но той границы
Так и не сумел перешагнуть.
Чтоб в моем жилище поселиться,
нужно в нем родиться. В этом суть.

Жаждущему путнику без слова
Здесь дадут спасительный глоток.
Но всего один, и вот уж снова
Старый на двери висит замок.

Встречались люди

Мне встречались люди, которые,
называя свою фамилию,
произносили ее так робко,
точно им и в голову не могло прийти
представиться как-нибудь по-иному –
"фройляйн Кристиан", а затем
добавляли: "Как имя Кристиан",
этим, должно быть, желая облегчить твое положение:
не трудная, мол, фамилия, не "Папиоль" или "Бабендэрэрдэ".
"Как имя" – не утруждайте, пожалуйста, память!
Мне встречались люди, которые
вырастали в одной комнате с родителями,
братьями, сестрами,
занимались на кухне,
заткнув уши пальцами,
выходили в люди,
становились красивыми,
настоящими леди с осанкой графинь,
душевно мягкими и работящими, как Навсикая,
с лицами светлыми, как у ангелов.
Я часто спрашивал себя и не находил ответа:
где истоки той мягкости, той доброты?
Не знаю этого до сих пор,
и вот уж пора прощаться...

Они ведь тоже люди

Они тоже люди, говорю я себе,
видя, как кельнер подходит к столу –
к тому, что в углу за ширмой,
где, должно быть, сидят завсегдатаи
или кто-нибудь в этом роде,
тоже, наверно, способные
тонко чувствовать, наслаждаться,
радоваться и страдать.
Не одного же тебя
одолевают тревоги, сомненья,
и у них – свои страхи,
пусть по поводу заключения сделок,
общечеловеческое проявляется
даже здесь!
Беспредельна горечь сердец,
всеохватна,
но случалось ли им любить
(не в постели),

сгорая, точно в пустыне, от жажды
по персиковому нёбному соку
недостижимого рта,
гибнуть в бездонной
несовместимости душ —
этого я не знаю,
можно, впрочем, спросить у кельнера,
пробивающего у кассы пивные чеки,
уповающего на выручку,
чтоб утолить свою,
иную,
но тоже глубинную жажду.

Эпилог 1949

IV

С печалью вспоминаю сад порой
за Одером среди равнин смиренных,
овраг, мостки и вот уж пред тобой
зашелестеть готовый куст сирени.

И мальчика, чья жизнь оборвалась
на озере, — еще наш мир теченьем
реки не устрашен был, что звалась
вначале Счастьем, а потом Забвеньем.

И краткий тот — все содержавший — стих,
ибо слова в нем безнадежны были.
И в этой книге поместил я их:
"Tu sais" — "Ты знаешь"... — надпись на могиле.

V

О том, о многом, что в себе хоронишь,
сквозь дни свои неся в себе одном, —
ты никогда ни слова не проро́нишь,
не скажешь ни глазами, ни письмом.

Всё бывшее души твоей уделом —
добро и зло, и муку, и любовь —
откроешь ты, достигнув тех пределов,
где, погибая, воскресаешь вновь.

Не *надо печали*

На этой маленькой, почти детской кровати
скончалась Дросте (в Мерсбурге та кровать
теперь эскпонат музея),
на этом диване в доме у столяра — Гёльдерлин,
на санаторных койках где-то в Швейцарии — Рильке, Георге,
на белых подушках в Веймаре
угасли
большие черные очи Ницше,
всё это теперь лишь хлам
или вовсе не существует,
призраком стало,
утратило сущность
в безболезненно-вечном распаде.

Мы носим в себе зародыши всех богов,
ген смерти и ген желанья —
кто разлучил их: слова и вещи,
кто свел их вместе: страданья и это ложе,
на котором страданьям конец приходит,
слёз потоки и эти доски,
кратковременный жалкий приют.
Не надо печали —
так далеки,
недостижимы и те слезы, и та кровать,
нет ответа: ни *да*, ни *нет*,
рожденье, телесные муки, вера,
всплеск волнения без имени, без названья,
дуновение, краткое, неземное,
коснувшись постели, потревожило сон
и вызвало слёзы —
усни!

6.1.1956

Хорхе Вольпи

В *поисках Клингзора*[1]

Роман

Перевод с испанского Николая Жарова

Причины ссоры

Берлин, май 1937 года

Стояла жаркая погода. Как-то воскресным вечером я и Марианна отправились на прогулку к озеру Ванзее. Мы шли вдоль берега, безмолвно созерцая колыхавшееся на волнах зеленое отражение деревьев.

– Я решила, Густав!

– Что еще?

– Ты прекрасно знаешь сам.

– Я тебе запретил!

– Она моя подруга, не твоя.

– Она жена моего врага, а значит, и твоего!

Молча прошли еще некоторое время.

– Я хочу домой.

– Да уж, лучше вернуться, – отрезал я.

Мы направились к Бисмаркштрассе, чтобы возвратиться в Берлин. Между нами воцарилось гнетущее молчание, словно нас поместили под тяжелые своды мавзолея. По пути задержались у могилы писателя Генриха фон Клейста. Созвучие с именем Гени казалось зловещим; в 1811 году, после нескольких попыток самоубийства, воспев смерть в своих пьесах и рассказах, Клейст лишил себя жизни вместе с возлюбленной, страдающей от смертельного недуга.

– Поскольку ты не разрешаешь мне навещать Наталию, я пригласила ее к нам на чай.

У меня вдруг пропало всякое желание возражать. Непрерывное противостояние Марианне требовало сил, которых мне явно недоставало.

– Делай что хочешь!

– Уже сделала, – все еще запальчиво сказала она, застигнутая врасплох моей уступчивостью.

Сколько же времени прошло с тех пор, как я в последний раз видел Наталию и Гени? Около трех лет. Перспектива увидеть ее у меня дома, сидящей за чаем с моей женой, вдруг показалась мне не такой уж неприятной.

1. Окончание. Начало в "ИЛ", 2005, № 7.

— Мы договорились на завтра, на пять часов. Говорю тебе на случай, если ты решишь не присутствовать.

— Это и мой дом тоже, ведь так? Когда хочу, тогда и присутствую, имею право!

— Просто она почему-то тебя раздражает.

— Меня раздражает то, что она заступается за нациста, Марианна! Ты что, не понимаешь? Она предала нас всех!

— Еще неизвестно, кто кого предал, Густав.

— На что ты намекаешь?

— Бывает так, что некоторые ругают нацистов, а сами ничуть не лучше.

— Что ты несешь?

— А то, что, поступая так с друзьями, ты становишься хуже нациста!

— Никто не может быть хуже нациста, Марианна!

— Еще как может, Густав! Уверяю тебя!

Иоганнес Штарк, или О подлости

Гёттинген, январь 1947 года

Как и в прошлый раз, лейтенант Бэкон начал читать громким голосом:

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 650-F
ШТАРК, ИОГАННЕС
ALSOS
110744

Его называют типичным ученым-нацистом. Один из главных вдохновителей Deutsche Physik, созданной в противодействие "вырожденческой науке" Эйнштейна и других физиков-евреев.

В 1919 году удостоен Нобелевской премии за открытие так называемого "эффекта Штарка" (расщепление спектральных линий в электрическом поле).

Другой выдающийся немецкий физик, обладатель Нобелевской премии Филипп Ленард[1], профессор Гейдельбергского университета, тоже выступил зачинщиком кампании против "засилья еврейской науки". В 1922 году Ленард опубликовал манифест, в котором обвинил немецких ученых в предательстве расового наследия и призвал их активнее развивать "арийскую физику".

— В 1920 году в зале Берлинской филармонии состоялся конгресс группы немецких ученых, ратующих за сохранение чистой науки, — прервал чтение Бэкон. — "Компания 'Антиотносительность'", так прозвал ее Эйнштейн.

— Никакой "группы" на самом деле не было. Ее просто выдумал для собственной рекламы Пауль Вайланд, злейший враг Эйнштейна, — заметил я. — Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы втянуть в

1. Филипп фон Ленард (1862–1947) — немецкий физик-теоретик, профессор Гейдельбергского университета, лауреат Нобелевской премии (1905).

политическую возню многих ученых-физиков, ранее остававшихся на нейтральных позициях.

– Они ненавидели Эйнштейна только за то, что он еврей, или вдобавок из-за теории относительности? – спросил Бэкон.

– Трудно сказать, лейтенант, – ответил я. – Думаю, что поначалу иудейство не имело большого значения. Опасность для них представляли его политические взгляды. Он не только революционизировал научную жизнь, но также упорно выступал в поддержку республиканского режима. Ненависть к Эйнштейну росла в той же прогрессии, что и его мировая слава. Тогда мы все были убеждены, что нельзя смешивать политику с наукой.

– Как это делал Эйнштейн...

– Его противники пытались доказать ошибочность теории относительности, используя рациональные аргументы. Они изо всех сил старались, чтобы их "разоблачения" в прессе выглядели убедительными, а не смехотворными... Сначала в публикациях не было и намека на антисемитизм. Но не забывайте, что менталитет немецких ученых очень прямолинеен. Защитники Эйнштейна стали указывать на то, что нападки на него обусловлены еврейским происхождением физика. Именно они первыми сказали это и тем самым способствовали превращению научной дискуссии в расовую междоусобицу.

– Теперь мне все понятно. *Вы* сами политизировали науку, *вы* прибегаете к не вполне научным суждениям, *вы* апеллируете к общественности! Эйнштейн должен был казаться вам настоящим чудовищем.

– Он нарушал все правила поведения, на которых воспитаны поколения немецких физиков. Даже Планк иногда возмущался. Привык думать по-своему, ну и думай себе, так нет, ему надо, чтобы все знали... Но ведь ты же не депутат рейхстага, в конце концов!

– В Принстоне у меня сложилось впечатление, что к политике он относится с отвращением...

– Может, в Америке так и было, но не здесь... В Германии он всегда живо интересовался политикой и без обиняков высказывал свое мнение журналистам.

– Еще бы! Повсюду портреты, интервью в прессе, в "Нью-Йорк таймс", на первых страницах! Всеобщее помешательство из-за теории относительности... – Бэкон усмехнулся нахлынувшим вдруг воспоминаниям.

– Германию сотрясали тогда беспорядки – революции, убийства, грабежи. Всем нам хотелось хоть немного покоя и стабильности, в то время как Эйнштейн, казалось, призывал к раздору и хаосу.

– Что ж, вернемся к Штарку, – сказал Бэкон и возобновил чтение:

На деньги Нобелевской премии Штарк открыл несколько предприятий. Он пытался пробить себе назначение на должность директора Имперского физико-технического института, однако защитники теории относительности отвергли его кандидатуру. А тут еще Эйнштейн получает Нобелевскую премию в 1921 году и приобретает мировую славу.

В тот же год Штарк издает книгу под названием "Современный кризис немецкой физики", в которой разоблачает догматизм и чрезмерный формализм теории относительности и квантовой физики. По его словам, учение Эйнштейна – не более чем математическое умозаключение без всякого реального

содержания. Особенно Штарк критиковал методы популяризации теории относительности, утверждая, что совершенная Эйнштейном пресловутая "революция" в физике, столь восторженно провозглашаемая в ненаучных средствах массовой информации и на заграничных конференциях, есть не что иное, как акт политической пропаганды.

После этого стал меняться характер борьбы вокруг теории относительности. Если раньше ее противники старались придерживаться строго научной аргументации (тогда как сторонники говорили больше на политические темы), то теперь возобладали антисемитские высказывания и личные нападки на Эйнштейна. В 1922 году Ленард и Штарк, между которыми к тому времени установились добросердечные отношения, объединились для защиты так называемой Deutsche Physik, чтобы избавиться от "еврейских аспектов" в немецкой науке, то есть от догматизма и от абстрактно-математической ограниченности, а также способствовать укреплению "арийской" науки, которая вместо метафизического словоблудия целеустремленно добивается практических результатов.

С 1923 года и Ленард, и Штарк начали сближаться с Гитлером. Хотя Штарк формально стал членом нацистской партии в 1930 году, в действительности работал на нее с 1924 года, а с вступлением Гитлера в должность рейхсканцлера получил возможность открыто вмешиваться в политику Германии в области науки.

— Озлобленность... — сказал я Бэкону. — Только подумайте, как чувство злобы может превратить нормального человека, уважаемого ученого, лауреата Нобелевской премии в пособника преступников! Озлобленность и зависть! Неужели и в самом деле вопрос об ошибочности или верности теории относительности имел такое большое значение? Сомневаюсь! Просто столкнулись две воюющие стороны, и, как на любой войне, обе были готовы сделать даже невозможное, пойти на кровь, угрозы, предательство для победы над противником... Штарк и Ленард не остановились бы ни перед чем, чтобы отомстить Эйнштейну.

— Вы хотите сказать, что истина и наука как бы отступили на второй план?

— Я говорю о том, что в обстановке нестабильности истина теряет свое значение. Достаточно было бы научными методами удостовериться, что Эйнштейн прав, а остальные ошибаются, или наоборот. Но в этом и заключалась проблема. Наука перестала быть ясной и непогрешимой. Те верили в одно, остальные — в другое, и точка. Все было *политизировано*, лейтенант! Физикой там почти и не пахло.

— Значит, если бы Гитлер одержал верх в войне, мы бы сейчас жили без теории относительности...

— Или ее открыл бы совсем другой человек, из нацистского окружения... Идея только тогда имеет право на существование, когда она способна подтвердить свою жизнеспособность. Если в нее поверят все, *экспериментальные доказательства* не заставят себя долго ждать. Наверное, поэтому Эйнштейн так не доверял квантовой теории: если какое-то измерение не отражает всех параметров, считай, оно наполовину ошибочное. А значит, последствия непредсказуемы... — добавил я серьезным тоном, чтобы подчеркнуть драматизм проблемы. — Только Эйнштейн обладал достаточным предвидением и пониманием того, что создал предпосылки для собственного поражения. Он ненавидел

понятие вероятности, поскольку в этом и впрямь относительном (не читай — релятивистском) мире власти предержащие сумели бы доказать *его* неправоту... Наподобие древних циников и любителей парадоксов, Эйнштейн рассуждал так: если все относительно, то и сама относительность тоже...

Фрэнк еще ощущал на губах сладость влажного поцелуя Ирены. Прощаясь, она приблизила к нему лицо, оставляя за ним право сделать первый главный шаг. Но Фрэнк лишь прикоснулся губами к ее губам, этого было достаточно, чтобы он ощутил силу своей привязанности к этой женщине.

С того дня его жизнь потекла словно по заранее установленному распорядку с поистине математической точностью. Утром являлся на службу, изучал архивы и документы, заполнял картотеку, составлял служебные записки, периодически отчитывался перед начальством, иногда бродил среди типографского оборудования, остатки которого все еще находились в здании, как скелеты доисторических животных. Потом уходил на обед, всегда в одиночестве, и возвращался в свой кабинет около трех часов дня. В четыре появлялся я, в пять мы пили чай, и все это время до семи вечера обменивались информацией и обсуждали наше дело о Клингзоре. Затем прощались, и Бэкон торопился на встречу с Иреной, чтобы успеть провести с ней хотя бы пару часов.

Дома она по сложившейся традиции угощала его чаем; иногда они шли куда-нибудь выпить вина, но всегда возвращались в ее маленькую гостиную, располагались на диванчике и долго разговаривали.

— Расскажи мне о себе, — попросила она его однажды.

— Боюсь, это не слишком интересно.

— От чего ты прячешься? — настаивала Ирена.

— Наоборот, я ищу. Провожу расследование. До войны я занимался поисками решений научных проблем, а теперь разыскиваю людей, но суть задачи та же, — нехотя признался он.

— Похоже, твоя новая работа не очень-то тебе нравится.

— Но и не жалуюсь.

— Тебе хотелось бы вернуться в лабораторию?

— Я никогда не работал в лаборатории, — засмеялся Бэкон. — Все привыкли представлять себе ученых, занятых переливанием непонятных растворов из колбы в реторту, как средневековые химики. Нет, там, где работал я до армии, были только доска и мел. Вот и все наши приборы.

— Что же ты ими создавал?

— Идеи, — не без гордости ответил Фрэнк. — Пытался, по крайней мере. Налей мне, пожалуйста, еще чаю.

— Да, такую работу трудно себе представить. То есть целый день только и делал, что думал, бог мой! Так и голова распухнет... Нет, я бы не смогла!

— И я не смог. Кстати, ты права. У некоторых голова в самом деле пухнет. Именно поэтому многие ученые рассеянны, замкнуты, одиноки...

— Ходить на работу, где надо все время думать, — задумчиво повторила Ирена. — Для меня это звучит как изощренная пытка.

— Да, пытка.

— И о чем же ты думал?

— Об атомных частицах — электронах, нейтронах, протонах...

— У тебя не оставалось времени подумать о себе...

— Как это?

— Ты что, только с атомами развлекался? Ты же живой человек!

— Для меня в жизни существовала только физика, вот я и крутился вокруг нее, как электрон. Правда, орбита все время менялась под влиянием притягивающей и отталкивающей энергии женщин, — рассмеялся Фрэнк, — моей матери, моей невесты и моей любовницы. Ты удивлена?

— Вот уж не думала, что ты женоненавистник!

— Нет, я просто описываю природное явление. Женщины похожи на звезды: сияют и ослепляют своим блеском мужчин, влюбляют в себя и притягивают с силой, даже превышающей гравитацию. Мужчины, наоборот, как маленькие астероиды: вращаются вокруг звезд, заигрывают с ними и идут у них на поводу. Но, как известно, не будь звездное гравитационное поле таким мощным, астероиды тут же разбежались бы во все стороны. И знаешь для чего? Только чтобы оказаться втянутыми в орбиту других звезд!

— Бедные мужчины!

Бэкон вдруг почувствовал возбуждение от мысли, что она сильнее его. Он наклонился, чтобы поцеловать ее. Ирена приняла его в свои объятия, по-матерински погладила по головке, два раза поцеловала, как Иоганна, в лоб. Наконец, она позволила ему припасть губами к своей груди...

— А у меня хорошие новости, — сказал я Бэкону, гордый проделанной работой.

Он промолчал, думая о чем-то своем.

— Вы когда-нибудь любили, Густав?

Ну вот, приехали! При чем тут это, и вообще, ему-то какое дело?

— Наверно, все люди когда-нибудь любили, — ответил я, не углубляясь в тему.

— Любовь, Густав... Нам с детства внушают, что это самое главное чувство на свете. Начиная с Нового Завета, с нами Бог, который нас любит. *Возлюби ближнего своего.* А любовные романы и поэмы, радиосериалы и кинофильмы? Куда ни бросишь взгляд — повсюду кто-то кого-то любит. Разве этот феномен не удивителен? Обоюдное влечение двух существ стало фундаментальной движущей силой нашей культуры.

— Глупости! — отрезал я. — Вы сами сказали: нас приучают так думать, хотя в глубине души мы знаем — это ложь. Любовь — обман и самообман. В конце концов мы неизбежно приходим к пониманию этого факта.

— Вы основываетесь на собственном опыте?

— Через это все проходят, лейтенант. Влюбляются, но рано или поздно отдают себе отчет, что вляпались. Только, к сожалению, слишком поздно, как правило.

— А ведь было время, когда я думал точно так же. Для меня этот период совпал с началом войны.

— А теперь так не думаете?

— Не знаю... Иногда хочется верить, что любовь спасет мир. Но ведь это чувство совершенно иррациональное, обманчивое и существует постольку, поскольку мы упрямо хотим в него верить.

— Как религия.

— Как религия. Или наука.

— Вы любите, лейтенант?

— Я еще не получил ответа на свой вопрос.

— Хорошо, что вас интересует?

— Как ее звали?

— Кого?

— Женщину вашей любви. Или, может быть, женщин...

— Мою жену звали Марианна, — сказал я.

— И вы были влюблены в нее?

— Я любил ее.

— Я спрашиваю не об этом...

— Она была моей женой.

— Но ведь был кто-то еще...

— Нет, больше никого не было.

— Вы чувствуете себя неловко, Густав, только не понимаю, по какой причине. Где теперь Марианна?

— Умерла в конце войны.

— Простите... — смутился Бэкон. — Я не хотел...

— Не переживайте, все давно забылось... А теперь ваша очередь, лейтенант: вы влюблены?

— Еще не знаю.

— Как ее зовут?

— Ирена! — счастливо выдохнул он.

— О, будьте осторожны! — сказал я. — Немка?

— Из Дрездена.

— Еще хуже! Честно говоря, от вас я не ожидал такого легкомыслия! Любовь — только приманка, которую они нам подсовывают, чтобы поймать на свой крючок.

— Знаю, знаю, — засмеялся Бэкон. — Не будь риска, не стоило бы и заниматься этим. Во всякой игре свои подвохи.

— Фрэнк, можно спросить, как вы с ней познакомились?

— Мы живем по соседству.

— По соседству... — повторил я. — Значит, вы только недавно узнали ее и уже задаете вопросы о любви?

— Оставим это... Лучше поделитесь своими хорошими новостями, Густав, я сгораю от любопытства!

— Макс фон Лауэ согласился принять нас сегодня же и рассказать о Штарке.

Несколькими часами позже мы уже сидели перед старым ученым.

Макс фон Лауэ был высокий, педантичный старик, весь как будто высеченный из гранита. Суровые черты лица, взгляд холодный и тяжелый. В 1914 году, как раз накануне войны, его наградили Нобелевской премией. Фон Лауэ дружил с Планком и поддерживал близкие отношения с Эйнштейном. Хотя он не состоял в штате научного коллектива, занимавшегося немецким атомным проектом, все же оказался в числе арестованных миссией Alsos и вместе с остальными переправлен (по причинам, до сих пор для него непонятным) в Фарм-холл в качестве

"пленника Ее Величества". Теперь, как и большинство немецких ученых, проживающих в английской зоне оккупации, его переселили в Гёттинген, ставший новым научным центром Германии.

— Узнав о назначении Гитлера канцлером, Штарк и Ленард возликовали, — начал свое повествование фон Лауэ. — Наконец наступил праздник и на их улице. Все сколько-нибудь важные должности в научных отраслях перешли под контроль этих двух хищников.

В мае 1933 года Штарка назначили директором Имперского физико-технического института. Он добивался этой должности долгие годы и наконец получил ее от Гитлера. Он мечтал превратить институт в центральное научно-исследовательское учреждение Германии, в задачу которого входило бы развитие экономики и даже обороны рейха. Только отсутствие необходимых ресурсов не позволило ему реализовать эти планы. Неожиданно для него ему отказали в запрашиваемом объеме финансирования.

— Значит, он лишился своего влияния?

— Просто понемногу для всех стали очевидны чрезмерные личные амбиции Штарка. А в нацистском окружении подобное не допускалось... Между политическими деятелями шла непрерывная грызня, они не могли позволить кому-то одному сконцентрировать в своих руках столько власти... Некоторое время спустя Штарка рекомендовали в члены Прусской академии наук...

— И вы решительно воспротивились этому! — вставил я.

— Сама мысль, что этот человек будет принят в Академию, внушала мне ужас, — не колеблясь подтвердил фон Лауэ. — Он тут же постарался бы превратить ее в послушный придаток нацистской партии, как ранее поступил с Имперским институтом. Однако у Штарка нашлись враги гораздо более могущественные, чем я, и в итоге его кандидатура была отклонена.

— Но Штарка все же назначили директором Немецкого научно-исследовательского фонда. — Я старался удерживать ход беседы в направлении стоящей перед нами цели.

— Министр образования Бернхард Руст уволил прежнего директора фонда и назначил на этот пост Штарка по прямому указанию Гитлера. Угадайте, что он сделал в первую очередь в качестве руководителя! Отменил бóльшую часть бюджетных ассигнований на программы в области теоретической физики, а сэкономленные таким образом средства направил на проекты, связанные с военными задачами.

— Чуть позже началась драка за пост профессора Мюнхенского университета, который вот-вот собирался оставить Арнольд Зоммерфельд[1], — сказал я.

— Зоммерфельд терпеть не мог Штарка, как и я. В 1934 году Арнольд объявил о своем решении уйти на пенсию. Очевидным претендентом на освобождающуюся должность был Гейзенберг, один из его наиболее одаренных учеников, недавно получивший Нобелевскую премию. Однако Штарк, узнав об этих планах, изо всех сил воспротивился кандидатуре Гейзенберга и постарался сделать из него козла отпущения всевозможных грехов.

1. Арнольд Зоммерфельд (1868–1951) — немецкий физик и математик.

— Но почему именно его он выбрал жертвой своего произвола? — задал вопрос Бэкон.

— Несмотря на пришедшую к нему незадолго до этого славу, Гейзенберг был еще молод. Он не обладал какими-либо влиятельными позициями в научных кругах. Работал обычным штатным профессором Лейпцигского университета. Для Штарка он представлял идеальную мишень.

— Как развивались события дальше, профессор?

— В 1935 году издают книгу Ленарда, посвященную Deutsche Physik. Автор утверждал, что все сферы человеческой деятельности, включая науку, имеют фундаментальное различие по расовому признаку. Следовательно, физика евреев — это совсем не то, что, по его определению, немецкая, она же арийская, она же нордическая физика. В чем конкретно состояло указанное различие? Хороший вопрос! В книге не давалось никакого рационального объяснения. В итоге все сводилось к тому, что физика евреев — та, которую Ленард и компания называют физикой евреев. Проще не придумаешь! В тот же год именем Филиппа Ленарда нарекается Институт физики Гейдельбергского университета. Вот тут-то Штарк, выступая среди прочих на церемонии, и воспользовался благоприятной возможностью, чтобы вновь пустить в ход свое жало. Он вынес не подлежащий обжалованию приговор: теория относительности Эйнштейна, волновая механика Шрёдингера и матричная механика Гейзенберга *являются еврейской наукой*! А значит, должны быть вычеркнуты из немецкой науки!

— Каковы были действия Гейзенберга?

— Я не знаю никого, кто любил бы родину так сильно, как он, — сказал фон Лауэ без всякой напыщенности. — У него и в мыслях не было уезжать из Германии из-за преследований такого подонка, как Штарк. Он выбрал путь борьбы. Противоборство длилось долго и трудно. Для Гейзенберга оно стало болезненным и изматывающим испытанием.

— И научившим побеждать... — добавил я.

— Это была пиррова победа, профессор Линкс. Да, ему удалось договориться с нацистскими начальниками, чтобы его оградили от дальнейших нападок Штарка. Зато он так и не стал заведующим кафедрой Мюнхенского университета, потому что Штарк и Ленард сумели воспрепятствовать этому и совершили еще много несправедливостей и зла, потрясших в те годы немецкую науку.

— Есть ли основания считать, что Штарк был ближе всех других физиков к нацистскому режиму? Скажем, не прибегал ли Гитлер к его услугам в качестве личного советника по научным вопросам?

— В этом нет никаких сомнений.

— Даже несмотря на определенное негативное отношение к нему со стороны нацистов?

— Даже несмотря на это. Он действительно был самым влиятельным из всех ученых-физиков Германии.

На следующий день после разговора с фон Лауэ я снова пришел к Бэкону в его кабинет. Вид у него был крайне недовольный.

— Несмотря на намеки фон Лауэ, Штарк *не может* быть Клингзором, — заявил он без предисловий тоном, каким разговаривают с провинившимся ребенком. — Вспомните, что сказал Планк: *он был один из нас*! А большинство членов сообщества ученых всегда расценивало Deutsche

Physik как лицемерную выдумку, политическую уловку, проявление коварства и алчности.

— Но фон Лауэ уверял нас, что Штарк являлся самой влиятельной фигурой в научном мире Германии, — возразил я, добросовестно исполняя неожиданно навязанную мне роль адвоката дьявола. — Ему покровительствовал сам Гитлер!

— Некоторые вновь открывшиеся обстоятельства дают нам пищу для размышлений. Я совершенно случайно узнал о материалах, касающихся нацистской партии, использованных в ходе Нюрнбергского процесса. Там, в одном из отчетов, я прочитал, что против него выступал ни много ни мало как сам Гиммлер. Он во всеуслышание разоблачил злоупотребления администрации Штарка в связи с финансированием одного из проектов, и тому пришлось отказаться от должности председателя фонда, чтобы удержаться в должности главы Имперского физико-технического института. В любом случае, его влияние существенно ослабло. В переписке с Филиппом Ленардом Штарк все время жаловался на то, что пал жертвой долгой и бесполезной борьбы против нацистского бюрократического аппарата.

— Что ж, Фрэнк, пожалуй, вы меня убедили, — признался я. — Как будем действовать дальше?

— Я собирался спросить об этом у вас, профессор, — уныло ответил Бэкон. — Мы опять пошли по дорожке, которая завела нас в тупик.

— Можно поговорить со Штарком... — неуверенно предложил я.

— Не думаю, что это выведет нас на верный путь.

— Да, пожалуй...

— Вся надежда на вас, профессор! — пробормотал Бэкон. — Поэтому вопрос, что делать дальше, следует адресовать вам!

— Раз вы настаиваете, что Штарк — не Клингзор, пусть будет так. У этой версии даже есть свои преимущества.

— Как это?

— Помнится, я уже объяснял вам, когда мы вначале сомневались, тот ли Штарк человек, которого ищем. Тогда же мы решили, что по роду деятельности Клингзор и Штарк неизбежно должны были поддерживать хоть какие-то отношения. Если Клингзор не вписывается в компанию сторонников Deutsche Physik, значит, его надо искать среди их противников. Да вы и сами об этом говорили... Подводя логический итог нынешнему этапу расследования, приходим к выводу...

— Что Клингзор принадлежал к недругам Штарка! — подхватил Бэкон.

— Похоже на то.

— Но ваше предположение просто ужасно!

— Вся наша действительность ужасна, лейтенант.

— Так кто же это, по-вашему?

— Подумайте сами, Фрэнк, — сказал я ровным тоном, стараясь умерить его волнение. — Кто был основным противником Штарка на протяжении всех тех лет?

— Гейзенберг?

— Вы сами назвали это имя!

— Ты меня любишь?

Давненько от Фрэнка не требовали ответа на этот типично женский вопрос. Сколько лет пролетело с тех пор, как расстроилась его свадьба

с Элизабет! Как долго не был он вместе со своей Вивьен! Отношения, установившиеся у него сейчас с Ireной, развивались легко, естественно, без малейшего принуждения. Умная и энергичная, Ирена живо интересовалась делами Бэкона, ходом расследования, новыми версиями. Он, в свою очередь, мало-помалу стал воспринимать ее как близкого человека, а не просто любовницу, как друга, которому можно доверять, чего никогда не ощущал по отношению к Элизабет и тем более Вивьен. Желание быть рядом с Ireной уже не покидало его ни на минуту.

Она же все это время вела себя достаточно предусмотрительно, чтобы не докучать чрезмерно Бэкону вопросами личного характера, пока наконец не пришла уверенность в прочности его привязанности к ней и безопасности подобных разговоров. Он стал ее повседневной поддержкой и утешением; рядом с ним не так страшно в минуты одиночества или отчаяния, но не только: в нем заключалась надежда на новое, лучшее будущее, на то, что пережитые лишения навсегда останутся в прошлом. Это ожидаемое благополучие постепенно стало потребностью, и уже выше ее сил было молчать и мучиться сомнениями. Когда-то надо решиться, и чем раньше, тем скорее закончатся терзания. Она не собиралась каким-то образом удерживать Фрэнка, ловить его на крючок, как поступали в то время многие немки с американскими солдатами; просто ей надо знать, как он к ней относится.

— Ты меня любишь? — спросила она опять, не дождавшись ответа.

Бэкон приподнялся, опершись локтем на подушку, и повернулся, стараясь выиграть время. Честно говоря, он не находил что сказать, поскольку просто не знал ответа.

— Только не трусь, ради бога, — подзадорила Ирена, гладя его по волосам. — Даже если не любишь, я просто хочу это знать, вот и все...

— Кажется, люблю... — наконец, выдохнул Бэкон. — Все случилось так быстро... Я никогда ни с кем не чувствовал ничего подобного, клянусь, и впервые могу говорить на эту тему без опасений и недомолвок... Ты даже не представляешь, как я тебе благодарен...

— Мне не нужна благодарность, мне нужна твоя любовь. Тебе кажется, что любишь, но этого недостаточно... Ты что же, сам не знаешь? Нет, Фрэнк, так не пойдет, хочу услышать однозначный ответ. Хочу точно знать, что меня ждет! В любом случае я останусь с тобой, пока ты этого желаешь. Итак, Фрэнк, ты меня любишь?

Любит ли он? А мог ли он вообще это знать? Когда кто-то нравится — это такое же физическое состояние, как головная боль, температура, тошнота... Это — как болезнь или испуг. Но любовь... Любовь больше похожа на веру, а значит — ближе к заблуждению, чем к действительности.

— Да! — сказал он настолько убежденно, насколько сумел, и обнял Ирену.

— Повтори!

— Люблю тебя!

Он принялся целовать ей лоб, нос, веки; потом стал покрывать поцелуями все ее тело, овладевая ею, затуманивая ее сознание баюкающим колыханием кровати. Его ласки словно просили, молили, требовали — молчи, ни слова больше! Однако когда все закончилось и оба успокоились, Ирена продолжила, будто разговор и не прерывался вовсе:

– Ты уверен?

Бог мой, это же просто невозможно! Сколько раз ей надо повторить?

– Да, уверен! *Я тебя люблю!*

– Тогда ты мне должен пообещать кое-что...

– Еще что-то?

– Да, если ты действительно любишь меня!

– Говори, не тяни!

– Это очень серьезно! – ногти Ирены больно вонзились ему в кожу.

– Хорошо, хорошо, я слушаю!

– Обещай, что никогда не будешь сомневаться в моей верности!

– И только-то? – улыбнулся Бэкон. – Я уж начал беспокоиться...

– Обещай мне, Фрэнк, – настаивала она.

– Ну хорошо, обещаю...

– Ты должен всегда помнить, что я люблю тебя, – прошептала Ирена, преодолевая подступившие слезы. – Я говорю это не для того, чтобы удержать тебя или чтобы ты любил меня, а потому, что это правда! И я хочу, чтобы ты знал...

– Говорю же, и я люблю тебя...

– Будешь всегда верить в мою любовь?

– Буду.

Теперь она легла сверху. Медленно провела кончиками пальцев по лицу и шее, а пальцами ног погладила его ноги. Потом сильно и больно поцеловала в губы, укусила на самом деле, будто кровью скрепляя договор между ними. Бэкон чувствовал, как ее груди слегка касаются его кожи, как твердый островок лобка ритмично-медленно вдавливается в низ его живота. Он не знал прежде подобной любви – самозабвенной, нежной, могучей и такой естественной и безмерно радостной. Тело Фрэнка покорно расслабилось и оставалось совершенно недвижным, будто неживое, до конца отдавшись во власть женщины. Только она служила теперь единственным источником и воплощением движения Вселенной, от нее зависело достижение мировой гармонии... Нежная и чувственная, Ирена полностью подчинила его себе, заставила забыть обо всем на свете, кроме своей миссии любовника, преисполненного желания и энергии...

– Люблю тебя, – только и смог произнести Фрэнк, совершенно околдованный ею.

Впервые в жизни он сказал это искренне.

– Можете не трудиться, разыскивая личное дело, – заявил я Бэкону самоуверенно. – Вы не прочитаете в нем о Гейзенберге то, что расскажу вам я.

– Как долго вы проработали его ассистентом?

– Я никогда не был его ассистентом! Не забывайте, я – математик! Мы сотрудничали, но он никогда не был моим начальником.

– Я не хотел вас обидеть...

– Мы работали вместе в рамках атомной программы с 1940-го по 1944-й...

– До вашего ареста...

– Именно. Однако мы знали друг друга гораздо раньше, почти с детства, можно сказать. Я родился в 1905-м в Мюнхене (21 марта, кстати,

чтоб вы знали, когда мой день рождения), а Гейзенберг — в 1901-м в Вюрцбурге, но бóльшую часть времени его семья жила тоже в Мюнхене. Разница в возрасте между нами — меньше четырех лет! Он мог быть моим старшим братом, лейтенант!

— Вы дружили?

— Вряд ли нашим отношениям подходит определение дружеских. В детстве три-четыре года разделяют, как пропасть! — засмеялся я, стараясь придать лицу невинное выражение. — Конечно, мы знали друг друга, поскольку город был не настолько велик, но тогда и потом я все же смотрел на него больше снизу вверх, как на пример для подражания...

— Ну уж...

— Да-да, серьезно! — подтвердил я. — Маленький Вернер являл собой образец идеального немецкого ребенка. Умница, отличник, занимался спортом и музыкой, ну как не восхищаться таким чудесным мальчиком, лейтенант? Его отец преподавал греческий, специалист по византийскому искусству, один из немногих во всей Германии...

— Лучше быть не может...

— Ваш сарказм ничего не меняет. Спросите кого хотите, никто не скажет о нем дурного слова. Потому что и сейчас на нем все та же маска совершенства. Ах, этот Вернер, неизменно усердный, всегда благоразумный, не способный ни на какую шалость! Воплощенная скромность и добродетель...

— А почему вы говорите, что на нем — *маска*? — подозрительно заметил Бэкон. — Не такой хороший, как кажется?

— Неужели я так сказал? Черт возьми, лейтенант, я даже не заметил... Что ж, слово — не воробей... Однако хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Вернер — действительно любопытный тип. Вы можете сами убедиться. Уже встречались с ним здесь, в Гёттингене?

— Нет, здесь нет... — в его голосе вдруг прозвучала обеспокоенность.

— Увидите, он будто испил эликсира вечной молодости. Внешне Вернер совсем не менялся. Те же белокурые волосы, юношеские черты лица, кожа нежная, как у школьницы. Короче, он выглядел как ребенок что в пять, что в пятьдесят!

— Неужели вообще никогда не озорничал, не шалил, не бедокурил, как все дети?

— Шалил, но делал это так, что взрослым и в голову не приходило обвинить его в озорстве; попадало скорее кому-нибудь другому.

— Что еще вы помните о его прошлом?

— Нам довелось расти в особенно сложное время, лейтенант. Сами знаете: бесславное завершение войны, экономический кризис, унижение и горечь поражения, вооруженные вылазки коммунистов... Вернер отыскал себе занятие, позволяющее ему дистанцироваться от упадочнического, ненавистного общества, жить в соответствии с древними германскими традициями, найти выход подростковому бунтарству и реализовать свое стремление к лидерству — он увлекся молодежным движением.

— Что-то вроде бойскаутов?

— Да, похоже. — Я вдруг представился себе антропологом, исследующим давно прошедший исторический период, от которого даже следов не осталось. — И все же мне тогда постоянно мерещилась в Вернере утаиваемая от остальных мучительная застенчивость, неспособность до

конца раскрыться перед окружающими. Подобная черта вообще присуща германскому характеру, но в Вернере она развилась до крайнего предела. Каким бы юным он ни казался, в его взгляде и голосе, бывало, проскальзывала усталость...

— В чем же, по-вашему, заключались причины этого?

— Я не психолог, лейтенант. Говорю то, что вижу; так, как понимаю. И все же осмелюсь выдвинуть некую теорию, раз уж вы спрашиваете: Вернер в душе так и не сумел примириться с тем, что мир, в котором мы жили, оказался полностью разрушен. Так же как многие из нас, он испытывал ностальгию по временам средневековой Германии, стабильности жизненного уклада, гордости и уверенности нации, воспетых древними бардами. То есть, другими словами, ненавидел современную действительность, остро воспринимал малейшую помеху в своей деятельности. Он так и не сумел адаптироваться к тому, как мы жили.

— Возможно, мне не следует говорить то, что я думаю на этот счет, — осторожно начал Бэкон, как бы заранее извиняясь. — Не хотелось бы впасть в банальность или ошибочное обобщение...

— Говорите смело, лейтенант!

— Эта любовь к военным регалиям, дисциплине, тоска по славному прошлому, преклонение перед вождями и почитание начальников...

— Угадываю ход ваших размышлений: у членов немецких молодежных организаций на лбу можно прочитать слова "СС" и "гестапо"?

— Вот именно.

— Надеюсь, не разочарую вас, если скажу, что вы не первый это заметили. Так и есть, лейтенант, в Германии действительно издревле существовала благоприятная почва для зарождения идеологии, подобной нацистской. Все мы, кто ненавидел Гитлера, вынуждены признать, что его приход к власти был не случайным поворотом истории, но закономерным, хотя и экстремальным, следствием национального мировоззрения. Поскольку я работал вместе с Гейзенбергом, могу вас заверить, лейтенант, что за его внешностью романтического идеалиста скрывается завистник, тиран с железным характером и несгибаемой волей. Это — настоящий лидер, способный стать еще одним фюрером.

— Но ведь он никогда не симпатизировал нацистам, — возразил Бэкон, — даже не ладил с ними, и довольно часто.

— Вы цитируете его личное дело?

— Вспомните, он всегда выступал против сторонников Deutsche Physik! И фон Лауэ называл его последователем Эйнштейна и Бора...

— Что правда, то правда, Штарк неоднократно безжалостно нападал на Гейзенберга в прессе. Впрочем, тот огрызался с не меньшей злостью. А теперь скажите-ка, кто из них вышел из схватки победителем? Конечно, наш дорогой Вернер!

— Вы намекаете на то, что Гейзенберг...

— Не надо спешить, лейтенант, — остановил я его. — Мы с вами дошли только до 1922 года, так не будем оставлять белых пятен, чтобы не пришлось потом исправлять собственные просчеты. Если не пройдем по всей дорожке, соединяющей оба периода, потеряем связь причин и следствий...

Фрэнк недовольно замолчал, однако видно было, что мое замечание возымело предсказуемый результат; оно заронило в его сознание сомнение, которое теперь будет расти и беспокоить... Мне оставалось только

и дальше подготавливать наступление того мига, когда истина откроется ему сама по себе...

— Двадцать третий год ознаменовался важными событиями, лейтенант. Макс Борн с присущей ему бесцеремонностью заявил о необходимости перекроить всю структуру физической науки. Такой шаг с его стороны был равносилен закладке в рейхстаг зажигательной бомбы. Через несколько недель Гейзенберг приехал в Мюнхен для сдачи Examen rigorosum[1] под надзором Зоммерфельда, только что вернувшегося из Америки. Экзамен состоялся 23 июля (хорошо помню дату, поскольку присутствовал на нем), и Гейзенбергу поставили квалификационный балл III, что соответствовало cum laude — с отличием. В середине 1924 года Гейзенберг получил приглашение Нильса Бора работать с ним в Копенгагене и в конце того же года перебрался туда. С тех пор они очень сблизились, Бор сделал Вернера одним из своих главных соратников. Их совместная деятельность в копенгагенском Институте теоретической физики принесла им заслуженную славу основоположников новой науки.

— Нет, расскажи! — голос ее звенел. — Для меня важно все, чем ты занимаешься. Для меня важен *ты*!

— Да нет в этом ничего интересного! — упрямо повторил Фрэнк и легонько куснул ее за ухо.

— Ну пожалуйста, Фрэнк, иначе мне будет казаться, что я нужна тебе только в постели, а в остальной жизни не нужна, раз ничего не говоришь про свою работу...

— Моя работа считается секретной, — неуверенно произнес он.

— Ну расскажи мне про твоего друга, математика... — настаивала Ирена, а сама словно ненароком положила руку ему на гениталии и стала нежно перебирать пальцами.

— Линкс? — с трудом выдавил Бэкон, потому что у него перехватило дыхание. — Он эксцентричен, не буду отрицать, но не больше, чем многие другие ученые, встречавшиеся мне в жизни. Взять хотя бы такие разновидности, как фон Нейман, мой бывший покровитель, или Курт Гёдель... Принстон похож на кунсткамеру всевозможных маньяков, одержимых и неврастеников... Вот так, хорошо... продолжай...

Но Ирена, наоборот, остановилась.

— Он тебе симпатизирует?

— Похоже на то, — выдохнул Фрэнк в нетерпеливом ожидании продолжения ласки. — Несмотря на эксцентричность, он достаточно интеллигентен...

— И в чем же его эксцентричность?

— Какая ты любопытная! — с улыбкой сказал Фрэнк, вновь замирая от наслаждения. — Не знаю, как объяснить... Просто мне кажется, что... Не знаю, сам не могу понять... Он будто хочет открыть какую-то тайну и не решается...

— И тем не менее ты ему доверяешь? — продолжала расспрашивать Ирена.

1. Экзамен на степень доктора *(лат.)*.

— На этот счет можешь не беспокоиться, — недолго думая снисходительно заверил ее Бэкон. — Вряд ли его секреты имеют отношение к делу. Скорее всего, речь идет о чем-то личном, давно пережитом.

— Наверно, хочет поделиться с тобой воспоминаниями о своей несчастной любви, — хихикнула она.

— Вообще-то он практически ничего о себе не рассказывает. Стоит заговорить о его личной жизни, он тут же замыкается. Мы можем беседовать часами, и каждый раз оказывается, что болтаю в основном я.

— Расскажи, чем вы занимаетесь, — Ирена взяла в руку его пенис и принялась играть с ним. — Что ищете?

— Мы гоняемся за неким ученым, который, судя по всему, был весьма близок к Гитлеру, но все время находился в тени, выступая перед всеми в другом, респектабельном обличье, — выпалил Фрэнк на одном дыхании. — Да, да, Ирена!.. Тебе говорили, что у тебя чудесные руки? — воскликнул он, приникая к ее губам.

— А тот ученый — он физик, как и ты?

— Полагаем, что да. Нам известна только его кличка: Клингзор. Слышала когда-нибудь?

— Нет.

— А между тем это персонаж германского... эпоса... Ирена, любовь моя!.. А еще — одно из действующих лиц оперы Вагнера... *"Парсифаль"*!

Ирена опять дала ему передышку. Как дозируют лекарство, чтобы не навредить здоровью, так она отпускала порциями сладостные прикосновения — не все сразу!

— Ну пожалуйста, еще... — жалобно взмолился Бэкон.

— Рассказывай дальше!

— Повинуюсь, — вздохнул он. — Если мы не ошибаемся, от Клингзора зависело финансирование всех без исключения научно-исследовательских программ Третьего рейха, включая атомную, эксперименты на узниках концлагерей и так далее... О да, любимая!.. Вот фактически и все, что нам известно. Я предупреждал, что тебе это неинтересно. Линкс для меня вроде проводника по незнакомой местности... Ах-х-х-х!..

— Он — проводник?

(Конечно я, кто же еще?)

— Ну да, *он*! — задохнулся Бэкон. — Досконально знает историю развития немецкой науки, работал вместе с Гейзенбергом, знаешь о таком? Если бы не его помощь, я бы до сих пор бесцельно тыкался носом, как слепой щенок. (Наконец-то лейтенант произнес что-то разумное.) Конечно, лентяй и зануда, но без него у меня ничего бы не получилось. Продвигаемся медленно, но... неуклонно! Ах-х!.. Когда смотришь его глазами на развитие физики с начала столетия, будто читаешь детективный роман... Все великие ученые вдруг становятся похожи на матерых преступников... Любой из них может быть Клингзором!

— И кто ваш главный подозреваемый?

— Самому не верится, но наши поиски все упорнее ведут нас именно к нему... Гейзенберг!

Фрэнк находился на пороге момента истины, называемого еще озарением, или, по-другому, священным трансом; а некоторые дают подобному состоянию вульгарное имя "оргазм". Как раз в это мгновение Ирена совершенно некстати остановилась.

— Господи, что теперь?

– Думаю.

– Думаешь?!

– Да, – подтвердила она. – Меня взволновал твой рассказ, Фрэнк. Мне хочется помогать тебе...

– Помогать в чем?

– В раскрытии тайны!

– Каким образом?

– Вот увидишь, я смогу, – заговорила Ирена вкрадчивым голосом. – У меня есть женская интуиция... Разреши мне помогать тебе, Фрэнк... Просто рассказывай мне обо всем, что сам разузнаешь, а я буду давать советы, идеи...

– Не пойму, какое тебе дело до этого...

– Ну как же! Мне так интересно!

– А меня интересуешь только ты! – выкрикнул Бэкон, больше не в силах сдерживаться.

– Очень хорошо, – промурлыкала она и лицом вниз медленно сползла по телу Фрэнка к его напряженному члену, чтобы уже не рукой, а своим нежным, влажным ртом довести дело до кульминации.

Игра в войну

Берлин, сентябрь 1939 года

23 августа Риббентроп и министр иностранных дел[1] Советского Союза Молотов подписали германо-советский пакт о ненападении и взаимной помощи. Великобритания и Франция расценили это как предательство со стороны СССР. Но больше всего были ошеломлены коммунисты во всем мире, которые долгие годы выступали против фашизма. Сталин своим неожиданным ходом призвал их не только сдать свои позиции, но и сотрудничать с врагом.

Спустя лишь неделю, 1 сентября, гитлеровские войска перешли польскую границу при молчаливом попустительстве Советского Союза, который и сам не замедлил отхватить себе часть территории поверженной нации, предназначенной ему по секретному протоколу – приложению к пакту. Полностью оправдывая ожидания фюрера, французы и англичане пошли ненамного дальше формального объявления войны Германии, и через какую-то пару недель Польша не только превратилась в зону оккупации, но даже потеряла свое историческое название – Гитлер просто вычеркнул его из географии, окрестив Польшу безликим "генерал-губернаторством".

За быстрым покорением Польши последовал другой, не менее впечатляющий "блицкриг" (молниеносная война): присоединение к рейху Дании и Норвегии. Настало время маршировать на запад. Гитлер отдал приказ начать наступление на Францию 10 мая 1940 года. Эффектный марш-бросок через Арденны танковой колонны под командованием ге-

1. В 1939 году должность называлась "народный комиссар иностранных дел".

нерала Хайнца Гудериана[1] позволил германским войскам за несколько недель достичь результата, которого при других обстоятельствах они добивались бы годами: оккупации Парижа. Не прошло и полутора месяцев с начала победоносной кампании, как 22 июня французов вынудили подписать перемирие в том самом железнодорожном вагоне, специально отремонтированном к этому событию, в котором в 1919 году был заключен позорный для немцев Версальский договор. К вящему удовлетворению Гитлера, Францию наконец постигло возмездие.

С самого начала боевых действий Генриха призвали в действующую армию. После захвата Польши его переводили с должности на должность сперва в оккупированных районах, а затем в войсках, вошедших победным маршем в Париж. Почти целый год провел он вдали от домашнего очага и лишь пару раз сумел вырваться в Берлин, чтобы увидеться с женой, пребывавшей все остальное время в одиночестве и печали. Я, конечно, даже не собирался встречаться с Гени в эти его короткие приезды.

Наталия, хоть и казалась сильной женщиной, в душе была уязвима, как подросток. В минуты грусти она представлялась самой себе этакой беззащитной Гретель, покинутой всеми, включая ее верного Гензеля. Как и следовало ожидать, она все чаще стала наведываться к Марианне. Так наш дом превратился для Наталии в убежище, мы были ее единственным утешением в трудные минуты.

Не знаю, как и начать рассказывать об этом. До сих пор больно вспоминать, будто саднит не зарубцевавшийся до конца шрам. Сколько лет прошло, а рана все не затягивается и кровоточит... Кто знает, может, ничего бы не произошло, если бы мы проявили немного больше терпения или терпимости либо оказались чуть сильнее или тверже... Но нам не хватило ни тех, ни других качеств.

Все началось июльским вечером 1940 года, теплым и сухим, ничем не примечательным и не отличающимся от остальных вечеров. Наталия и Марианна уединились в библиотеке, как обычно разговаривая на повседневные темы: война, страх, смерть... Я тем временем в своем кабинете силился завершить кое-какие неподатливые расчеты, над которыми бился уже несколько дней. Внезапно меня отвлекла от дела непонятная тишина, прямо-таки сгустившаяся в доме. Даже воздух, казалось, был совершенно недвижим... Мне вдруг сделалось не по себе, заколотилось сердце, стало тревожно и душно...

Стараясь вести себя бесшумно, слиться с окружающей тишиной, я направился в библиотеку с намерением весело удивить женщин неожиданным появлением. На цыпочках подкрался к двери, осторожно приоткрыл и, как случается в подобных ситуациях, сам оказался застигнут врасплох увиденным. Вначале я подумал, что Наталия в очередной раз расплакалась, а Марианна успокаивала ее, держа в своих объятиях, пока не разглядел получше: обе лежали рядышком на диване, обнимаясь; губы слились в поцелуе.

Мне стало обидно и тошно, словно я получил пощечину. Что предпринять? Сделать вид, что ничего не случилось, и убраться восвояси? Или обнаружить свое присутствие и тем самым создать неловкое положение, в котором никто из нас не знал бы, как вести себя дальше? В смя-

1. Вильгельм Хайнц Гудериан (1888–1954) – немецкий генерал-полковник.

тении и тревоге я удалился, оставшись незамеченным... Вечером Наталия простилась со мной как обычно, однако я не мог не смотреть на нее другими глазами: она словно выросла в моем представлении, навсегда рассталась с образом юной девушки и превратилась в зрелую женщину, поступающую и чувствующую по-взрослому, вызывающую уважение своей смелостью и независимостью.

– Я рад, что мы можем сделать хоть какую-то малость для нее, – сказал я позже Марианне без тени иронии. – По крайней мере, она знает, что всегда найдет здесь понимание и поддержку.

Я один понимал тогда, что наша жизнь уже никогда не будет такой, как прежде.

Вернер Гейзенберг, или О грусти

Гёттинген, февраль 1947 года

В последний раз Бэкон встречался с ним меньше двух лет назад, но ему казалось, что с тех пор прошла вечность. Целая эпоха разделяла то ясное утро, которым отряд миссии Alsos разыскал и арестовал Гейзенберга на его вилле неподалеку от Урфельда, и утро сегодняшнее, гораздо более холодное, когда лейтенант Бэкон наконец решился постучать в дверь кабинета в недавно созданном Гёттингенском физическом институте имени Макса Планка (ранее имени кайзера Вильгельма). Он не мог угадать с точностью, признает ли в нем немецкий физик молодого офицера-американца, который конвоировал его в последние дни перед окончательной капитуляцией Германии. Но все равно испытывал чувство вины, словно сам лично унизил его тогда на глазах семьи, арестовав, как преступника, и отправив по этапу через всю разрушенную Европу. Возможно, именно поэтому Бэкон позабыл предупредить меня, что договорился с ним о встрече.

Гейзенберг принял Бэкона без особой радости и проявлений гостеприимства, он просто исполнял обязанность хозяина кабинета. Если и вспомнил гостя по предыдущей встрече, то, как и Бэкон, никоим образом этого не показал.

– Вы учились в Принстоне? – переспросил он.

– Сначала в университете, потом в Институте перспективных исследований, – подтвердил Бэкон.

– Это чудесное место, – в голосе Гейзенберга прозвучала ностальгия. – Не каждому выпадает жить там же, где Эйнштейн, Гёдель, Паули... Об этом можно мечтать!

– Мне не довелось знать Паули, – признался Бэкон. – Он приехал уже после того, как я пошел на службу в армию... Что касается остальных – да, мне повезло. Моим наставником был Джон фон Нейман.

Гейзенберг ничего не сказал, будто одно упоминание этих имен обязывало к минуте почтительного молчания. Нарушить ее – значит поступить кощунственно.

– Профессор, постараюсь не отнимать у вас слишком много времени. Как вы знаете, я – физик, но хотел бы поговорить с вами на тему, связанную скорее с историографией. Я пишу книгу о немецкой науке за последние двадцать лет. (Смехотворный эвфемизм! Говорил бы пря-

мо — *во времена нацистского режима*!) Естественно, без вашего комментария обойтись в такой работе невозможно.

— Можете мной располагать, профессор Бэкон. Человек я, знаете, занятой, но для вас и ваших вопросов всегда найду окошко в своем расписании.

— Профессор, я чрезвычайно признателен вам за понимание! (Бэкон явно перегибал палку со своими любезностями.) Не хочется начинать с неприятной темы, но не могли бы мы поговорить о профессоре Штарке?

Гейзенберг откинулся на спинку кресла и стал задумчиво потирать руки. Сколько раз можно повторять одно и то же? Кого еще может интересовать история его вражды со Штарком?

— Задавайте вопросы, а я постараюсь полностью удовлетворить ваше любопытство.

— Отлично! — Бэкон достал ручку и блокнот, пробежал глазами свои записи и начал: — Когда началась ваша вражда с профессором Штарком?

— Точнее сказать, враждебное отношение Штарка ко мне.

— Именно.

— Я много думал об этом. Сначала полагал, что дело в личной неприязни. Теперь мне кажется, что Штарк ненавидел всех, кто думал не так, как он. А причина в том, что после получения Нобелевской премии он превратился во второразрядного физика, неудачи преследовали его. Тогда-то Штарк примкнул к нацистской партии и, как все нацисты, избрал лучшим предлогом для устранения тех, кто ему мешал, обвинение во вредительстве Германии. Стоит взглянуть на этих "вредителей" глазами Штарка, и все станет ясно: в их число попали все физики, которые занимались новой наукой, квантовой теорией то есть, работали в той области, где он ничего не смыслил и, естественно, не сумел бы достичь никаких результатов.

— Полагаете, что все дело — в личной обиде?

— И в злопамятстве. И в жажде мести. Но было и нечто более серьезное. Его видение физической науки не совпадало с нашим, я говорю о модели, предложенной Планком и Эйнштейном и принятой всеми нами, их последователями. Для него она представлялась слишком математически абстрактной, отвлеченной от естественного мира... Он просто психологически не был готов к ее восприятию. Я тогда заведовал кафедрой в Лейпцигском университете, но ни для кого не было секретом мое желание перейти в Мюнхенский университет на ставшее вакантным место моего учителя Арнольда Зоммерфельда. Действия Штарка привели к тому, что меня просто вычеркнули из списка конкурсантов. Эсэсовцы начали расследование против меня... Я очутился в аду, профессор Бэкон!

— Что же вы предприняли?

— Единственное, что мне было доступно, — стал сопротивляться! Приводить свои аргументы. Отмывать собственное имя.

— И справедливость восторжествовала!

— На какое-то время — да...

— Благодаря вмешательству Гиммлера, который вдруг поддержал вас...

— Благодаря тому, что хоть раз в истории правительственный чиновник обратил внимание на творящийся произвол!

Бэкон сообразил, что пора переменить тему разговора. Не стоило настраивать Гейзенберга против себя слишком скоро.

— Во время начатых после войны судебных процессов Штарку предъявили обвинение в исполнении во времена гитлеровского режима руководящих обязанностей главы Немецкого научно-исследовательского фонда и Имперского физико-технического института. Вы выступали свидетелем на суде. Не могли бы вкратце повторить свои тогдашние показания, профессор?

— Меня спрашивали в основном о двух аспектах. Во-первых, действительно ли Штарк основывал различие между физикой прагматической и физикой догматической на антисемитизме. Во-вторых, действительно ли Штарк сыграл важную роль в запрещении теории относительности в Третьем рейхе. Истины ради мне пришлось признать, что, на мой взгляд, Штарк не был ярым антисемитом, просто его обуяла жажда власти.

Бэкон сверился со своим блокнотом.

— У меня записано, что трибунал запросил также мнение Эйнштейна, и тот подтвердил: да, Штарк параноик и приспособленец, но вряд ли убежденный антисемит.

Гейзенберг промолчал; ему просто нечего было сказать.

— Но почему? — непонимающе воскликнул Бэкон. — Профессор, почему и вы, и Эйнштейн защищали его?

— Штарк — один из немногих ученых, кто изначально перешел на сторону Гитлера, — спокойно ответил Гейзенберг, — в этом и состоит его главная вина...

— Как ни странно, кассационный суд Мюнхена признал, что не обладает достаточной компетентностью для рассмотрения научного спора, и принял решение смягчить приговор Штарку до уплаты штрафа в одну тысячу марок...

— Да, знаю...

— Профессор Штарк остается на свободе и не только не признает себя виновным ни по одному пункту обвинений, но утверждает даже, что всегда охранял практическое применение истинных научных методов от посягательств нацистских бюрократов, в частности органов СС. Словом, чувствует себя настоящим героем.

— У него всегда наблюдались признаки мании величия и стремление выставить себя в виде жертвы.

— Чьей жертвы, профессор?

— Сначала евреев, затем нацистов, которых он без устали поддерживал.

— Вы хотите сказать, что в итоге нацисты отвернулись от него?

— Можно сказать и так.

— Но почему? — прикинулся простаком Бэкон. — Он совершил какую-нибудь ошибку? Скажем, выступил против какого-то политического решения?

— Мне кажется, партийные власти просто терпели его много лет, пока сами не поняли, что ученый он никудышный.

— А они нуждались в конкретных результатах...

— Конечно!

– Поэтому посчитали Штарка бесполезным и просто позабыли о нем...

Гейзенберг согласно кивнул.

– И тогда они обратились за сотрудничеством к вам, так называемым "последователям Эйнштейна".

– Истинная наука одна, профессор Бэкон. Рано или поздно все поняли бы, что правы мы, а не он.

– Неудача постигла его на фронте научном, но не идеологическом.

– Совершенно верно.

– Спасибо вам, что уделили мне время, профессор, – стал прощаться Бэкон. – Надеюсь, я не слишком помешал.

– О, нет, ни в коем случае. Но согласитесь все же, перед наукой сейчас стоят более актуальные и важные проблемы... Как бы то ни было, я по-прежнему к вашим услугам!

– Меня будто подтолкнуло что-то, Густав, – продолжал оправдываться Бэкон, в то время как я и дальше играл роль оскорбленного друга. – Поймите, на нашей предыдущей встрече я его *арестовывал*, даже не поговорил с ним по-человечески, наоборот, всячески дистанцировался!.. Мне было просто необходимо увидеться с ним один на один, вроде как извиниться за тогдашнее поведение...

– Думаю, вам не за что извиняться, лейтенант, – многозначительно произнес я. – Впрочем, что сделано, то сделано, назад не воротишь. Любопытно, о чем же вы беседовали?

– Мне не хотелось, чтобы он раньше времени узнал о наших подозрениях.

– Значит, вы говорили о погоде? Или о том, что нового в физике?

– О Штарке, – невозмутимо ответил Бэкон, не обращая внимания на мои подковырки.

– В таком случае Вернер наверняка затянул свою старую песню: Штарк, Ленард и их сообщники по Deutsche Physik – единственные ученые во всей Германии, кто открыто сотрудничал с Гитлером, и так далее... А все мы, остальные, занимались исключительно своей работой и никогда не вмешивались в политику!

– А вы с этим не согласны, профессор? Можете предложить другую версию?

– Просто истина не всегда очевидна, лейтенант, поэтому легко выдать за нее полуправду или ложь!

– Вы по-прежнему считаете себя другом Гейзенберга?

– Мы не общались со дня моего ареста, если хотите знать. И вообще, наши отношения не такие, как раньше.

– Можно спросить почему?

– Проиллюстрирую примером из математики, – улыбнулся я. – Две перпендикулярные линии пересекаются только один раз, сколько бы их ни продлевать...

– Если они не расположены в сферическом пространстве, – парировал Бэкон.

– Возможно, я задал не вполне адекватные условия для этой теоремы, – признал я, – но вывод из нее вам ясен.

– А он не искал встречи с вами?

— Вернер? Конечно нет! Он так стыдится своего прошлого, что избегает любого напоминания о нем.

— Почему вы не верите ни единому слову Гейзенберга?

— Я верю не словам, а фактам! Судить о человеке надо по его делам. Посмотрите повнимательнее на дела достопочтенного профессора Гейзенберга во время войны и поймете, о чем я...

— Почему вы не хотите быть со мной откровенным, профессор? Мы же договорились доверять друг другу!

Я кашлянул и промолчал, так как не был готов ответить на этот вопрос.

— Вернер рассказал, чем закончилась его схватка со Штарком? — нарушил я недолгое молчание.

— Да, я спросил его, и он признался, что ему помог Гиммлер. Сказал, это тот редкий случай, когда злодей поступает по-доброму, или что-то в таком духе...

Я сделал многозначительную паузу, удержавшись от саркастического комментария, чтобы ему самому стала понятной вся нелепость этого утверждения.

— Скажите же мне правду, профессор, — взмолился Бэкон, позабыв о необходимости вести себя с сознанием своего превосходства в служебном положении. — Вы думаете, Гейзенбергу есть что скрывать?

— Фрэнк, — начал я, тщательно подбирая слова, — у нас у *всех* есть что скрывать, включая и вас и меня. Тайны, связанные с ошибками прошлого; проступки, стоившие нам жестоких угрызений совести; провинности, которые безуспешно пытаемся стереть из памяти... Что касается Вернера... Если говорить совершенно откровенно, думаю, ему приходится скрывать *очень* многое!

— Ну так расскажите мне об этом! Я должен знать...

— Спросите его самого, раз уж у вас налажен контакт!

— Густав, пожалуйста!..

— Я сообщил вам все, что знаю, лейтенант, — отрезал я. — А теперь мне надо идти. Меня ждут более неотложные дела, чем бесконечная погоня за призраками. С вашего разрешения...

— Не могу его понять, Ирена... — Фрэнк лежал в постели на животе, а Ирена сидела у него на ягодицах и своими маленькими, сильными, мозолистыми ладонями массировала ему плечи и шею. Оба были совершенно голые.

— Я тебе говорила, Линкс мне не нравится, — ответила она.

— Обиделся на меня за то, что я пошел к Гейзенбергу, не известив его. Будто я обязан просить у него разрешения!

Пальцы Ирены начали с силой разминать ему верхнюю часть спины.

— Что он тебе сказал?

— Намекнул, что Гейзенбергу есть что скрывать.

— Он тебя провоцирует. Ему не понравилось, что ты с ним не посоветовался.

— Не думаю. Если бы ты видела выражение лица Линкса в тот момент, тоже поверила бы в его искренность. Мне кажется, что-то произошло между ним и Гейзенбергом, может быть, когда Линкса посадили в тюрьму.

— Хочешь сказать, Гейзенберг предал его каким-то образом?

– Возможно. Кстати, мой бывший шеф, Гаудсмит, тоже считал, что Гейзенберг только с виду весь из себя правильный и безупречный, а на самом деле – ничтожество и трус, до смерти боявшийся нацистов...

– Думаешь, он и есть Клингзор?

– Не знаю, Ирена.

– Почему бы тебе не поговорить еще с кем-то из немецких физиков, кто знаком с Гейзенбергом и может рассказать о его отношениях с нацистами?

– Ты имеешь в виду кого-то конкретно? – удивленно спросил ее Бэкон.

– Ты упоминал как-то, что одновременно с Гейзенбергом другой ученый пришел к открытию квантовой физики...

– Шрёдингер. Он долго считался злейшим врагом Гейзенберга и Бора... Между ними возникло что-то вроде конкуренции – чья теория правильная. Гейзенберг открыл матричную механику, а Шрёдингер на полгода позже – волновую механику. Началась драка не на жизнь, а на смерть, но завершилось все вдруг мирно и весьма необычно. Как раз в тот момент, когда полемика достигла наивысшего накала, Шрёдингер пришел к выводу, что обе теории совершенно эквивалентны, только сформулированы по-разному. Все споры тут же утихли... Шрёдингер не еврей, однако незадолго до войны подвергся гонениям со стороны нацистов и, пережив много неприятностей, сумел выбраться в Дублин. Там он основал научно-исследовательский институт наподобие принстонского...

– Шрёдингер и сейчас живет в Дублине? – в то время как Ирена переворачивала Бэкона на спину, на ее лице появилась хитрая улыбка.

– К чему ты клонишь?

– Я никогда не бывала в Дублине...

– Куда-куда? – в ужасе переспросил я Бэкона.

– Я же сказал – в Дублин...

– С ума сошел...

– Возможно, и все же мне кажется, что стоит попытаться.

– Вы полагаете, Шрёдингеру есть о чем рассказать нам? Вы его не знаете...

– Заодно и познакомлюсь... – У Бэкона прямо-таки на лбу было написано, что он безнадежно, безрассудно, по уши влюблен, но все же предложил мне: – Хотите к нам присоединиться?

– К кому это "к нам"? – тотчас возмутился я.

– К Ирене и ко мне...

– Боюсь, испорчу вам праздник! Лейтенант, речь идет о важной официальной командировке; присутствие лиц, не имеющих прямого отношения к расследованию, излишне!

– Итак, профессор, – оборвал меня Бэкон с характерной для него грубостью. – Присоединяетесь к нам или нет?

– Ну, если по-другому нельзя...

– Возможно, у вас здесь много неотложных дел, тогда, поверьте, я отнесусь с пониманием, – угрожающе заявил он.

– Хорошо, – сдался я. – Еду с *вами*!

– Ну и ладно. Я подготовлю все, что нужно...

Трудности наблюдения

Берлин, июль 1940 года

Одной из новых, необычных проблем, возникших при использовании квантовой теории, стало изменение отношений между наблюдающим природное явление и самой наблюдаемой природой. В классической физике все было просто: высокая стена разделяла тайны естества, с одной стороны, и ученого, настойчиво их разгадывающего, с другой. В то время как в задачу одной стороны входило измерять, подсчитывать, прогнозировать, экспериментировать, от другой (то есть от естества) не требовалось ничего более, как оставаться пассивным объектом измерений, подсчетов, прогнозов и экспериментов. E tutti contenti[1].

Но в 1925 году на этой идиллической картине появились трещины. Если раньше считалось, что человек лишь созерцает внутриатомный мир, то теперь выяснилось — своим присутствием он вторгается в него и преобразует его. Другими словами, когда ученый исследует естество, последнее видоизменяется и отличается от прежнего *в результате* проведенных исследований. Ученый потерял свой невинный облик: одного его взгляда стало достаточно, чтобы лишить целомудрия Вселенную!

Раза три в неделю я страдал по одной и той же причине. Наталия и Марианна, не обращая внимания на мое присутствие в доме, уединялись в библиотеке и, поговорив приглушенными голосами или шепотом о чем-то своем, предавались интимным наслаждениям. Я, конечно, старался не шпионить за ними, хотя, сидя в своем кабинете, не мог не задумываться о том, чем они занимаются в это мгновение. Пока я силился сосредоточиться на цифрах и формулах, воображение *рисовало* мне сцены, происходящие всего в нескольких метрах от меня...

Как-то Марианна заметила, что хорошо бы уехать куда-нибудь из Берлина отдохнуть. Меня настолько занимали собственные мысли, что я почти пропустил ее слова мимо ушей и сразу же отказался. И только несколько часов спустя меня осенило, какую удобную возможность предоставляет мне поездка.

— Марианна, — начал я без всякой подготовки, не в силах скрыть свое возбужденное состояние, — мне кажется, твое предложение просто замечательное! Нам нужно сбежать хоть ненадолго от всего этого... Давай съездим на курорт или еще в какое-нибудь тихое местечко!

— Очень хорошо, что ты передумал, — обрадовалась она, по-своему истолковав мое волнение. — Отдых пойдет на пользу нам обоим!

Помолчав секунду и притворясь, что мысль пришла ко мне вот в это самое мгновение, я подписал свой приговор:

— Почему бы тебе не пригласить Наталию? Ей сейчас очень нелегко, а Гени проторчит на фронте еще несколько недель. Совестно бросать ее здесь одну...

— Густав...

— Я уверен, она согласится, мы ведь для нее как семья... Да мы и есть *ее* семья! — решительно заключил я. — Позвони-ка ей, узнай, сможет ли она...

— Я не уверена, что это правильное решение, Густав. Ты же сам предлагал убежать от всего... Чтобы только ты и я...

1. И все довольны *(итал.)*.

— Было бы эгоистично с нашей стороны не взять ее с собой! Она твоя лучшая подруга, а я, хоть и поругался с Гени, обязан заботиться о ней... Короче, возражения не принимаются, звони!

— Ну хорошо...

Как я и предполагал, после недолгих уговоров Наталия согласилась ехать с нами. Она письмом известит об этом Генриха и будет ждать нашего сигнала о готовности к отбытию. Я же занялся планированием поездки, воображая и продумывая все детали с подробностями, с какими несчастный любовник размышляет о способах самоубийства. Выпросил отпуск на работе, забронировал места на одном из баварских курортов, причем побеспокоился, чтобы там все было так, как нужно для осуществления моего замысла.

Мы втроем уехали из Берлина в конце июля. Страхи Марианны оказались напрасны — моими стараниями между нами установилась сердечная и дружеская атмосфера без всяких следов напряженности. Для успеха эксперимента надо было создать идеальные условия, малейшая оплошность или подозрение все испортили бы, поэтому я сделал возможное и невозможное, чтобы избежать любых недоразумений и неловкостей.

Курорт, на который мы приехали, оказался идеальным местом для отдыха. Как я и предполагал, поскольку разгар отпускного сезона еще не наступил, а также учитывая военное время, большинство номеров в гостинице пустовало. Наши комнаты, просторные и чистые, выходили окнами в маленький сад и (об этом я побеспокоился заранее) соединялись между собой дверью, которая обычно оставалась закрытой, но, к счастью, не запиралась на ключ.

Первый день мы провели в непрерывных разговорах, совершая короткие прогулки по окрестностям. Вдалеке заснеженные горные вершины охраняли нас, словно огромные крепостные стены. Однако погода стояла прохладная, вынуждая собираться всех вместе в главной гостиной и отогреваться у каминного огня. Здесь мы затевали игру в карты с парой престарелых супругов — единственными, кроме нас, отдыхающими. Общение с ними еще больше усиливало чувство, что время для нас остановилось. Влияние внешнего мира ограничивалось старым радиоприемником; каждый вечер управляющий гостиницей настраивал его на волну новостей с фронта.

Посреди оживленных разговоров, шуток, взрывов хохота я все время ждал, что мои спутницы как-нибудь выдадут себя — брошенным украдкой взглядом или якобы случайным прикосновением, — но ничего не замечал. На третий день чуть потеплело, и я, в отличие от обеих женщин, изъявил желание отправиться на долгую прогулку.

— Вернусь через пару часов, — провозгласил я, демонстративно беря под мышку увесистый фолиант и показывая тем самым намерение с пользой провести время, пока никто не мешает.

Удалившись на пару сотен метров и убедившись, что никто меня не видит, я вернулся в гостиницу через заднюю дверь и проник в пустую комнату Наталии. Женщины говорили о разных пустяках, но вскоре замолчали. Итак, я не ошибся! Выждав еще несколько секунд, я осторожно приоткрыл разделявшую нас дверь и посмотрел в образовавшуюся щель. То, что мне пришлось затем наблюдать, на всю жизнь запомнилось как одно из самых чудесных и волнующих зрелищ.

Марианна медленно раздевала Наталию. Она стояла, а жена моего товарища сидела на кровати. Расстегивая платье подруги, Марианна гладила ей плечи, наклонялась, чтобы поцеловать волосы, прикасалась влажными губами к белоснежной коже на шее. Наталия, в свою очередь, находила ласкающую ее руку и, насколько я мог судить, тоже подносила к губам. Потом они поменялись ролями, и теперь уже Наталия стала расстегивать блузку на Марианне. Они так и не разделись до конца, словно опасались моего неожиданного возвращения.

Не перечислить все противоречивые чувства, охватившие меня в те мгновения: возбуждение, ревность, нежность, злость... И еще многое, чему невозможно дать определение. Развернувшееся перед моими глазами действо стало результатом долгих приготовлений, будто я был театральный режиссер или заведующий лабораторией, пожинающий плоды собственных трудов. И уж чего я не собирался делать, так это останавливать их, срывать невероятное представление, которое мне выпало созерцать. Весь остаток недели я посвятил тому, чтобы обеспечить ежедневное повторение чудесного спектакля. Он приводил меня в самый настоящий экстаз. Как не восхищаться этими женщинами? Как не восторгаться по поводу их необычного союза, неожиданной формы совокупления, реализовавшейся в специально созданных мной благоприятных условиях? Хотя, как мужчина, я чувствовал, что меня обманули, нанесли удар ниже пояса, наставили рога; было унизительно ощущать себя жалким извращенцем, мазохистом и voyeur.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в Берлин мы вернулись другими людьми, не такими, какими были неделю назад. Пусть обе подруги и раньше обменивались поцелуями, но до баварского курорта они не ощущали подобной эротической свободы. Во мне тоже произошли глубокие изменения; я еще не представлял себе, как буду действовать дальше, но знал – сделаю некий решительный, важный шаг, который кардинально повлияет на течение всей оставшейся жизни... И я оказался прав!

Эрвин Шрёдингер, или О желании

Дублин, март 1947 года

Добраться до Дублина мы могли только на полуразвалившемся военно-транспортном самолете, который делал там промежуточную посадку по пути из Гамбурга в Соединенные Штаты. Он походил на уродливую, замасленную груду металла, и я пожалел, что согласился отправиться в это путешествие. На душе стало совсем тошно, когда наконец явился лейтенант Бэкон в сопровождении Ирены. Я даже не берусь описать ее внешность, могу сказать только, что от нее исходил запах дешевого одеколона (наверно, Бэкон подарил), а произношение было не чисто немецким, но с акцентом, похожим на славянский.

– Профессор, позвольте представить вам Ирену! – радостно провозгласил Фрэнк.

– Enchanté[1], – отрезал я, раз уж некуда деваться.

1. Я в восторге! (*франц.*)

— Профессор Линкс, о котором я тебе столько рассказывал. Мозг нашей экспедиции!

Женщина осмотрела меня с головы до ног.

— Привет, — процедила она и протянула руку, которую пришлось пожать из-за отсутствия альтернативы.

Внутри самолет походил больше на погреб для хранения оливкового масла. Вместо обычных пассажирских кресел вдоль бортов были свалены несколько сидений. Отсутствие хорошего освещения вызывало неловкое чувство. Я старался держаться как можно дальше от счастливых влюбленных, однако услужливые члены экипажа разместили нас рядышком. Словно соблюдая идиотские приличия, даму усадили между кавалерами.

— Сколько времени займет перелет? — спросил я тоскливо, подразумевая в действительности: как долго мне придется терпеть рядом с собой эту особу?

— Около четырех часов!

Интересно, у них есть снотворное? Ладно, я прихватил с собой томик "Мыслей" Паскаля[1] и смогу все время перелистывать его... если меня не укачает!

— Насколько мне известно, у вас маленький ребенок? — обратился я к соседке, пусть не думает, что я настроен против нее.

— Иоганн, — с напускной гордостью заявила она. — Пришлось оставить его с бабушкой... Я буду все время тревожиться о нем!

Хорошо, что у меня под рукой мой Паскаль!

Заработали двигатели, производя невыносимый грохот, казалось, меня засунули в бетономешалку.

На протяжении всего полета они о чем-то кричали друг другу на ухо, держались за руки и вообще вели себя как молодожены, отправившиеся в райское свадебное путешествие.

В Дублине приземлились около восьми вечера. Нас встретил сотрудник института и отвел в маленькую гостиницу, где нам предстояло жить все это время. В результате очередного невезения моя комната оказалась по соседству с номером Бэкона и Ирены, и, как и следовало ожидать, через тонкую стенку мне поневоле пришлось всю ночь прислушиваться к их крикам и стонам, напоминающим звуковую дорожку порнофильма. На следующее утро на встрече со Шрёдингером я был мертвенно бледен и, очевидно, напоминал зомби, усилием воли заставляя себя сосредоточиться на ходе беседы.

Шрёдингер, коренной уроженец Вены (я-то родился в 1887-м, то есть старше его на три года), был прямой противоположностью Гейзенбергу: весельчак и женолюб, денди и bon vivant[2], жизнерадостный, как вальс Штрауса "Женщины, вино и розы". Если Гейзенберг являл собой стоика физической науки, то Шрёдингер представлял ее гедонистическое крыло. Их обучение и профессиональное развитие также протекали по-разному. Шрёдингер в молодости не испытывал ни малейшего интереса к квантовой теории, тогда как Гейзенберг практически рос

1. "Мысли г. Паскаля о религии и некоторых других предметах" — незаконченный труд французского философа, писателя, математика и физика Блеза Паскаля (1623—1662).
2. Бонвиван, кутила (*франц.*).

вместе с ней. Венский ученый сделал свои первые важные открытия и начал публиковаться, будучи никому не известным профессором Цюрихского университета. Вернер же с юношества считался вундеркиндом, ему потакали и оказывали протекцию великие фигуры в физике. Поэтому Гейзенберг уже в двадцать пять лет стал знаменитым, а к Шрёдингеру слава пришла только в тридцать семь...

В 1934 году Шрёдингер приезжал в Принстон, но Бэкон смог присутствовать только на одной из прочитанных им лекций. Поведение ученого было несколько экстравагантным: во-первых, все знали, что он повсюду путешествует вместе с супругой Анни и любовницей Хильдой Марч, женой своего бывшего ученика. Кроме того, на протяжении всей поездки по Соединенным Штатам Шрёдингер неустанно поносил американцев за их образ жизни.

Но Бэкону прежде всего запомнилась лекция Шрёдингера, самая интересная, какую он когда-либо слышал. Он сожалел, что Шрёдингер не принял предложения, поступившие и от Принстонского университета, и от Института перспективных исследований, и не остался в Америке. Потом Бэкон потерял австрийца из виду. Шрёдингер же продолжал работать в Оксфорде, но в 1936 году решил вернуться в Австрию и возглавить кафедру университета города Грац. И это была его большая ошибка. В 1938 году родину ученого аннексировал германский рейх, и тогда Шрёдингер вместе со своей необычной семьей отправился в трудную одиссею по Европе.

Он прибыл в ирландскую столицу 7 октября 1939 года и оказался в мирной обстановке, какой многие его коллеги лишились на долгие годы. В Ирландии хоть и ощущался страх и не хватало продуктов, все же это островное государство оставалось в стороне от войны, так что такой состоявшийся физик, как Шрёдингер, мог спокойно заниматься углублением своих познаний мудрости индийских Вед, расширять знакомство с опубликованными работами по физике и философии, предаваться радостям семейной жизни. Последняя стала еще более необычной, поскольку любовница Хильда родила дочь, за которой очень старательно ухаживала жена Анни. Однако их избранник не забывал и о новых победах на любовном фронте.

Скольких женщин удалось Эрвину уложить в свою постель? Маленький, тощий и некрасивый, в огромных круглых очках, закрывающих пол-лица, он стал настоящим Latin lover[1] ученого мира! Эрвин, наверно, и сам точно не знал, к чему испытывал бóльшую страсть — к женщинам или к физике. Во всех городах, где ему довелось побывать хотя бы проездом, он, как испанский конкистадор, оставлял за собой огненный след в покоренных женских сердцах. Его похождения могли бы лечь в основу не одного эротического романа. Пикаро в обличье интеллектуала, сатир с манерами благородного рыцаря, развратник под маской скромника... Глядя на него, нельзя было не задаться вопросом, как он вообще успевал переспать со столькими женщинами, как ему удавалось влюбить их в себя до беспамятства и какая психическая патология заставляла его самого влюбляться в каждую свою очередную подругу. Я употребляю здесь слово *влюбляться* в прямом смысле. Эрвин мог бы поклясться на Библии, что если не ко всем, то по крайней мере к большинству женщин, с кото-

1. Темпераментный любовник (*англ.*).

рыми имел половые отношения, он испытал чувство самой искренней любви. Две любовницы за месяц? Нет проблем! А три? Запросто! Даже четыре? А шесть не хотите? Его сердце, почище фантастического вечного двигателя, казалось, так и расточало неиссякаемую любовную энергию, всегда готовое одарить ею новых избранниц.

Когда лейтенант Бэкон, Ирена и я предстали перед Эрвином в дублинском Институте высших исследований, он познакомил нас со своей новой избранницей — бледной девицей, работавшей в каком-то правительственном учреждении. Ей было двадцать восемь, ему — только шестьдесят.

— Благодарю вас за любезное согласие принять нас, — начал Бэкон, не сумев придумать ничего оригинальнее.

Моему пониманию было совершенно недоступно, почему лейтенант не отправил Ирену ходить по магазинам, а потащил с собой к Шрёдингеру. Как ему не хватило такта?

— Спасибо, что пришли, — ответил Эрвин. — Давно не виделись, Линкс. Вы по-прежнему одержимы Кантором и бесконечностью?

— Да, пожалуй...

На этом всякий интерес его ко мне пропал, и свое внимание он сосредоточил на ножках нашей спутницы.

— А как ваше имя, мисс?

— Ирена, — ничуть не смутившись, представилась та.

— А у вас хороший вкус, дорогой юноша! Мир стал бы нестерпимо скучен, не будь рядом женщины, которой можно было бы подарить часть его, не правда ли?

Фрэнк улыбнулся, однако наибольший эффект замечание нашего донжуана произвело на Ирену; ее так и распирало от самодовольства.

— Я писал вам, профессор, — запинаясь, продолжил Бэкон, — что работаю над книгой о немецкой науке в период Третьего рейха... Вы принадлежите к самым заметным личностям того времени...

— Эрвин, почему бы тебе не поделиться с нами своими воспоминаниями о рождении волновой механики? — добавил я, стараясь придать разговору менее формальный характер. — Начать, скажем, с того, каким annus mirabli стал 1925-й?

— Да, год действительно чудесный! — ностальгически подхватил Эрвин. — До того момента мир науки (и мир в целом, должен добавить) был погружен в нескончаемый хаос. Все знали, что принципы классической физики безнадежно устарели, но никому не удавалось открыть новые, хотя попытки предпринимались десятки раз, тут и там. Ничто не могло заменить ясные и действенные ньютоновские законы. — Эрвин обращался в основном к Ирене. — Кванты Планка, релятивизм Эйнштейна, модель атома Бора, эффект Зеемана и проблема спектральных линий... Все вперемешку... Эту головоломку мог решить только тот, кто окончательно определил бы принципы квантовой теории, всесторонне объясняющие поведение атома!

— Профессор, расскажите об этом поподробнее!

Я действительно слышал голос Ирены или мне почудилось? Пришлось вмешаться:

— Технические термины слишком сложны для понимания неспециалиста...

— Ну почему же, Густав, думаю, мисс имеет право знать, о чем идет речь, — заметил Эрвин.

Почему мы должны терять время только из-за того, что Эрвину хочется выглядеть галантным? Бэкону следует не молчать, а остановить эту бесполезную болтовню!

— Как вы, друзья мои, наверно, помните, — привычно начал Эрвин, словно делая вступление к длинной лекции, — первым, кто увидел свет в туннеле, был принц Луи де Бройль. Именно ему пришла в голову гениальная идея взять луч света в качестве образца для изучения материи с помощью оптического волнового устройства. Этой простой идеи оказалось достаточно, чтобы революционизировать науку на двадцать лет вперед! Почему? — спросит мисс, а я отвечу: потому, что, сам того не предполагая, де Бройль дал ученым в руки инструмент, которого им так не хватало в деле изучения атомов! Представьте на минуту, милая Ирена, такую картину: по всему миру физики ломают голову в поисках метода, применимого в рамках новой науки, как вдруг возникает де Бройль, этот французский аристократ, и открывает всем глаза на то, что всегда маячило прямо перед нами, да только никто этого не замечал, поскольку смотрели куда-то мимо из-за неверно выбранного угла зрения!

— И тогда появляются, почти в одно и то же время, теория Гейзенберга и ваша, профессор, — вставил Бэкон.

— Совершенно верно.

— В чем суть открытия Гейзенберга?

— Самая большая проблема механики Гейзенберга в том, что она построена на математических выкладках, непонятных даже большинству ученых-физиков. Открытие Гейзенберга гениально: его метод позволяет рассчитывать вероятные траектории электронов (с учетом принципа неопределенности) вместо того, чтобы отслеживать каждую из них. Выдающаяся идея, надо признать! Вот только применить ее на практике оказалось не просто.

— И тогда появились вы...

— Не хочу показаться тщеславным, однако да, мне удалось немного прояснить ситуацию.

— Возникла простая идея: соединить квантовую теорию с волновой механикой в том виде, как ее сформулировал французский ученый. Вы спросите, мисс, что мною двигало, и я повторю то, что уже говорил не раз: всего лишь стремление поставить на место недостающие кирпичики в решении головоломки.

— А в результате потрясли весь мир, — поддакнула Ирена.

— Да, то была настоящая бомба! Но, конечно, пришлось потрудиться. На протяжении 1926 года я опубликовал одну за другой шесть статей на эту тему, пока наконец не привлек внимание Планка, Эйнштейна и компании...

— Признание нашло вас гораздо быстрее, чем Гейзенберга, — заметил я.

— Причина все та же: его математические выкладки чрезмерно трудны для понимания.

— Профессор, а что именно думал по этому поводу Гейзенберг?

— Наши отношения были довольно прохладными. Я получил от него письмо, в котором он заявил, что волновая механика "невероятно интересна", но, по сути, не добавляет ничего нового к тому, что уже сделано им...

— Это действительно так или слова Гейзенберга свидетельствуют о... чувстве, похожем на зависть? — полюбопытствовал я.

— Не люблю говорить о других плохо, но все же мне кажется, что дух соперничества оказывал большое влияние на его позицию. Не забывайте, что Гейзенберг доныне почитает себя основоположником современной физики.

— Неужели ваши точки зрения были в самом деле настолько несовместимы?

— В то время — да. Гейзенберг и Борн смотрели на проблему под углом оптического позитивизма, настаивая, что движения атомов невозможно наблюдать визуально. Я же придерживался прямо противоположного мнения: моя теория допускала возможность буквально *видеть* то, что происходит внутри атома.

— Прямо парадокс какой-то, — воскликнул Бэкон. — Долгие годы физики жаловались на отсутствие теории, способной объяснить внутриатомную механику; и вот пожалуйста — не одна, а сразу две теории, причем каждая описывает процесс по-своему...

— По-своему, но не по-разному! — взволнованно подхватил Эрвин, который явно вошел во вкус своего затянувшегося выступления. — Да, это была настоящая война: по одну сторону фронта Гейзенберг, Бор и Иордан с их матричной механикой, по другую — я со своей механикой волновой... Хотя по сути обе теории совпадали, никто не хотел уступать, поскольку под угрозу ставилось ни много ни мало достоинство ученого. Все научное сообщество ожидало, кто одолеет в этой схватке, потому что победителю предстояло играть доминирующую роль в квантовой физике на годы вперед...

— То есть речь шла о борьбе за власть? — спросила Ирена.

— Что ж, можно сказать и так, мисс, не стану отрицать...

— Существует мнение, что проблема заключалась в одном только Гейзенберге, точнее, в таких его чертах, как завистливость, чрезмерная амбициозность и высокомерие, — добавил я.

— Да, есть такое мнение.

— Что же было дальше? — вновь задала вопрос Ирена. — Кто одержал верх?

— События постепенно стали развиваться естественным путем. Вскоре все физики начали применять в исследованиях мой метод, хотя за пределами кабинетов продолжали выражать согласие с Гейзенбергом, — Эрвин изобразил некое подобие улыбки.

— Судя по вашим словам, между вами и Гейзенбергом всегда сохранялись натянутые отношения...

— Мы соревновались в гонке за один и тот же приз, профессор Бэкон, — пояснил Эрвин. — Поэтому поведение Гейзенберга в определенной степени закономерно. Вам, по-видимому, известно, что ученый-физик может посвятить годы — причем наиболее продуктивные — решению единственной задачи, ведомый только верой в успех, но без всякой гарантии благополучного исхода. Именно это произошло с Гейзенбергом: после многолетних трудов ему улыбнулась столь редкая удача, как вдруг кто-то осмеливается заявлять, что он ошибся, или, еще хуже, что существует другой, лучший метод! Мне кажется, его поступки обусловлены естественным чувством досады и не направлены против меня лично...

— Вы оба одновременно стали лауреатами Нобелевской премии...

— Не совсем так. В 1932-м премию не дали никому, поэтому в 1933-м состоялось присуждение как за текущий, так и за предшествующий годы. По каким-то соображениям Шведская академия[1] решила, что Гейзенберг должен получить Нобелевскую премию за 1932 год, а мне вместе с Полем Дираком вручили премию за 1933-й... На мой взгляд, это было соломоново решение...

— Нельзя ли узнать, что вы теперь думаете о профессоре Гейзенберге?

— Вот так вопрос!.. Ну, несомненно, речь идет об одном из величайших ученых-физиков нынешнего столетия... Блестящий, проницательный ум, незаурядная личность...

— Преисполненная далеко идущих амбиций... — добавил я.

— У кого из нас их нет, Линкс?

— И все же, — вступил Бэкон, — на что он мог бы пойти ради достижения собственных целей?

Эрвин замолчал на несколько секунд с застывшей на лице улыбкой.

— Я бы сказал, он, как Фауст, готов продать душу, чтобы заполучить...

— Славу, бессмертие?

— Нет. Знания! Для меня Гейзенберг никогда не был человеком жадным или преследующим нечистоплотные цели. Наоборот, его тщеславие обусловлено тем, что с самого начала сознательной жизни, с раннего детства он *знал* о своей принадлежности к избранным, к тем немногим смертным, кого Господь коснулся перстом своим и одарил способностью проникать в свои тайны... Да, полагаю, он пошел бы на что угодно, лишь бы приблизиться к *истине*!

— На *что угодно*? — многозначительно переспросил я.

Но Шрёдингер не стал уточнять, что он имел в виду.

— Вы полагаете, профессор, что для Гейзенберга соотношение неопределенностей, действующее в квантовой механике, стало своего рода свидетельством решающего значения свободного волеизъявления личности? — Бэкону явно хотелось пофилософствовать.

— Именно такого убеждения придерживался один из его коллег, Паскуаль Иордан, который, естественно, на протяжении многих лет являлся ревностным почитателем нацистов. Иордан считал, что, поскольку в природе царит неопределенность, долг человека — заполнить образовавшиеся пустоты. Каким образом? Да по своему собственному усмотрению! Идея не нова и, к сожалению, попахивает произволом: так как не все в мире понятно, правда за тем, кто сильнее... У кого в руках рычаги власти (а это должна быть личность с железной волей), тот и определяет — что хорошо, а что плохо, что правильно, а что — ошибка...

— Так ли я вас понял, профессор? — задержав дыхание, проговорил Бэкон. — Из этого следует, что наш мир квантовой материи и относительности сам по себе подразумевает вероятность возникновения диктатуры?

— Именно так они рассуждали. Вселенная только тогда будет иметь завершенный вид, когда человек выполнит свою функцию волеизъявления.

1. Шведская академия присуждает Нобелевские премии в области литературы; премии в области физики присуждает Королевская академия наук в Стокгольме.

— Вижу, вы с этим не согласны...

— Конечно нет! — убежденно воскликнул Эрвин. — Я считаю подобную точку зрения морально безответственной и неприемлемой! На мой взгляд, свободное волеизъявление личности не отвергает материальный детерминизм. После многочисленных шагов в неверном направлении человечество наконец осознало, что вероятность случайных событий не может служить основой для этики современной цивилизации. — Эрвин был похож на Папу Римского, выступающего с проповедью неодетерминистского учения. — А если еще короче, то квантовая физика не имеет ничего общего со свободным волеизъявлением.

— Соответственно, физическая наука также ни имеет никакого отношения к моральному аспекту человеческих поступков.

— Научное мировоззрение никоим образом не рассматривает наше конечное предназначение и не обсуждает (этого еще не хватало!) вопросы, связанные с именем Господа. Наука не способна ответить на подобные вопросы! А такие ученые, как Иордан и, возможно, Гейзенберг, напротив, видели в квантовой физике свидетельство нашей неспособности познать действительность... Следовательно, волеизъявление личности — единственная возможность установить все необходимые параметры поведения человека. Я считаю, что эта точка зрения ошибочна и служит причиной для неверных деяний...

— В мире неопределенностей, где нет ни добра, ни зла, за нормальные деяния могут сойти даже концентрационные лагеря и атомная бомба... — осмелилась вставить Ирена.

— Если до конца следовать данной точке зрения — да, так оно и есть, моя милая...

— Вы — один из немногих крупных физиков, которые не принимали участия, даже косвенно, в проектах по созданию атомной бомбы ни на чьей стороне, — отметил Бэкон.

— Ко мне не обращались с подобными предложениями, но если бы обратились, я бы отказался.

— Почему же многие ученые в Соединенных Штатах и в Германии добровольно включились в эту работу?

— Их привлекала грандиозность задачи, — ответил Эрвин.

— Вы хотите сказать — их побуждало тщеславие?

— Несомненно. Любой физик был бы счастлив, найдись для его теории практическое применение. Все ученые, друзья мои, и особенно физики-теоретики, по натуре своей ненормальные: мы всю жизнь проводим в размышлениях и вычислениях, так что, когда наши умозаключения вдруг становятся реальностью, для нас будто свершается чудо.

— А как же этические и религиозные аспекты?..

— Ну, от этого физикам следует держаться подальше, учитывая мировую неопределенность и относительность (не по Эйнштейну, а в Протагоровом[1] смысле). Надо просто делать свое дело, не отвлекаясь на то, что не имеет отношения к науке, и тогда можно не опасаться угрызений совести... Будешь так поступать, и тогда радиоактивный гриб атомного взрыва станет не более чем результатом физического опыта, подтверждающим теоретические выкладки.

1. Протагор (V в. до н. э.) — древнегреческий философ, считается проводником релятивизма в религии.

— И только?

— И только. Как вы думаете, почему так много людей добровольно работали в атомных программах? Из чувства патриотизма? Это, конечно, сильная мотивация, но не главная... Гордость за свое дело! Vanitas vanitatis[1], профессор Бэкон! Ученые-физики вели между собой свою собственную войну параллельно боевым действиям войск. Каждая сторона стремилась первой создать атомную бомбу; успех означал немедленное поражение противника. Последствия взрыва не принимались во внимание, важнее считалось покрыть позором проигравших соперников. Так и случилось. К счастью, да простит меня профессор Линкс, проигравшей оказалась команда Гейзенберга...

— Я не могу в это поверить! — раздался голос Ирены. — Вы, физики, готовы заплатить человеческими жизнями за удачную профессиональную карьеру, за победу над конкурентами! Да вы после этого еще хуже, чем Гитлер!

— А мы никогда и не пытались выглядеть белыми голубками, — цинично парировал Эрвин. — Вы разочарованы? Зато теперь вы знаете, что ученые — не самые лучшие в мире существа.

— Миллионы людей погибли только ради доказательства какой-то теории!

Я все больше ощущал себя не в своей тарелке и ничего не мог с собой поделать. Это чувство неловкости вызывал у меня Шрёдингер...

— Для них то была игра, — продолжал Эрвин, — примерно такая же, как шахматы или покер. Может быть, даже менее трудная, по крайней мере в математическом отношении. Вам, Линкс, все это хорошо известно. Цель проста: обыграть соперника; остальное не имеет значения.

— Потому-то Гейзенберг и казался таким подавленным после окончания войны... — произнес Бэкон, как бы размышляя вслух. — Не из-за поражения Германии — с этим он смирился уже давно, на несколько месяцев раньше; просто союзникам удалось то, что он рассматривал лишь как отдаленную возможность... И Герлах, узнав о Хиросиме, заплакал по той же причине...

— Это отвратительно! — возмущенно выкрикнула Ирена визгливым, кудахтающим голосом. — Заплакал, себя пожалел, а о жертвах взрыва даже не подумал!

— Я хочу вам напомнить, мисс, что ничего подобного не произошло бы без непосредственного участия военных и правительства. Какими бы злодеями ни выглядели ученые, они не стали бы заниматься вооружениями, если бы их не заставляло государство. Именно от *государства*, независимо от его политических или идеологических установок, и исходит наибольшая опасность. Опухоль фашизма удалена, но его идея продолжает жить... Меня охватывает дрожь при мысли о том, как далеко мы можем зайти! Вообще-то мы и так уже зашли *слишком* далеко...

Мы проделали долгий, утомительный и неспокойный обратный путь, весь в воздушных ямах, на другом замызганном военном самолете. В Гамбурге сели на поезд с пунктом назначения Гёттинген, и его жарко натопленный вагон стал местом не менее жаркого спора между известной читателю женщиной и автором этих строк.

1. Правильно: vanitas vanitatum (et omnia vanitas) (*лат.*) — суета сует (и всяческая суета).

— Незаурядная личность, не так ли? — сказал я, имея в виду Эрвина.

— Да, впечатляет, — согласился Бэкон.

— А мне его просто жаль, — с раздражением вставила Ирена из одного только желания перечить.

— Вынужден с вами не согласиться, Ирена, — продолжил я. — Профессор Шрёдингер лишь прибегает к методу reductio ad absurdum[1] для доказательства своей теории...

— Пожалуйста, попонятнее, Густав, — предостерег меня Бэкон.

— Все очень доступно, — начал я, — при каждом измерении параметров квантового явления мир разделится на определенное число возможных вариантов выбора...

— Что общего между этим и любовными похождениями вашего *профессора* Шрёдингера? — в агрессивной манере перебила меня Ирена.

— Ну как же, видно невооруженным глазом. На квантовом уровне любое наше решение приводит к выбору того или иного пути... А что есть любовь, если не самый большой выбор? Каждый раз, когда кто-то *решает* полюбить женщину, он, по сути, выбирает одну из многих возможностей, уничтожая, таким образом, все остальные... Ну разве не ужасно — уничтожать будущее? Получается, что, делая выбор, мы всегда безвозвратно теряем сотни разнообразных жизней. Иметь единственного любимого человека — значит не любить многих других...

— Думаю, у нас с вами совершенно непохожие представления о любви, — снова перебила меня Ирена.

— Напротив, мисс. Я не говорю ничего нового. К примеру, вы сделали выбор, — я жестом указал на Бэкона, — и, поступив так, лишили себя возможности любить других, скажем, профессора Шрёдингера или меня...

— Какое счастье!..

— Вот видите! — сказал я, не обращая внимания на иронию. — Вы согласны со мной... Выбирать — значит терять сотни возможных миров...

— Человек должен отвечать за свои решения.

— Дорогая Ирена, я восхищаюсь вашей самоотверженностью, однако не все думают так же, — засмеялся я. — Мы, люди, по слабости своей склонны совершать ошибки... Может быть, к вам это не относится, но большинство людей все же ошибаются, а потом раскаиваются в содеянном. Вот тогда-то и приходят на ум сакраментальные слова: *"А что, если бы?.."* Наверное, профессор Шрёдингер — одно из тех слабых существ, которые хотели бы прожить тысячу разнообразных жизней, соединив их в одну; поэтому он сумел заиметь жену и любовницу и сожительствовать с обеими; поэтому он успевает одновременно любить многих женщин; поэтому он стремится обрести абсолютное счастье не иначе как в многообразии ощущений...

— Он только говорит, что любит их всех, но это не так... — упорствовала Ирена.

— А я думаю, что так, с вашего разрешения. Или, по меньшей мере, он верит, что любит, а этого достаточно.

— Человек или любит, или нет...

— Ошибаетесь, Ирена! Я полагаю, что Эрвин любит (или думает, что любит, по мне — без разницы) многих женщин одновременно, из-

1. Доведение до абсурда (*лат.*).

бавляя себя от необходимости выбирать... Для чего ограничивать себя одним миром, когда существует множество? Зачем любить единственную женщину, если их целый легион? Придя к такому выводу, Эрвин обретает несколько жизней, собранных в одну. Причем он не Дон Жуан и не Казанова, не охотится за девственницами ради спортивного интереса — пополнить список соблазненных, а потом бросить... О нет! Наоборот, он стремится избавить свою любовь от всяких границ, расширять свои возможности! Сожительствовать одновременно с женой и любовницей? Не думаю, что это просто или уж очень весело. Повторяю, Эрвин поступает так не для развлечения, а чтобы позже не раскаяться по поводу выбора только Анни, только Хильды или только той девушки с радио... Он имеет их всех!

— Вы такое же чудовище, как и ваш профессор, — в неудержимом гневе взорвалась Ирена. Бэкон, хранивший молчание все это время, попытался было успокоить ее, но безуспешно. — Вы прикрываетесь наукой, чтобы оправдать недостатки своего собственного развития как личности. Спрашиваете, как избавиться от сомнений и раскаяния при выборе? Вообще не выбирайте! В жизни не встречала большей трусости! Поймите, риск выбора — это цена свободы. Конечно, существует вероятность, что не все получится, но даже в таком случае стоит попытаться. Это и делает людей настоящими людьми, Густав! Шрёдингер и вы хотите ступить на самую легкую тропинку, то есть на *все* тропинки сразу... Хотите всегда быть в выигрыше... Но и в поражении, в неверном ходе есть свое преимущество — возможность начать все сначала!

— Еще далеко до Гёттингена? — спросил я, ни к кому не обращаясь...

Притяжение тел

Берлин, декабрь 1940 года

Прошло почти полгода после той поездки в Баварию, и ничего не изменилось; каждый из нас продолжал исполнять свою роль в нашем маленьком безумном спектакле. Марианна оставалась равнодушной супругой и жаркой любовницей; Наталия грустила в отсутствие Генриха и искала утешения в объятиях подруги; я же довольствовался тем, что подглядывал за ними...

Все переменилось в 1940 году, после рождественского ужина. Как раз в те дни Гитлер завершал разработку своего плана "Барбаросса" — внезапного нападения на Советский Союз, осуществленного летом следующего года. Как обычно, мы пригласили Наталию отпраздновать Рождество вместе с нами, поскольку, учитывая военное положение, Гени не удалось получить разрешение приехать домой. Он прислал из Парижа длинное письмо, которое Наталия, чуть не плача, прочитала нам вслух. Помимо поздравлений и сожаления по поводу своего отсутствия, он также просил меня не относиться к нему враждебно, так как неизвестно, будет ли у нас в будущем возможность помириться. Не знаю, что на меня больше подействовало — сочетание особого дня с горечью, звучащей в письме Гени, или прерывающийся от подступающих слез голос Наталии, или всхлипывания Марианны, только я не смог удержаться и во всеуслышание заявил, что прощаю его, что скучаю по нему не мень-

ше, чем обе женщины, и что если, бог даст, свидимся, сделаю все, чтобы восстановить былую дружбу. После этих моих слов будто произошло чудо: все мы вдруг почувствовали необычайную взаимную близость, стали как одна семья.

Марианна бросилась обнимать меня. То же сделала Наталия; она обняла меня и поцеловала, а потом обняла и поцеловала Марианну с такой же искренностью и так же нежно. Нас троих вдруг охватило восторженное, счастливое ощущение безграничной свободы, какое мы не испытывали с юных лет. Наконец-то мы сбросили с себя напряжение, тревожное чувство, сковывавшее нас долгое время, и могли быть в эту ночь свободны, свободны до конца... Нам хотелось одаривать друг друга лаской и нежностью, особенно теперь, когда мы, обнимаясь и целуясь, так сблизились... Здесь присутствовали уже не три разобщенных существа, но три плотно прижатых тела со слившейся воедино душой... Мы были нужны друг другу как никогда; холодная, черная ночь, глядевшая на нас через окна, напоминала, что все в мире ненадежно и мимолетно... Кто знает, придется ли нам еще раз испытать это необыкновенное состояние сердечной общности? Вряд ли... Перед необъятностью и вечностью, взирающей на нас снаружи Вселенной, мы словно превратились в беззащитных испуганных зверьков, влекомых неодолимой силой животных инстинктов и желаний...

Кто из нас решился первым? Наверно, я... Я прильнул ко рту Марианны в долгом поцелуе, чего не делал уже долгое время, не выпуская из рук тонкие пальцы Наталии... Не успев опомниться, я целовал уже губы Наталии, не останавливаясь, проводя языком у нее во рту; мы оба вожделенно содрогались, касаясь друг друга, а Марианна тем временем расстегивала платье... Потом каждый лихорадочно сбрасывал одежду со своего разгоряченного от возбуждения тела. Каким-то чудом (которое теперь мне кажется проклятием) в ту рождественскую ночь нам удалось всем троим естественным образом объединить наши ласки; мы катались по полу, словно хищники в борьбе за добычу, целовались, и задыхались, и умирали, и любили без конца, неудержимо, до изнеможения... Мы потеряли свою индивидуальность и превратились в многоликое существо, движимое лишь чувствами и желанием. И уже не имело значения, чья нога, чей взгляд, чьи гениталии, чья кожа под рукой или губами — все принадлежало всем, бездумным и ошеломленным, ощущающим только полное отсутствие всяких преград перед истинной любовью. "Возлюби ближнего твоего, как самого себя", — повелел Тот, чье рождение праздновалось в ту ночь, и мы следовали его заповеди до конца. Мы не грешили, *не могли* грешить: наоборот, на нас снизошла благодать, и мы впервые в жизни чувствовали себя невинными, как младенцы.

Голые и запыхавшиеся, мы ввалились в спальню и попáдали на простыни, словно в рыболовные сети, раскинутые для наших тел Святым Духом. Мы были бесполым облаком, проливающимся дождем на само себя и затмевающим само себя собственным великолепием. Каждая малейшая подробность являла собой произведение искусства: вот две роскошные женские груди медленно скользят по двум другим, не менее прекрасным; бархатная кожа живота одной женщины под моим языком сменяется впадинкой на спине другой женщины; нежные губы оставляют поцелуи на моих плечах и путешествуют дальше по чьим-то прелестным ножкам;

мой жаждущий член размеренно входит и выходит из вагины в вагину, одинаково влажные и зовущие; пальцы шести рук причудливо сплетаются, расстаются и вновь встречаются; звуки трех голосов то сливаются в умиротворяющую мелодию, то тревожат какофонией криков, то жалуются, то смеются, и уже невозможно различить, кто какую партию исполняет в этой музыке любви... Здесь, вместе с нами рождалась Вселенная, и мы были частью ее. Наши объятия служили первичными силами расширения; наше бессвязное бормотание — начальным Словом; наше блаженное, изможденное бессилие — отдыхом седьмого дня.

После бури наступило затишье; ошеломленные, мы недвижно лежали вперемежку на кровати, будто потерпевшие кораблекрушение на плоту, плывущем по воле волн, в ожидании, что кто-то придет и спасет нас, а звать на помощь уже не было сил... Если случившееся — не любовь, то что? Наверное, мы молились в эти минуты. Почти беззвучно, едва шевеля губами, сглатывая слюну, напоминавшую по вкусу молодое вино, молили о прощении — Бога, Генриха, людей — и умоляли подарить нам еще одну такую же ночь... И еще одну... Еще и еще, до перехода через все границы... До бесконечности.

Парадокс лжеца

Гёттинген, апрель 1947 года

Около семи часов вечера в пятницу лейтенант Бэкон, Ирена и я, каждый погруженный в собственные непростые думы, вышли на перрон гёттингенского железнодорожного вокзала. Бэкон поймал такси для Ирены — она должна была забрать маленького Иоганна из дома ее матери.

— Поездка оказалась довольно утомительной, не так ли, Густав? Отправляйтесь-ка отдыхать. Увидимся в понедельник.

— До понедельника, — попрощался я, все еще испытывая сильное чувство неловкости из-за того, что затеял этот глупый спор с Иреной.

Бэкон бросил взгляд на станционные часы и решил пойти домой пешком. После долгого пребывания на людях ему хотелось побродить в одиночестве по улицам Гёттингена. Ночью город, избавленный от утренних недомоганий и дневных забот, чувствовал себя иначе — чистым и свежим. В темноте дом, где жил лейтенант, напоминал голову спящего кита. Тусклого света уличных фонарей не хватало даже на то, чтобы как следует осветить его глотку — подъезд и лестничную клетку. Бэкон спрятался в своем жилище, будто зверь, благополучно миновавший капканы браконьеров по дороге в нору. Наступила полночь. Сейчас он примет ванну и только потом, может быть, решится преодолеть короткое расстояние, отделяющее его от двери в квартиру Ирены. Зажег слабосильную лампочку и начал снимать с себя одежду. Стаскивая штаны, заметил в полумраке белый конверт, лежащий на полу у самого порога. Не в силах сдержать любопытство, он тут же распечатал конверт и нашел в нем другой, поменьше. Вскрыл второй и вынул из него маленькую прямоугольную карточку, исписанную крупным элегантным почерком. Содержание послания было следующим:

Уважаемый профессор Бэкон,

Хотя Вы пока не обратились ко мне с просьбой о встрече, знаю, что рано или поздно она должна состояться. Поэтому я решил сам сделать первый шаг. Для чего? Чтобы предостеречь Вас, юный друг. Вы вторгаетесь на чуждую Вам территорию. Когда-то и я поступил так же и слишком поздно понял, что сделал ошибку. Предупреждаю: будьте осторожны! *Все физики лжецы*!

Проф. Иоганнес Штарк

Бэкон почувствовал, как у него по спине бегут мурашки. На шутку это не похоже. Откуда Штарку известно его место жительства? И для чего ему понадобилось посылать записку? Пытается сбить с толку? Или наоборот, действительно хочет предостеречь? Или запугать? Лейтенант улегся на кровать и замер на несколько секунд, размышляя. Но вскоре поднялся и сделал первое, что пришло в голову (самое худшее из того, что мог сделать), – отправился к Ирене.

– Что с тобой? – встретила она его вопросом. – Ты чуть дверь не вышиб!

Бэкон протянул ей записку.

– Что это?

– Кто-то подсунул мне под дверь, – пояснил Бэкон.

Ирена помолчала, читая.

– Странно... Для чего ему понадобилось писать тебе это?

– Не знаю... Очевидно одно – ему известно, чем я занимаюсь.

– Не может быть...

– Похоже, он ненормальный...

Всего лишь несколькими часами позже Бэкон уже сидел у меня дома. Я взглянул на будильник – четыре часа!

– До утра не могли подождать? – В одной пижаме было довольно прохладно. – Кофе хотите?

– Да, спасибо.

– Так что случилось, лейтенант?

Он протянул мне тот же клочок бумаги, что недавно показывал Ирене.

– "Будьте осторожны! *Все физики лжецы!*" – прочел я вслух.

– Он устанавливает правила игры, будто речь идет о партии в шахматы или в покер. Непонятно только, чего он добивается? Зачем ему вызывать нас на поединок? Разве для него не разумнее оставаться, как и раньше, в тени?

– Наверняка Штарк догадывается, что мы его подозреваем, и защищается таким образом. Он решил напасть первым.

– И что же нам делать?

– То же, что и раньше, – работать!

– Но как поступить со Штарком?

– Может быть, он просто хочет выиграть время?

– Нет, он играет против нас!

– Успокойтесь, Фрэнк, – сказал я, положив одну руку ему на плечо, а другой ставя перед ним чашку с кофе. – Выкиньте из головы этого Штарка; мы не попадемся на его крючок!

– Слишком поздно, – заупрямился Бэкон. – Наш выбор невелик: либо продолжать игру, либо все бросить. Если мы выйдем из игры, Клингзор становится победителем.

— Ну хорошо, хорошо! — сдался я, обжигая губы горячим кофе. — Значит, мы в игре... Тогда скажите, лейтенант, каков, по вашему мнению, смысл послания Штарка?

— Откровенно говоря, не знаю...

— Хочет, чтобы мы засомневались в достоверности собранных нами показаний? Намекает, что кто-то лжесвидетельствовал?

— Похоже, что так. Только получается, что его слова не помогают, а, наоборот, замедляют дальнейшее расследование. Он же не указывает, кто этот лжесвидетель. Понимаете? Он посеял в нас зерно сомнения; с одной стороны, как бы подтверждает, что мы на верном пути, но теперь мы будем ломать голову над тем, кто же нас обманывает...

— Я и говорю: неистребимая гидра неопределенности...

— И ведь добился своего! — с досадой ударил Бэкон кулаком по столу. — Мы теперь вообще не сможем никому доверять... — Он задумался, потом сказал тоном, не терпящим возражений: — Жду вас в кабинете, профессор! Думаю, есть человек, который может помочь нам в этом деле...

Несмотря на то что была суббота, старое здание, где находился кабинет Бэкона, не оставалось совершенно безлюдным. В коридорах мимо меня проходили солдаты, несущие в руках коробки и папки с бумагами, а с полдюжины штатских корпели за письменными столами, заполняя бланки и просматривая почту. Я прибыл в начале десятого, и целое утро мы провели возле кодирующего устройства, готовя к отправке по телеграфу длинное сообщение, старательно составленное Бэконом. Только к вечеру получили долгожданный ответ. После расшифровки послания мне стало ясно, что нашим заокеанским корреспондентом являлся не кто иной, как сам Джон фон Нейман.

ОТ: Джона фон Неймана
КОМУ: лейтенанту Фрэнсису П. Бэкону

Дорогой Фрэнк!

Загадка, которую загадал вам Штарк, имеет простую, но содержательную разгадку. Речь идет не больше не меньше, как о знаменитом парадоксе Эпименида. Этот софист имел обыкновение подшучивать над своими коллегами, и нам, кстати, не следует забывать об этой здоровой традиции. Восхваляя мудрость и благопристойность земляков, этот добрый человек (уроженец острова Крит) сказал однажды:

— *Все критяне лжецы.*

Думаю, мне нет необходимости распространяться обо всех логических противоречиях, проистекающих из этого утверждения. Может быть, наш милый Штарк просто демонстрирует такие же высокие интеллектуальные и нравственные качества, как Эпименид или наш общий друг Курт Гёдель? В любом случае, желаю удачи! Судя по всему, она вам понадобится. Держите меня в курсе событий.

— Как же мне раньше не пришло в голову? — сокрушенно сказал я.

— А ведь парадокс Эпименида лег в основу знаменитой *теоремы Гёделя*! Тем не менее я тоже не узнал эту фразу... — Бэкону, очевидно, было по-настоящему стыдно. — Что ж, зато мы сделали шаг вперед.

— Фраза "Все критяне лжецы" так же ничего не значит, как и "Все физики лжецы", если она не произнесена соответственно одним из критян или одним из физиков...

— А нам как раз физик говорит, что все физики лжецы...

— Вот именно, — подхватил я. — Это все равно, как если бы я сказал: "Я — лжец", или: "Мои слова — ложь". Однако если в самом деле так, то я говорю правду. А если я говорю правду, значит, фраза не верна. А если она не верна, значит, я лжец, то есть говорю правду... И так ad infinitum[1]... Типичный возвратный парадокс!

— На котором построена, как весьма своевременно напомнил нам фон Нейман, теорема Гёделя... Вы обратили внимание, Густав? Снова неопределенность...

— Идея в послании Штарка порождает многие *другие* идеи...

— И все они сводятся к одному: истину познать невозможно...

— Он пытается убедить нас в безнадежности наших усилий, — сделал я малоприятный вывод. — Он словно говорит: истина противоречива, как неразрешимое утверждение; неуловима, как электрон; неопределенна, как парадокс...

— *И вам никогда не отыскать Клингзора...*

Я помолчал, размышляя и взвешивая различные варианты развития событий.

— Вот что пришло мне в голову, лейтенант, — начал я. — Может быть, послание Штарка как раз подтверждает наши прежние подозрения... В свое время он выступал против всех ученых, с которыми нам до настоящего момента довелось переговорить. Все они были настроены против Штарка, и сейчас, наверно, тоже...

— Так-так, продолжайте...

— Вспомните еще раз ключевую фразу: "Все физики лжецы". Штарк хочет, чтобы мы засомневались в правдивости всех собранных нами показаний... И знаете почему, Фрэнк? — все больше увлекался я. — Если мы примем за отправную гипотезу, что Клингзор и в самом деле один из бывших врагов Штарка, тогда все опрошенные нами физики солгали с целью не допустить его идентификации... А что, если все они лгут, укрывая *одного из своих*? Например, Гейзенберга?

— Я считаю, глупо подозревать Гейзенберга только потому, что на него указывает такая личность, как Штарк.

— В том-то и загвоздка, лейтенант. Штарк заведомо знал, что мы ему не поверим, поэтому и не пытается убедить нас. Наоборот, он призывает нас опровергнуть его мнение. Он не выдвигает обвинение, а, как вы заметили, бросает вызов! Если хотя бы одного из опрошенных нами удастся уличить во лжи, защищающей Гейзенберга, значит, мы на верном пути...

— Но тогда нам придется втянуть в это дело чуть ли не всех ученых Германии, — в нерешительности произнес Бэкон, хотя по глазам было видно, что его заинтересовала моя идея. — Не просто раскрыть целый заговор...

— Вот именно, что, если это заговор? — подзадорил я его. — Штарк, конечно, подлец, однако нельзя исключать, что на сей раз говорит

1. До бесконечности (*лат.*).

правду. В конце концов, Гейзенберг вызывает недоверие не только у меня, лейтенант. — Мне удавалось все сильнее заинтриговать Бэкона. — Общеизвестно, что от него впоследствии отвернулся сам Бор...

— Бор?

— Именно так, лейтенант! Мне неизвестно почему, однако причина должна быть, без всяких сомнений, по-настоящему серьезной! Вам не хотелось бы расспросить об этом самого Вернера?

Фрэнк безмолвствовал. Казалось, он сейчас где-то очень далеко и достучаться до его сознания невозможно...

— О чем ты думаешь? — спросил Бэкон, глядя на сдержанную и молчаливую Ирену, лежащую поверх простыней в предрассветном сумраке.

Тело женщины напоминало выброшенную волной на песок рыбину, обреченно подставившую свою нежную чешую иссушающим лучам восходящего солнца. Фрэнк провел рукой по ее открытой груди и животу, но она в ответ лишь болезненно содрогнулась, словно оцарапанная острием гарпуна.

— Знаешь, что мне не нравится, Фрэнк? Думаю, напрасно вы пытаетесь втянуть в эту историю Гейзенберга, — сказала она после паузы, чуть приподнимаясь. Ее маленькие розовые груди колыхнулись, будто два спелых яблока на ветке.

— Похоже, тебя это заботит больше, чем меня, — сонно проговорил он и вернулся в прежнее положение, положив голову ей на колени.

— Не понимаю, как ты можешь быть таким легкомысленным! — рассердилась она, поднимая обеими руками его голову со своих ног, будто упавший с дерева перезрелый фрукт. — Ты что, сам не видишь, что после четырех месяцев работы у тебя нет никакого конкретного результата?

— А послание Штарка? — Бэкон тоже приподнялся, чтобы обнять Ирену, но та не позволила.

— Ну конечно, послание! — с издевкой воскликнула она. — Чего стоит это послание! Грош ему цена! И оно совершенно не доказывает вину Гейзенберга... Одни сплошные домыслы.

Лейтенант наконец почувствовал, что ему стала надоедать назойливость подруги. Будь я на его месте, давно бы ее бросил или, по крайней мере, запретил совать нос в мои дела. Однако Бэкон слишком терпеливый, на свою беду.

— Ну хватит, Ирена! — взорвался он. — Лично тебя это никоим образом не касается. Знаю, что ты не доверяешь Густаву, но без его помощи я вообще ничего не добился бы...

— Ты и *так* ничего не добился, Фрэнк!

— Можешь говорить что угодно, а на мой взгляд, мы достигли большого прогресса...

— Какого же?

— Ты сама слышала мнение Планка, фон Лауэ, Шрёдингера... Даже если Гейзенберг не тот, за кем мы охотимся, возможно, через него мы скоро выйдем на кого нужно...

— Повторяю, — Ирена встала с постели и начала одеваться, — у тебя нет доказательств. Ваши подозрения — плод собственного воображения.

— Тебе-то что за дело? — отбивался Бэкон. — Куда ты?

— Мне просто жаль твоего времени, вот и все! — воскликнула она. — Мне пора, уже почти семь утра...

— Ирена, ну пожалуйста... У меня хватает проблем и без того, чтобы еще с тобой ссориться.

Она предпочла ничего не ответить. Раздражение исказило ее и без того вечно озабоченное лицо. Бэкону ничего не оставалось, как самому встать и начать одеваться.

Полуденное солнце переливалось в небе белым пятном, будто огромная капля молока. Бэкон, как обычно, явился на встречу точно в назначенный час. Гейзенберг также не заставил себя ждать. Ему все больше действовал на нервы этот простодушный и упрямый американец. Тема сегодняшней беседы оставалась прежней: якобы подготавливаемая Бэконом монография о науке Германии.

— Надеюсь, мой вопрос не покажется вам бестактным, — начал лейтенант. — Почему вы согласились работать в атомной программе рейха? Разве вы не понимали, что могло произойти, обладай Гитлер таким оружием, как атомная бомба?

— Я только занимался научной деятельностью, не более того, профессор Бэкон, — промолвил Гейзенберг ледяным тоном. — Выполняя свои обязанности, я приносил пользу не только родине, но и всему человечеству...

— Каким образом? Поясните, профессор!

— От меня зависело, насколько быстро продвигалась работа по созданию атомной бомбы, — твердо сказал он. — Я бы ни за что не позволил, чтобы оружие такой мощности когда-либо использовалось против мирных людей...

Гейзенберг внезапно замолчал.

— Вы хотите сказать, что готовы были воспрепятствовать успеху собственного проекта?

— Говорю вам, я никогда не позволил бы применить такое оружие на практике, профессор Бэкон, вот и все.

— Даже если бы это было расценено как государственная измена?

— Я ни при каких обстоятельствах не предам мою родину, профессор! — Гейзенберг разозлился не на шутку. — Но и не позволил бы, чтобы миллионы невинных людей погибли по моей вине. А вот вы в Хиросиме и Нагасаки...

— Что ж, лучшая защита — нападение.

— Будем реалистами, профессор Бэкон, — добавил он. — В конечном счете, по *моей* вине не погиб ни один человек. В то же время мои коллеги в Америке по каким-то соображениям — из чувства патриотизма или с целью избежать большего зла, не мне судить, — сделали так, что погибли миллионы... Так какой смысл теперь предъявлять обвинение мне?

— Я не обвиняю вас, профессор...

— Сколько высококлассных физиков и математиков принимали участие в атомной программе союзников? Сам Эйнштейн одним из первых выступал за создание бомбы... И господин Бор был в их числе, а теперь он смеет осуждать меня!

Очевидно, в этот момент Гейзенберг понял, что начал терять контроль над собой и говорить лишнее. Он замолчал, напрягшись как барабан, пряча негодование за вымученной улыбкой.

– Бор? – с невинным видом переспросил Бэкон.

Гейзенберг с секунду поколебался, потом сказал:

– Бор и многие другие...

– Так вы с ним больше не дружите? – не зная жалости, упорствовал Бэкон. – В моем представлении вы всегда были как члены одной семьи...

– По большому счету, мы и есть одна семья, – двусмысленно пробормотал Гейзенберг. – Не перестаю им восхищаться...

– Но вы уже не переписываетесь?

– Нет.

– Давно? С начала войны?

– Приблизительно... С нашей последней встречи в Копенгагене.

Бэкон почуял, что запахло жареным.

– А что тогда случилось, профессор, можно спросить?

– Я предпочел бы не говорить об этом, – неприязненно прорычал Гейзенберг. – Это мое личное дело и ничего общего с вашей монографией не имеет!

– Обеспокоенность Бора можно понять, – как ни в чем не бывало продолжал Бэкон. – Оккупация Дании Германией... В такой ситуации у него, естественно, возникло чувство обиды...

– Возможно, так оно и было...

– Когда вы в последний раз приезжали в Копенгаген?

– В 1941-м.

– И вы воспользовались оказией, чтобы встретиться с Бором...

– Конечно.

– О чем говорили?

– О войне, профессор Бэкон. О физике, само собой. Это была очень короткая встреча.

– И с тех пор вы больше не общались...

– К сожалению, именно так. – Гейзенберг принялся барабанить пальцами по крышке письменного стола. – Это все, что вас интересует?

– Да, профессор. Пока... – добавил Бэкон, опасаясь, что его слова звучат слишком многозначительно.

– Надеюсь, что был вам полезен... – попрощался Вернер.

Его руки заметно дрожали...

Всем нам, немецким физикам, после войны постоянно приходилось отвечать на один вопрос: *Почему?*

– Вы работали в рамках немецкой научной программы, связанной с созданием новых вооружений? – *Да.*

– Вы знали, что ваша работа может способствовать созданию новой бомбы? – *Да.*

– Вы осознавали, какие последствия может повлечь применение нацистским режимом подобного оружия? – *Да.*

– По вашим словам, вы всегда проявляли несогласие с политикой нацистов и не являлись членом их партии? – *Да.*

– В таком случае, *почему* вы сотрудничали с ними? – Ответить на этот вопрос, как можно догадаться, было не так просто. Мне, как жерт-

ве режима, не приходилось особенно ломать голову, отыскивая убедительное объяснение: муки, принятые в тюрьмах, служили достаточным доказательством моего раскаяния. Но другие, вроде Гейзенберга, всячески изворачивались, нуждаясь в более изощренном оправдании. "Я работал потому, что получил *указание*, – неоднократно заявлял Вернер по окончании войны и даже гораздо позже, когда с него требовали отчета о своих действиях. – Правительство выдвинуло официальный *лозунг*: "*Используем физику для войны!*" Мы же от него отказались и переделали в свой: '*Используем войну для физики!*'"

Сколько красивых слов, сколько фальшивых оправданий вроде этого надо выдумать, чтобы облегчить груз огромной ответственности, лежащей на нашей совести? Правда же вот в чем: единственное, что можно вменить в заслугу Гейзенбергу, что действительно можно счесть за оправдание, – это его *неудача*! Возглавляемый им коллектив ученых к концу войны не сумел добиться даже цепной реакции или построить настоящий реактор, не говоря уж о подготовке атомного взрыва. Они лишь пытались, но, к счастью, потерпели неудачу. А если бы им удалось создать бомбу? Только представьте себе: по приказу Гитлера уничтожены миллионы ни в чем не повинных людей в Лондоне или Бирмингеме, так же как это проделали американцы в Хиросиме и Нагасаки... Был бы сейчас приговор истории в отношении Гейзенберга таким же благосклонным?

Он защищался изо всех сил. *Ведь он был немцем!* Разве не естественно, не справедливо то, что он желал победы, а не уничтожения своей стране? Разве не заключался его долг в том, чтобы направлять свои знания и труд на оборону родины? Да, разъясняли ему, в обычной войне именно таким был бы его долг – но не в *этой* войне! Гитлер был *преступником*! Это достаточно убедительно доказал Нюрнбергский судебный процесс. *Никто* не обязан подчиняться приказам преступника, тем более ученый...

– Так почему вы согласились участвовать в атомной программе?

Гейзенберг решил, что нашел более благовидное оправдание: хотел воспользоваться дополнительными возможностями, возникшими в связи с войной, для проведения собственных научных исследований. Мол, с самого начала *знал* – ему не под силу создать бомбу, по крайней мере до окончания войны... Все, что ему было нужно, – продолжать свою работу, а давать нацистам в руки оружие массового уничтожения он и не думал, он никогда не довел бы дела до геноцида (кстати, почему бы не спросить тех ученых, что они ощутили, узнав о миллионах японцев, погибших в результате их труда?)...

Насколько честными были его слова? И насколько искренними были допрашивающие его следователи? А может, они чувствовали за собой еще бóльшую вину, ведь их ученые не только создавали оружие – они его *применили*. Так кто же более виновен – подсудимые или судьи? Гейзенберг прибег к последнему и решающему аргументу в свою защиту: если бы он и его помощники отказались осуществлять проект, им занялись бы *другие*, которым наплевать на этические и гуманные соображения (намек на Штарка и компанию?), и тогда кто знает, чем бы все закончилось... Поэтому слава богу, что за всем стоял Гейзенберг, что именно он контролировал ход исследований и даже при необходимости тормозил их (а почему бы и нет?)...

Но должны ли мы принять эту версию? Можем ли мы верить такому человеку, как Гейзенберг? Конечно нет, лейтенант! Однозначно — нет!

— Ну, как все прошло?

— Должен признать, что вы опять оказались правы...

— В чем же, лейтенант? — заинтригованно спросил я.

— В том, как будет вести себя Гейзенберг. Я рассчитывал, что он забеспокоится, стоит мне затронуть тему создания бомбы, а на самом деле это произошло, когда мы заговорили о Боре. Мне вдруг стала очень близкой идея, что Гейзенберг и есть тот, кого мы разыскиваем, Густав, — он пристально смотрел на меня. — Я только по-прежнему не понимаю, в каких отношениях с ним были вы?

— Коллеги, только и всего, лейтенант, — не колеблясь заверил я. — Мы даже сидели в разных помещениях. Да я и видел-то его два или три раза за все время работы. Нас разделили на группы из контрразведывательных соображений, чтобы не допустить утечки секретных сведений...

— Ладно, — согласился он. — В любом случае нам необходимо разузнать, из-за чего повздорили Бор и Гейзенберг в Копенгагене.

— Вы правы, лейтенант. Бор и Гейзенберг были как отец и сын. Никто из тогдашних физиков не относился друг к другу с подобной теплотой... Так что для серьезной ссоры должна найтись достаточно важная причина!

— Что ж, другого выхода нет, — заключил он. — Придётся встретиться с Бором...

— В Копенгагене?

— А вы как думали, Густав? Выезжаю через несколько дней.

— У нас мало времени на подготовку...

— Очень жаль, — прервал он меня, — но на этот раз, думаю, для дела будет лучше, если вы останетесь здесь, в Гёттингене...

Может быть, я ослышался? Не могу поверить: я вывел его на след, без которого ему бы еще долго рыскать вслепую, и он же теперь не разрешает мне участвовать в расследовании только потому, что я пришелся не по вкусу его сожительнице!

— Я не понимаю, Фрэнк... — выдавил я.

— Сожалею, Густав, — сказал он уже мягче. — Откровенно говоря, я предпочел бы поговорить с Бором наедине. Кроме того, я и так отнял у вас слишком много времени, не хочу, чтобы ради меня вы забросили свои дела...

— Вы мне не доверяете? — спросил я его напрямик.

— Не в этом дело, — поспешно возразил он. — Просто ситуация с каждым разом становится все деликатнее... В деле оказываются замешанными многие важные персоны... Мне приходится принимать меры предосторожности, Густав. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием... Ничего личного... И вы, и я знаем, что без вашей помощи мне не удалось бы достичь нынешнего результата.

— Хорошо, как вам угодно, лейтенант...

На несколько секунд воцарилось тяжкое молчание, во время которого мы оба пытались угадать истинные намерения друг друга. Наконец я не вытерпел и задал вопрос, который больше всего меня мучил.

— Ирена едет с вами? — Я старался, чтобы мой голос звучал совершенно безразлично.

— Еще не знаю, — солгал Бэкон. — Возможно, хотя есть некоторые трудности...

— Понятно!

— Вы же не в обиде на меня, правда, Густав?

— Конечно нет, лейтенант.

— Я рад, — сказал он. — Надеюсь привезти вам хорошие новости. А вы тем временем еще раз продумайте все как следует. Ваша интуиция уже сослужила нашему делу хорошую службу.

Она мне с самого начала не понравилась. Во всем, что она делала и говорила, в том, как обхаживала и контролировала Бэкона, чувствовались злонамеренность и коварство.

С самого начала их знакомства мое внимание привлекли два аспекта. *Во-первых*, откровенное любопытство, проявленное этой женщиной к профессиональной деятельности Бэкона. А *во-вторых*, тот факт, что встречались они всегда по ночам, а чем она занимается днем, никому было не известно. Может быть, мои подозрения напрасны, у страха, как говорится, глаза велики, но все же мне лучше проверить. До отъезда Ирены и Бэкона в Данию оставалось несколько дней, так что следовало поторопиться.

В один из этих дней утром, вместо того чтобы явиться в институт или встретиться с Бэконом в его кабинете, я поднялся с постели пораньше и занял наблюдательную позицию возле дома, где жили Фрэнк и Ирена. Стояла теплая, мягкая погода, хотя солнце пряталось за облаками, словно еще не решило, показываться ли ему на публике. Около восьми часов из дома вышел лейтенант и направился к месту службы своей быстрой, нервной походкой. Отлично. Теперь осталось только дождаться Ирены. Я был полон решимости следовать за ней, куда бы она ни пошла, и не упускать из виду ни на секунду.

Около десяти утра она появилась с ребенком на руках, чтобы отнести его к своей матери (так, по крайней мере, она говорила Бэкону). Меня не удивило то, что она была не особенно ласковой с ребенком, а просто несла его, как мешок, который нужно перетащить с места на место. Миновав несколько кварталов, Ирена, ни разу не поцеловав ребенка и не сказав ему ни слова, передала его в чьи-то руки, протянувшиеся из обшарпанного подъезда. Она не стала заходить внутрь и, не простившись с сыном (если это действительно был ее сын), пошла себе прочь.

Стараясь оставаться незамеченным, я продолжил преследование. В четверть одиннадцатого Ирена приблизилась к заводской проходной и прошла на территорию предприятия (где, по ее словам, она работала). Я все же решил не прекращать наблюдение и дождаться обеденного перерыва. Все равно мне сегодня не надо в институт, и Бэкон тоже не назначал встречи.

Мои часы показывали десять минут второго, когда Ирена вышла из заводских ворот. Она почти бежала, будто внутри ее сидела какая-то пружина и непрерывно толкала вперед. В час тридцать женщина вошла в маленькую церквушку на окраине города. Спрятавшись за колонной, я мог видеть, как она приблизилась к высокому нескладному мужчине, по

одежде похожему на фермера, и передала ему конверт... Я не ошибся! Этот человек – связной!

Сила любви

Берлин, апрель 1941 года

Несколько недель минуло с того памятного Рождества 1940 года, когда Марианна, Наталия и я объединились в тайном союзе, прежде чем нам довелось увидеться снова. Остаток той ночи мы провели в разных углах, чувствуя себя достаточно неловко. Едва к нам вернулась способность трезво мыслить, нас охватило великое смущение, и мы не смогли произнести ни слова по поводу случившегося. Помню только, как Наталия оделась, чмокнула нас обоих на прощание в щеку и молча ушла.

Мне с Марианной пришлось не так легко. Идти нам было некуда – мы уже дома! – и делать вид, что ничего не произошло, тоже не получалось. Сначала мы, по очереди, подолгу торчали у зеркала в ванной комнате, потом, вернувшись в спальню, надели пижамы и легли. Но заснуть не могли и просто лежали в полном безмолвии.

Я думал не столько о своих поступках и их последствиях, сколько о том, как поведут себя дальше Марианна и Наталия. Интересно, какие чувства их обуревали? Почему они не стали противиться мне, а с готовностью бросились в бездну страсти, к которой я их подталкивал? И останется ли рождественская оргия единичным случаем, который приличнее никогда не упоминать, или положит начало совершенно новой жизни? Я ни в чем не раскаивался, и, думаю, Марианна тоже; а вот Наталия, наверное, испытывала угрызения совести. В конечном счете, я с Марианной – муж и жена, мы вместе реализуем наши сексуальные фантазии и даже имеем общего партнера, что служит свидетельством взаимного доверия. С этой точки зрения Наталия из нас троих одна совершила супружескую измену.

Когда я пришел к такому выводу, сердце мое сжалось. Было страшно больше никогда не испытать пережитого потрясения – быть вместе с Наталией и Марианной, – этого непередаваемого сочетания импульсов, возбуждения, боли, наслаждения, ревности, радости, вины... Будто магическое зелье переполняло животной чувственной силой мою кожу, мою плоть, мой член... А вдруг Наталия не захочет снова проделать это вместе с нами? А вдруг Марианна не позволит мне сближаться со своей подругой? Нет, я не мог допустить этого! Я уже жаждал их снова...

Утром Марианна встала первой. Она была в ванной, когда я вошел туда и застал ее раздетой, готовой принять душ.

– Чего тебе нужно? – довольно грубо спросила жена.

– Тебя, – только и сказал я в ответ.

Не теряя ни секунды, я бросился к ней в страстном порыве, порожденном воспоминанием о ночной оргии. Я покрывал ее кожу нежными поцелуями, стоя перед ней на коленях, как раб. Марианна не сопротивлялась, ее молчание изредка нарушалось едва слышными стонами... Наконец она упала в мои объятия, плача и умоляя простить ее...

– Тебе не за что просить прощения!

– Когда ты узнал про нас?

— Не помню... Это уже не имеет значения.

— Клянусь тебе...

— Не надо, Марианна. Теперь нас трое, и мы должны смотреть правде в глаза...

Мои слова немного успокоили ее, но в течение нескольких последующих дней она находилась в каком-то оцепенении.

— Что с тобой, любовь моя? — озабоченно спрашивал я, но Марианна лишь целовала меня в ответ и невнятно извинялась, ссылаясь на головную боль...

Однако позже я догадался о причине ее состояния; она чувствовала то же, что и я, хотя мы оба не решались произнести это вслух. Марианне недоставало Наталии, вот и все объяснение. После памятной рождественской ночи их общение ограничивалось разговорами по телефону, недолгими и ничего не значащими, заставляющими двух подруг еще острее воспринимать горечь разлуки. Окончательно убедившись, что нас с Марианной снедает одно желание, я пошел на решительный шаг.

Мартовским вечером я неожиданно появился на пороге дома Генриха (он в это время все еще находился в Париже, хотя бóльшую часть войск уже перебросили оттуда на Восточный фронт) с намерением поговорить с Наталией. Она открыла дверь и, увидев меня, почти не удивилась.

— Проходи, Густав, — сказала она дружелюбно.

— Спасибо, — поблагодарил я, и мы оба прошли в гостиную.

— Как себя чувствует Марианна?

— Вообще-то не очень хорошо... А если честно, совсем плохо!

— Что с ней такое?

— Сама знаешь... То же, что и с тобой. И со мной...

— Густав!..

— Больше не скажу ни слова, только мы не сможем дальше так жить. Не признаваться в собственных чувствах — значит обманывать самих себя! Никто ни к чему нас не принуждал, Наталия, мы поступили по своей воле или, вернее, по своей любви.

— Прошу тебя, Густав, мне действительно не хочется говорить об этом, — голос Наталии дрогнул.

— Просто знай, что мы с Марианной мучаемся точно так же... Ты не одинока, Наталия...

Она взяла обеими руками мою ладонь и крепко сжала ее, словно давая мне понять этим жестом то, что не могла выразить словами.

— Тебе лучше уйти сейчас, Густав, — сказала она после некоторого молчания с нежностью и видимым сожалением, почти пересиливая себя.

— Помни, мы ждем тебя, Наталия...

Прошло еще две недели, прежде чем она решилась прийти к нам в дом. Однажды ветреным апрельским вечером раздался стук в дверь. И Марианна, и я сразу поняли, кто был наш поздний гость. Наталия так и светилась красотой, одетая в платье красного цвета, подчеркивающее форму груди и прекрасно сочетающееся с ее пышными рыжими кудрями, которые чуть открывали уши и серьги с изумрудами. В руке она держала желтый зонтик. От нее было невозможно отвести взгляд...

Марианна заключила подругу в объятия, и обе застыли, готовые простоять так целую вечность. Я заметил, как тонкие пальцы Наталии, не в силах сдержаться, гладят спину моей жены в качестве прелюдии к

более нежным ласкам. Дальше ждать было нечего. Приблизившись к двум слившимся воедино прекрасным существам, я принялся поочередно целовать их в губы, упиваясь ароматом нашего общего дыхания...

Взаимное влечение, или даже, как я осмелюсь теперь сказать с уверенностью и гордостью, наша *любовь* была настолько сильной, что мы не могли больше существовать друг без друга. Никто из нас и предположить не мог, что способен на подобную страсть, ставшую неотъемлемой частью нашего существования. В то время как немецкая армия решала судьбу человечества (а Генрих оказывался все в большем забвении и одиночестве), мы скрывались от всего света в нашем собственном мире, в нашем собственном благоухающем раю, в нашей собственной закрытой от остальных утопии... Здесь все было общим, мы принадлежали друг другу душой и телом, без остатка. В урагане страсти никто ни о чем не задумывался; задуматься — значило бы все погубить.

Нильс Бор, или О *волеизъявлении*

Копенгаген, май 1947 года

Больше двадцати лет — до захвата нацистскими оккупантами Дании в 1943-м — Бор играл роль творца квантовой физики, духовного наставника своих последователей и, самое главное, третейского судьи, который заглаживал шероховатости в их отношениях. Как истинный полководец, он рассылал сотни депеш в разных направлениях, организовывал лекции и семинары, вел переговоры с великими учеными всего света, заключал перемирия, объединял силы и предавал анафеме своих врагов, каковых, впрочем, набиралось не много. Человеколюбец? — Да. Бескорыстная душа, миротворец, совесть цивилизации?.. — Да, да, да, но не только это, а еще многое и многое другое...

— Профессор Бор, не могли бы вы поделиться со мной воспоминаниями о периоде вашей совместной работы с профессором Гейзенбергом? — попросил Бэкон.

Всего несколько часов минуло с тех пор, как он в сопровождении вездесущей Ирены прибыл в Копенгаген, а оказавшись на территории Института теоретической физики, настоял на немедленном свидании с Бором. Великий физик с готовностью пошел навстречу его просьбе, воодушевленный возможностью вновь мысленно окунуться в атмосферу славных лет расцвета квантовой физики, золотого века, предшествовавшего триумфу нацизма и войне.

Своими тяжелыми чертами лицо Бора напоминало морду бульдога. Нос прятался между складками больших мягких щек, почти скрывающих застенчивую улыбку. Прищуренные глазки светились детской живостью и неугомонностью.

— Что ж, вернемся в 1927 год, — начал Бор, поглаживая внушительный второй подбородок. — Хотя уже сделан компромиссный вывод о том, что обе механики — волновая и матричная — верны, противостояние между сторонниками той и другой не прекращается. Атмосфера напряжена: вот-вот будет сделан решительный шаг в области моделирования атома, и каждый надеется стать первым...

— Друзья-соперники... — вставил Бэкон.

— Скорее игроки, друг мой, — фыркнул Бор.

— И в том же году Гейзенберг публикует известную статью об открытом им принципе неопределенности, где утверждает, что невозможно одновременно знать скорость и местоположение электрона, — проговорил Бэкон, словно ученик на уроке, неожиданно вызванный преподавателем к доске.

Бор глубоко вздохнул, переводя дыхание от нахлынувших воспоминаний. Бэкон, в свою очередь, боролся с охватившим его волнением. Десятки физиков и ученых других областей побывали до него в этом кабинете Бора. У Бэкона имелась заветная мечта самому оказаться когда-нибудь на их месте, и вот он здесь, в святилище, но, как ни парадоксально, не в качестве ученика или коллеги, а в роли историка, в обличье репортера от науки, простого наблюдателя великих событий. В глубине души лейтенант не мог не чувствовать некоторого разочарования — судьба подарила ему драгоценную возможность личного общения с первосвященником науки, но вынудила притвориться тем, кем он не был на самом деле.

— Выводы Гейзенберга казались неслыханными! — воскликнул Бор. — По его словам, "квантовая механика полностью отменяла действие закона причинности", то есть он не колеблясь перечеркивал историю науки на протяжении трех веков... Должен признать, что поначалу я почувствовал восхищение, однако потом заметил кое-какие ошибки и засомневался... Мы неделями спорили, причем иногда очень горячились. Нам было нелегко, поверьте. И все же мы достигли согласия, по крайней мере на том этапе. Чуть позже Гейзенберг просил прощения за свою несдержанность. Но, сами понимаете, его поведение мне совершенно безразлично. Наука рождается из хаоса и противостояния, друг мой, но никак не из мира и благодати...

— Однако ваши дальнейшие отношения перестали быть такими же близкими, — предположил Бэкон.

— Гейзенберг переехал в Лейпциг, чтобы возглавить кафедру в университете; в Копенгагене он больше не появлялся. Естественно, это отразилось на наших отношениях...

— Он не сделал ничего для их улучшения...

— К моему глубокому сожалению, — с искренней болью в голосе сказал Бор, словно речь шла о нераскаявшемся блудном сыне. — Однако я испытываю глубокое удовлетворение от нашей совместной работы.

— Ну, как все прошло?

Как вы можете догадаться, голос принадлежал Ирене, которой удалось после долгих уговоров убедить Бэкона взять ее с собой в Копенгаген, правда, она получила категорический отказ на просьбу разрешить ей присутствовать при разговоре с Бором. Хотя Ирена открыто выразила свое недовольство, Бэкон на сей раз не пошел у нее на поводу.

— Кажется, я больше узнал о своей профессии в ходе этого расследования, чем за все годы учебы и работы в Принстоне, — ответил он с усталым вздохом. — Я уже сам начал верить, что пишу эту монографию. — Бэкон снял пиджак, взял Ирену за плечи и поцеловал ее в губы и шею. — Естественно, я не упустил возможности спросить его о Гейзенберге...

— И что он тебе сказал? — промурлыкала Ирена, отвечая поцелуем на поцелуй.

— Что их дружба сошла на нет еще до поездки Гейзенберга в Копенгаген в 1941 году.

— Я говорила тебе! — воскликнула Ирена. — Эта история выдумана Линксом от начала до конца...

— Не уверен, — возразил Бэкон. — А вот что касается Гейзенберга, то мне опять почудилось — не такой уж он милый и кроткий, каким выглядит...

— Но это не делает его преступником!

— Конечно нет, Ирена. Только не понимаю, почему ты так ему симпатизируешь?

— Мне нет никакого дела до Гейзенберга, — сказала она, расстегивая рубашку Фрэнка. — Ты — единственный, о ком я беспокоюсь... Повторяю тебе: я считаю, что Линкс заведет тебя в тупик, вот и все...

— А зачем ему это нужно? — задал Бэкон резонный вопрос.

Ирена не смогла дать убедительного объяснения.

— Не знаю.

— Вот видишь! В тебе говорит твое собственное предубежденное отношение к нему.

— Во мне говорит моя интуиция. Поверь, Фрэнк, я все больше уверена, что он тебя обманывает...

— Чепуха, — отбивался тот. — Ради бога, Ирена... Он всего лишь математик, и только... Весь остаток войны провел в тюрьме, его чуть не расстреляли... Для чего бы ему понадобилось обманывать?

— Единственное, что я могу сказать тебе, — не сдавалась она, — это расследование ведет нас в никуда. Что-то не срабатывает. Пока не понимаю, в чем дело, но когда докопаюсь, тебе придется признать, как я была права...

Назавтра супруги Бор позвали Бэкона и его *невесту* на обед. После обильного угощения, во время которого никто не решался прервать разглагольствования Бора о холодной войне, разоружении и ядерной угрозе, хозяин, как обычно, пригласил гостей отправиться с ним на прогулку.

Было тихо, безветренно, солнечно, хоть и прохладно. Они пересекли обширную больничную зону вокруг института, по Фреденгаде перешли через озеро Сортедамс, пока не достигли, наконец, огромной, сплошь засаженной деревьями территории ботанического сада с расположенными здесь художественным музеем, минералогическим музеем и маленьким озером Эстре. Неизменно галантный Бор с самого начала прогулки не переставая занимал разговорами Ирену, расспрашивал о впечатлениях, рассказывал об истории города, знакомил со скрытыми от несведущих глаз достопримечательностями. Только через несколько минут она сумела со свойственной ей грубостью перебить ученого.

— А как здесь было во время нацистов? — спросила она, даже не подняв на него глаз. Бэкон вздрогнул.

— Ужасно, *мадам*, — учтиво ответил Бор. — Вы немка, и я не хочу вас обидеть. До войны отношения между нашими странами были безупречными. Среди моих лучших друзей есть немцы... К сожалению, все это позади...

— Когда вы уехали из Дании?

— В 1943-м. До этого ситуация оставляла желать лучшего, но мы хотя бы могли работать в условиях определенной автономии. Однако когда дела нацистов на Восточном фронте пошли из рук вон плохо, они начали вести себя отвратительно на всех оккупированных территориях. Я — наполовину еврей, знаете ли, по линии матери... Мне не хотелось уезжать, но друзья убедили меня, что над моей жизнью нависла опасность.

— А что было с институтом, пока вы отсутствовали? — спросил Бэкон.

— Когда нацисты прознали о моем отъезде, арестовали двух моих ассистентов, а институтские помещения заняли солдаты, — сказал Бор со вздохом. — Ректор университета выступил с протестом, но это ничего не изменило. Несколько позже он решил обратиться за помощью к Гейзенбергу в надежде, что тот сумеет что-нибудь сделать...

— И он помог?

— Вернер приехал в Копенгаген в январе 1944-го. Немцы поставили сотрудников института перед выбором: либо они работают по нацистским военным программам, либо циклотрон и другое оборудование будут переправлены в Германию. Но Гейзенберг поговорил с гестаповским руководством и убедил его, что в интересах рейха следует позволить институту работать как прежде...

— Усилия Гейзенберга заслуживают восхищения, — заметила Ирена.

— Наверное, — сухо согласился Бор.

— Когда вы встречались с ним в последний раз? — спросил Бэкон.

— С Гейзенбергом?

— Да.

— За несколько лет до этого, в 1941-м.

— Что вас отдалило друг от друга? — не успокаивался Бэкон. — Политика, война?

Бор грустно покачал своей большой головой, выражая сожаление по поводу того, чего уже не вернуть.

— Наверное, все понемногу...

— Простите за назойливость, но не могли бы вы поподробнее рассказать о последней встрече с ним, профессор? — Бэкон шел рядом с Бором, следя за его размеренными движениями.

— Да рассказывать, собственно, не о чем, — ответил тот. — Когда Вернер пришел ко мне, будущий итог войны представлялся не таким, каким оказался на самом деле. Под властью Германии находилось пол-Европы, включая Францию, и ее войска очень быстро продвигались по территории России... До Сталинградского кольца было еще далеко... Я знал, что он патриот и, несмотря на критическое отношение к нацистам, испытывает определенную гордость в связи с военными победами Гитлера. Нам просто было не о чем говорить...

— Но ведь Гейзенберг сам настоял на встрече с вами, разве не так? — Бэкон старался загнать профессора в угол. — Хотя вы с самого начала продемонстрировали свое нежелание, он почти заставил вас принять его... Почему это было для него так важно?

— Наверно, чувствовал свою вину, — солгал Бор. — Я так и не понял. Мы поговорили несколько минут, прогуливаясь, как сейчас с вами, а потом потеряли всякую связь до самого конца войны.

— Профессор, пожалуйста, о чем вы беседовали тогда? — это был голос Ирены, которая надеялась разговорить Бора.

— Честное слово, не помню, — продолжал отпираться тот. — Столько лет прошло...

— Речь шла о чем-то важном, иначе Гейзенберг не добивался бы встречи так настойчиво.

— Я вам уже объяснил, обстоятельства складывались чрезвычайные, — простонал Бор. — Он начал работать во главе немецкой атомной программы, понимаете? Работать над созданием бомбы для нацистов! Я уже не мог откровенничать с ним так, как раньше!

— Вы обсуждали тему бомбы?

— Он говорил что-то, но я так и не понял смысла его слов, — Бор вдруг остановился, опершись о ствол ясеня. — Простите, но я уже не молод, устал немного... Не возражаете, если мы вернемся в институт?

Они повернули обратно, погруженные в неловкое молчание, которое никто не решался нарушить. Улицы Копенгагена вдруг показались безлюдными и небезопасными, в них появилась какая-то неуловимая враждебность.

— Профессор, — с усилием произнес Бэкон, — вы верите, что Гейзенберг мог бы создать бомбу для Гитлера?

Ответ прозвучал не сразу.

— Сейчас я думаю, что нет.

— А тогда?

— Тогда я был не уверен: я не знал об истинных целях его приезда. Не знал и до сих пор не знаю: то ли он ожидал от меня отпущения грехов, то ли хотел втянуть в сотрудничество с немцами, то ли имел какие-то другие, непонятные намерения... В результате получилось одно большое недоразумение... Огромное недоразумение, которое не можем уладить до сих пор. И, наверное, уже никогда не уладим...

Та прогулка почти ничем не отличалась от только что описанной, только произошла на шесть лет раньше. Шесть лет, которые теперь кажутся вечностью, отделяющей современность от эпохи мрака, существования без законов и традиций, в страхе и огне. Старый учитель, гражданин оккупированной страны, и его молодой ученик, принадлежащий, независимо от своего собственного желания, к касте победителей, ведут многочасовой диалог: спорят, ссорятся, доходят до крайностей и, наконец, замолкают. Воцаряется безмолвие и, словно застрявшая пуля, остается навсегда...

Холодный ветер с Балтийского моря уже начинает по-зимнему трепать деревья на улицах города, которые кажутся еще более пустынными из-за фигур в нацистской форме, похожих на кружащих в зловещем ожидании хищников. Бор и Гейзенберг направляются к безлюдному Фэллед-парку, неподалеку от института. Оба серьезны и сосредоточенны, будто им предстоит определить не только будущее личных отношений, но судьбу всего мира. Следует произносить каждое слово с величайшей осторожностью и говорить недомолвками, чтобы не вызвать подозрений. Несмотря на теплые чувства, которые Бор испытывает к Вернеру, у него есть веские основания не доверять собеседнику, ведь тот руководит атомной программой Гитлера.

Так и идут они, с той же холодной отчужденностью, с какой смотрит на них осенний город. Один неверный шаг может быть расценен

как предательство; малейшая оплошность — как ловушка; мимолетная заминка покажется оскорблением.

Гейзенберг рассчитывает на их многолетнюю дружбу и не замечает сдержанности старого учителя по отношению к нему. Душу датского ученого не перестают терзать сомнения: зачем Гейзенбергу понадобилось встречаться с ним наедине? К этому вопросу добавляются еще многие, накопившиеся за последние годы. Почему он решил остаться в гитлеровской Германии? Почему он готов участвовать в научной программе, способной привести к созданию разрушительного оружия?

Гейзенберг выбрал наихудшее вступление: оправдывает немецкое вторжение в Польшу, утверждает, что в других странах — во Франции, в той же Дании, например — Гитлер вел себя не так уж плохо. Бор едва верит своим ушам. Потом Вернер говорит, что Европе будет гораздо лучше под руководством Гитлера, чем Сталина... Это уж слишком! Бор теряет терпение. Охваченный негодованием, он с трудом сдерживает гневную отповедь, зная, что это приведет к окончательному разрыву с бывшим учеником... Зато Гейзенберг гнет свое. Все сказанное — лишь преамбула для прямого предложения. Он специально приехал в Копенгаген ради одного этого момента — только чтобы сказать Бору то, о чем не решился бы говорить больше ни с кем...

— Насколько мы, физики, имеем моральное право работать над получением атомной энергии?

От этого вопроса Бор застыл на месте. Теперь он не только раздражен, но и напуган.

— Ты полагаешь, что атомная энергия может быть высвобождена еще до окончания войны? — отвечает Бор вопросом на вопрос, не в силах скрыть растерянность.

— Уверен в этом, — подтверждает Гейзенберг.

О чем он говорит: о бомбе или только о реакторе? О мирном использовании ядерной энергии или об оружии массового уничтожения? И еще: Гейзенберг имеет в виду немецкую атомную программу, в рамках которой работает, или речь идет об аналогичной работе союзников, о коей, как он может подумать, осведомлен Бор? Между тем немец продолжает:

— Нам, физикам, следовало бы проявить бóльшую ответственность в вопросе принятия решения об использовании атомной энергии...

Молчание.

— Нам, физикам, следовало бы контролировать использование атомной энергии во всем мире...

Молчание.

— У нас, физиков, есть власть, какой никогда не будет у политиков. Только мы владеем знаниями, необходимыми для применения атомной энергии...

Молчание.

— Если мы, физики, поставим себе такую задачу, то сможем контролировать политиков. Вместе мы могли бы решить, как использовать атомную энергию. Только мы, физики...

На этот раз не просто молчание. Лицо Бора багровеет, глаза превращаются в две черные дыры, способные поглотить все, на что обратится его взор. Никогда в жизни он не испытывал такого возмуще-

ния, такого отвращения, такого разочарования, такого горя... Он идет обратно к дому, не оборачиваясь в ту сторону, где остался стоять Вернер. Он старается идти так, будто ничего не слышал, будто этот разговор вообще не состоялся, будто он никогда не знал человека по фамилии Гейзенберг. А тот продолжает стоять в одиночестве посреди Фэллед-парка, ошеломленный внезапным крахом своих планов. Ветер порывами бьет ему в лицо, меж тем как фигура учителя удаляется по дорожкам парка, тусклая и расплывчатая, как привидение, как силуэт корабля, навсегда растворяющийся в бескрайней океанской мгле.

— Как ты думаешь, — спросила Ирена Фрэнка, — чего на самом деле хотел Гейзенберг?

— Трудно сказать. На первый взгляд, он специально говорил недомолвками в надежде, что Бор и так поймет его, но, очевидно, этого не произошло...

— Или, наоборот, тот понял его прекрасно, и ему это очень не понравилось! — предположила Ирена. — Как тебе такая версия?

— Надо подумать, — ответил Бэкон и принялся мысленно составлять схему логических взаимосвязей. — Возьмем для начала два варианта: а) Гейзенберг, зная о контактах Бора с физиками, конструирующими атомную бомбу для союзников, пытается через него заставить их отказаться от этих планов и тем самым спасти Германию от разрушения; и б) Гейзенберг действительно предлагал Бору создать нечто вроде союза ученых мира, работающих в области ядерной физики, чтобы воспрепятствовать использованию атомной энергии в военных целях...

— Оба варианта мне кажутся слишком поверхностными, — засомневалась Ирена. — Не мог же Гейзенберг и в самом деле думать, что ему удастся заставить союзнических физиков прекратить работу в рамках атомной программы, попросив об этом Бора?

— Не забывай, что он возглавлял немецкую атомную программу. Если у Гейзенберга на уме было именно это, он мог бы пообещать Бору приостановить свои собственные исследования при условии, что союзники возьмут на себя обязательство сделать то же самое...

— И ты веришь, что он был способен предать свою родину, поступив таким образом?

— Мне это не кажется таким уж невероятным; Гейзенберг мог утешаться тем, что делает это ради блага самой же Германии.

— А как бы он нейтрализовал участвующих в программе военных, чиновников, эсэсовцев?

— Не знаю, — пришлось согласиться Фрэнку. — Может быть, он думал, что кроме него никто не сможет осилить техническую сторону работы над созданием бомбы... И никто не догадается о его целенаправленных попытках затормозить собственные исследования...

— Но в этом предположении есть еще одно слабое место. Представим себе, что Гейзенберг на встрече с Бором действительно выдвинул идею заключения своего рода перемирия между физиками всего мира. Допустим, им и вправду руководили самые лучшие побуждения. Тогда откуда у него такая уверенность, что Бор ему поверит? И что согласится убедить союзников приостановить исследования? А вдруг Бор согласился бы, а на деле его подставил?

— Гейзенбергу не оставалось ничего другого, как верить Бору, своему учителю и другу. Он должен был рискнуть.

— Безрассудство...

— Возможно! Но есть еще третий вариант: Гейзенберг встретился с Бором не по собственной воле...

— Хочешь сказать, он приехал по заданию Гитлера?

— Мы не можем a priori сбрасывать со счетов такую возможность, — заметил Фрэнк без особого воодушевления. — Если это правда, Гейзенберг почти ничего не терял...

— Кроме своего друга...

— Если он и в самом деле гитлеровский шпион, если он и есть настоящий Клингзор, то это для него сущий пустяк... Зато он мог бы засчитать себе за крупный успех любое сомнение, зароненное в душу Бора, и, как следствие, малейшее промедление в реализации союзнической программы он был бы вправе рассматривать как крупный успех. В таком случае немцы сразу вырвались бы вперед!

— Это ужасно! — нахмурилась Ирена.

— Клингзор был бы способен на гораздо большее...

— Но у нас пока нет доказательств, что Гейзенберг и Клингзор — одно и то же лицо.

Бэкон молчал с отсутствующим видом. Казалось, он вдруг отгородился от окружающей обстановки, погрузился в свой мир образов и рассуждений.

— Все это напомнило мне одну схему, которую мы с фон Нейманом, моим учителем, анализировали много лет назад, — воскликнул он, словно очнувшись. — Механизм тот же самый... Постой-ка, я тебе объясню... Как странно... Мне все время приходится сталкиваться с одной и той же игрой...

— С игрой? Не понимаю...

— И тем не менее, игра, Ирена, уверяю тебя! — воскликнул Фрэнк. — Все становится на свои места. Все настолько ясно, что даже кажется подозрительным.

— О чем ты говоришь?

— О том, что ты привела меня к пониманию, Ирена, — истерически расхохотался Бэкон.

— К пониманию чего? Фрэнк, ты меня пугаешь!

— Он меня испытывает, — простонал тот, весь дрожа. — Хочет поиграть со мной... Он видит во мне своего настоящего противника... Ему просто не терпится поиграть!

— Кому, Фрэнк?

— Клингзору, бог ты мой, Клингзору! — закричал Бэкон, как помешанный. — Гейзенберг был шпионом Гитлера? Или, наоборот, ярым врагом? Кому он скорее изменил бы — любимой родине или любимому учителю? Кого обманывал — Бора или нацистов? Или лжет теперь, пытаясь отмежеваться от прошлого? А может, он никогда не лжет? — Бэкон запыхался, не успевая за собственными мыслями. — Как узнать правду, Ирена? Нам никогда не найти истины. Она просто не существует. Есть только игра, Ирена, понимаешь? Он играет не ради истины, а чтобы обыграть!

— Обыграть? Кого обыграть?

— Меня, Ирена, — вдруг успокоившись, произнес Бэкон. — *Меня!*

– Погоди, Фрэнк, – сказала она, отстраняясь. – Кажется, я поняла. *Все физики лжецы*... Записка Штарка, помнишь?

– Ну, и что?

– Лжецы-то *все*! Как нам раньше не пришло в голову!

– Что?

– Гейзенберг – лжет. Бор – лжет. Шрёдингер – лжет. И тебе приходится лгать. И сам Штарк лжет. А знаешь почему? Потому, что все вы – *физики*! – расхохоталась Ирена.

Бэкон все еще не мог прийти в себя.

– Я по-прежнему не понимаю, Ирена...

– Вот я – физик и говорю: "Все физики лжецы", тогда возникает проблема с логикой, – стала она объяснять лейтенанту с уверенностью специалиста. – Ты же мне сам говорил... В таком случае невозможно однозначно определить, лгу я или нет. Но только в этом случае! Только если *я есть* физик! Видимо, Штарк специально прислал тебе свое сообщение, чтобы ты истолковал его по-другому. Он намекает, что тебе не следует разыскивать физика... Если ты – физик, и Штарк тоже, значит, вас обоих нельзя назвать лжецами... Это суждение... как ты говорил?..

– Неразрешимое.

– Вот именно.

– И что тогда?

– Тот, кто лжет, – не физик, Фрэнк...

– Но, хоть и не физик, должен разбираться в квантовой механике, теории относительности, принципах конструкции атомной бомбы...

– Какие профессии отвечают этим требованиям?

– Дай подумать... Химики или инженеры... Математик?..

– Само собой! – возопила Ирена. – Линкс! Он-то и стоит за всем, Фрэнк! Это же ясно... Мы действительно не можем знать, все ли физики, с которыми он нас свел, говорят правду. Что бы они ни сказали, становится двусмысленным вследствие парадокса. А вот высказывания Линкса могут быть либо истинны, либо ложны, не вызывая никаких логических противоречий! Вот тебе и решение проблемы.

Бэкон несколько секунд молчал, задумавшись. Мы были друзьями, но, несмотря на это, женщина смогла заразить его вирусом недоверия.

– Какого черта Линксу делать что-либо подобное? Не укладывается как-то...

– Постарайся видеть чуть дальше своего носа, Фрэнк, – эта ведьма продолжала околдовывать его. – Линкс с самого начала вел тебя за ручку, и ты поверил, что Гейзенберг и есть Клингзор... Ему только этого и нужно было... Все еще не понимаешь? Оглянись на пройденный путь – разве это нормальное расследование? Он заранее прочертил маршрут, а тебе осталось лишь следовать его указаниям. Чтобы в итоге ты получил то, что выгодно ему... Сам же говорил: все это похоже на математическую игру, и твой соперник хочет одного – выиграть. Так вот, этот соперник – Линкс!

– Зачем ему обвинять Гейзенберга?

– Личная неприязнь. Старые счеты. Гейзенберг, конечно, не ангел и никогда им не был. Его неоднозначные отношения с нацистами... Может быть, Гейзенберг умыл руки, когда гестаповцы арестовали Линкса за участие в заговоре против Гитлера, и тот не может простить ему... Но это не делает Гейзенберга Клингзором! Это Линкс хочет, чтоб мы так думали!

— В чем-то ты права, — произнес (увы!) Фрэнк. — Я слишком доверял ему... — Он вдруг почувствовал себя обманутым. — Возможно, настало время пересмотреть достигнутые результаты...

— С чего начнем? — промурлыкала Ирена.

— Попрощаемся с Бором и вернемся в Гёттинген, — ответил Бэкон решительным тоном. — Там нас ждет встреча с Линксом и Гейзенбергом. Только они двое могут вывести нас на путь истинный!

Цепная реакция

Берлин, март 1942 года

Когда мне стало понятно, что со мной происходит? Заметил ли я то мгновение, когда пришла беда? Не знаю. Не знаю сейчас, почти полвека спустя, и тем более не знал тогда. В те дни я словно ослеп и оглох, стал равнодушен ко всему и слушался только собственных инстинктов.

Наши ménages a trois[1] вдруг перестали казаться упавшим в руки запретным плодом и превратились в настоящую пытку, на которую я соглашался лишь ради близости с Наталией. Я поймал себя на чувстве ревности — да-да, ревности! — в минуты, когда Марианна ласкала, целовала тело Наталии, тело, предназначенное лишь для меня и никого больше! Это отвратительно, когда муж и жена вожделеют одну и ту же, борются за нее между собой, всячески угождая ей, вырывая ее друг у друга. Страсти кипели — безмолвные, затаенные, но от этого не менее могучие.

Настал момент, когда я больше не смог противиться своему чувству. Не дожидаясь обычного визита Наталии в наш дом, я сам пришел к ней однажды вечером. Увидев меня, она смутилась и виновато улыбнулась, догадываясь о цели моего появления.

— Люблю тебя, — только и вымолвил я. — Одну тебя.

Она страстно обняла меня, а потом позволила мне сорвать с нее одежду, овладеть ее телом и душой на ложе, которое когда-то разделяла с Генрихом. Когда все было кончено, ей пришлось признать очевидное.

— Я тоже люблю тебя, — прошептали ее губы мне в плечо.

Как поверить этому? Как? Тем не менее я верил, потому что из-за собственной слабости не хотел видеть в ее словах просто нежность, или смятение, или сомнение...

— А как же Марианна?

— А как же Генрих? — без колебаний нанес я жестокий удар.

С того момента мы уже никогда не заговаривали о наших семейных узах, перед нами открылся совершенно иной мир. Я присутствовал на этом свете только для нее и ради нее, а все остальное — жена, друг, математика, война — не больше чем призрачные образы, мимолетные неприятности. Что я мог поделать? Что могли поделать я и Наталия в неразберихе тех лет? Бежать? Но где найти хоть какое-то убежище, опору, надежду? Положение казалось безвыходным, мы были обречены: нам предстояли разлука и смерть, это был лишь вопрос времени. Но никогда в жизни я не испытывал подобного счастья, как в те дни...

1. Сожительство втроем (*франц.*).

Гёттинген, июнь 1947 года

Кто говорит правду? Кто лжет? Ты меня любишь или только притворяешься? Сдержишь свое слово или потом откажешься от данного обещания? Ниспошлешь ли спасение, Боже милостивый, или оставишь меня погибать на кресте сем? Прав или виноват? Ну да, конечно... Беда, постигшая теорию относительности Эйнштейна, случилась и с *принципом неопределенности*: тысячи людей, ничего не смыслящие в физике, сбитые с толку сотнями газетчиков, знающих еще меньше, вообразили, что прониклись глубоким значением научного понятия и самоуверенно заявляли: "Все в мире относительно".

Гейзенберга ожидала не лучшая участь. Открытый им принцип неопределенности действовал в невидимом субатомном мире и не имел ничего общего с обманной любовью, нарушенными клятвами и коварными изменами. Изначально Вернер просто пытался описать аномальное явление в квантовой физике. В то время как некоторые ученые, в том числе Шрёдингер и Эйнштейн, упорно придерживались классического представления о том, что электрон можно наблюдать *визуально*, Гейзенберг доказал: нельзя одновременно определить местонахождение и скорость движения электрона. И дело не в ошибке или несовершенстве имеющихся в распоряжении физиков инструментов, а в закономерном и объяснимом действии физических сил.

Статья ученого с описанием принципа неопределенности появилась в журнале "Zeitschrift für Physik" 22 марта 1927 года. Гейзенберг тогда работал ассистентом Бора в Копенгагене. Не прошло и двух недель, как он снова поместил, уже в ненаучном журнале, длинную статью, истолковывающую предыдущую публикацию, неся, таким образом, долю ответственности за то значение, которое его открытие приобрело в несведущих умах.

И да простит мне читатель ссылку на указанную вульгарную интерпретацию научной теории, но в те мгновения я не мог не подумать о том, что мы с лейтенантом Бэконом стали жертвами неопределенности. Не важно, что атомы, по большому счету, не имели непосредственного отношения к нашему расследованию. Вообще-то, из-за Клингзора мы чувствовали себя в самом ядре посреди вращающегося вокруг нас роя догадок и сомнений. Идем ли мы по правильному пути? Не ожидает ли нас ловушка? Или даже не ловушка, а простая ошибка? А далее вопросы становились еще нетерпеливее и безнадежнее. Можно ли вообще кому-то верить? Не изменяет ли Ирена? Хранит ли верность Бэкон? Могу ли я, как прежде, принимать за истинные черты бесхитростность и прямолинейность лейтенанта? Почему он доверчиво следует моим подсказкам? Не манипулировал ли я Бэконом в своих интересах, как утверждала Ирена? Или именно она манипулировала им? Кто с кем играл? Кто кого предавал? И зачем? А может, Клингзор каким-то образом использовал нас как пешки в собственной игре? Или, еще хуже, Клингзор всего лишь плод нашего воображения, косвенный отголосок неопределенности, способ восполнить нехватку убежденности?

Мы не могли знать наверняка. Верить одному означало потерять всякое доверие к другому; получив результат, мы, будто консилиум врачей, неспособных поставить окончательный диагноз, одновременно

убеждались в ошибочности предыдущей оценки. Наши умозаключения носили прямо противоположный характер, и тем не менее все мы клялись в своей искренности. В искренности, которой, судя по всему, давно уже не было.

Я дожидался возвращения Бэкона из Копенгагена в нетерпеливом желании насторожить его по поводу истинных намерений Ирены, но не мог знать, что уже опоздал. Надо же так опростоволоситься! Мне следовало действовать еще до их отъезда, нанести удар первым и победить, застав ее врасплох, но моя медлительность и непредусмотрительность — или простое случайное стечение обстоятельств — сыграли со мной плохую шутку. Как же мне пришлось пожалеть позже о том маленьком недочете, о минутном колебании! Почти полвека прошло с тех пор, а слезы гнева и отчаяния все еще закипают на глазах, безжалостно заставляют биться чаще мое старое сердце. Однако, как ни печально, прошлого не изменить; стрелы времени застревают в нас раз и навсегда (энтропия проклятая!), и мне остается только горько сожалеть о своей ошибке...

Я знал, что Бэкон и Ирена прибудут в Гёттинген в воскресенье вечером, поэтому вряд ли мне удалось бы поговорить с лейтенантом в тот день в отсутствие этой женщины. Все, что я мог сделать, — дождаться его вызова и, встретившись наедине, передать ему известные мне сведения. Воскресенье тянулось целую вечность, но вожделенный звонок так и не прозвучал: телефон безмолвствовал. Я рано лег в постель, терзаемый страшной головной болью, и решил, что мое плохое самочувствие — предзнаменование грядущей катастрофы.

Как всегда по понедельникам, в десять утра я вошел в кабинет Бэкона. Никаких перемен в нем не замечалось (или он умело прикидывался); как обычно, лейтенант протянул мне руку. Мне и в голову не могло прийти, что, несмотря на свою предубежденность (или благодаря ей), он специально решил вести себя естественным образом, чтобы не насторожить меня. Сами того не замечая, мы втянулись в новую игру — на этот раз между собой; и победить в ней должен тот, кто лучше замаскирует свою обеспокоенность.

— Да, никто не удивил меня так, как старик Бор, — начал Бэкон вместо приветствия. — В отличие от других, он не похож на гения, во всяком случае, не производит впечатления, что с малолетства все знает и умеет. Напротив, выглядит как обычный человек, преодолевший собственную ограниченность с помощью силы воли и терпения...

— Что он вам сказал?

— Бор?

— Да.

Все же Бэкону еще не хватало умения уйти от ответа на прямой вопрос.

— Вы были правы, как всегда, Густав, — неохотно признался он. — Гейзенберг разошелся с Бором сразу после своей последней поездки в Копенгаген. Но причина все еще не ясна. Из Бора слова не выудишь, складывается впечатление, что он предпочел бы вообще забыть о том случае...

— Но что-то вас беспокоит, не так ли?

— Да уж, — в его голосе явно слышался сарказм. — Если Гейзенберг был гитлеровским агентом, ему пришлось признать полный провал сво-

ей миссии... Предположим на минуту, что так оно и было. Вернер отправляется в Копенгаген по приказу фюрера, оказывается наедине с Бором. И что же он делает? Точно мы этого не знаем, но нам известен результат встречи. Датский ученый не только не идет на сотрудничество с Гейзенбергом, не только не верит ему, не только отвергает его предложение, но решает навсегда порвать со своим любимым учеником...

– Наверно, Гейзенберг допустил какую-то ошибку...

– Ошибка в расчетах Клингзора? Сомневаюсь... – Бэкон вел себя все более вызывающе. – А вы знаете, каковы были последствия той беседы? Я вам скажу: вместо того, чтобы остановить союзнических ученых, Бор, наоборот, воодушевил их на продолжение работы... В 1943 году он сбежал в Швецию, оттуда – в Англию и, наконец, в Соединенные Штаты. И знаете, что он сделал там первым делом? Присоединился к тем, кто работал над атомной программой, и в меру своих возможностей принял участие в создании бомбы! Прямо противоположное тому, чего добивались от него Гейзенберг или Гитлер! Согласны?

– Полный провал, – пришлось признать.

– Вот так-то, – заулыбался Бэкон. – Вся наша теория летит к черту. Думаю, этого достаточно, чтобы исключить Гейзенберга из числа возможных советников Гитлера...

– Провал стратегии в отношении Бора не освобождает его автоматически от всего остального...

– Конечно нет, однако для меня это означает серьезные сомнения по поводу направления *данного* расследования, Густав...

И тут мне все стало ясно: Ирена добилась своего! Меня ожидал проигрыш в этой партии!

– Может быть, я несколько поспешил с выводами, Фрэнк, – сказал я почти с мольбой в голосе.

– Мягко говоря...

– Фрэнк, прошу вас... На минуту оставим Клингзора в покое... То, что я хочу вам сказать, может оказаться еще серьезнее, даже сделать больно... – Я готовился выбросить свой последний козырь. – Наверное, сейчас не самый лучший момент, поскольку у вас появились сомнения в моей искренности, но вы должны это знать... – Я с трудом подбирал слова. – Надеюсь, вы поймете и простите, другого выхода у меня нет...

– Переходите к делу, Густав! – не выдержал Бэкон. – Сколько можно ходить вокруг да около!

– Речь пойдет об Ирене...

– Тогда разговаривать не о чем! Благодарю за участие, но в ваших советах не нуждаюсь...

– Нет, Фрэнк, это не личное, – я старался говорить как можно мягче и дружелюбнее. – Это касается дела и имеет большое значение... Вы можете мне не верить и думать, что я все сочиняю в собственных интересах, но это не так... Клянусь вам! То, что я собираюсь рассказать вам, – правда и ничего, кроме правды!

– Правда?

– Вспомните, что всякое сомнение свидетельствует в пользу обвиняемого... Так не будьте настолько предубежденным против меня! Речь не о каких-то выдумках, а о том, что я видел собственными глазами... О *фактах*!

– Говорите немедленно!

— За несколько дней до вашего отъезда в Копенгаген я случайно увидел ее издалека... Ирену то есть... Она очень спешила... Я, не знаю почему, решил пойти за ней...

Бэкон в негодовании вскочил с места.

— Кто вам дал право? — закричал он на меня. — Вы что, сам Господь Бог?

— Фрэнк, пожалуйста, дослушайте до конца...

— Я не позволю вам вмешиваться в мою личную жизнь!

Кажется, он собирался меня ударить, но сдержался в самый последний момент. Ему уже хотелось услышать о том, что я знаю.

— Мне очень жаль. — Меня била дрожь. — Я не имел намерения вмешиваться, мной руководило предчувствие...

— Мне наплевать на то, что вы видели, Густав. Если быть откровенным до конца, вы уже потеряли мое доверие.

— Ради бога, дайте досказать. Потом сами решите, как поступить... — защищался я. — Я зашел вместе с ней в церковь. Там она приблизилась к мужчине и отдала конверт... То же самое повторилось через два дня.

— Ну и что? — спросил он, хотя голос у него дрогнул.

— Не будем обманывать себя, Фрэнк. Мы оба понимаем, что это означает. Знаю, вы любите ее, и мне трудно говорить... Фрэнк, она обманывала тебя с самого начала! — Я впервые обратился к нему на "ты". — Тебе никогда не казался подозрительным ее интерес к твоей работе, к ходу расследования? Постарайся не поддаваться эмоциям, обдумай трезво ее поведение с момента вашего знакомства... Ты ничего не знаешь о ней, потому что она живет не своей жизнью... Она шпионила за тобой с самого начала, Фрэнк...

Его лицо исказилось, словно от удара.

— Думаю, она работает на русских!

— Я не верю вам, Густав. Вы, а не она, пытаетесь ввести меня в заблуждение...

— Пусть за ней проследит кто-нибудь из твоих сотрудников, Фрэнк, — без колебаний предложил я. — Это и будет доказательством того, кто прав...

— Вынужден просить вас удалиться, — выдавил он. — Наша совместная работа закончена.

— Как вам угодно, профессор Бэкон, — с достоинством ответил я, поднимаясь с места. — Вам виднее...

Ночь застала Бэкона, погруженного в свои мысли, в каком-то неуютном и мрачном месте. На небе — ни звездочки, и только тоненький серп молодого месяца посылал ему лучик надежды.

Он бродил уже часа два без всякой цели, оттягивая момент возвращения домой и встречи с Ireной. Все это время ему не удавалось привести в порядок свои мысли, словно его лишили здравого рассудка. Как ни силился, как ни старался восстановить в памяти каждую минуту их близости, так и не смог решить с определенностью, любила его Ирена или притворялась. В последние месяцы вся его личная жизнь сосредоточилась в ночах, проведенных с нею, в их нескончаемых разговорах и бьющей через край страсти. Но за пределами этого, признавался он сам себе, Ирена оставалась для него загадкой. Он не мог отделаться от мысли, что все могло оказаться сплошным обманом; дьявольским, губитель-

ным для него замыслом. Не хотелось верить, признаваться, что он мог совершить такую ошибку, и тем не менее...

Тем не менее неопределенность терзала его. Он решил не откладывать больше встречу, ждать не стало сил... Поднялся по лестнице в подъезде, словно на эшафот, и, даже шага не сделав в сторону своей квартиры, сразу же вошел к ней. Как только Ирена ощутила отчужденный контур его плеч, почувствовала сдержанность его губ в ответ на свой поцелуй, увидела печаль, горечь, бессилие в его глазах — сразу поняла: он *знает*. Ей даже не понадобилось спрашивать его.

— Прости меня, Фрэнк.

Она попыталась обнять его, но Бэкон отстранился.

— Как ты могла?

— Прости, у меня не было выхода...

— Кто тебе платит за информацию?

Слезы прочертили по лицу Ирены две линии.

— Фрэнк! — закричала она. — Прошу тебя...

— На кого ты работаешь?

— Пожалуйста!..

— На русских?

Ирена чуть заметно кивнула.

— Зачем?

— Зачем? — переспросила она, стараясь не переиграть. — О, я так жалею об этом...

— Ты обманывала меня с самого начала!

— Да, в этом заключалось мое задание. Я должна была втянуть тебя в интимные отношения...

— Что ж, тебе это удалось...

— Но дело вдруг повернулось иначе! Ты все испортил, Фрэнк... Ты вошел в мою жизнь, а мне ничего не оставалось, как продолжать сотрудничать с ними... Им нужен Клингзор любой ценой!

— Ты предала меня... Продала!

— Нет, Фрэнк, нет! Да, так все начиналось, но я тогда не знала, что полюблю тебя! Клянусь! Это меня мучило постоянно, каждый день я собиралась во всем тебе сознаться, но слишком боялась... Я люблю тебя.

— И ты рассчитываешь, что теперь я поверю тебе, Ирена?

— Фрэнк, я говорю правду...

— Я слышал то же самое много раз, — равнодушно промолвил Бэкон. — Мне хотелось бы, чтоб так и было... Мне хотелось бы этого больше всего на свете... Но теперь слишком поздно...

Бэкон повернулся, бросив через плечо:

— Прощай, Ирена.

Неизвестные переменные

Берлин, июль 1943 года

Ближе к середине 1943 года я получил письмо от Генриха, где тот просил меня о встрече. Марианну эта новость всполошила даже больше, чем меня, и целую неделю мы трое, включая Наталию, не могли спо-

койно спать. Затаив дыхание, мы ждали приезда Генриха, о причине которого он ничего не сообщил даже своей жене. Естественно, предполагалось самое худшее. Встретив Гени, я обнял его и изобразил жест раскаяния, заранее признавая свою вину. Лицо его было бледным и суровым, с морщинами, которых я раньше не замечал. Он поблагодарил меня за согласие принять его и, коротко поздоровавшись с Марианной, сразу же попросил разрешения переговорить со мной один на один в библиотеке.

— Что происходит, Гени? — спросил я, наливая в стаканчики портвейн. — Что за секреты? То тебя нет целые месяцы, то вдруг появляешься так неожиданно, что едва успеваешь повидаться с Наталией...

Генрих залпом выпил свой портвейн и заговорил еле слышным голосом:

— Густав, я благодарен вам за все, что вы сделали для нее. Ты не представляешь, как я рад возможности поговорить с тобой откровенно после всех наших прошлых недоразумений...

— Мы всегда оставались друзьями, — соврал я.

— Знаю, — хлопнул он меня по плечу. — Поэтому я и приехал. Знаешь, мне всегда хотелось брать с тебя пример. Ты точно знаешь свое место, твердо стоишь на ногах и занимаешься только тем, что тебе по душе, — наукой.

— Если бы все было так просто...

— Не стану томить тебя предисловиями, — возбужденно воскликнул он. — Речь пойдет об очень деликатном деле. Я лишь выступаю в качестве посредника... Нет, не подумай, конечно, и как друг, но в то же время я — посланник.

— Чей?

— Очень многих, Густав. Очень многих людей, которым, как и тебе, все это не нравилось с самого начала...

— Не понимаю, Гени... И не хочу больше говорить...

— Погоди, Густав, пожалуйста, выслушай меня. — Он взял меня за руку; в глазах его застыла мольба.

— Ну хорошо...

— Нас гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Мы ведем подготовку уже давно, но только теперь чувствуем себя достаточно сильными, чтобы осуществить наши планы... Вижу, не понимаешь, но, честно говоря, ты сам лишил меня возможности рассказать тебе обо всем... Поначалу Гитлер сбил меня с толку, так же как многих других, но очень скоро я опомнился. А когда началась война... Даже вообразить не можешь, чего я насмотрелся за эти годы, друг мой дорогой! И если я не заговаривал с тобой на эту тему, то только потому, что не хотел раньше времени подвергать тебя опасности.

— Я тебя предупреждал...

— Да, а я не послушал... Прости, прости мне мои былые заблуждения... — Он налил себе и выпил еще стакан вина. — Но теперь я другой, вот что важно. Повторяю: нас много, военных и гражданских, и мы полны решимости положить конец этому ужасу раз и навсегда...

— Немного запоздалое решение, тебе не кажется?

— Ты прав, но время еще есть. Мы должны попытаться, Густав! У нас был разговор о тебе. Нам требуется помощь ученого. Ты бы мог оказаться очень полезным...

Меня удивляло, что Гени говорил со мной о таком серьезном деле с беспечной откровенностью. А вдруг это ловушка? Вдруг он узнал все про нас и теперь хочет отомстить самым страшным образом?

— Мне очень жаль, Гени, но я не могу в этом участвовать, — произнес я задумчиво. — Слишком рискованно и слишком поздно... Теперь уж ты прости.

— Густав! — взмолился он. — Ты не можешь не помочь! Слушай, как мы поступим. Я отведу тебя на одно из наших собраний. Если согласишься с тем, что мы задумали, присоединишься. Если нет, сделаем вид, что вообще тебя не знаем...

— Ну хорошо, Гени, — вздохнул я, сдаваясь. — Дай мне подумать...

— Спасибо, Густав. — Он встал и обнял меня. — Я знал, что мы поймем друг друга, как в старые добрые времена!

Проклятие Кундри

Гёттинген, июнь 1947 года

Войдя в кабинет, я увидел красноречивые следы бессонной ночи на его лице — два черных круга под глазами, землистый цвет кожи, ссохшиеся губы. Его несчастный вид свидетельствовал о том, что сомнения, посеянные мной накануне, дали обильные всходы и за ночь превратились в дремучие заросли.

— Что вам здесь надо? — закричал он на меня с плохо скрываемой неприязнью. — Я же сказал, что больше не хочу вас видеть...

Не обращая внимания на его невежливый тон, я спокойно сел перед ним, как делал это уже много раз.

— Мои подозрения подтвердились, Фрэнк?

— Идите к черту, Линкс!

— Фрэнк, я по-прежнему остаюсь вашим другом, — сказал я миролюбиво. — Меня беспокоит ваше состояние, и меня беспокоит судьба расследования.

— А меня — нет! К черту расследование и к черту Клингзора!

— Фрэнк, — продолжал я, — вы не можете так говорить. Понимаю, вам сейчас несладко; нет ничего хуже, чем убедиться в предательстве человека, которому всецело доверял...

— Кому и знать, как не вам!

— Надо идти вперед, — пропустил я мимо ушей эту колкость. — Я все же думаю, мы не отклонились от правильного направления.

Бэкон не удостоил меня даже взгляда. Он упорно изучал свои пальцы, будто надеясь отыскать у себя под ногтями разгадки всех тайн Вселенной.

— Да, надо идти вперед, — промолвил он. — Только, боюсь, без вашей помощи, Густав.

— Побойтесь бога, Фрэнк, вы не можете отказаться от меня потому лишь, что именно я раскрыл перед вами истинные намерения Ирены. Это напоминает, как в древности казнили гонцов только за то, что они приносили плохие вести.

— Хватит нести чушь, Густав! — Взгляд Бэкона впился мне в лицо. — Я вам больше не доверяю. Никому не доверяю. Не знаю даже, приблизился ли я к истине за все эти месяцы, или меня водили вокруг да около. А не знаю главным образом по вашей милости...

— Чем же я не угодил?

— Густав, прекратим этот бесполезный разговор, — сказал он с напускной твердостью. — Благодарю вас за оказанные услуги, но на этом наше сотрудничество закончено. А теперь оставьте меня.

— Но, Фрэнк... — пробормотал я с искренним сожалением.

— Больше не о чем говорить, профессор Линкс. До свидания.

— Это несправедливо, — не сдавался я. — Вы не можете отделаться от негативного влияния той женщины... Я доказал ее нечестность, но вам не удается преодолеть предвзятое мнение обо мне, навязанное ею...

— Вас это уже не касается, профессор...

— Что ж, видно, придется уйти, — нехотя согласился я. — Но прежде позвольте поведать одну историю. Помните, в начале расследования я рассказал вам содержание первого акта оперы Вагнера "Парсифаль"?

— Да, помню, — холодно ответил Бэкон.

— Перед уходом перескажу второй акт оперы. Чувствую, должен это сделать.

— У меня нет никакого желания выслушивать вас сейчас, профессор.

— Как я упоминал в прошлый раз, в финале первого акта Парсифаль присутствует на пиру, устроенном рыцарями Грааля в замке Монсальват. Там герой становится свидетелем страданий Амфортаса, лишенного милости Господней. Парсифаль не снисходит до жалости к королю, считая, что мучения Амфортаса — заслуженное возмездие за грехи его...

— Густав, я не в настроении... Оставьте меня в покое.

— В начале второго акта Парсифаль оставляет замок Монсальват и направляется на юг ко дворцу Клингзора... — Непонятное волнение охватывало меня по мере того, как я продолжал рассказ. — Угадайте, для чего ему понадобилось идти в те края? Себя испытать, друг мой. Парсифаль хочет узнать свою силу. Может показаться, им движет тщеславие, но то, что он собирается сделать, есть также выражение чистоты его души: подвергнуть себя соблазну порока, сгубившего Амфортаса... Представьте себе картину: Парсифаль шествует по заколдованным тропам, и кого же он ищет? — все ту же женщину "жуткой красоты", которая в свое время совратила Амфортаса. Он желает ее, Фрэнк, желает больше всего на свете. Но желает для того лишь, чтобы отвергнуть, чтобы оказаться сильнее короля... Речь идет о своего рода ордалии, о мистическом поединке с прошлым. Тогда Клингзор решает пойти навстречу желанию юноши. Иногда нет ничего ужаснее, чем получить то, чего страстно желаешь, вам не кажется? Парсифаль делает свою ставку в игре, входя во владения дьявола, и тот готов на нее ответить...

— Знаю, куда вы клоните, Густав, так что давайте закончим на этом...

— Нет, не знаете, Фрэнк! И не можете знать, — возразил я и продолжал: — Дамы и господа! Начинаем поединок двух миров! В этом углу вы видите молодого Парсифаля, в противоположном — старика Клингзора. Сперва Хозяин Горы посылает навстречу Парсифалю целый легион

прекрасных, как цветы, девственниц, юных, почти девочек, и совершенно голых, которые бросаются к нему, целуют и ласкают и всячески дают понять, что его ожидают неземные услады... Так и могло все быть: он погрузился бы в вечное блаженство, но Парсифаль сопротивляется... И знаете почему? Для него такое испытание — слишком легкое. Для него все эти девушки будто и не существуют вовсе. А по какой причине? Да очень простой: Парсифаль желает только *одну* женщину, жаждет опьяняющих объятий лишь соблазнительницы Амфортаса. *Она* — его единственная избранница! Так же, как есть только одна истина, Фрэнк! И он готов добиваться ее любой ценой, преодолевая все препятствия...

— Красивая история, Густав, но я устал... Я — не Парсифаль, а наш Клингзор, вероятнее всего, не дьявол, если он вообще существует...

— Вы ничего не поняли, Фрэнк! Ни-че-го... — разволновался я. — Клингзор хорошо осведомлен об устремлениях своего соперника и, как я уже сказал, принимает вызов. Парсифалю и в голову не приходит, что разыскиваемая им с таким упорством женщина, это орудие в дьявольских руках, есть не кто иная, как Кундри, то самое удивительное создание, встретившееся ему на горе Монсальват... Коварная обольстительница! И вдруг они оба оказываются друг перед другом, глаза в глаза, посреди густого леса, непременного места действия рыцарских романов... Парсифаль не в состоянии оторвать от нее взгляда; теперь она кажется еще прекраснее; ее тело, обнаженное, как сама истина, ослепляет юношу... Кундри покорно ждет, когда мужчина овладеет ей, стоя перед ним в позе Венеры Боттичелли. Весь дрожа, наш Парсифаль в ужасе осознает, что вот-вот перестанет сопротивляться и потерпит поражение так же, как в свое время Амфортас, что желает Кундри больше, чем спасения души, любит ее сильнее, чем Бога...

И тут происходит чудо. Кундри подходит вплотную и целует Парсифаля — тот, повторяю, не в состоянии отвергнуть ее. И тем не менее этот поцелуй Кундри обращается против Клингзора и его царства тьмы, так как ею движет не страсть, не похоть, не сладострастие, но — *увы!* — сострадание... В сознании девушки вдруг возникает образ раненого Амфортаса.

Тревожное чувство охватывает Кундри, она рассказывает Парсифалю, как однажды ей явился сам Спаситель, но при виде следов его мучений девушка лишь посмеялась над ним. С тех пор этот смех преследовал ее, и единственным способом отделаться от него было заставить когонибудь согрешить... Парсифаль возмущен таким богохульством и отстраняется от нее. Кундри в ярости проклинает Парсифаля, Клингзор с высоты своего замка делает то же самое. Но проклинать уже поздно. Парсифаль победил. То, что происходит дальше, — лишь довершение триумфа. Клингзор спускается из дворца в сад и вступает в поединок с Парсифалем. Сжимая в руках свое оружие, копье Лонгина, Клингзор пытается поразить им противника, но оно отказывается ранить юношу. Теперь все, что требуется от Парсифаля, — осенить жилище Клингзора знаком святого креста, и огромный замок, царство видений и призраков, колдовства и прорицаний, рушится до основания... Это похоже на Апокалипсис, Фрэнк, на Всемирный потоп, трагический конец целой эпохи... Парсифаль оборачивается к Кундри и говорит ей: "Ты знаешь, где найти меня..." После этих загадочных слов занавес падает.

Книга третья
Законы предательства

Закон I
Все люди слабы

Почему мы такие слабые? По той простой причине, что не ведаем, чего ждать от будущего. Живем в нескончаемом сегодняшнем дне, снедаемые желанием узнать свою судьбу. Следовательно, все мы суть невольные искатели сами не знаем чего. И что же мы делаем, чтобы скрыть от себя нашу слабость? — Изобретаем, выдумываем, творим. Не устаем думать, что брошены в эту пучину недаром, что чей-то извращенный ум поставил перед нами хитрую задачу разрешить хоть какое-нибудь из наших сомнений.

Следствие I

Среди всеобщей неразберихи всегда найдется человек, способный обратить в свою пользу чужое неведение. Кто-то обязательно возвысится над остальными и присвоит себе право на обладание истиной. В какой момент слабый превращается в сильного? Ответить на этот вопрос несложно. Если кому-то удастся заставить поверить остальных в то, что он лучше их *знает* будущее, значит, он способен диктовать свою волю другим. Как указал Макс Вебер, власть есть не что иное, как умение с наибольшей вероятностью предвидеть чужое поведение.

Гитлер был *ясновидящим*, он мог управлять себе подобными благодаря своему божественному (или дьявольскому) дару, который позволял ему *видеть* дальше, чем остальные. Для него будущее было таким же ясным, как настоящее. Как же после этого не признавать с горечью собственное ничтожество и не восхвалять изрекаемую *им* Истину?

Закон II
Все люди лживы

Если, в соответствии с теоремой Гёделя, любая аксиоматическая система содержит неразрешимые утверждения; если, в соответствии с релятивизмом Эйнштейна, не существует абсолютного времени и пространства; если, в соответствии с принципом неопределенности, причинность уже не годится для уверенного предсказания будущего; и если у каждой отдельной личности имеется своя отдельная правда — это означает, что существование всех нас, созданных из одинаковой атомной материи, есть неопределенность. Наши убеждения, таким образом, неизбежно половинчатые.

Следствие II

Лживость въелась в наше сознание и в нашу душу, как червь-паразит в плоть жертвы. Мы обманываем по самым разнообразным соображениям, иногда — просто по привычке, поскольку, затерявшись в бескрай-

ности Вселенной, даже не знаем, кто мы. Если я не могу сказать сам о себе, что говорю правду, как могут быть в этом уверены остальные?

Закон III
Все люди – предатели

Предателем может стать лишь тот, кто твердо придерживается хотя бы одного убеждения, верит хотя бы в одну жизненно важную истину и тем самым обрекает себя на роль разрушителя. Такого ждет трагическая и жестокая участь; он низвергает устои собственной системы, ведет войну против себя, ломает принципы своего существования. Решусь даже дать определение крайнего случая: только тот настоящий предатель, кто в итоге самоуничтожается. А вот как Оскар Уайльд высказался на этот счет: люди губят лишь то, что любят.

Следствие III

Влюбленные защищают свою любовь как единственную истину на свете, как высшую ценность на земле, как высшую религию и подавляют всех непосвященных с беспощадностью и жестокостью диктаторов и палачей. Они верят, что их правота служит им оправданием.

В Америке лейтенант Фрэнсис П. Бэкон лгал двум женщинам, важнее которых для него не было никого и ничего на свете, – Вивьен и Элизабет. Я, в свою очередь, лгал Генриху, Марианне, Наталии... Во всех случаях любовь служила нам искуплением грехов. Мы и ведать не ведали, что все абсолютные величины – из которых любовь самая великая – порождают предателей.

Диалог первый: о том, как забывается история

Лейпциг, 5 ноября 1989 года

– Вы не могли бы включить эту лампу?

– Конечно, – отвечает он мне. – Как вы себя чувствуете сегодня?

Как я могу себя чувствовать? Мне столько раз задавали этот вопрос за все прошедшие годы, что он потерял для меня всякий смысл. Как отличить день ото дня, когда живешь целую вечность? Когда все дни одинаковые, когда мгновения чередуются, похожие одно на другое, когда само время перестало существовать? И все-таки этот новый доктор мне симпатичен. Те, что приходили до него и докучали мне вопросами, рецептами, советами, не обладали искренней готовностью Ульриха сострадать и помогать, выдающей в нем неопытного медика, карьера которого обречена на неудачу. Его назначили моим лечащим врачом лишь несколько дней назад, и он с самого начала не произвел на меня впечатления надзирателя или любителя чужих откровений, как другие, а наоборот, мне показалось, что ему почему-то действительно интересно выслушивать мои воспоминания. Ну и времена настали – нынче никому нет дела до прошлого!

Ульрих вежлив, услужлив и почти с благоговением называет меня "профессором", хотя я об этом его не просил. Иногда он рассказывает

о том, что происходит снаружи, в диком и чуждом для меня мире. Даже читает мне вслух газеты с видимым восторгом, который я не разделяю. Похоже, новый руководитель Советского Союза, очередная подделка Сталина, выражает готовность освободить свои колонии, включая жалкий ошметок Германии, где мы находимся. "Началась новая эра", – говорит мой ночной гость, но я лишь саркастически улыбаюсь в ответ.

Стены комнаты вдруг озаряются светом тысячи солнц, будто от вспышки атомного взрыва. Никогда раньше не выглядели они такими белыми, со всеми своими ржавыми пятнами и грязной паутиной, и такими не похожими на тюремные.

– А вы как чувствуете себя, доктор? – спрашиваю я в свою очередь, имитируя его тон.

– Очень хорошо, спасибо, профессор Линкс, – с радостной готовностью отвечает тот. – Боль в боку по-прежнему ощущается?

Боль... Я даже не знаю, что означает это слово.

– Можно спросить вас? – говорит он, присаживаясь ко мне на кровать. – Кто вы?

Он что, не знает?

– Я – Густав Линкс, математик Лейпцигского университета, – с важностью представляюсь я. – По крайней мере, так записано в моем личном деле. Вы разве не читали?

Ульрих показывает мне свои желтоватые зубы.

– Да я не об этом. Я знаю, как вас зовут. И знаю, что вы здесь уже больше сорока лет, – говорит он с извиняющимся жестом.

– Что же вы хотите, чтобы я вам сказал? – спрашиваю я, чуть приподнимаясь.

– Правду.

– Правду! Опять эта старая песня, – отвечаю. – Правду! Да кому она нужна...

– Я просто хочу узнать вас получше. Поближе познакомиться.

– Ответы на все вопросы есть в моем личном деле, – упорствую я. – Или его уже сожгли за ненадобностью?

– Хочется услышать от вас лично. Хочу подружиться с вами. Расскажите!

Какая польза кому-то знать о моей жизни? Даже мне нет никакой пользы. Но небесно-голубые глаза Ульриха почему-то вызывают у меня доверие. Он напоминает мне чем-то лейтенанта Фрэнсиса П. Бэкона, и я соглашаюсь. Терять мне, собственно, нечего.

– Это долгая история, – начинаю я. – Будете слушать?

– Я готов.

– Сколько вам лет, доктор?

– Двадцать девять.

– Вам приходилось слышать о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года? – спрашиваю, заранее зная, что он ответит. Конечно нет...

Заговор

1

Госпиталь, невыносимо яркий, колющий глаза свет. Пациент начинает с трудом приходить в себя, будто силится очнуться не от сна, а от самой смерти. Над ним склоняется спасший ему жизнь хирург Фердинанд За-

уэрбрух. Наблюдает с профессиональным хладнокровием человека, рядом с которым смерть проходит каждый день. Полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг открывает глаза и пытается сфокусировать взгляд на лице врача. Постепенно чувства возвращаются, и он понимает, что руки не слушаются его. Острая боль пронизывает тело — оно словно насквозь проколото булавкой, как бабочка в коллекции.

— Когда я смогу встать? — первым делом спрашивает он, ничуть не рисуясь.

— Это зависит от многого, — неопределенно отвечает Зауэрбрух. — Большинство ранений на теле не более чем царапины, а вот чтобы восстановить подвижность обеих рук, особенно левой кисти, потребуется долгий процесс реабилитации. — Точно так же рассуждали бы о ремонте танка или пистолета. — Боюсь, придется прооперировать еще раза два, не меньше.

— Сколько времени это займет? — настаивает Штауффенберг.

— Не знаю, — твердо отвечает хирург. — Несколько месяцев. Может быть, год...

Штауффенберг приподнимается, чтобы принять более достойную позу и тем самым сделать весомее свои слова. Яростно смотрит врачу прямо в глаза, словно перед ним враг или предатель, и, превозмогая приступ боли, цедит сквозь стиснутые зубы:

— У меня нет столько времени. Меня ждут неотложные дела.

2

— Лично мне все ясно, господа, — говорит генерал Бек тихим голосом, но его тон не оставляет сомнений — так бесшумный ветер точит и разрушает камень в горах. — Наша единственная надежда в том, чтобы освободиться от *него*.

Никто не осмеливается произносить имя вслух — даже здесь личность фюрера вызывает у присутствующих чуть ли не священный трепет, — однако все прекрасно знают, кого имеет в виду бывший начальник Генерального штаба сухопутных войск.

— Другого выхода нет, — поддерживает его еще один генерал, командующий берлинским гарнизоном Фридрих Ольбрихт.

— Нам срочно нужен исполнитель, — заканчивает Бек, предусмотрительно избегая произносить вслух слово "убийство".

3

10 августа 1943 года снова собирается petit comité[1] в доме Ольбрихта. Генерал Хеннинг фон Тресков, командир элитных резервных подразделений фюрера, прибывает точно в назначенный час. После выполнения все еще принятых у заговорщиков условностей хозяин и гости перебираются в библиотеку. Там уже сидит молодой светловолосый

1. Узкий круг (*франц.*).

подтянутый офицер, который при виде их вскакивает с места и отдает честь. Ольбрихт подходит к нему и совсем не по-военному кладет руку на плечо.

— Генерал, — обращается он к фон Трескову, нервно улыбаясь. — Позвольте представить: полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг — наш человек...

4

— Надо еще раз все тщательно проверить.

На этот раз встреча происходит на квартире в Грюнвальде. Клаус фон Штауффенберг и Хеннинг фон Тресков как равные сидят друг против друга, понимая, что сейчас они решают будущее Германии и, в определенном смысле, всего мира, не говоря уж о своем собственном. Здесь же присутствует капитан Генрих фон Лютц, с самого начала принимающий участие в заговоре. Перед ними лежат листы бумаги с шифрованными записями и схемами, но все трое знают, что за условными значками и буквами, за цифрами и пробелами спрятан скрупулезно разработанный генералом Ольбрихтом план действий по осуществлению антигитлеровского государственного переворота.

— Мы не можем позволить себе ни единой ошибки, — продолжает фон Штауффенберг. — Если понадобится, будем сидеть здесь два дня.

— Вы правы, полковник, — соглашается фон Тресков, испытывая неловкость оттого, что младший по званию взял инициативу в свои руки. — Пройдем еще раз.

— Генерал Ольбрихт построил свою стратегию на уже существующей программе, — начал фон Лютц. — Главная мысль в том, что сразу после переворота вступает в силу чрезвычайный план, разработанный вермахтом на случай "внутренних беспорядков".

— Правильно ли я понял, капитан? — говорит фон Штауффенберг. — Вы хотите сказать, что мы воспользуемся планом Гитлера по подавлению заговора?

— Звучит парадоксально, — признает Генрих, — но так оно и есть. Военное руководство убедило Гитлера в необходимости создать механизм действий на случай враждебного выступления миллионов иностранных рабочих на территории рейха под руководством коммунистов.

— Хорошо, дальше, — приказывает фон Тресков.

— Условное название плана военных — операция "Валькирия", — продолжает Генрих. — Если произойдет выступление рабочих или любое другое восстание внутри страны, все резервисты будут немедленно поставлены под ружье.

— Вы имеете в виду военнослужащих, уволенных в запас, молодежь, не призванную на службу, и пожилых мужчин, получивших военную подготовку? — спрашивает фон Штауффенберг.

— Боюсь, именно о них идет речь.

— И этих людей придется вести в бой? — полковник не скрывает сарказма. — Учтите, нам предстоит настоящая война, а не самодеятельный спектакль.

— Генерал Ольбрихт с самого начала разрабатывал операцию "Валькирия" с тайным намерением задействовать ее в ходе военного перево-

рота, – подчеркивает фон Тресков. – Угроза красного бунта была лишь предлогом, чтобы заручиться согласием Верховного командования вооруженных сил, а на деле даже не рассматривалась.

Все трое одновременно делают глубокий вздох. Каждый из офицеров думает о том, что будущее – *их* будущее – зависит от этих подразделений резервистов и что те только чудом смогут противостоять хорошо вооруженным и обученным войскам.

– В соответствии с планом, – продолжает Генрих, – задействованные в операции "Валькирия" подразделения должны занять здания министерств, партийных ведомств, телефон, телеграф и радиостанции, а также концентрационные лагеря. Все военнослужащие СС будут разоружены, а те, кто окажет сопротивление, – расстреляны на месте.

– Самое важное, – поясняет фон Тресков, – заставить всех поверить в то, что покушение осуществлено продавшимися заграницe Гиммлером и другими партийными иерархами, которые, убив фюрера, предали страну. Если мы хотя бы в течение нескольких часов удержим ситуацию под контролем, то, возможно, достигнем успеха.

– Было бы целесообразно внушить обществу уверенность в том, что мы сохраняем верность не только рейху, но и партии, – предположил фон Штауффенберг. – Это помогло бы избежать подозрений и дезертирства, по крайней мере на начальном этапе.

– Разумная мысль, – соглашается фон Тресков. – Может быть, нам даже следовало бы наши первые заявления сделать от имени партии.

– Но тогда мы рискуем не понравиться союзникам, – заметил Генрих.

– Скорее всего, да, – размышляет фон Штауффенберг, – но на данном этапе этот риск менее опасен, чем недоверие внутри страны. Стабилизировав обстановку, мы освободим руки для налаживания прямых контактов с союзниками.

Все трое несколько минут молчат, стараясь мысленно учесть все трудности, которые могут возникнуть в ходе осуществления плана. Потом Генрих опять берет слово.

– Как я уже говорил, серьезным недостатком операции "Валькирия" является то, что генерал Ольбрихт не имеет полномочий отдать команду к ее началу. В соответствии с существующим порядком только Гитлер может сделать это своим личным приказом.

– Характерная для фюрера предосторожность, – отмечает фон Тресков.

– Тем не менее есть одно исключение, – добавляет Генрих. – В самых крайних чрезвычайных обстоятельствах дать сигнал к проведению операции имеет право генерал Фридрих Фромм, командующий войсками резерва.

– К сожалению, несмотря на все усилия привлечь генерала Фромма к участию в деле, его пока нельзя считать нашим твердым сторонником, – вставил фон Тресков. – В случае если он откажется отдать приказ, у нас не останется другого выхода, как обезвредить его, а сигнал к началу операции даст генерал Ольбрихт, но тогда возникает опасность, что в прохождении команды по цепочке где-то появятся сбои.

– Слишком много ненадежных моментов, – задумчиво произносит фон Штауффенберг. – Но делать нечего, дольше тянуть нет времени.

— Что ж, тогда — вперед, — говорит фон Тресков поднимаясь, не глядя в глаза младшим по званию, чтобы не увидеть в них признаков страха или колебаний.

Alea jacta est[1].

6

1 июля 1944 года фон Штауффенберг становится начальником Генерального штаба войск резерва под командованием генерала Фридриха Фромма. Это одно из важнейших назначений за всю его карьеру, которое одновременно открывает благоприятную возможность для осуществления плана переворота и операции "Валькирия".

Фон Штауффенберг подозревает, что Фромм в глубине души догадывается о его истинных намерениях, но все его старания привлечь Фромма на свою сторону разбиваются о безмолвную стену недоверия. Как бы то ни было, новая должность еще больше укрепляет полковника во мнении, что именно он должен установить бомбу в Волчьем Логове, ставке Гитлера в Растенбурге.

7

Генерал Эрих Фельгибель, исполняющий обязанности начальника службы связи вермахта, соглашается участвовать в подготовке государственного переворота.

— Я позабочусь о том, чтобы из Волчьего Логова не прозвучало никакого сигнала тревоги.

— Отлично! — радуется Генрих.

— Только, господа, должен предупредить, что у нас будет мало времени, — добавляет генерал. — Я могу перекрыть сообщение с центральным отделением связи в Растенбурге, но учтите — у СС, гестапо и министерства внутренних дел есть автономные средства связи. Кроме того, нельзя полностью прерывать связь с фронтом, иначе кто-нибудь обязательно заподозрит неладное.

— Итак, генерал... — перебивает его фон Штауффенберг.

— Итак, в нашем распоряжении не более одного-двух часов, чтобы полностью овладеть ситуацией. Потом будет слишком поздно, господа...

10

20 июля, 10 часов 00 минут. Самолет с фон Штауффенбергом, его помощником Вернером фон Хэфтеном и генералом Хельмутом Штиффом приземляется на аэродроме в Растенбурге. Полковник сразу же направляется в "контрольную зону II", неся в руке чемоданчик с бумагами, которые понадобятся ему на предстоящем совещании. Обе бомбы, подготовленные к взрыву, спрятаны в чемоданчике Вернера фон Хэфтена,

1. Жребий брошен (*лат.*).

точно таком же, как у его начальника. В какой-то момент они должны обменяться ими.

Пока фон Штауффенберг находится в "контрольной зоне II", фон Хэфтен и Штифф ожидают его в ставке Верховного командования вооруженных сил.

11 часов 00 минут. Фон Штауффенберг встречается с генералом Вальтером Буле, и после короткой беседы оба направляются в бункер Гитлера в "контрольной зоне I" на совещание с генералом Вильгельмом Кейтелем, возглавляющим Верховное командование вермахта.

Закончив совещаться с Кейтелем, фон Штауффенберг спрашивает его адъютанта майора Эрнста Джона фон Фрайэнда, где он может оправиться и сменить рубашку. Фон Фрайэнд объясняет, как пройти к туалетам "контрольной зоны I". По дороге к фон Штауффенбергу присоединяется фон Хэфтен, и они обмениваются чемоданчиками. В туалете полковник начинает приводить бомбы и детонаторы в боевую готовность.

Неожиданно туда вбегает сержант Вернер Фогель. Штауффенберг едва успевает с помощью фон Хэфтена закрыть чемоданчик.

– Меня послал за вами майор фон Фрайэнд, – сообщает сержант. – Кажется, вам срочный звонок от генерала Фельгибеля.

Фон Штауффенберг благодарит сержанта и следует за ним по коридору. Из-за его вмешательства полковник успел установить взрыватель только на одной бомбе. Он утешает себя мыслью, что этого достаточно для ликвидации Гитлера.

12 часов 00 минут. Штауффенберг в сопровождении майора фон Фрайэнда спешит в бункер Верховного командования. Там его ожидает генерал Вальтер Буле. По пути Штауффенберг дважды отклоняет предложение фон Фрайэнда помочь ему нести чемоданчик.

Вместе с Буле фон Штауффенберг направляется в "контрольную зону" фюрера. Когда Штауффенберг и Буле входят в зал заседаний, совещание уже началось. Генерал Адольф Хойзингер, стоя у карты, докладывает обстановку на Восточном фронте. Кейтель объясняет фюреру, что Штауффенберг вызван для последующего доклада.

Фон Фрайэнд, получивший наконец разрешение Штауффенберга забрать чемоданчик, ставит его между генералом Хойзингером и его помощником полковником Брандтом. Несмотря на все старания сесть поближе к Гитлеру, Штауффенбергу достается место у дальнего угла стола.

Через несколько минут фон Штауффенберг поднимается, невнятно извиняется, сделав вид, что вспомнил о важном деле, и выходит из помещения. Закрыв за собой дверь, повторяет пройденный путь, только в обратном направлении. Выходит из бункера Верховного командования и присоединяется к фон Хэфтену и Фельгибелю, ожидающим в центре связи.

Взрыв в течение нескольких секунд сотрясает стены постройки. *Свершилось!* На часах 12.40.

11

12 часов 45 минут. Теперь начинается самое важное: как узнать, погиб ли Гитлер? Фон Штауффенберг и Фельгибель озираются в поддельном изумлении.

— Что бы это могло быть? — задает вопрос полковник.

Один из военнослужащих центра связи спокойно отвечает:

— Взрыв орудийного снаряда или мины.

Густое красноватое облако начинает подниматься над постройками.

Штауффенберг решает больше не ждать и приказывает фон Хэфтену найти шофера. Через считанные секунды машина уже мчит его по направлению к аэродрому. При выезде с территории бункера он успевает заметить, как несколько людей несут чье-то тело к лазарету. Оно завернуто в плащ Гитлера. Задача выполнена! Часовой у ворот никого не выпускает, но, узнав фон Штауффенберга, после минутного колебания открывает дорогу.

13 часов 00 минут. Штауффенберг и Хэфтен садятся в присланный генералом Вагнером самолет, который должен доставить их в Берлин. Ничего нового о развитии событий пока не известно.

Тем временем Фельгибель полностью отрезал ставку в Растенбурге от связи со всей страной. Основание его действий ни у кого не вызывает подозрений: лучше держать происходящее в секрете до прямого указания фюрера или какого-нибудь высокопоставленного нацистского руководителя. Фельгибель наконец узнает подробности: бомба взорвалась, но, вопреки всем ожиданиям, Гитлер остался жив. Зал заседаний разрушен, но силу взрыва в значительной степени смягчил массивный дубовый стол. Кое-кто из присутствующих, включая самого Гитлера, получили царапины и ожоги, но никто не погиб. Слава богу!

В ужасе Фельгибель звонит по телефону в штаб заговорщиков на Бендлерштрассе, не зная, как известить их о случившемся. Среди условных фраз не было такой, чтобы дать понять: бомба взорвалась, но цель не достигнута. Когда наконец трубку берет генерал Фриц Тиле, активный участник заговора, отвечающий на Бендлерштрассе за связь, Фельгибелю не приходит в голову ничего лучше, чем сказать правду: Гитлер жив. То ли из-за нервного потрясения, то ли от безнадежности он добавляет, что план переворота должен осуществляться без изменений.

14 часов 00 минут. В Растенбурге подозревают фон Штауффенберга в совершении покушения. Сержант Артур Адам доложил, что видел, как полковник Штауффенберг спешно покидал территорию ставки вскоре после взрыва. Мартин Борман, один из наиболее приближенных к фюреру людей, подтверждает эту информацию.

Гитлер немедленно передает в Берлин указание начальнику главного имперского управления безопасности Эрнсту Кальтенбруннеру и начальнику полиции Бернду Венеру безотлагательно прибыть в Растенбург для проведения расследования.

15 часов 00 минут. По прямому указанию рейхсфюрера СС отменяется приказ Фельгибеля и восстанавливается связь со ставкой в Растенбурге. Гитлер, в свою очередь, шлет собственные приказы по всем направлениям, стремясь не допустить потери контроля над ситуацией. Он решает выступить по радио с обращением к немецкому народу, сообщить, что здоров, и тем самым воспрепятствовать росту числа сторонников заговора. Примерно в это же время самолет со Штауффенбергом и Хэфтеном приземляется в берлинском аэропорту Темпельхоф.

В генштабе армии на Бендлерштрассе генерал Ольбрихт наконец решается дать сигнал к началу операции "Валькирия". Присутствующий тут же другой главный участник заговора Альбрехт Риттер Мерц фон

Квирнхайм поддерживает это решение. Через несколько минут фон Хэфтен звонит из аэропорта и сообщает, что покушение успешно осуществлено, Гитлер мертв, а Штауффенберг и он только что благополучно прибыли в Берлин.

12

16 часов 00 минут. По приказу Ольбрихта Мерц фон Квирнхайм встречается с высшими чинами вермахта, информирует их о том, что Гитлер мертв, что генерал Людвиг Бек назначен новым начальником Генерального штаба, а маршал Вицлебен будет исполнять обязанности Верховного главнокомандующего. Он также передает приказ о начале операции "Валькирия" во всех военных округах, училищах военно-морских сил и берлинском гарнизоне.

В это время Ольбрихт прибывает в штаб генерала Фромма.

— Фюрер убит в результате покушения в ставке в Растенбурге, — заявляет он без обиняков. — Вот все необходимые документы для начала операции "Валькирия". Пожалуйста, поставьте свою подпись.

Кровь отливает от лица Фромма, он становится белее мела.

— Вы с ума сошли, — только и может выговорить он.

— Нет, генерал, я полностью владею своим рассудком, — подтверждает Ольбрихт. — Подписывайте.

Фромм, извинившись, покидает кабинет и набирает номер Кейтеля в Растенбурге.

— Действительно, — отвечает тот, — на фюрера осуществлено покушение, но благодаря заступничеству Господа он жив и здоров. Однако, генерал Фромм, — холодно чеканит слова Кейтель, — у вас есть данные, где точно находится сейчас начальник вашего штаба полковник Штауффенберг?

— Он еще не вернулся из Растенбурга, — бормочет Фромм и в растерянности кладет трубку. Теперь ему все ясно.

Он немедленно возвращается в свой кабинет, где его ожидает Ольбрихт.

— Сожалею, генерал, — с издевкой говорит он, — но я не могу подписать это. Фюрер жив.

В генштабе армии на Бендлерштрассе воцаряется полная сумятица. Никто точно не знает, что происходит, и еще меньше — что делать. По приказу Ольбрихта капитан Карл Клаузинг занимает все помещения здания генштаба. Ему помогают только четыре младших офицера. Следующая задача Клаузинга — захватить центр связи и обратиться ко всем командирам войсковых частей и подразделений, посвященным в план переворота.

Выполнив ее, он приказывает радиооператору передать в войска следующий призыв: "Фюрер Адольф Гитлер мертв! Фюрер Адольф Гитлер мертв! Группа предателей — партийных руководителей пыталась воспользоваться этим и захватить власть! В целях поддержания порядка правительство рейха объявляет военное положение".

— Но, капитан, — обращается к нему радиооператор, — в тексте сообщения отсутствуют контрольные коды. Вы хотите, чтобы мы его закодировали?

Клаузинг колеблется, лихорадочно обдумывая ответ.

– Да, да, – бросает он.

С этого момента все четверо шифровальщиков генштаба на Бендлерштрассе принимаются за рассылку сообщения о смерти Гитлера. Им понадобится больше трех часов, чтобы полностью выполнить задание.

Не проходит и нескольких минут, как Клаузинг снова появляется в помещении связистов и приказывает передать новое срочное сообщение. Все гаулейтеры, высшие партийные чиновники, офицеры СС и идеологические агитаторы подлежат аресту на всей территории рейха. "Надлежит разъяснять населению, что мы не намерены применять незаконные методы прежних руководителей", – говорится в сообщении.

13

16 часов 30 минут. Фон Штауффенберг прибывает в штаб на Бендлерштрассе.

– Фюрер мертв, – убеждает он Фромма. – Я сам видел тело.

– Это мог сделать только один из его приближенных, – бормочет Фромм с притворным простодушием.

– Это сделал я, – слышит он в ответ.

Фромм потрясает поднятыми кулаками, словно этим жестом хочет заставить его покориться и раскаяться.

– Так знайте же, я только что разговаривал с генералом Кейтелем, – кричит Фромм, хватая ртом воздух, – и он подтвердил, что фюрер жив!

– Это ложь, – спокойно произносит фон Штауффенберг.

Ярость Фромма усиливается с каждой секундой, но и боится он не меньше, прекрасно понимая, что очутился в весьма щекотливом положении.

– Генерал Ольбрихт и полковник Штауффенберг, – кричит он, – вы арестованы!

– Генерал Фромм, – медленно и невозмутимо говорит Штауффенберг, – вы, кажется, не вполне осознаете, каков в настоящее время баланс сил. Теперь мы, а не вы, решаем, кого арестовывать, а кого нет.

– В таком случае, – шипит тот, – я складываю должностные обязанности. – Потом, после напряженной паузы, добавляет: – Могу я просить о последнем одолжении?

– Говорите, генерал.

– Дайте бутылку коньяка...

Ольбрихт приказывает выполнить эту просьбу, и генерала Фромма отводят в помещение его бывшего адъютанта под арест.

17 часов 00 минут. В кабинете Ольбрихта собирается новое временное правительство рейха во главе с генералом Людвигом Беком. Первым делом, среди прочих мер, он назначает генерала Эриха Хёпнера на должность, которую несколько минут тому назад занимал Фромм. Хёпнер просит, чтобы приказ о его назначении был отдан в письменной форме, а позже, занимая место в кабинете своего бывшего начальника, даже извиняется перед ним. Фромм, уже отпивший из бутылки с коньяком, отвечает:

— Мне жаль, Хёпнер. У меня уже нет сил. Я думаю, фюрер жив, и вы все совершаете ужасную ошибку.

17 часов 30 минут. Войсковые части по всему рейху получают противоречивые послания: закодированные приказы с Бендлерштрассе и отменяющие их приказы из Растенбурга.

Строго выполняя положения плана проведения операции "Валькирия", верховный комендант Берлина генерал Пауль фон Хазе вызывает начальников военно-морского и саперного училищ и командира батальона охраны к себе в штаб в доме № 1 по улице Унтер-дер-Линден и дает им указание взять город под свой полный контроль.

Еще через несколько минут верные заговорщикам войска занимают здание министерства пропаганды и окружают дом, где живет доктор Йозеф Геббельс, единственный из высших нацистских руководителей, который в данный момент находится в Берлине. План выполняется должным образом по всей территории города, и группы военных, не встречая сопротивления, занимают здания радиостанций, помещения, где размещаются партийные и эсэсовские органы. Кажется, заговорщики полностью владеют ситуацией.

17 часов 42 минуты. Вопреки попыткам заговорщиков перекрыть каналы связи, радиообращение из Растенбурга транслируется по всему рейху. В нем сообщается о совершенном нападении, в результате которого несколько офицеров получили серьезные ранения. "К счастью, — звучит голос диктора, — фюрера лишь слегка поцарапало, и он немедленно вернулся к своей деятельности".

19 часов 00 минут. Отто Ремер, командир берлинского батальона охраны, добросовестно выполняет приказ своего непосредственного начальника генерала Пауля фон Хазе блокировать местность вокруг дома Геббельса. Когда Ремер входит в дом, чтобы арестовать министра пропаганды, тот со свойственной ему проницательностью видит возможность подчинить своей воле этого маленького, забитого офицеришку.

— Фюрер жив, — заявляет он уверенно.

— Нам сказали иное.

— Хотите поговорить с ним? — спрашивает Геббельс тоном, не терпящим возражений.

Ремер безмолвствует и не препятствует министру взять телефонную трубку и набрать номер в Растенбурге. После сдержанных приветствий Геббельс передает трубку своему стражнику.

— С этого момента вам предоставляются все полномочия, чтобы покончить с заговорщиками! — Ремер не верит своим ушам — это голос фюрера!

Он приносит извинения Геббельсу, освобождает его из-под ареста и приступает к выполнению новых приказов.

14

20 часов 00 минут. Многие заговорщики начинают понимать, что они проиграли. Поступают сообщения о предательствах и отказах командиров частей и подразделений следовать приказам с Бендлерштрассе. Случай с Ремером далеко не единственный.

В кабинете Ольбрихта собираются самые убежденные заговорщики; помимо Штауффенберга, Бека, Мерца и Хэфтена здесь граф Ульрих Шверин фон Шваненфельд и граф Петер Йорк фон Вартенбург. Они дают указания и отвечают на звонки, кричат и невнятно бормочут, отчаиваются и сходят с ума, и все ждут чуда — чуда, которое не спешит свершиться.

21 час 00 минут. Генерал Фромм, никем не остановленный, подходит к телефону и связывается поочередно с подчиненными ему офицерами, отменяя все приказы заговорщиков.

В это же время становится известно об измене берлинского батальона резервистов. Отпускают на волю арестованных временным правительством; они расходятся, и никто не пытается задержать их.

22 часа 00 минут. Несколько офицеров, подчиненных Ольбрихту, но не задействованных в перевороте, являются в кабинет своего начальника с пистолетами и гранатами в руках.

— Генерал, — требуют они ответа, — вы с фюрером или против него?

Ольбрихт безмолвствует.

— Дайте нам возможность поговорить с генералом Фроммом, — выдвигают они новое требование.

— Он у себя в кабинете, — равнодушно отвечает Ольбрихт. Все уже кажется бесполезным.

Фон Штауффенберг врывается в кабинет Ольбрихта как раз в тот момент, когда офицеры пытаются задержать генерала. Раздаются крики, возникает перестрелка. Штауффенберг попадает в одного из офицеров и укрывается в кабинете Мерца. По его плечу стекает струйка крови.

15

23 часа 00 минут. Штаб на Бендлерштрассе переходит под контроль военных, подчиняющихся Фромму и фюреру. Во всех кабинетах ведутся тщательные обыски.

— Вы за или против фюрера? — этот вопрос адресуется всем, кто встречается на пути. В зависимости от быстроты ответа их принимают в свои ряды либо арестовывают.

Через несколько минут генерал Фромм полностью контролирует обстановку в штабе.

— Господа, — говорит он, — теперь моя очередь сделать в отношении вас то же, что вы днем проделали со мной. Прошу сдать оружие, — и он указывает на руководителей заговора: фон Штауффенберга, Ольбрихта, Штиффа, Мерца, Хэфтена, Хёпнера и Бека.

— Позвольте мне остаться наедине со своим пистолетом, чтобы использовать его в личных целях, — с трудом выговаривает Бек.

— Так используйте, нечего тянуть! — презрительно отвечает Фромм.

Генерал Бек поднимает ствол к виску и начинает высокопарную речь:

— В эту минуту я думаю о других временах...

— Я же сказал вам не тянуть! — перебивает Фромм, не склонный к сентиментальности.

После секундного молчания Бек наконец решается нажать на спусковой крючок, но лишь ранит себе лоб.

— Заберите у него оружие! — приказывает Фромм.

Бек сопротивляется и несколько раз стреляет в себя, но ему так и не удается убить себя. Солдаты вырывают пистолет у него из рук.

— Уберите его отсюда, — кричит потерявший терпение Фромм. — А у вас, — обращается он к остальным, — есть только одна минута, чтобы сделать последнее устное или письменное заявление.

Заговорщики безмолвствуют. Что толку теперь говорить? Только Хёпнер берет слово.

— Генерал, — с мольбой в голосе говорит он, — клянусь вам, я представления не имел о том, что происходило. Я только выполнял приказы своих начальников...

— Можно написать несколько строчек? — произносит Ольбрихт, который все это время сохраняет полную невозмутимость.

— Идите к овальному столу, — вдруг совершенно мирно отвечает Фромм, — за которым вы так часто сидели передо мной...

В кабинет входит офицер со срочной телеграммой для Фромма. Рейхсфюрер СС Гиммлер на пути в Берлин. Времени остается совсем мало.

— Батальон охраны прибыл? — спрашивает Фромм офицера.

— Ждет ваших приказов во дворе, — отвечает тот.

— Господа, — громко говорит генерал, стараясь делать это торжественно, но у него плохо получается. — Боюсь, на этом все кончено. — Затем, вдруг овладев голосом, со значением провозглашает: — Во имя фюрера, я созвал этот военный трибунал, который выносит следующее решение: генерал Ольбрихт, полковник Мерц, полковник, чье имя не желаю произносить вслух, и обер-лейтенант Хэфтен приговариваются к смертной казни.

— Я — единственный, кто повинен в случившемся, — делает фон Штауффенберг безнадежную попытку спасти своих товарищей. — Остальные действовали, как хорошие солдаты...

Какой-то сержант, выполняя приказ, волочит по полу агонизирующего генерала Бека в соседнюю комнату и там добивает выстрелом в затылок.

16

00 часов 00 минут. Во дворе выстраивается расстрельное отделение из десяти человек. За ними стоят с полдюжины военных автомашин и освещают фарами приговоренных. Первым выводят Ольбрихта. Потом наступает очередь Штауффенберга, но в тот миг, когда раздаются выстрелы, Хэфтен бросается наперерез, чтобы своим телом остановить пули. Солдаты сразу же убирают труп, и перед ними снова Штауффенберг.

— Да здравствует священная Германия! — успевает выкрикнуть он и падает замертво.

Последним расстреливают Мерца фон Квирнхайма. После казни Фромм радирует вышестоящим руководителям: "Провалившийся путч генералов-изменников подавлен силой. Все вожаки мертвы". По указа-

нию Фромма тела заговорщиков, включая Бека, захоронены в тайном месте на кладбище Святого Матфея.

На следующий день рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер приказывает эксгумировать трупы и сжечь, а пепел развеять по ветру.

Диалог второй: О *законах вероятности*

Лейпциг, 6 ноября 1989 года

Неужели мне действительно доведется стать свидетелем ухода столетия, которое завершается точно так же, как началось? Увижу кончину гигантского абсурда, известного под именем Двадцатый Век?

Годами я не занимался ничем другим, кроме изучения неуловимого и переменчивого поведения чисел — хотел постичь бесконечность. Я вникал в идеи Зенона и Кантора, Аристотеля и Дедекинда, исчеркал сотни листов бумаги замысловатыми вычислениями, похожими на забытые древние письмена, бесконечные часы проводил в изнурительных размышлениях, впадая в состояние, близкое к ритуальному трансу... Это были годы учебы, преподавания, научных исследований. Но, что удивительно, я понял о жизни гораздо больше, оставаясь взаперти на протяжении последних сорока двух лет, не написав за все это время ни единой цифры, не решив ни одного уравнения. Отрезанный здесь от всего мира, я сам очутился в бесконечности. Я вроде Лазаря, который воскрес только для того, чтобы иметь возможность снова умереть.

— Ну, как вам история, которую я рассказал вчера? Не правда ли, захватывающая? — спрашиваю Ульриха.

Его лицо почти ничего не выражает, словно он не может до конца поверить услышанному.

— Да, захватывающая, — повторяет он, хотя по голосу нельзя понять, действительно так думает или просто не хочет спорить.

— И тем не менее, кто сейчас помнит о графе фон Штауффенберге? Или о генерале Беке? Или о Генрихе фон Лютце? Никто. А знаете почему, доктор? Думаете, из-за провала их заговора? Не совсем так. Они оказались вычеркнуты из истории, потому что потерпели поражение от режима, который *тоже* был повержен. Они неудачники вдвойне, и никто не позаботится о том, чтобы восстановить их добрую память. И все же события 20 июля 1944 года — одна из самых красивых историй на свете...

— То есть как? — Если бы Ульрих не был мне настолько симпатичен, я бы не простил ему подобного вопроса.

— Да так... Просто вся история человечества — это рассказ об одной большой неудаче. — Мне стало почти смешно при виде удивления, отразившегося в его глазах. — Не понимаете? Вспомните, о чем я вам рассказывал, как последовательность незначительных ошибок привела к провалу всего плана. Значит, именно эти ошибки сделали историю нашего общества такой, какая она есть... Каких-то два десятка человек могли повернуть в ином направлении судьбу миллионов. И по неосторожности, из-за того, что принято называть игрой случая, этот поворот не свершился...

— Но так всегда происходит...

Его простодушие начинало выводить меня из себя; разговор напоминал урок квантовой физики для шестилетнего малыша.

– Нет, не всегда, – сердито возразил я. – Давайте более тщательно разберемся: в чемоданчике графа фон Штауффенберга находятся две бомбы, но он приводит в боевую готовность только одну. А почему, помните? Потому что в определенный момент совсем некстати звонит генерал Фельгибель, еще один заговорщик. В результате Штауффенберг суетится и не успевает установить второй взрыватель. Простой телефонный звонок, доктор! А если бы Фельгибель ему не помешал? Или позвонил на несколько секунд позже? Тогда совокупная мощность взрыва двух устройств заметно возросла бы и, без всякого сомнения, все находившиеся в зале заседаний погибли бы на месте, с Гитлером заодно... Один телефонный звонок!

Наконец-то на лице Ульриха отразилось какое-то понимание.

– Это был первый удар судьбы, – продолжил я. – Но за ним последовали другие. А если бы фон Фрайэнд не засунул чемоданчик под стол, а поставил его рядом с фюрером? Ну хорошо, пусть все, что случилось в бункере, остается так, как было, что ж делать. Штауффенберг покидает зал заседаний, ускользает с территории ставки и уже готов сесть в самолет, который доставит его в Берлин. Тем временем до Фельгибеля, отвечающего за поддержание связи с Растенбургом, доходит неприятное известие: бомба взорвалась, но фюрер остался жив. И что же он предпринимает? Звонит по телефону на базу заговорщиков на Бендлерштрассе и, кто знает, по каким соображениям, говорит, что Гитлер живой и что следует продолжать осуществлять план переворота. Два взаимоисключающих суждения, естественно. Это создает полную сумятицу и непонимание, завершившиеся провалом. А если бы он просто сказал: переворот следует осуществлять, и ничего больше? Или, напротив, раз Гитлер жив, надо немедленно остановить реализацию плана?

– Понимаю, что вы хотите сказать, – терпеливо произносит Ульрих. – Интересно, а вы принимали участие в этом заговоре?

– Мне не довелось напрямую участвовать в событиях 20 июля, но я входил в состав заговорщиков. – Мой голос звучит настолько невозмутимо, что самому становится ясно: от скромности не помру. – Я был... Я лишь рядовой ученый. Разделял их убеждения и помогал в меру своих возможностей... А убедил меня присоединиться к заговорщикам мой лучший друг того времени, Генрих фон Лютц.

– А когда арестовали вас и вашего друга?

– Что вы имеете в виду?

– Ну, когда вас схватили? – Доктор изо всех сил притворяется хорошим мальчиком, без подвохов.

– После 20 июля Гиммлер начал невиданные дотоле преследования, – рассказываю я. – Арестовали тысячи невинных людей. На следующий день погибли Фельгибель, Вицлебен, затем, один за другим, Попиц, Канарис, Остер, Кляйт-Шмерцин, Шахт... Генерал Вагнер, среди прочих, предпочел покончить с жизнью сам. Шлабрендорф, Тротт цу Штольц и Клаузинг в конце концов сдались. Все они подверглись бесчеловечным пыткам. Гитлер сказал: "Хочу, чтобы все были подвешены и разделаны, как мясные туши", и Гиммлер выполнил это пожелание. Генриха взяли в начале августа, меня – через несколько недель.

– Думаете, он вас выдал?

— Не хотелось бы так думать. — Мне вдруг стало грустно. — Хотя пытки были чудовищные... Впрочем, Генрих всегда отличался сильным характером. Возможно, это был кто-то другой. Кто не хотел бы, чтоб его обвинили в связи с заговорщиками...

— И вы подозреваете кого-нибудь конкретно?

— Вообще-то да, — признался я. — И повторяю его имя с того черного дня, когда я обосновался в этом проклятом месте... Гейзенберг. Вернер Гейзенберг.

Бомба

1

В 1934 году итальянский физик Энрико Ферми выдвигает гипотезу о том, что за ураном, последним известным элементом в периодической таблице, располагаются и другие металлы. Получить их можно путем бомбардировки урана свободными нейтронами. С тех пор в Институте имени кайзера Вильгельма в Берлине ученый-химик Отто Ган со своей ассистенткой Лизой Майтнер, специалисткой в области физики, проводят бесчисленные опыты, добиваясь подтверждения гипотезы Ферми. Майтнер еврейка, но сумела пережить гитлеровские чистки благодаря своему австрийскому гражданству. И все же после аннексии Австрии вынуждена бежать в Швецию. Тогда Ган нанимает нового ассистента и продолжает осуществлять эксперименты, задуманные вместе со своей прежней сотрудницей.

Наконец осенью 1938 года, анализируя результаты очередной бомбардировки урана, Ган обнаруживает, что в барии, используемом им в качестве катализатора, возникает высокий уровень радиоактивности. Он сообщает об этом Нильсу Бору, но тот не верит, что такое возможно. Раздосадованный Ган связывается с Лизой Майтнер, живущей в эмиграции в Стокгольме, и просит ее высказать свое мнение. Она подтверждает правоту Гана: действительно, подвергшись бомбардировке нейтронами, ядро урана делится, образуя ядро бария и другие элементы (как одна капля воды может растечься на две, используя метафору Бора), а часть остаточной массы преобразуется в энергию в соответствии с эйнштейновской формулой $E=mc^2$. 1 января 1939 года Фриш прибывает в Копенгаген, чтобы сообщить новость Бору. Тот ошеломлен. Так Ган и Майтнер открыли деление ядра атома, положившее начало новой эре.

6 января появляется описание реакции ядерного распада в журнале "Натурвиссеншафтен". Начинается всеобщий ажиотаж: вскоре повсюду — в Америке, Копенгагене, Париже, Берлине, Москве, Мюнхене и Ленинграде — воспроизводятся эксперименты Гана.

В чем причина такой бурной деятельности? Любой физик может ответить на этот вопрос: уже многие десятилетия известно, что Вселенная состоит из микрочастиц материи, соединенных друг с другом силой притяжения, которую мы называем энергией. На определенном этапе Эйнштейн доказал, что материя и энергия — два разных состояния одной субстанции. И вот впервые человек может наблюдать переход материи в энергию, ослепительную энергию, выделяющуюся при расщеплении ядра атома урана... Но еще больше захватывает идея использования этой

энергии на практике... Осуществления цепной реакции... Строительства ядерных реакторов... И, в противовес созидательным возможностям, производства оружия невиданной доселе разрушительной мощи...

С самого начала эта последняя перспектива кажется Гану самоубийственной и внушает безграничный страх. На встрече с коллегами из Института имени кайзера Вильгельма он даже предлагает утопить в море все запасы урана Германии, чтобы не допустить разработки смертоносного устройства. Его озабоченность усиливается, когда один из сотрудников отмечает, что вместе с оккупацией Чехословакии во владения рейха перешли богатейшие в мире месторождения урана в Иоахимштале... Итак, подготовлена сцена для действия под названием "Апокалипсис", занавес открывается...

2

После того как в Америке опубликованы результаты опытов по расщеплению ядра, многие ученые включаются в кампанию, направленную на то, чтобы убедить администрацию США в возможности создания атомной бомбы, а также начать широкомасштабную программу исследований и опередить немцев в этой области. Среди этих ученых – несколько выдающихся физиков, вынужденных бежать из завоеванной Гитлером Европы: Эдвард Теллер (который, кстати, защищал свою докторскую диссертацию вместе с Гейзенбергом), Лео Силард и Юджин Вигнер. Они постепенно привлекают к участию в кампании таких знаменитостей, как Ферми, Бете, фон Нейман, Оппенгеймер и, конечно, Эйнштейн, которые к тому времени также перебрались на жительство в Соединенные Штаты.

В октябре 1941 года по указанию Рузвельта начинаются работы по созданию самого разрушительного в истории оружия – проект "Манхэттен".

3

Осенью 1939 года немецкие физики, объединившиеся в так называемое Uranverein – "Урановое общество", приглашают участвовать в своих заседаниях знаменитого Вернера Гейзенберга.

Уже через три месяца после этого Гейзенберг передает в Uranverein свою работу, озаглавленную "Возможности технического получения энергии на основе деления урана". В ней содержится обзор всех имеющихся немногочисленных материалов на эту тему, а также упоминается идея, развитая его учеником Зигфридом Флюгге, о том, что обычный уран состоит из двух изотопов: урана-238 и гораздо более редкого урана-235, только и пригодного для осуществления цепной реакции. Наконец, Гейзенберг выдвигает одну из величайших проблем атомной физики – и, как оказалось позже, неразрешимую для немецких ученых – достижение "критической массы", необходимой для цепной реакции.

Благодаря этому сочинению Гейзенберга в конце 1939 года Германия становится единственной страной мира, располагающей теорети-

ческой базой для серьезной атомной программы, тогда как правительства Соединенных Штатов и Великобритании едва проявляют интерес к данной теме.

4

Начиная с 1942 года ход войны резко меняется. Поражения германских войск на Восточном фронте тяжело сказываются на экономике рейха, Гитлер вынужден реорганизовать свое правительство. Среди первоочередных мер – назначение новым министром вооружений архитектора Альберта Шпеера, сделавшего так много для украшения Берлина. В гитлеровском кабинете министров Шпеер очень выделяется – интеллигентный, высокий, подтянутый, образованный, он не только кажется единственным *нормальным* человеком, но несомненно является самым изворотливым из всех приближенных фюрера.

Гейзенберг наконец добивается заслуженной политической реабилитации. После долгой изнурительной борьбы против Штарка и цепных псов Deutsche Physik он заручается поддержкой руководителей немецкой науки. Гиммлер сдерживает данное ему несколько месяцев назад обещание, и в апреле Гейзенберг получает двойное назначение в Берлине: деканом кафедры университета и, чуть позже, директором отделения физики Института имени кайзера Вильгельма вместо голландца Петера Дебая, отказавшегося помогать нацистам в развитии вооружений. В июне Гейзенберг подписывает очередной контракт и становится директором института и научным руководителем атомной программы.

Освоившись в новой должности в Берлине, Гейзенберг вскоре встречается со Шпеером и обиженно жалуется на недостаточное внимание, которое уделяется ядерным исследованиям.

– В Соединенных Штатах подобный проект сразу приобрел бы первоочередное значение, – подзадоривает он Шпеера.

Бывший архитектор выглядит заинтересованным и просит физика подробнее рассказать об атомной энергии и ее возможном использовании в военных целях. Терпеливо, как студентам на семинаре, Гейзенберг в общих чертах рассказывает министру вооружений о делении ядра, реакторе и цепной реакции.

– Прекрасно! – воодушевляется Шпеер. – Пора браться за дело! Что нужно для активизации работы?

– Прежде всего нужны деньги для строительства циклотрона – аппарата по обогащению урана...

– Позвольте задать вам один прямой вопрос, профессор. Можно ли использовать атомную энергию, скажем, в бомбе?

– Думаю, что да, – невозмутимо отвечает Гейзенберг, но тут же уточняет: – Впрочем, боюсь, изготовить ее до конца *этой* войны невозможно.

– А как вы считаете – американцы смогут создать такую бомбу раньше нас? – не успокаивается Шпеер.

– Вряд ли, – с уверенностью отвечает Гейзенберг. – У них должны возникнуть те же трудности, которые стоят перед нами. Можно разработать теоретическую схему бомбы, затратив на это несколько месяцев,

однако гораздо больше времени займет ее техническое воплощение. Нужны годы, чтобы получить новые специальные материалы.

– Если так, то какой смысл форсировать эти исследования? – интересуется Шпеер.

– Тот, кто первым овладеет атомной энергией, станет властелином мира, – провозглашает Гейзенберг.

В результате беседы с руководителем атомной программы Шпеер соглашается присвоить ей категорию Kriegswichtig ("важная для войны"), самую низшую из четырех ступеней военных приоритетов, но тем не менее открывающую доступ к ресурсам, достаточным для ее дальнейшего осуществления.

5

В 1940 году нацисты "мирно" оккупировали Данию. Для этого немцам даже не пришлось воевать, они просто перешли границу и сделали соседнюю страну чем-то вроде протектората.

Осенью 1942-го, меньше чем через год после неудавшегося визита Гейзенберга в Копенгаген, обстановка резко меняется. Король Дании покидает страну, и Гитлер решает присоединить ее территорию к рейху. Губернатором вместо гражданского лица назначается эсэсовец, доктор Вернер Бест, и дотоле лояльное обращение с датчанами сразу же становится бесчеловечным. Это вызывает негодование населения, часть которого от пассивного протеста переходит к созданию отрядов Сопротивления, ведущих подрывную деятельность против оккупационного режима. Разъяренный таким неповиновением Бест объявляет военное положение, а также отдает приказ о проведении 1 октября 1943 года широкомасштабной облавы, в ходе которой планирует уничтожить всех датских евреев.

В середине сентября Бору доставляют шифрованную записку, в которой шведские дипломатические источники сообщают о неизбежных арестах евреев. Впервые с начала оккупации ученому в Дании угрожает опасность. Времени на долгие размышления не остается. В тот же день он связывается с некоторыми руководителями Сопротивления, и те обещают помочь в организации его скорейшего побега из страны. 29 сентября Бор с женой тайком выходят из дома и пешком направляются в Мусикбю, район Копенгагена, где проживают главным образом музыканты, расположенный вблизи гавани Сюдхавн. Там собирается группа из двенадцати человек, которые вместе с супругами Бор намереваются бежать в Швецию.

Ближе к десяти вечера группа направляется к берегу, где их ожидает маленькое рыболовецкое суденышко. Примерно через час после отплытия все четырнадцать пассажиров поднимаются на борт грузового корабля, на котором за ночь добираются до шведского залива Лимхамн и ранним утром 30 сентября сходят на берег Швеции. Оттуда беженцев доставляют сухопутным транспортом в Мальмё. В тот же день Бор добирается поездом до Стокгольма, а там его уже встречает профессор Кляйн, бывший ассистент Отто Гана и Лизы Майтнер, чтобы на первое время разместить у себя дома.

После аудиенции у короля Густава V, наследного принца и встреч с различными представителями шведских властей, в ходе которых зна-

менитый физик просит оказать помощь в деле защиты датских евреев, 4 октября он отправляется в Великобританию на военно-транспортном самолете, срочно присланном правительством Ее Величества.

В Лондоне Бор встречается с сэром Джоном Андерсоном, министром финансов, физиком и химиком по образованию, который, по прямому указанию Уинстона Черчилля, назначен ответственным за британскую программу исследований атома.

— Многие ученые, в том числе сам Эйнштейн, неоднократно обращались к президенту Рузвельту, — рассказывает Андерсон Бору, — с просьбой дать указание о создании атомной бомбы на основе проекта, разработанного Энрико Ферми в Чикаго. Наконец такое решение принято 9 октября 1941 года.

— Я и понятия не имел, что в Соединенных Штатах интерес к атомной энергии настолько высок, — удивленно и обеспокоенно произносит Бор.

— Должен сказать вам, профессор, что мы теперь тоже располагаем собственной атомной программой, известной под кодовым названием "Литейные горны", — с нескрываемой гордостью заявляет Андерсон. — Ею руководят профессор Фриш и профессор Пейерлс. Вы должны знать их очень хорошо, поскольку оба в свое время были учениками Гейзенберга.

Бор с трудом представляет себе действительные масштабы деятельности союзников в области исследований атома, развернутой за последние месяцы. Он и раньше не сомневался, что американские и британские ученые неизбежно займутся этим вплотную, но никак не ожидал, что они продвинутся так далеко.

— Начиная с 1941 года, — продолжает Андерсон как ни в чем не бывало, — британский и американский комитеты начали координировать свою работу, а летом текущего года совместная рабочая группа подготовила служебную записку по поводу потребности в уране-235 для оснащения бомбы. В июле 1942 года я позволил себе направить премьер-министру Черчиллю записку, в которой предлагал объединить британскую и американскую атомные программы с тем, чтобы обе страны строили бомбу совместно на территории США. — Подобная идея, конечно, не вызвала восторга премьер-министра, однако рассказчик умалчивает об этом. — 19 августа 1943 года на конференции в Квебеке Рузвельт и Черчилль подписали соглашение о совместном сотрудничестве между США и Соединенным Королевством по вопросам программы "Литейные горны".

Но даже если бы всего перечисленного не хватило, чтобы по-настоящему встревожить Бора, Андерсон добавляет еще одну, весьма важную подробность: 2 декабря 1942 года в Чикагском университете коллектив ученых, возглавляемый Энрико Ферми, осуществляет первую устойчивую цепную реакцию.

— Вот уж действительно сюрприз, — только и может выговорить датчанин.

— С нынешнего года, — завершает свой рассказ Андерсон, — эксперименты, связанные с программой, проводятся в новой секретной лаборатории, построенной в пустыне Нью-Мексико. Ею руководит ваш старый знакомый — Оппенгеймер.

На той же неделе Бору вручают письменное предложение британского правительства стать научным советником программы "Литейные

горны". Спустя несколько дней генерал Лесли Гроувз, военный руководитель проекта "Манхэттен", также приглашает его включиться в работу в составе команды советников. В качестве компромисса Бор отвечает на оба послания, предлагая свои услуги в совместном сотрудничестве, правительства Великобритании и Соединенных Штатов принимают это предложение.

Бор с сыном Оге приезжают в США 6 декабря. По соображениям безопасности им выдают документы с вымышленными именами, с этого момента они известны всем как Николас и Джеймс Бейкер. В отличие от других ученых новоиспеченные Бейкеры не поселяются на постоянное жительство в Лос-Аламосе, где находится Национальная лаборатория, но часто наведываются туда и живут там подолгу.

Вскоре сотрудники лаборатории делают решающее открытие: уран-235 может быть использован в виде энергоносителя ядерной бомбы; они доказывают, что следующий элемент в периодической таблице, плутоний — один из "трансурановых" элементов, предсказанных Ганом и Ферми, — легко распадается, а один из его изотопов, плутоний-240, делает это произвольно, без предварительной бомбардировки нейтронами. Руководители проекта, не теряя ни секунды, принимают решение: наряду с бомбой, начиненной ураном-235, тут же начать производство другой, с плутонием-240.

6

Между тем жизнь Гейзенберга в Германии совершенно не похожа на перипетии Бора. В ноябре 1942 года министр финансов Пруссии Иоганнес Попиц приглашает его присоединиться к знаменитому "Кружку по средам", престижному дискуссионному клубу, существующему уже несколько десятилетий, чьи участники собираются в означенный день недели, чтобы обсудить вопросы развития науки, но также — необходимо отметить — менее возвышенные и более насущные проблемы.

Заседания кружка проводятся по очереди в доме каждого из его членов, и, по сложившейся традиции, хозяин всякий раз угощает гостей небольшим ужином, а также делает короткое сообщение о том, чем он профессионально занимается. В числе наиболее известных участников кружка (а их в общей сложности двадцать восемь) профессора Эдуард Шпрангер, Вольфганг Шадевальдт и Йенс Йессен, посол Ульрих фон Хазен, врач Фердинанд фон Зауэрбрух, а также генерал Людвиг Бек. Излишне упоминать, что некоторые из них станут ключевыми фигурами в заговоре против фюрера 20 июля 1944 года.

Члены кружка придерживаются примерно одинаковых политических взглядов: крайний национализм, превосходство моральных соображений над практическими интересами, скрытая и молчаливая ненависть к нацистам. На своих встречах они не упускают возможности помянуть недобрым словом мерзкого *Шимпански* — под этой кличкой ими подразумевается фюрер.

Днем 5 июля 1944 года Адольф фон Рейхсвайн неожиданно навещает Гейзенберга в его институте. Тот помнит посетителя по нескольким предыдущим встречам в "Кружке по средам". Без долгих предисловий фон Рейхсвайн предлагает Гейзенбергу участвовать в покушении на Гит-

лера, запланированном на ближайшие дни. Ученый, обладая природным даром воздерживаться от принятия скоропалительных решений, желает заговору удачи, но вежливо отказывается участвовать в нем лично под предлогом того, что не приемлет насилия ни в каком виде. Через несколько дней Рейхсвайна арестовывает гестапо.

Вечером 12 июля 1944 года происходит последнее заседание "Кружка по средам". Так случилось, что настала очередь Гейзенберга принимать гостей. Для выступления перед приглашенными Гейзенберг выбирает сразу несколько тем. Во-первых, рассказывает о строении звезд; во-вторых, с увлекательными подробностями описывает происходящий в них процесс ядерного распада; и, наконец, рассуждает о возможности искусственного воспроизведения этого процесса.

Из десяти членов кружка, присутствующих на том заседании, четверо с трудом могут сосредоточиться на законах небесной сферы: Йенс Йессен; Гидо Бек, брат генерала; Фердинанд фон Зауэрбрух и Людвиг Дильс. Все они через несколько дней окажутся поверженными после провалившегося заговора.

7

19 июля Гейзенберг спешно покидает Берлин с намерением навестить свою семью, с нетерпением ожидающую его на вилле в Урфельде. Именно там он на следующий день узнает по радио о провалившейся попытке государственного переворота.

С 21 июля начинаются повальные аресты. Гиммлер хочет полностью искоренить мятежный дух, поселившийся в рейхе. Тысячи людей брошены в застенки только за то, что они состоят в родственных или дружеских отношениях с заговорщиками. Почти все члены "Кружка по средам" схвачены, брошены в тюрьмы и концентрационные лагеря либо расстреляны. Все, кроме Гейзенберга, находящегося под покровительством Гиммлера, Шпеера и Геринга. Все, кроме Гейзенберга, чья верность рейху апробирована и не вызывает сомнений.

9

Фактически именно Гейзенберг является главным генератором идей атомной программы, а значит, именно он во всем рейхе определяет общие параметры исследований в этой области. Тем удивительнее выглядит тот факт, что Курт Дибнер, работающий в экспериментальной лаборатории в Готтове в ведении Имперского физико-технического института, начинает опережать Гейзенберга на пути к достижению вожделенной цепной реакции. Вопреки установленным параметрам исследований Дибнер использует на практике собственную догадку и строит атомный котел, внутрь которого вместо обычных пластин окисла урана помещает небольшие кубики из того же материала, плавающие в тяжелой воде. С первой же попытки Дибнер добивается того, что количество произведенных нейтронов превышает количество поглощенных нейтронов примерно на тридцать шесть процентов — намного больше любого показателя, достигнутого до сих пор Гейзенбергом. В ходе вто-

рого эксперимента, проведенного в середине 1943 года, Дибнер увеличивает результат в несколько раз, доведя его до ста десяти процентов, и еще больше приближается к цепной реакции, которая все же остается пока недосягаемой. Очевидно, он выбрал верное направление в поисках критической массы, достаточной для начала цепной реакции, но вынужден прекратить исследования, поскольку именно в это время внезапный налет авиации союзников сравнивает с землей завод Дегусса, производивший урановые кубики для опытов.

В середине 1944 года нацистские власти решают сосредоточить значительную часть экспериментов с атомом в одном из секретных бункеров в Берлине в связи с тем, что тяжелые условия военного времени чрезвычайно затрудняют нормальную работу. Конструкция бункера защищает его обитателей от разрывов бомб и радиации; стены сложены из мощных бетонных блоков толщиной более двух метров. Оборудование состоит из просторной лаборатории, мастерской, воздушного и водяного насосов, запасов тяжелой воды и разнообразных электронных устройств контроля над радиоактивными элементами — настоящий Лос-Аламос в миниатюре.

Здесь размещают коллектив ученых Гейзенберга, а также часть сотрудников, доставленных из Гейдельберга. Однако уже к концу 1943 года нескончаемые бомбардировки делают практически невозможным продолжение исследований, поскольку, хотя содержимое бункера находится в безопасности, этого нельзя сказать об электростанциях, снабжающих его энергией, и тем более о домах, где проживают ученые.

Осенью Гейзенберг отправляет треть своих сотрудников в затерянную среди непроходимых лесов деревеньку Гехинген. В декабре Вирц и Гейзенберг проводят еще один эксперимент с пластинами окисла урана, в котором впервые используют, как и американцы, в качестве замедлителя графит, а не тяжелую воду. Хотя им удается достичь увеличения числа нейтронов на двести шесть процентов, до столь необходимой цепной реакции еще далеко.

За три месяца до окончания войны, в январе 1945-го, Вирц все-таки делает последнее усилие и конструирует батарею из сотен урановых трубок, подвешенных с помощью алюминиевой проволоки внутри цилиндра, наполненного последними полутора тоннами тяжелой воды, чудом сохранившимися в институте. Цилиндр защищен слоем чистого графита и погружен в колодец с водой, построенный в бомбоубежище. В тот момент, когда все готово для начала эксперимента, приходит приказ срочно демонтировать оборудование: части Красной армии неудержимо приближаются к Берлину, и нельзя допустить, чтобы инструменты и ученые-ядерщики попали в руки к советским военным. Вирц немедленно эвакуируется в Гехинген, где его уже ожидает Гейзенберг.

10

В феврале 1945 года, лишь за два месяца до самоубийства Гитлера и капитуляции Германии, ученые-ядерщики продолжают пытаться запустить реактор. Укрытые в деревеньке Гайгерлох неподалеку от Гехингена, они трудятся над установкой реактора внутри небольшой пещеры, прозванной "Атомкеллер" ("атомный погреб"), предварительно переоборудованной под лабораторию.

Да, думает Гейзенберг, мы похожи на вымирающее племя, на последних обитателей на этой земле, одержимых жаждой славы и бессмертия. А иначе для чего нам понадобилось бы испытывать атомный котел в последние дни войны, проигранной, как нам хорошо известно, уже много месяцев назад? Для чего еще нужно это последнее усилие, этот жест несмиренной гордыни, как не для того, чтобы сказать всем: по крайней мере, здесь мы превзошли врага?

— Эксперимент серии "Б" номер восемь, — слышит он слова Вирца, они звучат словно заклинание шамана, взывающего к помощи духов для спасения своего племени.

Перед их глазами находится большой металлический цилиндр, похожий на колдовской котел. Они сами — жрецы, готовые сварить волшебное варево по рецепту, передающемуся из поколения в поколение. Только вместо жаб и крыльев летучих мышей (почему-то именно эти ингредиенты приходят Гейзенбергу на ум) им предстоит соединить не менее загадочные составляющие — окись урана и тяжелую воду... Он и Вирц на секунду останавливаются, у всех одинаковое чувство — напряжение игрока, ставящего на кон последнюю монету.

С благоговением, как священники, проводящие обряд причащения, снимают с реактора графитовую крышку, готовясь лицезреть чудеса, которые вот-вот должны там произойти. Словно в готической ризнице, сотни маленьких приношений — кубиков из необычного материала под названием "уран" — висят и покачиваются на тоненьких алюминиевых цепочках, как медальоны в память о первом причастии. Затем в этот огромный круглый стакан наливают тяжелую воду. "В сей чаше кровь моя, кровь новая и вечная", — приходит кому-то на ум.

Так и есть, это чаша Грааля, приз, коего Гейзенберг добивался столько лет, итог его жизненных исканий. Как же он не догадался раньше! Ну конечно, этот огромный реактор, уран, тяжелая вода — божественный эликсир, который сделает его мудрее, сильнее, талантливее. Посреди "Атомкеллер", атомной кельи-землянки, ему вот-вот будет вручена награда, предмет мечтаний с детских лет. И Гейзенберг чувствует себя немного героем, чем-то сродни тому юноше, что одолел Клингзора и заслужил благословение Создателя.

— Начинайте, — чуть слышно произносит он.

В помещении воцаряется полная тишина, сравнимая с безмолвием верующих, замерших в ожидании божественного чуда, или преисполненных благоговения рыцарей Грааля, собравшихся в замке Монсальват и не спускающих глаз с чаши; все молятся, все ищут спасения... Понемногу тяжелая вода начинает смачивать атомы урана, лаская их, активируя, вдыхая в них жизнь, побуждая спариваться и делиться, взрываться, бросаться друг на друга, отскакивать, подпрыгивать и размножаться, взаимодействовать... Постепенно начинается реакция. Да-да, реакция! Вот оно, долгожданное чудо! Чудо спасения! Вирц вдруг вспоминает, что они не приняли никаких мер защиты на случай возникновения цепной реакции; переполнявшие их досада и нетерпение заставили позабыть о самом очевидном, о необходимости соблюдать осторожность. А может, хоть они в этом и не признаются, им не жаль отдать свои жизни, только бы эксперимент удался и навеки их обессмертил.

Вирц поворачивается к Гейзенбергу и говорит, что в их распоряжении лишь небольшой слиток кадмия (металл, способный быстро погло-

щать нейтроны) на случай осложнения, однако не уверен, что его будет достаточно, если реакция пойдет особенно бурно. Гейзенберг на секунду задумывается, но его мысли тут же переключаются на другое; он слишком занят подсчетами роста энергетической мощности... Так, так, давай еще, да, еще немного, еще...

Внезапно процесс останавливается. И это все? А рыцарям Грааля разрешается плакать? Гейзенберг еще раз проверяет свои расчеты. Его голос звучит устало и обреченно.

– Шестьсот семьдесят процентов, – только и произносит он.

– Самый высокий уровень размножения из когда-либо достигнутых, – отмечает Вирц.

Ну и что ж, что самый высокий? Все равно неудача, очередная оглушительная неудача. И последняя.

– Для достижения критической массы понадобится дополнительно пятьдесят процентов урана и тяжелой воды, – бормочет Гейзенберг.

– Может быть, еще удастся заполучить материал из запасов лаборатории Дибнера в Штадтильме.

– Может быть.

Но оба знают, что обманывают самих себя. Американские войска уже заняли всю Тюрингию. До Штадтильма не добраться. 8 апреля становится известно, что Дибнеру пришлось бросить лабораторию. Времени не остается. Ничего не остается. Гейзенберг дает указание подготовиться к бегству. Сам же отправляется к семье, в Урфельд. Там 3 мая его арестует полковник Пэш из американской миссии Alsos.

Через четыре дня, 7 мая, начальник штаба оперативного руководства верховного командования генерал Йодль и командующий подводным флотом адмирал Ханс Георг фон Фридебург в Реймсе подписывают акт о безоговорочной капитуляции Германии.

11

16 июля 1945 года в Тринити, штат Нью-Мексико, неподалеку от Лос-Аламоса, производится первое в истории испытание опытного образца атомной бомбы с плутониевым зарядом. Меньше чем через месяц, 6 августа, гигантский радиоактивный гриб поднимается над руинами японского города Хиросима. Это доказывает, что бомба, начиненная ураном-235, тоже работает. Еще через три дня, 9 августа, настает черед успешного применения плутониевой бомбы, разрушившей Нагасаки.

В шведском Фарм-холле нацистские ученые-атомщики испытывают горькое сожаление по поводу этих новостей. Но есть ли среди них такие, что оплакивают погибших?

Диалог третий: О *непредсказуемости судьбы*

Лейпциг, 7 ноября 1989 года

– Вам не кажется, доктор, что возникает слишком много вопросов? Мне, например, непонятно, почему все защищали человека, который до последнего дня прилагал всяческие усилия для того, чтобы снабдить

Гитлера атомной бомбой, — говорю я. — А если бы коллектив Гейзенберга не потерпел неудачу, а, наоборот, достиг своей цели? Если бы в первые месяцы 1945 года в распоряжении немцев появилась атомная бомба, что тогда случилось бы с миром?

— Но этого не произошло.

— Как бы то ни было, — не сдаюсь я, — за ним водятся и другие грехи. Если уж говорить открыто, я убежден, что именно Гейзенберг выдал большинство своих друзей из "Кружка по средам", участвовавших в заговоре против Гитлера. Он — единственный среди членов кружка, кто избежал общей участи...

Ульрих так и сидит на правом краю моей кровати. За стеклами очков его глаза как-то по-особенному поблескивают. В руках у него твердая пластина с пришпиленным листом бумаги, на котором врачи при обходе обычно делают пометки. Пока я говорю, он не перестает записывать.

— А у вас есть доказательства, чтобы выдвигать подобное обвинение? Для чего ему понадобилось делать это?

— Разве не понятно, доктор? Гейзенберг гораздо теснее сотрудничал с нацистскими властями, чем казалось. В 1944-м, когда арестовали и расстреляли десятки заговорщиков, в том числе друзей Гейзенберга, его даже не побеспокоили! И это при том, что за несколько дней до попытки переворота он ужинал в компании некоторых руководителей заговора. После покушения Гиммлер разворачивает безжалостную бойню, в ней гибнут многие, чья единственная вина заключалась в родственных отношениях с заговорщиками. Но почему-то профессора Гейзенберга и пальцем не трогают... Разве это не заставляет задуматься? Меня схватили и отдали под суд. Лишь по счастливой случайности я выжил. А его продолжали осыпать всевозможными милостями сначала нацисты, а потом англичане... Ему простили все, словно быть гениальным — то же самое, что быть *безгрешным*...

— Да, странно, — соглашается мой собеседник, а потом добавляет миролюбиво: — Только все же везение Гейзенберга не делает его виноватым в том, что случилось с вами, профессор Линкс...

— Пожалуйста, не начинайте все снова. — Я слегка теряю терпение. — Вам мало того, что я рассказал? Гейзенбергу было наплевать на друзей, ему лишь бы холить свою гордыню, постоянно осознавать собственное превосходство. Он использовал свои научные достижения, чтобы выторговать для себя выгодные условия у союзников... Он всегда думал только о себе! Гейзенберг по природе не способен к состраданию и самопожертвованию...

— Есть разница между неспособностью и злонамеренностью, — замечает врач. Иногда я сомневаюсь в его добром ко мне отношении.

— Вот как! — взрываюсь я. — Уж не знаю, вам-то зачем его защищать?

— Хотелось бы убедиться, все ли я правильно понял. Вы обвиняете Гейзенберга в случившемся с вами несчастье?

— Не знаю. — На мгновение я смутился. — Убежден в одном: Гейзенберг является главным звеном в длинной цепи фактов, которые нельзя объяснить, не принимая во внимание наличие умысла. Сотни событий произошли одно за другим, прежде чем беда настигла и меня. Против меня выстроилось хитросплетение тысяч разных поступков, объединенных одним именем: Клингзор!

— Клингзор, — вновь выговариваю я с ужасом, с благоговением, с отвращением. — По его вине я очутился здесь, доктор. Кто еще, как не Гейзенберг, может прятаться за этим именем? Несмотря на первоначальное неприятие национал-социализма, обусловленное в значительной степени враждебностью Штарка, в конечном итоге Гейзенберг стал пользоваться особым расположением и Гиммлера, и Геринга, которые, как я вам говорил, непрестанно осыпали его милостями и даже сделали научным руководителем атомной программы... Все сходится, доктор...

Хоть он и старается обращаться со мной любезно, ему не удается скрыть кривую улыбочку. У всех психиатров имеется профессиональная слабость: стоит им услышать слово "заговор", они сразу начинают припоминать признаки паранойи из студенческих учебников и ничего не могут с собой поделать.

— Я здесь по вине Клингзора, — повторяю твердо, чтобы у него не возникло сомнений в моей убежденности.

— И что же он сделал? — Его голос звучит немного снисходительно.

— Это слишком печальная история, доктор...

Стараюсь приподнять голову, но удается лишь на несколько секунд напрячь шею.

— Расскажите мне об этом.

— Знаете, у меня была жена. Прекрасная женщина. Ее звали Марианна. Мы познакомились благодаря Генриху, мужу ее подруги, Наталии... Однако все было не так просто, доктор... Сами знаете, семейные истории вообще не простые...

Мой язык тяжело ворочается во рту, касаясь немногих сохранившихся в деснах зубов; мне стоит большого труда направлять его туда, куда надо. Слова звучат как стон, как жалоба, как обреченность.

— Клингзор отнял ее у меня...

— Вашу жену? — уточняет Ульрих.

— Нет, Наталию...

Измена

1

Первое, что надо сказать, и самое главное — я любил ее. Любил больше всего на свете. Больше самого себя. Больше своей родины. Сильнее, чем Бога. Сильнее, чем науку. Сильнее, чем истину. И, естественно, сильнее, чем даже самого близкого друга.

Я пошел бы на все, чтобы только быть с ней. *На все.* И не сожалею об этом.

2

— Что происходит? — Это голос Марианны, утром, незадолго до того, как я отправлюсь на работу в Институт имени кайзера Вильгельма.

Прошли месяцы с тех пор, как жизнь для нее переменилась. Нет, она не знала о моих отношениях с Наталией, но из-за непривычного присутствия Генриха чувство вины постоянно мучило ее. Марианна похудела килограммов на восемь, кожа на лице приобрела желтоватый оттенок, под глазами появились мешки, и от этого казалось, что она никогда не высыпается; впрочем, так оно и было.

— О чем ты? — У меня не было никакого желания выяснять отношения; проглотив свой кофе, я уже собирался уходить.

— О ваших встречах, — сказала она обвиняющим тоном. — С Генрихом.

Начинается. Ее в действительности беспокоили не сами встречи, а тот факт, что муж нашей общей любовницы проводит со мной много времени.

— Тебе об этом лучше не знать, — нашел я двусмысленный ответ.

— Я беспокоюсь, — не унималась она.

— Нам всем тревожно, Марианна. Идет война, бомбят два раза в день...

— Ты знаешь, что я о другом, — перебила она. — Меня беспокоишь ты, и он тоже...

Я начинал злиться. Чего она боялась? Думала, что, раз наша дружба с Генрихом возобновилась, я теперь признаюсь ему во всем?

— Не волнуйся, — успокоил я ее. — Мы с Генрихом беседуем только о делах...

— О делах? — Отговорка, конечно, не самая удачная, но ничего другого мне не пришло в голову.

— Наши отношения дружеские, но без фамильярностей, — уточнил я. — Встречаемся с общими знакомыми, всегда на людях, и обсуждаем совершенно посторонние темы...

— Какие, Густав?

— Это тебя не касается, Марианна, — отрезал я. — Ради твоего же собственного блага, это тебя не касается.

3

Для меня самого до сих пор непостижимо, как я ухитрялся видеться с Наталией в те дни. После перевода в Берлин в штаб генерала Ольбрихта Генрих вернулся к себе домой и, хотя служебные дела отнимали у него бóльшую часть времени, все свободные минуты проводил вместе с супругой, которая, чувствовал он с болью, совсем от него отдалилась.

— Мне необходимо с тобой увидеться, — говорил я ей, забывая о приличиях, скромности и элементарной осторожности. — Сегодня же.

— Но, Густав...

Наталия пыталась возражать, но в итоге обычно шла навстречу моему желанию. Я убегал с работы в самое немыслимое время, якобы на секретное совещание (одно из немногих преимуществ моих занятий), и мчался к ней домой. Мне было совершенно наплевать на риск разоблачения; более того, как заметила однажды Наталия, подсознательно я сам хотел, чтобы наша связь перестала быть тайной.

Но счастливые минуты пролетали, а за ними следовали часы и даже дни тоски и мучений для нас обоих. Потребность быть вместе все усиливалась, я не мог жить без аромата ее тела, сладости рта, страсти

ласк... По сравнению с ней моя жена казалась мне лишь напоминанием об утерянном блаженстве.

— Когда мы сможем снова быть втроем, как раньше? — спрашивала Марианна в редкие минуты близости.

Распластавшись на моей груди (я не решался высвободиться из-под нее), она тихонько плакала и через некоторое время просила у меня прощения.

— Мне не за что тебя прощать, — отвечал я. — Я виноват так же, как и ты.

— Может, и даже лучше, — говорила она, немного успокаиваясь. — Делать вид, что ничего не было, что все это померещилось, как в горячке, как в каком-то невероятном сне, правда? — и, не дождавшись ответа, продолжала: — В конце концов, все вернулось на свои места: Наталия с Генрихом, ты со мной...

— Да, — лгал я. — Да, так лучше.

4

— А если мы когда-нибудь попадемся? — от одной этой мысли Наталию трясло.

— Кому? — с некоторым цинизмом спрашивал я.

— Есть два человека, — говорила она, целуя меня под подбородком.

Мне была неприятна эта тема, однако практически ни о чем другом мы не разговаривали.

— Если нас застукает Марианна, то не страшно, — довольно жестоко рассуждал я.

— Почему?

— Никому не посмеет сказать. В худшем случае, думаю, будет не трудно заставить ее молчать. Достаточно пригласить ее присоединиться к нам...

— Какой же ты гадкий! — насупливалась Наталия и отстранялась от меня.

— Я один? А вот Генрих стал бы настоящей проблемой, сама знаешь.

— Да, — жалобно соглашалась она, — знаю очень хорошо. Поэтому он никогда не должен узнать, Густав. *Никогда*!

Я понимал, что Наталия права, но в глубине души мучительно не хотелось ограничиваться доставшейся мне ролью. Меня не покидало неприятное чувство из-за того, что Наталия принадлежала не мне одному. Сначала приходилось делить ее с Марианной, а теперь вот муж объявился.

— Ты любишь меня? — спрашивал я Наталию.

— Иначе я не была бы с тобой, — не колеблясь отвечала она. — А теперь тебе лучше уйти.

5

Наступил 1944 год, месяцы принялись мелькать один за другим, наполняя мою душу болью, оттого что все в моей жизни: работа над бомбой, отношения с Наталией, заговор — обречено на неудачу.

— Чем вы занимаетесь? Что вы с Генрихом делаете на ваших собраниях? — Раньше этими вопросами меня донимала Марианна, теперь — Наталия.

— Мы посещаем дискуссионный клуб. — Врать ей было труднее. — Обсуждаем разные вопросы. Каждый раз кто-нибудь делает доклад на определенную тему, мы все слушаем, а потом высказываем собственное мнение, — сочинял я.

— Скажи мне правду, Густав, — ее голос надламывался, — умоляю тебя.

— Я и говорю, — не сдавался я, — обсуждаем разные вещи.

— Например, как убить Гитлера?

Меня словно холодной водой окатило.

— Если тебе это наболтал Генрих, он просто идиот! — взорвался я. — Не вздумай когда-либо еще произнести вслух подобную чепуху, Наталия!

— Он мне ничего не говорил, Густав.

— Тем хуже, — окончательно разозлился я.

Она расплакалась. Сколько я ни прижимал ее к себе, успокаивая, Наталия не унималась. Она не говорила ни слова, но ясно было, что ее мучило сознание опасности, грозившей двум мужчинам, которых она любила.

— Прости, — утешал я ее, — мне не следовало говорить с тобой таким тоном...

— Все в порядке, — она вытерла слезы тыльной стороной ладони. — На самом деле... мне, наверно, надо бы гордиться... — ее голос задрожал. — Только...

Она не смогла закончить фразу и снова расплакалась.

— Я тебя понимаю, — сфальшивил я.

— Прости. — Помолчав, спросила: — Когда это произойдет?

— Пожалуйста, давай больше не будем об этом.

— Я только хотела знать, сколько еще времени... — она не договорила. — Нет-нет, Густав, я не хочу ничего знать.

6

Из-за страха или недоверия, от закравшегося в душу сомнения или даже какого-то безразличия, но начиная с марта 1944 года я стал пропускать собрания, регулярно проводимые заговорщиками. Не то чтобы я сознательно старался держаться от них в стороне, нет, все происходило само собой, как с человеком, который разлюбил женщину или потерял интерес к делу, очевидно обреченному на провал.

Это не означает, что я не участвовал в подготовке заговора; раз дал слово, будь готов держать его до конца. Мне только не хотелось торчать на этих бесконечных заседаниях, и я старался использовать любую возможность, чтобы сбежать, предпочитая вместо этого хоть на несколько минут найти прибежище в объятиях Наталии.

— Сегодня не смогу прийти, — извинялся я перед Генрихом. — Много работы. Если вовремя не сдам, начнутся расспросы, чем занимался целыми днями, знаешь...

— Понятно, — только и говорил он. — Не переживай, я тебе доложу обо всех принятых решениях.

— Благодарю, Генрих. Встретимся через неделю.

И пока он объяснял участникам совещания причину моей неявки, я забирался в его постель. Такое бесстыдное предательство позволяло мне иметь прекрасное алиби: глядя в глаза Марианне, мог говорить, что встречался с Генрихом; в то же время обретал полную уверенность, что мой друг не появится у себя дома в ближайшие два-три часа. Обстоятельства складывались самые благоприятные, ими нельзя было не воспользоваться, как бы ни грызла меня моя совесть. Благословен будь Штауффенберг, благословен будь Ольбрихт и благословен будь Тресков за то, что осчастливили меня теми часами близости с любимой женщиной!

7

— Почему бы тебе не попытаться? — не отставал от меня Генрих.

— Гейзенберг — трус, — ответил я. — Ради нас он и пальцем не пошевелит. Ему нужно только одно — чтобы его оставили в покое.

— Мне кажется, ты к нему несправедлив. О нем отзываются как о вполне здравомыслящем человеке. К тому же, насколько мне известно, он имел много неприятностей от нацистов.

— Да, имел, только это было очень давно, — постарался объяснить я. — Несколько лет назад на него набросились Иоганнес Штарк и помешанные на Deutsche Physik партийные фанатики. Теперь все иначе. После долгих разбирательств Гейзенберга реабилитировали. В противном случае его не назначили бы директором Института имени кайзера Вильгельма и профессором университета. Вы что, газет не читаете? Он повсюду выступает с лекциями, будто полномочный представитель немецкой науки в дружественных и оккупированных странах — Дании, Венгрии, Голландии...

Мне вспомнились фотографии немецкого гения в обществе своих зарубежных коллег: с Мёллером в Копенгагене после захвата института Бора или с Крамерсом в Лейдене, где нацисты только что закрыли университет и арестовали сотни студентов, протестовавших против депортации евреев.

— Нет, — возразил я, — не думаю, что он к нам присоединится.

— Генерал Бек встречает его на "Кружке по средам". Рассказывал, что тот крайне жестко отзывался о *Шимпански*. — Я лишь в недоумении развел руками. — Ты с ним работаешь, ты должен попытаться.

— Ладно, — согласился я скрепя сердце. — Попытаюсь.

8

— Утром мне звонила Марианна, — без предисловий сообщила Наталия.

— Что ей нужно? — немедленно разозлился я, словно жена совершила что-то плохое.

— Чтобы я пришла к вам домой, — сказала Наталия.

— Считает, что настала ее очередь попользоваться, — почти прорычал я.

Наталия встала с кровати и начала одеваться.

— Марианна попросила меня прийти к вам как-нибудь вечером, — невозмутимо продолжала она. — Сказала, что постарается убедить тебя уйти с работы пораньше на несколько часов. Хочет, чтобы мы трое опять побыли вместе. На прощание, сказала она. Ей очень плохо, Густав. Мы нужны ей.

— Ей нужна *ты*!

Значит, Марианна решила действовать за моей спиной! Невероятно! Интересно, она в самом деле попросит меня присоединиться или просто соврет Наталии, что я не смог уйти с работы, и останется с ней вдвоем?

— А ты что сказала?

— Что не знаю, смогу ли, — ответила Наталия. — Что Генрих может днем заскочить домой, и мне не хотелось бы отсутствовать в это время.

— А она что?

— Расстроилась, похоже... — Видно было, что Наталия сама находилась во взвинченном состоянии, ее нервы больше не выдерживали опасности и напряжения. — Она моя подруга, Густав, и мне ее не хватает...

— Она любит тебя. — Ярость душила меня.

— Знаю.

— А ты ее — нет!

— Люблю, но по-другому.

— Потому что ты любишь *меня*, понятно?

9

Когда союзники высадились в Нормандии, стало очевидным, что англичане и американцы, а также присоединившиеся к ним французы обладают неодолимым численным превосходством. Все мы знали, что поражение неизбежно, этого не понимали только те, кто продолжал слепо верить в Гитлера... "Фюрер не допустит гибели Германии; вот-вот произойдет решающий поворот в войне". Как? "С помощью какого-нибудь Wunderwaffe[1]", — говорили самые упертые. Они понятия не имели, как далеко от готовности находилось это самое Wunderwaffe! Они не знали, что не существовало никакой надежды запустить действующий реактор, и тем более сделать бомбу...

Неоднократно пытался я приблизиться к Гейзенбергу, чтобы побеседовать с ним без посторонних, но всегда кто-то мешал, и снова приходилось откладывать разговор до более удобного момента. Мы не были друзьями — сомневаюсь, что он вообще мог их иметь — и лишь пару раз болтали о пустяках, не относящихся к работе. Можно сказать, мы совершенно не знали друг друга, и это делало мою задачу еще труднее.

— Можете уделить мне несколько минут?

— Конечно, Линкс. Чем могу служить?

— Хотелось бы поговорить наедине, если не возражаете.

— Хорошо, зайдите ко мне в кабинет в двенадцать, — в его взгляде появилась подозрительность.

— Спасибо, профессор.

Ровно в двенадцать я был у него.

1. Чудо-оружие (*нем.*).

— У нас есть общие друзья, профессор, — начал я, когда уселся на стоявший перед ним стул, чувствуя себя как студент на экзамене. — Генерал Бек, доктор Зауэрбрух, господин Попиц...

Я рассчитывал, что после перечисления этих имен между нами сразу наступит взаимопонимание. Однако намек, казалось, не достиг сознания Гейзенберга.

— Да, я их знаю, — только и сказал он.

— В каком-то смысле я их сейчас представляю, — продолжал я.

— Они просили вас встретиться со мной?

— Не совсем так, профессор... — Мне никак не удавалось нащупать правильное направление беседы.

— Тогда что же?

— Постараюсь выражаться более точно. Вы, как и мы, ненавидите нацистов...

До этого спокойно сплетенные пальцы Гейзенберга сжались, будто под воздействием электрического тока. Стало ясно, что он не готов обсуждать подобную тему с человеком, к которому не испытывает ни малейшего доверия.

— Сожалею, профессор, — произнес он сурово, — не знаю, что вам от меня надо, да и не хочу знать. Прекратим этот разговор немедленно.

— Мы все должны сделать что-то для родины, — не сдавался я. — Может быть, нам предоставляется последняя возможность. Мы рассчитываем на вас...

— Не понимаю, о чем вы говорите, профессор Линкс, — отрезал он. — Я сделаю вид, что ничего не случилось. Вы знающий математик, и я доволен вашей работой, но предпочитаю держаться подальше от политики. Мы — ученые, и единственное, что для нас имеет значение, — наша наука, будущее науки нашей страны. Если мы просто будем последовательно заниматься своим делом, то принесем родине гораздо больше пользы, чем каким-то другим образом. А сейчас прошу извинить, мне надо возвращаться в лабораторию...

Вот и все. Через несколько дней Адольф фон Рейхсвайн предпринял еще одну попытку. По крайней мере, его Гейзенберг знал лучше по "Кружку по средам". Их разговор был более откровенным, но результат оказался почти такой же. Гейзенберг выразил моральную поддержку заговору, но отказался участвовать в насилии, будучи лишь ученым, и так далее.

Вскоре, как я уже упоминал, фон Рейхсвайна схватили гестаповцы.

10

— Густав, у тебя есть минута? Пожалуйста, — позвала меня Марианна.

— Чего тебе?

— Сегодня утром я говорила по телефону с Наталией.

— Вот как? О чем?

— Сказала, что мы хотим ее видеть. Чтобы навестила нас в один из ближайших вечеров. Как бы на прощание. Ты мог бы попросить отгул? Как ты думаешь?

— Ты уже распоряжаешься моей жизнью? — набросился я на нее. — Ты все за меня решила, не так ли?

— Я полагала, ты согласишься...

— И что она тебе сказала?

— Что подумает. Генрих...

— Вот именно, Генрих! — заорал я. — Ты отдаешь себе отчет, в какое положение ее ставишь? Ты заставляешь ее рисковать больше, чем это необходимо! Теперь Гени с ней, здесь, в Берлине. Они спят вместе каждую ночь. Они муж и жена! Тебе это непонятно?

— Я думала...

— Ты эгоистка! — продолжал я выкрикивать безжалостно и самозабвенно. — И после этого смеешь утверждать, что она твоя лучшая подруга, что ты любишь ее? Да если бы ты действительно любила, то оставила бы Наталию в покое!

— Прости, Густав, — и снова треклятые слезы потекли по ее щекам. — Я только хотела...

11

На следующий день утром Генрих явился ко мне на работу. Такого еще не бывало никогда. Как только я его увидел, меня словно током пронзило — все кончено! Обо всем узнал и пришел переломать мне кости. Я даже почувствовал потребность что-то сделать: помолиться или защитить себя с помощью оружия.

— Что с тобой? — спросил он вместо приветствия. — Бледный весь. Что-нибудь случилось?

— Нет-нет, все в порядке, — мой голос дрогнул. — Какими судьбами?

— Нам надо поговорить, Густав. Дело срочное.

Я завел его в одну из институтских лабораторий рядом с той, где работал Гейзенберг со своим коллективом.

— Ну говори, в чем дело.

— Тебя вчера не было на собрании, поэтому я специально пришел, чтобы сообщить. Решение принято.

— Когда?

— 15 июля.

— Так скоро?

— Штауффенберг, наоборот, считает, что слишком поздно, — возразил Гени.

— А ты что будешь делать?

— Я останусь с Ольбрихтом дожидаться новостей из Волчьего Логова. — Говорил он спокойно, словно рассказывал об обычном рабочем дне. — Потом запустим в действие операцию "Валькирия". Будь начеку.

— За меня не беспокойся, — сказал я, запинаясь. — Буду наготове.

12

Теперь, когда дата стала известна, я чувствовал себя словно узник, приговоренный к смерти, которому сообщили о дне казни. Даже если переворот удастся осуществить — во что я и многие другие участники заговора не верили, хоть и не заявляли об этом вслух, — моя нынешняя жизнь не сможет продолжаться, поскольку наверняка оборвется моя связь с Наталией. Это меня и пугало больше всего: в моем распоряжении оставалось два дня, только два дня рядом с ней...

Тягостными были наши встречи 13 и 14 июля: я изо всех сил старался не выдать своей тревоги, она ни о чем не спрашивала — знала, что все

равно ничего не скажу, — и так же, как я, притворялась спокойной и невозмутимой. Мы почти не разговаривали, между нами выросла стена, неодолимое отчуждение. В наших поцелуях не было страсти, скорее привычка, чем желание, а потом мы молча сидели порознь, каждый сам по себе, как два незнакомых попутчика, случайно оказавшихся в одном вагоне. Только поезд наш — мы это знали — вот-вот сойдет с рельсов.

13

Предполагалось, что в назначенный день я должен оставаться в своем кабинете все утро, пока со мной не свяжутся, и тут мне предстояло взять под контроль весь Институт имени кайзера Вильгельма, независимо от согласия или несогласия Гейзенберга. По плану Гитлер будет убит в полдень. Если все пройдет как задумано, к часу или двум переворот будет совершен.

В три часа по-прежнему ничего не происходило. Никакого сообщения, никакого сигнала, никакого предупреждения. Терпение мое иссякало. Наконец в половине четвертого я не выдержал и решился сам позвонить в штаб генерала Ольбрихта. Трубку снял Генрих.

— Невозможно, — лаконично сказал он с заметным разочарованием в голосе. — Целесообразно наметить новую дату, — и положил трубку.

Я почувствовал себя отвратительно. Когда тебя мучает неизвестность, нет ничего хуже, если она сгущается еще больше. Недолго думая я бросился к Наталии.

— Ты с ума сошел! — встретила она меня. — Гени может приехать в любую минуту...

— Не может, — с уверенностью сказал я. — Мы только что разговаривали. Он не освободится по крайней мере до вечера.

Наталия впустила меня с большой неохотой.

— Ты скажешь мне наконец, что происходит? Случилось что-то плохое?

— Нет. Пока еще нет.

— Слава богу! — воскликнула она, обессиленно опускаясь в кресло.

Я приблизился и принялся легонько целовать ей лицо: лоб, закрытые веки, брови, уголки губ... Она заплакала. Никогда раньше я не видел ее такой безутешной.

— Тебе плохо? — спросил я, становясь рядом коленями на ковер.

— Да, — ответила она. — Все плохо, Густав. Я беременна.

Вот так, просто, без предисловий. Грустное и горькое признание. При других обстоятельствах я бы спросил, кто отец. Теперь же и так было ясно. Мы оба давно знали, что я стерилен. В своем чреве Наталия носила ребенка моего друга, своего мужа, моего соперника.

— Как долго?

— Я узнала неделю назад или чуть больше.

— Зачем ты сказала мне именно сейчас?

— Прости.

— Простить?

— Да.

— Значит, ты по-прежнему... — Я замолчал. Не было смысла продолжать эту пытку. Все и так предельно ясно.

Я ненавидел ее, ненавидел и обожал. Мне хотелось одновременно жить вместе с Наталией и покончить с собой. В тот момент я был готов совершить тысячу разных поступков, принять тысячу противоречивых решений, однако совершенно бессознательно, движимый обидой, жалостью к самому себе, неспособностью поступиться собственными желаниями, а также под влиянием нахлынувших чувств я поднял Наталию на руки и отнес в спальню.

14

Назначили новую дату переворота: 20 июля. Дальнейших отсрочек и возможностей уже не будет. Повторная осечка неизбежно вызовет серьезные подозрения и приведет к полному провалу. Так что других вариантов не имелось.

Я не мог не пойти на последнее собрание заговорщиков, которое состоялось ночью 18 июля в доме Штауффенберга. Настроение у всех было сумрачное, чуть ли не траурное. Только иногда чья-нибудь остроумная фраза, удачная цитата или полезное наблюдение немного ослабляли напряженность и поднимали дух присутствующих.

Пока полковник и его гости обсуждали мельчайшие детали плана, Генрих затащил меня в соседнюю комнату, чтобы поговорить наедине.

— Могу сообщить тебе об одном необычайном событии, — сказал он. — Густав, я буду отцом!

— Прими мои поздравления, — выдавил я, вяло пожимая ему руку.

— Ты что, не рад за меня?

— Рад, конечно, просто это так неожиданно, — подыскивал я вежливые оправдания. — Особенно *теперь*. Посмотри, что вокруг творится!

— Генерал Ольбрихт отправляет меня в Париж, завтра же!

— Так тебя здесь не будет, когда?..

— Боюсь, что нет, — сказал он ровным и твердым голосом, не отражавшим никаких эмоций. — Ольбрихт считает, что я лучше всего подхожу для связи с генералом Штюльпнагелем.

— Жаль...

— Может быть, так даже лучше.

Итак, он снова уезжал. Наталия опять будет одна, и я опять буду ей нужен. Сообщение Генриха пробудило во мне надежду.

— Я вас видел.

До меня не сразу дошел смысл его слов.

— Что ты сказал?

— Я видел вас, Густав, — повторил Генрих. — Тебя с Наталией. В тот вечер, когда сорвалась попытка переворота.

— Не понимаю тебя, Гени, это какая-то ошибка. — Меня затрясло.

— Я давно заподозрил, — продолжал он, будто не слыша. — А потом позвонила Марианна, и мне не оставалось ничего другого, как пойти и убедиться.

— Марианна? — вздрогнул я.

— Она очень за тебя волновалась. Сказала, что ты выглядел особенно озабоченным. Что пыталась дозвониться до тебя в институте, но тебя там не было. Для меня это означало одно, Густав. Я сразу понял, какую картину застану дома, и не ошибся.

— Это недоразумение, Генрих, — пытался я тянуть время.

— Теперь это уже не важно, Густав. — Его слова глубоко ранили меня. — При других обстоятельствах я бы тебе шею свернул, дорогой друг, но не сейчас. Прошу только, если тебе каким-то образом удастся выжить, а мне — нет, позаботься о ней. О ней и о моем ребенке. Сделаешь?

— Гени, ради бога...

— Поклянись! — прозвучало как приказ, а не просьба.

— Да, клянусь.

Он не подал мне руки и даже не взглянул. А назавтра уехал поездом в Париж.

15

Нет необходимости вновь рассказывать о событиях зловещего дня 20 июля. Могу лишь добавить, что я, как и в прошлый раз, сидел у себя на работе в институте и ждал новостей. Точно так же ожидание заняло долгие часы. И снова казалось, что ничего не происходит. Я был в полном неведении: новая отсрочка, очередная ошибка? Опять позвонил в штаб генерала Ольбрихта на Бендлерштрассе. Какой-то незнакомый офицер сказал, что Гитлер погиб в результате покушения. Надо было что-то делать. Гейзенберг вообще отсутствовал, уехал в Баварию навестить семью.

Охваченный паникой, вместо того чтобы овладеть зданием от имени заговорщиков, я пустился наутек под защиту Наталии. Все, что мне было нужно в жизни в тот момент, — быть с ней. Ничто больше не имело значения: ни Гитлер, ни родина, ни заговор, ни Марианна, ни Генрих — только она!

— Знаешь, что происходит? — сразу же спросила Наталия при моем появлении. На этот раз она впустила меня без задержки.

— Конечно, только я сбежал, чтобы увидеть тебя.

— Генрих говорил со мной перед отъездом.

— Значит, тебе все известно...

Кивнув, она грустно потупилась.

— Что будешь делать?

— У меня нет выбора, Густав, — ответила Наталия. — Я должна жить со своей семьей.

— Что ты хочешь этим сказать?

— А тебе надо вернуться в свою. Марианна нуждается в тебе больше, чем я.

— Ты это серьезно, Наталия?

— Никогда в жизни не говорила более серьезно, Густав, — тихо произнесла она. — Я люблю тебя, ты знаешь, но на этот раз мы должны поступить правильно. Пожалуйста, уходи.

— Ты хочешь сказать — навсегда?

— Да, Густав. Навсегда.

16

Я вышел из дома Генриха совершенно опустошенный. Я потерял способность мыслить; мир — мой мир — обрушился, и ничего нельзя было

поделать. В памяти не сохранилось ничего, чем занимался на протяжении часов после разговора с Наталией. Когда же наконец услышал по радио сообщение о провалившемся государственном перевороте и добром здравии фюрера, то даже не удивился: этому дню предначертано было остаться в истории в качестве самого неудачного. Дня сплошных разочарований. Дня упущенных возможностей. Дня глупейших ошибок.

С этого дня на нас будет висеть ярлык предателей, не важно, раскаявшихся или нет. А я таковым стал уже давно.

— Боже мой! — ужаснулась Марианна. — Что теперь с нами будет?

Когда мне стало известно о страшном итоге попытки переворота, о смерти той же ночью Штауффенберга, Ольбрихта, Бека и других наших товарищей, о готовящейся Гиммлером расправе, у меня не оставалось другого выбора, как рассказать все Марианне. Пусть с запозданием, я признал за ней право знать, что происходит.

— Почему же ты молчал раньше, Густав? — причитала она. — Теперь мне ясно, почему ты так отдалился от меня в последние дни. Но я бы все поняла, любовь моя. Ты же знаешь, что я всегда на твоей стороне.

— А что бы это изменило? — грубо перебил я. — Ну, вот сказал, и что ты можешь сделать? Помолиться за нас?

— А Генрих? — спросила она после некоторого молчания.

— Не знаю, теперь остается только ждать известий.

— Можно мне позвонить Наталии?

Я ждал, что она задаст этот вопрос.

— Да, — бросил я. — Скажи ей, если что-то надо, мы поможем.

17

Об остальном я говорил уже не раз. В начале августа генерал Штюльпнагель и многие его подчиненные, Генрих в их числе, были арестованы и, как сотни других участников заговора, подвергнуты жесточайшим пыткам, пополнив таким образом уже ставший длинным список жертв.

Хотя мы трое тоже мучились и сходили с ума от страха за Гени и самих себя, все же на несколько дней для нас наступила короткая передышка. Мы снова были каждый сам по себе — Марианна, Наталия и я — и почти не виделись в те горестные дни. Марианна и я бродили по дому, как чужие, или, скорее, как призраки, не узнавая и даже не замечая друг друга. Наталия, в свою очередь, заперлась в четырех стенах. Каждый оставался наедине с собственным отчаянием. И я в ужасе убеждался, что в тот период суровых испытаний не было никого в мире, кто мог бы помочь нам в нашем горе.

18

После казни Штауффенберга и суда над его братом Бертольдом нацистские власти арестовали всю его семью: последнего из трех братьев, находившегося в Афинах и ничего не знавшего о подготовке переворота, их жен и детей, включая трехлетнего ребенка, и даже престарелого дядю в возрасте восьмидесяти пяти лет. Все имущество семьи Штауффен-

берг было конфисковано. Графиню и ее мать отправили в концлагерь Равенсбрюк, а детей поместили в сиротский дом, сменив им фамилию на Мейстер. С такой же жестокостью поступили и с семьями Трескова, Остера, Тротта, Гёрделера, Шверина, Кляйста, Хэфтена, Попица и многих других.

Подобного наказания, такой мести не мог предвидеть никто.

19

В последний раз я видел Наталию спустя короткое время после ареста Генриха. Она не отвечала на мои звонки, заявила, что не желает видеть меня, и велела горничной не пускать меня в дом. Получив отказ на все свои просьбы, я, понимая состояние Наталии, поначалу решил не тревожить ее. Позже, по моим расчетам, женская слабость все равно заставит ее вернуться в мои объятия, ведь только со мной сможет она найти утешение.

Но в тот вечер я не выдержал, подошел к ее дому и, не дожидаясь, когда мне снова дадут от ворот поворот, силой вломился внутрь. Услышав шум, Наталия спустилась, кутаясь в пеньюар пшеничного цвета. Я смотрел, как она, молчаливая и бесстрастная, стояла на лестнице, похожая на старую статую, готовую упасть и разбиться вдребезги. В ее глазах больше не отражалась прежняя страсть, вместо этого в них зияла темная пустота, которую я был не в силах заполнить. В то же мгновение мне стало ясно, что она для меня потеряна навсегда.

— Густав, уходи отсюда, пожалуйста.

— Я понимаю, каково тебе, — сказал я.

— Боль, — тихо произнесла она, — единственное, что мне остается, — единственное, что мне оставили. Не хочу, чтобы кто-то ее у меня отнял. Особенно ты. Я не хочу тебя видеть, Густав. Иди.

— Наталия, я люблю тебя! — выкрикнул я, хотя знал, что разговариваю с тенью. — Прости меня, пожалуйста.

17 августа в дом к Генриху вломились гестаповцы — так, как сделал я незадолго до этого — и безжалостно схватили Наталию. Через несколько недель, вслед за мужем, которого она защищала до конца, ее казнили.

Марианна не смогла перенести крушения своего мира. Все мы так или иначе покинули ее. После войны я узнал, что она сама покончила со своей болью. Из всех выжил один я. Один.

Диалог пятый: О преимуществах сумасшествия

Лейпциг, 9 ноября 1989 года

Сегодня утром заходил Ульрих и принес мне радостное известие. Он сказал, что мое дело пересматривается (в который раз!) и, если все будет хорошо, возможно, меня скоро выпишут, то есть выпустят на свободу. Свобода после четырех десятилетий под замком. Сорок два года под бесконечные вопли умалишенных, маньяков и психопатов, все это время составлявших мне компанию. Свобода, наконец-то. Неужели мне и впрямь доведется лицезреть финал столетия?

Теперь, когда все хором воспевают завершение исторического этапа, очищение человечества и конец глобального ужаса (больше сорока лет прошло после самоубийства Гитлера и всего несколько дней, как Советский Союз перестал существовать), я не могу не думать о том, что радость продлится недолго. Очень уж сомнительно, что весь мир вдруг достиг согласия, свалив вину за все нынешние беды на преступников прошлого. Мне жаль добавлять ложку дегтя в бочку меда, но единственное, что я могу сделать теперь, и единственное, что я мог сделать тогда, это утешать себя верой: нет ничего определенного, моя роль в истории никогда не будет определенной, всегда существует возможность — раньше ее называли надеждой, — что все, абсолютно все есть результат ошибки в расчетах.

— Вот я и сказал вам всю правду, — говорю я Ульриху с умиротворением, которого не испытывал уже долгое время.

— Да-да, правду... — улыбается он. — Иногда мне кажется, что вы не верите даже собственным словам.

Вот уже в который раз почтительный и приветливый Ульрих превращается в упрямого, бесчувственного медика, которому наплевать на меня и мои переживания. Поначалу я верил, что он переменится и научится сострадать моей боли, но теперь думаю, что ошибся. Он использовал дружелюбие как прием, чтобы припереть меня к стенке, уличить в противоречиях.

— Профессор, — хладнокровно заявляет он, — кое-что не стыкуется. Вам, конечно, досталось, однако складывается впечатление, что вы не все мне рассказали. Например, непонятно, как вы очутились и проторчали здесь столько лет...

— И в самом деле, не хватает завершающей части истории. Последнего звена в цепи измен и предательств. Самой страшной измены. Хотите послушать?

— Конечно, профессор.

— К концу войны я потерял все — все, что любил и что действительно имело для меня значение, — начал я. — Родину. Математику. Домашний очаг. Но самое главное — Генриха, Марианну и Наталию... В это время появился некто. Человек, который поверил в меня. Человек, который хоть на короткие мгновения мог заменить мне тех, кого я любил и кого больше не было в живых. Новый друг, понимаете? Он был физик и служил в американских войсках, освободивших Германию от нацистского ига. А еще, по странному совпадению, ему понадобилась моя помощь в поисках Клингзора. Его звали Бэкон. Лейтенант Фрэнсис П. Бэкон.

Месть Клингзора

1

Бэкон чувствовал себя полным болваном. Как случилось, что он оказался таким безмозглым идиотом?

"Как ты могла?" — сказал он ей тогда, вкладывая в эти слова крайнее негодование, но в то же время всю силу любви.

Женщина разрыдалась, якобы от непереносимых угрызений совести. Слезы никогда не помешают: блестящие, мокрые и обильные и все-

гда наготове. Хорошая порция очень убедительно действует на недовольного мужчину, когда другие способы плохо помогают. "Прости, у меня не было выхода..." Как это не было? А сразу обо всем рассказать не могла? Если она его в самом деле любит, почему не доверилась?

"Кто тебе платит за информацию? – продолжил Бэкон, стараясь сохранять достоинство. – На кого ты работаешь? На русских?" Ну конечно: в ее положении лучшая тактика – безмолвствовать и не возражать, так она и делала. Потому что сказанного не вернешь, после не отвертишься, зато молчание нельзя запомнить и использовать против тебя.

"Ну почему?" – по неопытности добивался Бэкон. Хотел знать, что ее толкало. В глубине души он старался найти оправдание поступкам любимой женщины. А что, если ее принудили, если ей угрожала опасность, если... О, она знала, как ответить: "Прости меня, пожалуйста..." Сентиментально и неумно, как обычно. Но, бог мой, Фрэнк начинал сдаваться. Ему так *хотелось* верить женщинам.

Затем последовал ход, столько раз применявшийся в подобных ситуациях, но не потерявший из-за этого своей эффективности. "Мне надо было сделать так, чтобы ты в меня влюбился. Но потом все изменилось... Все пошло наперекосяк, Фрэнк... Ты стал много значить для меня, но у меня не было выбора, я должна была сотрудничать с ними... Они хотят заполучить Клингзора любой ценой..." Отличная игра, достойная талантливой актрисы. "Каждый день я мучилась, хотела во всем тебе признаться, но я боялась... Давно надо было так поступить, раньше, чем ты сам узнал... Я люблю тебя".

Господи, ну почему меня не было рядом в тот момент? Я бы раскрыл лейтенанту глаза на лживость этой исповеди... К несчастью (я-то хорошо знаю), любовь – проклятие, которое не только затмевает разум, но и растлевает душу. Если быть честным, единственное, чего хотелось Бэкону, – прижать ее снова к своей груди, покрыть поцелуями и любить, как никогда не любил прежде, как никогда не будет любить потом... Но нет, офицер разведки, он понимал, что именно этого делать нельзя.

Фрэнк ушел, оставив ее одну, внешне безутешную, а сам отправился бродить по улицам Гёттингена в поисках объяснения, ответа, умиротворения. Он любил ее. Любил больше всего на свете. Больше себя самого. Больше, чем Бога, сильнее, чем родину. Любил больше чести. Больше истины.

2

– Ты вернулся, Фрэнк!

Впервые за долгое время лицо Ирены приняло выражение искренней радости, уж не знаю, по причине ее необыкновенного чувства к лейтенанту Бэкону или из-за едва теплящейся надежды на прощение.

– Ты вернулся, потому что поверил мне?

– Сам пока не знаю, зачем я пришел, Ирена, – Фрэнк старался говорить жестким тоном, хотя его возвращение уже свидетельствовало о слабости.

Ирена попыталась обнять его, но Бэкон предусмотрительно отстранился; еще не настало время для радости воссоединения — Ирене следовало набраться терпения и ждать.

— Фрэнк, я люблю тебя. — Ирена следовала заученному сценарию. Советские, наверно, даже инструкцию сочинили, как соблазнять и вербовать иностранцев.

— Знаю, — сказал он неискренне.

Может быть, это была еще не капитуляция, но, во всяком случае, что-то очень похожее на нее.

— Что нужно сделать, чтобы ты мне поверил? — Еще один умный шахматный ход, весьма своевременный гамбит королевы. Пожертвовать пешкой в начале партии, чтобы получить преимущество в центре доски.

— Сказать правду, Ирена (что же еще?), — *всю правду*. Иначе я никогда не смогу тебе поверить.

Опять правду. Почему мы так гоняемся за истиной, просим, требуем, умоляем открыть нам ее, хотя в глубине души хотим одного — чтобы подтвердилась наша собственная точка зрения?

— Я скажу все, что хочешь. (Лучше не придумать: *"все, что хочешь"*, то есть все, что тебе хочется услышать, что тебя сделает моим, а не то, что знаю или что думаю. Не правду.)

— Я слушаю, — сказал Бэкон с поддельной угрозой в голосе.

— По сути мы очень похожи, Фрэнк, — начала Ирена. — Мы сражались за одно и то же. Нацисты — наши общие враги, не забывай. В течение многих лет они губили все, что мне было дорого... Когда Гитлер стал канцлером, схватили моего отца, члена немецкой компартии. Он умер в тюрьме еще до того, как началась война. Фрэнк, моя семья потеряла все, что имела... Я, как и ты, вступила в борьбу против них...

— И что ты делала? — Интерес Бэкона свидетельствовал о том, что он попался в эту ловушку.

— Когда мне было пятнадцать лет, я пришла домой к другу моего отца, который находился на нелегальном положении, — продолжила Ирена рассказ о своих подвигах. — Сказала, что хочу вступить в партию... "Ты действительно хочешь?" — переспросил он. "Да, товарищ", — твердо ответила я. Он дал мне листок бумаги с записанным на нем адресом. "Хорошо, — сказал он, — ступай, там тебе скажут, что делать".

— И ты пошла...

— Конечно, пошла! — воскликнула Ирена. — Я очутилась в одном из беднейших районов Берлина. Мне открыл рыжий беззубый мужчина. Я подала ему листок с адресом и ждала, пока он прочитает. "Так чего тебе надо?" — спросил он не слишком приветливо. "Хочу вступить в партию", — ответила я. "Как тебя зовут?" — "Инга", — вот мое настоящее имя, Фрэнк: Инга Шварц. "Ну так с этой минуты тебя зовут Ирена Гофштадтер, — заявил человек. — В партию тебе пока рано. Будем работать вместе, только никому об этом знать не надо, понятно? Так будет лучше для всех".

— Значит, теперь я должен звать тебя Ингой? — процедил сквозь зубы Бэкон.

— Как хочешь...

— И, конечно, у тебя нет сына по имени Иоганн...

— Нет.

— Итак, ты стала шпионкой...

— Поначалу я только разносила почту, — пояснила Ирена. — Когда мне говорили, доставляла пакеты по указанным адресам, в этом заключалась вся моя работа. Я ожидала большего, но утешала себя тем, что оказываю хоть малую помощь общему делу. В шестнадцать получила первое настоящее задание. К тому времени я уже перестала выглядеть как малолетка. Карл, тот рыжий мужчина, сказал как-то, что, если хочу, могу выполнять более важную работу. Я выразила готовность выполнять любые его приказы. "Ты теперь девушка очень красивая, — сказал он. — Попробуем использовать твою красоту в качестве нашего оружия".

Во время службы в БСИ Бэкон слышал о красивых женщинах, работавших на советских, но никогда не думал, что ему доведется познакомиться с одной из них.

— Ты спала с теми, у кого надо было получить информацию для твоих хозяев?

— Это был лишь вклад в общую борьбу. Такое же задание, как любое другое. Как твое, Фрэнк... — ответила Ирена, она же Инга.

— Это не одно и то же...

— Почему же? — возразила она. — Ты же использовал свои научные знания, чтобы послужить родине... Нет никакой разницы, Фрэнк. Я защищала свои идеалы как могла, и ты не можешь осуждать меня за это... Мы должны были победить Гитлера любой ценой.

— Сколько раз ты это делала?

— Что?

— Ложилась в постель за свои идеалы...

— Какое это имеет значение? — Инга, она же Ирена, уже полностью контролировала ситуацию. — Ты хочешь знать, Фрэнк? Десятки раз, десятки...

— Главное — выполнить работу, не так ли?

— Именно. И делала ее лучше всех, Фрэнк, хотя говорю это без гордости.

— Полагаю, я должен чувствовать себя польщенным, — с иронией произнес Бэкон.

— Для русских ты представляешь приоритетный объект, — заявила Инга, — поэтому тебя поручили мне, Фрэнк. Однако теперь я не смогу продолжать работать на них. Впервые в жизни я по-настоящему полюбила...

— Меня? — рассмеялся Бэкон. — А чем я отличаюсь от остальных? С какой стати я должен тебе верить?

— Потому что я люблю тебя, как ты не поймешь! — напирала Инга. — Ради тебя я готова бросить все. Абсолютно все. Единственное, что имеет для меня значение, — быть рядом с тобой... Пойду за тобой куда угодно, Фрэнк. Как мне поступить, чтобы ты поверил?

— Ты хочешь сказать, что готова даже пойти на предательство русских?

— Да.

Бэкон задумался на несколько мгновений. Себе-то он мог признаться в жестокой правде: даже если Инга лжет ему прямо в глаза, все равно он не сможет перестать любить ее.

— Поедешь со мной в Соединенные Штаты? Согласишься работать на мое правительство?

— Сделаю все, что скажешь, — Инга не колебалась ни секунды. Она не собиралась упускать из рук победу.

— Ладно, — сдался Бэкон.

Губы Инги расплылись в радостной улыбке. Настал миг триумфа! Бэкон со смешанным чувством негодования и благодарности позволил ей поцеловать себя.

— Я буду очень послушной, Фрэнк, вот увидишь.

— Мне тоже все это надоело, — признался он. — Брошу и займусь опять физикой... Вернусь к цифрам и теориям...

— Будет просто замечательно! — Инга начала переигрывать.

— Я подготовлю все, что надо, — перешел к делу лейтенант. — Надо как можно скорее уехать из Германии...

Но не тут-то было, не хватало небольшой детальки. Оставалось поставить одну маленькую точку. Выполнить последнее задание.

— Фрэнк, — произнесла она вкрадчивым голоском, — боюсь, что все не так просто. Я не могу уехать вот так, ни с того ни с сего. Русские будут препятствовать... Я точно знаю. Мы должны играть свои роли до конца, чтобы обмануть их.

— Что ты хочешь сказать?

— Я должна выполнить поставленное задание, иначе они не снимут наблюдение за мной. Им легче меня убить...

— Какого черта им надо? — воскликнул Бэкон с возмущением.

— Того же, что и тебе (разве не очевидно!). Им нужен Клингзор.

— Но мы даже не знаем, кто на самом деле Клингзор!

— Еще как знаем, Фрэнк...

— Кто?

— Линкс...

3

— Густав? У нас нет никаких доказательств... Инга. Не исключено, что он запутал следствие, но это не делает его преступником.

— Фрэнк, я назвала его имя только потому, что знаю точно, — добавила она драматическим тоном. — Ты велел мне быть с тобой честной, я так и поступаю. Весь ход расследования указывает на него.

— Хоть ты его и недолюбливаешь, это не значит, что можешь делать такой вывод...

— Он с самого начала хотел подставить Гейзенберга, — не уступала Инга. — Заставил тебя потратить уйму времени, направляя по тщательно разработанному ложному следу, чтобы в итоге ты получил смехотворный результат. Мы с тобой прекрасно понимаем, что, хотя Гейзенберг тесно сотрудничал с нацистами, он никогда не был одним из них. Он, возможно, самовлюбленный дурак и даже, не исключено, способен на предательство, но никогда не был чудовищем. А Линкс — чудовище.

— Доказательства, доказательства, доказательства, — разозлился Бэкон. — Без доказательств твои обвинения ничего не стоят, Инга. Приведи мне хоть *одно* доказательство.

— Я скажу тебе все, что знаю, а ты решишь, верить или нет, — Инга нарочно говорила торопливо и сбивчиво, стараясь выглядеть взволнованной. — Что ты знаешь о Линксе кроме того, о чем он сам тебе говорил? В его пользу свидетельствует только одно обстоятельство, которым он постоянно прикрывается как щитом, — участие в подготовке переворота 20 июля. Линкс утверждает, что после раскрытия и подавления заговора он был арестован по доносу Генриха фон Лютца, его лучшего друга и одного из руководителей переворота. А выдал тот Линкса якобы потому, что застукал его со своей женой по имени Наталия... Судя по всему, было как раз наоборот: Линкс донес на Лютца, чтобы избавиться от соперника...

— Прелюбодейство и измена другу относятся скорее к области нарушения моральных норм. — Бэкон изо всех сил старался рассуждать здраво. — Это по-прежнему не означает, что он и есть Клингзор.

— Ладно, а теперь слушай дальше, — продолжала женщина. — Линкса после ареста должны были осудить и казнить, как Генриха и остальных. Но этого не произошло. Почему? Линкс утверждает, что спасся благодаря счастливому стечению обстоятельств. Действительно, судья погиб, а вынесение обвиняемым смертного приговора отсрочено на неопределенное время. Однако, согласно протоколу заседания суда, в тот день судили только четверых заключенных, и ни один из них не был Линксом... С этого дня, по словам Линкса, его перевозили из тюрьмы в тюрьму, пока не освободили американские солдаты. Однако нет никакой уверенности в достоверности и этого утверждения. В конце войны он всплывает в Гёттингене, взявшись неизвестно откуда. Позже англичане его "денацифицировали", но советские так и не отказались от своих подозрений по отношению к нему. Теперь понимаешь? Скорее всего, он не имел ничего общего с заговором, узнал от Наталии об участии в нем Лютца и воспользовался этим, чтобы отделаться от соперника...

— Кое-что не согласуется, — заметил Бэкон заинтересованно. — Линкс рассказывал, что Наталию, жену Генриха, тоже арестовали и казнили. Если Линкс — Клингзор, то почему он не спас свою любовницу?

— Наверное, просто не предполагал, что возмездие Гитлера зайдет так далеко... Выдав Генриха, он сбросил свою самую сильную карту — и проиграл... Может быть, именно поэтому Марианна, его жена, покончила с собой...

— Ну хорошо, Инга, твои рассуждения правдоподобны, но это не значит, что так все и было на самом деле... — Бэкон защищал меня до конца. — Твоя версия лишь *одна* из многих... Например, представь на секунду, что Линкс сумел спастись исключительно благодаря своему доносу на друга. Таким образом объясняются все события, и отпадает необходимость подозревать, что он — Клингзор...

Но Инга не собиралась упускать меня. Только не теперь, когда победа так близка.

— Несмотря на кажущееся безразличие Гитлера к атомным исследованиям, — сменила она тему, — ему нужен был человек, занятый в этой программе, чтобы напрямую докладывал о достигнутом. К концу войны важность таких докладов еще более возросла. Не забывай, в 1945 году бомба была последней надеждой фюрера на победу... Кто лучше Линкса мог бы выполнить данную задачу? Работает вместе с Гейзенбергом, в курсе всех достижений... — Инга почти не скрывала враждебного отно-

шения ко мне. — После ареста Генриха и Наталии его след теряется до конца войны, и только потом Линкс в добром здравии вновь всплывает на поверхность в Гёттингене. Только такая личность, как Клингзор, обладающая достаточными рычагами в нацистской администрации и одновременно имеющая возможность прятаться под личиной респектабельности, могла провернуть подобное... Все становится на свои места, согласись, Фрэнк... Русские считают, что Линкс и есть Клингзор. Если я не сдам его, дорого заплачу... Почему бы тебе не дать им все сделать за тебя? Теперь это *моя* единственная возможность спастись...

Да, неплохая сказочка, главное, не подкопаешься, все так хорошо сочинено и подогнано. Жаль только, все это ложь от начала до конца.

— Нет, не могу. Если я сдам Густава русским, предам не только его, но и свою страну...

— Я должна предоставить им кого-то, кто *может быть* Клингзором, — не унималась она. — В этом наша последняя надежда...

— Ты просишь слишком многого, Инга. Ужасно выбирать между им и тобой...

— Мне тоже не нравится, Фрэнк, да только в этой игре не я устанавливаю правила.

В этой игре. Наконец она хоть раз сказала правду.

— А я-то им зачем понадобился? Им что, нужна моя рекомендация?

Прошло несколько минут, прежде чем лейтенант совладал со своими эмоциями, но в конце концов он переборол охватившее его негодование. Он тут же встал, словно очнулся от кошмара.

— Мы находимся в английской оккупационной зоне, — констатировала Инга, желая как можно скорее покончить с этим делом. — Есть только одно безопасное место, где можно взять его без шума.

— Жилище офицера американской армии? — горько сострил Бэкон. — Вы похитите его из моего дома?

Инга даже не стала отвечать на вопрос. В этом уже не было необходимости.

— Я люблю тебя, Фрэнк, — промурлыкала она вместо ответа. — Только так мы сможем остаться вместе. Поверь мне... Поверь в мою любовь.

4

Впервые в жизни Бэкону приходилось принимать решение. До этого момента он лишь убегал от проблем и, быть может, от себя самого: наука помогла ему избавиться от детских страхов; фон Нейман — от необходимости выбора между Вивьен и Элизабет; война спасла от неудавшейся карьеры ученого-физика; Инга — от деградации и одиночества; я же выполнил за него служебное задание в Германии. Сам он все время метался наподобие элементарной частицы под воздействием основополагающих сил, гораздо более мощных по сравнению с ним. Он был даже не игроком, а лишь фигурой на огромной шахматной доске Мироздания.

И вот теперь, совершенно нежданно, эта изначально установившаяся очень удобная система, в которой причины и следствия чередовались, почти не беспокоя его, перестала существовать. Кому верить? Инге? Бог мой, только не ей! Фон Нейману, Эйнштейну, Гейзенбергу?

Мне?.. На этот раз ему не уйти от ответственности; не спасут ни наука, ни любовь и ничто другое. Бэкон был в ярости и в то же время в отчаянии. Как же ошибался старик Эпименид: не только критяне, но все люди лжецы! Если абсолютная определенность не существовала или, еще хуже, если Бэкон не имел возможности достичь определенности, сколь бы ни старался, — как тогда мог он быть уверен, что Инга любила его или, наоборот, использовала в очередной раз? Как мог он угадать, был ли я его другом или предателем, как в свое время был ли я другом или предателем Генриха? Как мог измерить степень моей подлости? И каким должно быть его собственное адекватное поведение?

И вдруг ему стало ясно, что все очень просто. По какой-то неведомой причине именно ему надлежало на этот раз решать, где истина, а где ложь; что есть благо, а что — бесчестие; и по какой-то космической прихоти — по неоднозначности, по неопределенности — именно на его долю выпала нелегкая задача заполнить данную страницу истории. Среди бесчисленных параллельных миров, очерченных Шрёдингером, Бэкон должен выбрать один, который станет нашим миром. Пусть эта женщина грешница — он мог бы попытаться изгнать беса. Пусть я невиновен (или хотя бы моя вина вызывает сомнения) — он все равно мог определить мне наказание. Клингзор обвел нас вокруг пальца, мы даже близко к нему не подобрались, ну и что с того? Бэкону достаточно собственного волевого решения, чтобы вынести нам приговор. И он должен был сделать это, должен был отбросить принципы науки и справедливости, разума и морали, подчиняясь только тому, что диктовала ему любовь к Инге.

Наверно, мне следовало догадаться, но почему-то я все еще верил Бэкону. В тот вечер он вызвал меня не в кабинет, а к себе домой. Одно это обстоятельство могло меня насторожить, и тем не менее я пришел точно в назначенное время. У меня появилась надежда, что он взялся за ум, понял, как Инга манипулировала им. Размечтался! Постучал в дверь. Больше в квартире никого не было. Бэкон сидел на деревянном ящике. По лицу невозможно прочитать, какие чувства он испытывал; словно пелена или заклятие скрывали его гнев и разочарование. Мы оба оказались в ловушке. Я мельком осмотрел жилище и заметил, что все личные вещи исчезли; зато по разным углам комнаты валялось с полдюжины тюков.

— Переезжаете, лейтенант? — сказал я с откровенной насмешкой.

— Здесь мне стало слишком тесно, Густав, — его голос звучал ровно и бесцветно. — Хватит с меня. Кажется, я ошибался с самого начала.

— Возвращаетесь в Соединенные Штаты?

— Да, — соврал он. — Мы этим делом больше не занимаемся.

И тогда я понял. Объяснять дальше не было необходимости, мне и так стало ясно, что должно произойти. Она его обыграла. И *меня* обыграла. Я жестом остановил Бэкона. Единственное, что мне оставалось делать, — тянуть время и ожидать чуда.

— Хотите, расскажу содержание третьего акта вагнеровского "Парсифаля"? — спросил я без всякого перехода. — Вам же интересно узнать, чем все кончилось, лейтенант.

Поколебавшись секунду, он согласно кивнул.

— Несколько лет минуло после событий второго акта, — начал я задушевным голосом. — Занавес поднимается, и перед нами — чудесный

лес, этакая древняя тевтонская чаща, столь усердно воспеваемая нацистами. В центре, среди зарослей, прячется хижина Гурнеманца, помните его? — Бэкон кивнул. — Один из старейших рыцарей Грааля, мы познакомились с ним в первом акте. Итак, Гурнеманц выходит из хижины, и вдруг до его слуха доносится вздох, нет, скорее стон. Он начинает шарить вокруг и натыкается на Кундри, прилегшую под сосной. Похоже, она в трансе, поскольку повторяет, как речитатив или заклинание: "Служить, служить"... В стороне Гурнеманц различает другую человеческую фигуру. Конечно, это Парсифаль. Вы, наверно, помните, лейтенант, как после разрушения замка Клингзора Кундри прокляла юношу, расстроившись из-за того, что он не поддался ее чарам...

— Да, — признал Бэкон.

— По причине этого проклятия Парсифаль годами блуждал, не в силах разыскать замок Монсальват и рыцарей Грааля. Наконец, после долгих и опасных странствий ему удалось приблизиться к своей цели... Гурнеманц узнает пришельца и, опечаленный, рассказывает о том, что случилось в его отсутствие. Победив Клингзора, вселенский орден начал приходить в упадок. Титурель умирает, а старый Амфортас, лишенный небесного упокоения, уже даже не позволяет проводить праздничную церемонию, чтобы ускорить собственную смерть. — Глаза Бэкона замерцали зловещим блеском. — К счастью, Парсифаль прибыл и теперь исправит положение: у него есть копье Лонгина... Первым делом он обращает в христианство Кундри, освобождая ее, таким образом, от бремени проклятия Клингзора. Женщина приходит в себя и опускается перед Парсифалем на колени. Затем следует одна из самых красивых сцен во всей опере, — на мгновение восторженное чувство охватило меня, — "Очарование Святой Пятницы". Музыка — можете мне поверить, лейтенант — великолепная! Парсифаль входит в замок Монсальват и видит там многострадального Амфортаса. Тот просит юношу помочь ему поскорее умереть. Вместо этого наш герой касается копьем гноящейся раны старика и прекращает его мучения. Рыцари Грааля вновь собираются вместе. "Чудо исцеления", — поют они. И произносят такие загадочные слова: "Искупление искупителю"... Красиво, правда? Однако хотите расскажу, как заканчивается опера и сама легенда, лейтенант?

— Прошу.

— Кундри подходит к алтарю, где стоит Чаша Грааля, — торжественно продолжил я, — и падает замертво, освободившись наконец от своих прегрешений. Понимаете, лейтенант, она должна умереть, чтобы спасти душу. Для нее это единственный способ искупить свою вину.

Не успел я закончить фразу и открыть ему глаза на остающийся у него последний выход, как послышалось чье-то тяжелое, хриплое дыхание. Мы разом обернулись и увидели, как в комнату вваливаются двое высоких, богатырского сложения мужчин в деревенской одежде, а за ними, на втором плане, в почти непроглядном сумраке коридора, я сумел различить красивое лицо Инги.

— Что происходит, лейтенант?

— Мне жаль, Густав, — сказал он виновато. — Игра закончена.

— Я проиграл?

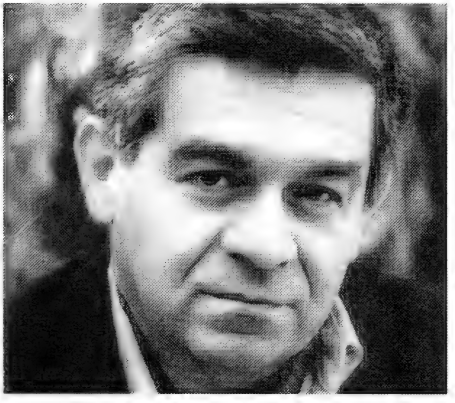
— В этой партии мы *все* проиграли. — То были его последние слова, обращенные ко мне. Будто поцелуй Иуды. Против своей воли или нет, но Бэкон предал меня.

Следующие несколько часов я провел в багажнике автомобиля. Очнулся уже где-то на территории этой убогой окраины цивилизации, до сих пор именуемой Германской Демократической Республикой. По словам моих похитителей, их гёттингенская команда, членом которой была Инга, собрала обширное досье с обличающими меня доказательствами. Тем не менее, несмотря на допросы и пытки, которым меня подвергали в течение нескольких месяцев, они так и не пришли к однозначному заключению, что я и есть Клингзор. Сомневаясь и стремясь скрыть свой провал, а также избежать дипломатического скандала, они решили запрятать меня в этот мрачный сумасшедший дом. С тех пор прошло уже больше сорока лет; четыре десятилетия, на протяжении которых, так же как мой дорогой и всеми позабытый Георг Кантор, влюбленный в бесконечность, я мог только размышлять над непонятными совпадениями, сначала спасшими меня от смерти, а потом, при еще более запутанных обстоятельствах, обрекшими меня на долгие годы лишения свободы. Еще я думаю иногда о том, что понес заслуженное наказание. По крайней мере, моя любимая Наталия, мне предстàвилась возможность непрерывно вспоминать тебя и молить тебя о прощении день за днем, до самой смерти.

Бэкон предал меня из-за женщины. Он сознательно отправил меня на пытки и изгнание, в тюрьму и, возможно, даже на смерть. Несколько месяцев гоняясь за призраком, лейтенант Фрэнсис П. Бэкон в итоге стал жертвой проклятия страшного человека, скрывающегося под именем Клингзора. Современная, но такая же роковая Кундри заставила и его стать лжецом, преступником... Может ли служить ему оправданием то, что я когда-то поступил точно так же? Что, в определенном смысле, я сделал его таким? Возможно, он наказан сильнее, чем я: ему никогда не отделаться от сомнений, омрачающих его любовь. И чем больше он любит эту женщину, тем мучительнее неопределенность, посеянная в его сознании по его собственной вине. А вообще мы с ним оба похожи на несчастного и жалкого Амфортаса: отлученные от Бога, обречены вечно страдать от своих незаживающих ран.

"Главная обязанность писателя – заботиться о гигиене языка"

Беседа с польскими писателями Павлом Хюлле и Антонием Либерой



Два известных польских писателя — Павел Хюлле и Антоний Либера — во время своего пребывания в Москве посетили редакцию "Иностранной литературы", где и состоялась публикуемая ниже беседа.

Павел Хюлле — давнишний автор нашего журнала: в № 11 за 1994 год были опубликованы два его рассказа из сборника "Рассказы на время переезда", затем роман "Вайзер Давидек" (№ 5, 2000), повесть "Мерседес-бенц" (№1, 2004) и недавно — в № 6, 2005, через полтора года после выхода в Польше — роман "Касторп". С Антонием Либерой-прозаиком российский читатель познакомился год назад, когда в "польской" серии издательства НЛО, включающей лучшие книги 90-х, вышел его роман "Мадам". Но Либера — еще и критик, эссеист, переводчик, театральный режиссер. В центре его интересов — творчество Сэмюэла Беккета: он не только перевел едва ли не все, написанное знаменитым ирландцем, но и ставил его пьесы — в разных странах и на разных языках; монодраму "Последняя лента Крэппа" в его постановке с незабываемым Тадеушем Ломницким в 1989 году видел московский зритель.

"Иностранная литература". Едва ли не главное, что занимает нас в нашей работе, – качество перевода, которое часто оставляет желать лучшего. Книжный рынок сейчас завален произведениями зарубежных авторов, далеко не всегда отвечающими хорошему вкусу, хотя зачастую и числящимися в списках бестселлеров. Престиж профессии переводчика резко падает, для этого, как ни печально, есть объективные причины: потогонная система, существующая во многих издательствах, невысокие заработки, заставляющие переводчика в заботе о хлебе насущном

наращивать темп работы за счет снижения качества. "ИЛ", впрочем, ставит одной из своих приоритетных задач высокое качество всех без исключения публикаций и, как нам кажется, успешно ее выполняет.

Антоний Либера. К сожалению, у нас наблюдается та же тенденция. Я сам переводчик, но перевожу только так называемую высокую литературу: Беккета, Оскара Уайльда, поэзию Гёльдерлина, Шекспира. К счастью, в Польше престиж переводчиков классики высок, да и заработки приличные. Но в том, что касается популярной литературы, бестселлеров, ситуация похожа на вашу. Зачем трудиться, если можно схалтурить и неплохо заработать, не прилагая особых усилий, которых требует профессия переводчика? Сэмюэл Беккет, как известно, был двуязычным писателем и сам переводил себя — с английского на французский либо наоборот. Он не раз говорил, что переводить собственное произведение гораздо сложнее, чем чужое, что на перевод уходит больше времени, чем на сочинение. Иногда он за день мог осилить всего полстранички. Будь он вынужден жить только за счет переводов своих книг, умер бы с голоду.

"ИЛ". Зато у Беккета есть пьесы, где персонажи молчат... Мы знаем, что вы не только переводили Беккета, но и ставили его пьесы в Польше, Англии, Франции, Ирландии, были членом международного общества "беккетоведов". А что вы делаете в этом плане сейчас?

А. Л. В 2006 году международная общественность будет отмечать столетие со дня рождения Беккета. Составлена очень интересная программа, многие театры, издатели, организации уже начали готовиться к этому событию. В основном задуманы театральные фестивали, но в ряде стран пройдут также научные и литературные конференции. Меня пригласили на фестиваль во Францию с польским спектаклем — французы хотят увидеть, как играют Беккета на разных языках. Кроме того, мне предложили поставить по одной его пьесе в Англии и во Франции — соответственно на английском и французском.

"ИЛ". Как только заговорили про Беккета, воцарилась тишина.

А. Л. Неудивительно. В разговорах с Беккетом тоже рано или поздно, как правило, воцарялась тишина — знаю это по себе, — и собеседники довольно долго сидели молча. Беккет в конце 20-х — начале 30-х был литературным секретарем Джеймса Джойса и помогал ему читать, поскольку у Джойса было очень плохое зрение. Два часа читал, потом откладывал книгу, и они сидели ничего не говоря. Мотив молчания часто встречается у Сэмюэла Беккета.

"ИЛ". Однажды, когда Беккет записывал что-то под диктовку Джойса, в дверь постучали; Джойс сказал: "Войдите", и Беккет записал: "Войдите". Потом Джойс попросил Беккета перечитать написанное и, когда тот прочитал "Войдите", велел это слово оставить.

А. Л. Он даже "тук-тук" записал.

"ИЛ". Вы были с ним знакомы?

А. Л. Да, мы два раза встречались и беседовали в Париже, переписывались — у меня много его писем. О своей последней встрече с Беккетом я написал короткий текст, который охотно вам пришлю.

"ИЛ". А у него есть какие-нибудь заметки военного времени? Он ведь, кажется, участвовал в движении Сопротивления во Франции?

А. Л. Да, и даже получил от де Голля орден. Его задача состояла в переводе данных, которые французская разведка добывала и передавала

английской. Интересно, как Беккет в оккупированном Париже спасся от гестапо. Он тогда жил вместе со своей будущей женой, она его содержала — зарабатывала шитьем детской одежды. Его не было дома, когда в квартиру нагрянули гестаповцы, она прикинулась, будто ничего не понимает: мол, она простая портниха, никакой Беккет тут не живет, — но немцы свое дело знали и не ушли. Когда он возвращался, один из соседей перехватил его недалеко от дома и предупредил, что в квартире засада. Беккет не убежал — стал ждать, что же будет: то ли гестаповцы отчаются и уйдут, то ли арестуют жену и увезут; просто стоял и ждал. Немцы наконец убрались, сосед сообщил об этом Беккету, и они с женой, буквально в чем были, ушли из дома и отправились на юг Франции. Целый месяц шли пешком — иногда только кто-нибудь их подвозил. Как говорил сам Беккет, это первое путешествие на юг Франции и стало толчком, побудившим его написать "В ожидании Годо". Двое бродяг на обочине проселочной дороги, ночующие в канаве... Беглецы нашли приют в Руссийоне, в департаменте Воклюз (сейчас в домишке, где они жили, — маленький музей). Слово "Воклюз" звучит в "Годо"; мало кто знает, что это реальное название местности, его считают вымышленным — а это немаловажная деталь в биографии писателя. Он там работал на винограднике у братьев Понелли, сейчас они всячески это рекламируют. А поскольку Беккет был им очень признателен, их фамилия тоже фигурирует во французской версии "Годо". В Руссийоне Беккет днем трудился на винограднике, а ночью писал; там был написан "Уоот".

"ИЛ". А о своем участии в Сопротивлении он писал?

А. Л. Нет, у него есть всего один короткий текст, относящийся к событиям военного времени, — то ли репортаж, то ли эссе под названием "Capital of Ruins" ("Столица руин"). Беккет был свидетелем бомбардировки Дьеппа (он работал там в Красном Кресте) — город за ночь был полностью разрушен, — и это произвело на него очень сильное впечатление.

"ИЛ". Мы первыми напечатали Беккета: русский перевод "В ожидании Годо" опубликован в октябрьском номере 1966 года.

А. Л. В Польше перевод вышел десятью годами ранее, в 1956-м. А написана пьеса была по-французски в период между октябрем 1948 и январем 1949 года.

"ИЛ". Публикация Беккета была очень смелым поступком, в те времена у нас было множество начальников: и Союз писателей, и ЦК КПСС, и Главлит — обмануть их бдительность стоило немалого труда. Это сейчас мы печатаем, кого хотим. Даже весьма противоречивых, если не сказать скандальных, авторов. Вам знаком французский писатель Фредерик Бегбедер? Некоторое время назад "ИЛ" вместе с посольством Франции учредили премию за лучшие переводы с французского и книги, посвященные французской литературе. Первым председателем жюри этой премии был Морис Дрюон, теперь его сменил Бегбедер; вручение премии приурочено к ярмарке "Non-fiction". В специальном номере нашего журнала (№ 9, 2004), посвященном памяти жертв терроризма, можно прочитать последний роман Бегбедера "Windows on the World". А в Польше он известен?

А. Л. Да, его переводили, но у нас больше известен его коллега Мишель Уэльбек.

"ИЛ". С ним мы тоже первыми познакомили читателя, опубликовав вначале "Элементарные частицы", а затем "Платформу" и стихи. А

Бегбедер на наших страницах был представлен еще новеллами из "Рассказиков под экстази" и романом "99 франков"

А. Л. Уэльбек и Бегбедер – близкие друзья.

"ИЛ". Друзьями их трудно назвать – говорим по собственному опыту: оба побывали у нас в редакции. Очень уж они разные: Уэльбек – маленький, какой-то зажатый, закомплексованный, а Бегбедер, напротив, очень раскованный, этакий хулиганистый пижон.

А. Л. Так или иначе, Бегбедер "раскрутил" Уэльбека – поместил в журнале, где сам работал, первую, очень похвальную статью о нем. На родине слава Уэльбека весьма противоречива, он даже убежал из Франции – вначале в Ирландию, поскольку там не надо платить налоги, а теперь, став знаменитым, перебрался в Испанию.

"ИЛ". Известный московский книжный художник Андрей Бондаренко, оформляющий наш журнал, рассказывал о своей встрече с Бегбедером на какой-то книжной ярмарке. Бондаренко обратил внимание, что у них одинаковые пиджаки, только у него черный, а у Бегбедера – благородного синего цвета. Бегбедер подошел к нему, пощупал материал, посмотрел на марку, а затем продемонстрировал свой лейбл – оказалось, что у француза пиджак от более знаменитого кутюрье.

А. Л. Бегбедер – плейбой, очень циничный...

"ИЛ". В России и он, и Уэльбек сейчас чрезвычайно популярны. Вернемся, однако, к польской литературе. "ИЛ" готовит к публикации роман Павла Хюлле "Касторп" в переводе Ксении Старосельской[1]. "Русский" Хюлле – тоже открытие нашего журнала: мы первыми напечатали его еще в 1994 году. Хотелось бы услышать от автора, почему героем его последнего романа стал герой "Волшебной горы" Томаса Манна?

Павел Хюлле. "Волшебную гору" я впервые прочитал, когда мне было шестнадцать лет, а второй раз – уже студентом. В романе есть фраза: "Позади остались четыре семестра, проведенные им (Касторпом. – *"ИЛ"*) в Данцигском политехникуме..." Я просто не мог не обратить на нее внимание – Гданьск мой любимый родной город, там происходит действие всех моих книг, – и эта фраза дала толчок работе воображения. Касторп приезжает в Гданьск (тогда немецкий город Данциг) в 1905 году. И я постоянно представлял своего любимого героя на гданьских улицах, размышлял о том, в каком районе он снимал квартиру, где питался, общался ли с поляками и как к ним относился, много ли про них – и вообще про славян – знал и т. д. и т. п. Два года назад я опубликовал в "Газете выборчей" коротенькое эссе о якобы пропавшей главе "Волшебной горы", где "утверждал", что такую главу – связанную с пребыванием Касторпа в Гданьске – Манн написал, но по каким-то причинам в окончательный текст не включил. А спустя некоторое время я сочинил, так сказать, литературную вариацию. Кое-кто считает, что негоже строить литературу на литературе, однако я с этим не согласен. Сочиняет же композитор, восхищенный чужим произведением, свои вариации на его тему. "Данцигский" сюжет привлек меня отчасти потому, что мне вообще интересно отношение немцев и конкретно Томаса Манна к полякам, а шире говоря – к Востоку, в том числе и к русским. В "Волшебной горе" Касторп переживает большую любовь, и объект этой любви – необыкновенная русская женщина, аристократка Клавдия Шоша. А в "Смерти в Венеции" Ашенбах влюбляется в

1. "ИЛ", 2005, № 6.

польского мальчика Тадзё (уменьшительное от Тадеуша) — забавно, что, не очень-то разбираясь в польских именах, писатель сначала назвал его Адзё; впрочем, Манна интересует не только эротическая сторона отношений героев. Короче, я решил написать партитуру увертюры к "Волшебной горе". В моем романе в период, предшествующий описанным Манном событиям, Касторп влюбляется в прекрасную польку Ванду Пилецкую, аристократку, помещицу, приехавшую в Сопот на курорт, и обнаруживает, что у нее есть любовник, русский офицер. Таким образом возникает немецко-польско-русский любовный треугольник. Разумеется, я обязан был сохранить атмосферу "Волшебной горы" — а в те времена любовные отношения не походили на то, что мы сегодня сплошь и рядом видим, например, на экране, когда двое ложатся в постель и лишь потом выясняют, как каждого из них зовут. У Манна любовь — это восхищение на расстоянии, долгое изучение объекта страстного чувства. Касторп, наблюдая за Пилецкой, начинает понимать, что такое поляки и что такое русские, сколь сложны их взаимоотношения (Польша в 1905 году как самостоятельное государство не существовала — она была поделена между Россией, Германией и Австро-Венгрией). А также понимает, что вторгся в мир, о котором прежде ровным счетом ничего не знал. Такова канва моего "Касторпа". Но не только о любви там речь. Главное — столкновение "правильного" немца с чем-то, не укладывающимся в его воображение, с непонятным, таинственным Востоком. Вот, собственно, о чем книга.

"ИЛ". Читателя ваших книг неизменно восхищает отточенная стилистика, прекрасный, чистый польский язык. Расскажите, пожалуйста, о своих отношениях со словом.

П. Х. Мы живем в эпоху, с трудом поддающуюся "артикуляции". Я называю себя умеренным консерватором, иногда — консерватором, склонным к анархии. Мне чужда языковая революция, происходящая в Польше примерно с 60-х годов. Многих издателей, писателей, критиков заворожил французский "новый роман", и его влияние очень ощутимо в польской литературе. Я же считаю, что нельзя ограничиваться чисто языковыми экспериментами, нужно добиваться гармонии между темой и языком, тогда написанное обретает смысл. Я никогда не увлекался экспериментированием, хотя признаю за другими писателями такое право. Лишь когда переводчики начали спрашивать у меня, что означают те или иные слова, которых нет в словарях современного языка, я понял, что порой употребляю архаизмы. Но делаю это бессознательно: я был воспитан в польской интеллигентной семье, которая страдала от навязанного коммунизмом образа жизни, но, не будучи в силах ничего изменить, старалась хотя бы сохранить в чистоте язык. В нашей семье не только блюли довоенные обычаи, не только следили за тем, чтобы к обеду была надета свежая рубашка, а на столе лежала белая скатерть, но и заставляли нас с братом правильно говорить по-польски. Родители очень не любили, когда мы приносили с улицы разные словечки, отец не то чтобы нас за это наказывал, но неизменно одергивал. Естественно, я пишу не так, как Сенкевич или Крашевский, мы ведь живем в XXI веке, но для меня язык — как воздух: мы не замечаем его, хотя постоянно им пользуемся, однако если воздух слишком сильно загрязнен, начинаем задыхаться, болеем. Главная обязанность писателя — заботиться о гигиене языка. Мне не нравится, когда автор злоупотребляет вульгаризмами, вставляет их к месту и не к месту только ради того, чтобы приобрести скандальную известность. По-

лагаю, мой язык — где-то посередине между традиционным и повседневным, языком сегодняшней улицы. Кто-то ехидно назвал его "элегантным"; не знаю, хорошо это или плохо, просто я не могу писать иначе. Очень много мне дает чтение, я буквально пожираю книги. Иностранных авторов — в польских переводах, но могу читать по-английски и по-русски. К сожалению, русским языком я владею не очень хорошо, но стихи читаю постоянно, с громадным удовольствием. Люблю Пушкина, Бунина, Ахматову... Конечно, приходится заглядывать в словарь, но в целом тонкости русского стихосложения я понимаю.

Сегодняшняя — капиталистическая — Польша быстро меняется, и это сопровождается "варваризацией" языка — и бытового, и языка искусства. У нас сотни самых разных радиостанций; я их разделяю — употреблю грубое слово — на zajebiste и niezajebiste. Те, где то и дело звучит первое слово и ему подобные, я не слушаю. Не подумайте, что я барчук, чистоплюй — просто я этого не люблю, у меня другие вкусы. Таким я родился, так меня воспитали, и так я работаю. Вероятно, поэтому у меня в Польше есть свои читатели, и их немало. Я не "эстетизирую" язык, нет — всего лишь стараюсь сохранить его в чистоте. От услышанных на улице речей, пересыпанных грязными словечками, я испытываю буквально физические страдания. Ведь язык нам дан не только для повседневного общения, языком можно выразить и то, что для человека свято. Как поляк, воспитанный в римско-католических традициях, я жалею, что из костелов изгнали латынь — сейчас все богослужения ведутся по-польски. Мне бы хотелось, чтобы язык, на котором я обращаюсь к Богу (я, хоть и редко, хожу в костел), не был обыденным. Как у вас в России, где в храмах сохранен церковно-славянский язык. На повседневном языке я говорю о заурядных, будничных вещах, могу и соврать, но иератический[1] язык должен быть праздничным. Никого не удивляет, что человек, отправляясь на прием, надевает чистую рубашку; то же самое касается нашей речи. Но это уже другая тема. Еще я люблю рыться в старинных польских книгах, читаю, например, Вацлава Потоцкого, поэта XVII века. И всегда радуюсь, натыкаясь на слова, которые в современном языке не используются, хотя они понятны. У Потоцкого я нашел одно интересное выражение. Будучи свободным шляхтичем, он позволял себе критиковать церковь и обвинял польских ксендзов в том, что они сребролюбивы и drą ludzi do zdechu[2], то есть обдирают людей как липку. Оборот "do zdechu" сейчас ни от кого не услышишь, я же в одном публицистическом тексте его употребил, и все у меня спрашивали, откуда я это выкопал. Все, что я сейчас сказал, относится не только к польскому языку — любой язык создается столетиями, и мы обязаны с уважением относиться к своему языковому наследию или, по крайней мере, всегда о нем помнить.

"ИЛ". Вы много писали о детстве, дети — герои "Вайзера Давидека" и ваших рассказов, Касторп тоже совсем еще молодой человек. Как развивается эта тема — или вы уже сказали все, что хотели, о первых шагах человека в жизни?

П. Х. Я постоянно помню слова выдающегося писателя Бруно Шульца, назвавшего детство волшебной порой. В детстве кажется, что

1. Священный, жреческий.
2. Обирают людей так, что им остается только сдохнуть (*польск.*).

еще все возможно, что любая дорога перед тобой открыта. Но взрослея, старея, начинаешь понимать, что многие двери уже закрыты, по многим дорогам уже никогда не пойти; каждого из нас связывает все больше ограничений, мы перестаем верить в чудеса и т. д. И я тоже постепенно "вырастаю" из этой тематики; "Мерседес", как, впрочем, и "Касторп" – о другом. "Касторп", правда, – типичный Bildungsroman, то есть роман воспитания, однако герой – уже не ребенок, уже сформировался. Возможно, я еще вернусь к теме детства, но нельзя же без конца ее эксплуатировать – мне самому это скучно и хочется найти что-то иное. С другой стороны, детство – действительно необыкновенное время, о нем написано столько интересного, взять хотя бы европейскую литературу... Наверно, я когда-нибудь к этой теме вернусь – тем более что мое детство было поистине волшебным. У меня были замечательные родители, очень много мне дала моя бабушка Мария[1], в частности, она просто-таки ввела меня в XIX век. В период между двумя мировыми войнами она – лыжница, феминистка, знавшая семь европейских языков: древнегреческий, латинский, итальянский, французский, английский, русский, на котором хорошо говорила, украинский, – жила насыщенной, яркой жизнью, когда же при коммунизме жизнь стала бедной и куда менее разнообразной, постоянно возвращалась в прошлый век и увлекала меня за собой. В ту пору мы не могли ездить за границу, но я мысленно бродил с бабушкой Марией по свету – когда она рассказывала, например, о своих поездках в Биарриц, или в Италию, или в Грецию, или во Львов в канун Первой мировой войны. Это были сказки, чудесные, завораживающие истории... Бабушка очень меня любила – я отвечал ей тем же. За свою долгую жизнь она чему только меня не научила... ей я обязан прекрасным "домашним" воспитанием, она разбудила мое воображение, ее я должен благодарить за свою обостренную впечатлительность. Опишу одну сцену. В бабушкином доме в Мосцице, описанном в "Мерседесе", была большая библиотека со множеством старых книг, в которых мне разрешалось рыться. Однажды я нашел книгу со странным алфавитом – и не кириллица, и не латиница. Спросил, что это, бабушка ответила, что это "Илиада", сохранившаяся еще с гимназических времен. И начала мне читать поэму по-гречески и переводить прямо с листа. Конечно, это не был поэтический перевод, но впечатление от ее чтения я сохранил на всю жизнь. Я не устаю говорить об огромной роли дедушек и бабушек: раньше, когда семьи были большими и вместе жили несколько поколений, это было истинное богатство. Сегодня стариков стараются отправить куда-нибудь подальше от себя, а то и в дом престарелых. А ведь они гораздо больше дают детям, чем родители, которые вечно заняты, поглощены заботами о материальном благополучии и т. д. Моя бабушка взирала на повседневную суету, точно принцесса из нездешней сказки. Но это уже отдельный рассказ... Когда был опубликован "Мерседес", я поехал на кладбище и – хоть я человек несентиментальный – на минуту положил книгу на бабушкину могилу: мне хотелось, чтобы она узнала о том, что написана повесть, в которой о ней рассказывается с теплом и любовью.

"ИЛ". Позвольте задать вам банальный вопрос: чем вы теперь заняты?

1. См. повесть "Мерседес-бенц".

П. Х. Последнее время я занят не литературой, а ремонтом. Недавно я купил квартиру — замечательную, просторную, настоящую мещанскую, в старом доме, в одном из красивейших зеленых районов Гданьска — Оливе. Я решил, не боясь затрат, устроить там настоящую большую библиотеку. Библиотеки как таковой у меня никогда не было — известное дело: книги повсюду, на столах, на окнах, на полу, даже в туалете. А еще в новой квартире есть то, о чем я мечтал всю жизнь, — эркер. Несколько лет назад я был в Петербурге и там, в доме, где жил Набоков, увидел эркер, описанный в автобиографических "Других берегах". Из этого эркера, который был в комнате матери писателя, он, когда началась революция, смотрел на первые уличные схватки. Теперь и у меня есть эркер; надеюсь, ни за какими революциями я из него наблюдать не буду — просто это прекрасная архитектурная конструкция. Так что пока я занимаюсь оборудованием квартиры, но уверен, что обязательно что-нибудь там напишу.

"ИЛ". Будем надеяться, что, имея такой широкий обзор, вы многое увидите и позволите нам увидеть то же самое на страницах новой книги.

Скажите, а кого из молодых авторов вы, писатели среднего поколения, особенно высоко ставите, в ком усматриваете надежду польской литературы?

А. Л. Мы охотно вам кое-кого порекомендуем — необязательно очень уж молодых. Ежи Пильха у вас переводили?

"ИЛ". Ну конечно, он тоже — наше открытие[1].

А. Л. Отлично. Есть еще один кандидат — Збигнев Ментцель. Его можно назвать мастером малой формы, он регулярно публикует фельетоны в еженедельнике "Тыгодник повшехны", выпустил две книги коротких рассказов. А сейчас написал повесть, которая выходит в издательстве "Знак" и обещает стать настоящей сенсацией. Издательство задумало объединить три книги своих авторов в своеобразную трилогию, куда войдут "Мерседес-бенц" Хюлле, моя "Мадам" и "Все языки мира" Ментцеля. Очень остроумная, прекрасно написанная повесть, в которой есть масса линий — и философская, и социальная, и сатирическая — и уж точно нет ничего общего с постмодернизмом. Еще я бы вам порекомендовал Влодзимежа Ковалевского — он недавно выпустил интересный сборник, куда, в частности, вошел рассказ о Томасе Манне. С этим рассказом связана любопытная история. Ольга Токарчук[2] и Ковалевский договорились написать об одном и том же эпизоде из жизни Манна, только с разных точек зрения — "мужской" и "женской". Рассказ Токарчук называется "Авторский вечер": дело происходит в начале века, некая женщина приезжает на творческий вечер писателя Т., у них то ли был когда-то роман, то ли мог бы быть, она хочет его увидеть, но сама прячет лицо под вуалью, он ее не узнает — встреча не состоялась. У Ковалевского в рассказе с тем же названием на творческий вечер писателя Томаса Манна приезжает некая дама... фактически происходит то же самое, что и у Токарчук, только конец несколько иной, и Токарчук смотрит на все глазами женщины, а Ковалевский — глазами Манна. В связи с этим хочется упомянуть об интересном замысле сидящего здесь Павла Хюлле. У него есть рассказ "Первая любовь". Вообще Хюлле считает, что "пер-

1. "ИЛ", 1999, № 1; 2000, № 8; 2003; № 10.
2. "ИЛ", 2000, № 8; 2004, № 6.

вая любовь" — литературный жанр. В мировой литературе нам известны по крайней мере семь одинаково называющихся рассказов о первой любви: Тургенева, Бунина, Брюсова, Бабеля, Набокова, Беккета, ну и рассказ Хюлле. Мы хотим издать их в одном сборнике под названием "Первая любовь". Подчеркиваю: автор идеи — Хюлле.

"ИЛ". А какую книгу после "Мадам" опубликовал прозаик Либера?

А. Л. Это сборник разных по жанру вещей, в основном печатавшихся раньше. Туда вошел один рассказ, связанный с Пильхом и Хюлле, — этакая литературная забава. У Ежи Пильха есть повесть "Список прелюбодеек", герой которой по имени Густав — а польскому читателю это имя многое говорит[1] — сатирический персонаж, в жизни играющий чужую роль и потому вынужденный постоянно врать, обманывать, хитрить. Пильх как бы воспроизвел характер знаменитого героя романа Тадеуша Доленга-Мостовича "Карьера Никодема Дызмы" (1932) — маленького человека, случайно высоко взлетевшего по социальной лестнице и живущего в постоянном страхе, что его разоблачат. Я написал нечто вроде пародии на повесть Пильха, а у Хюлле взял название для романтического швейцарского кафе — "Под дубами"; у Павла это пивнушка. В моем рассказе герой — разумеется, по имени Густав — еще при коммунизме впервые выезжает за границу, в Швейцарию, — без денег, что существенно. Приезжие любят бросать в Женевское озеро монетку, чтобы еще раз туда вернуться. На это озеро ездили в поисках вдохновения великие польские романтики. Для моего же Густава источником вдохновения становятся деньги, которые он выуживает из воды. Кстати, литературная фантазия подтверждена действительностью. В прошлом году стало известно, что некий Роберто, коренной римлянин, а вовсе не приезжий из Восточной Европы, годами занимался тем же самым: вытаскивал деньги из фонтана Треви и сколотил приличное состояние.

"ИЛ". Как мы знаем, Павел Хюлле ведет своеобразный дневник — регулярно записывает размышления на тему языка.

П. Х. Да, но это не дневник, а заметки, регистрация происходящих в польском языке изменений. Например, лет двадцать назад в язык вошло слово "салон" в отличном от прежнего значении — салонами теперь называют магазины, парикмахерские. Иногда это доходит до абсурда. В курортном Сопоте есть маленький обувной магазин, носящий гордое название "Салон обуви". Подобные изменения можно наблюдать каждый день — я их записываю. У нас, как и у вас, появилось множество "академий". Варшавскую театральную школу, высшее учебное заведение, просуществовавшее под этим названием полвека, недавно переименовали в Академию. Хуже того, в обиход вошли слова и выражения, которые еще десять лет назад были бы просто немыслимы. Взять хотя бы уже упомянутый zajebisty, который встречается на каждом шагу не только в живой речи, но и в книгах, в газетах.

"ИЛ". У нас такие слова относят к ненормативной лексике — а у вас они уже стали нормой?

А. Л. Практически да; недавно это слово прозвучало в телевизионной передаче из уст известного писателя Жулавского. Однажды я попы-

1. Густав — скандинавское имя, в Польше стало модным в начале XIX века под влиянием литературы: Густавом зовут романтического героя поэмы "Дзяды" А. Мицкевича, а также одного из героев — пылкого любовника — комедии А. Фредро.

тался выяснить его значение, поскольку оно употребляется в самых разных контекстах — как в сугубо положительном, так и в отрицательном смысле, например, применительно к автомобилю, девушке, морозу... Не получив вразумительного ответа, я — похвастаюсь — сам сформулировал определение: это "нечто в превосходной степени".

Много новых выражений ввел в польский язык Лех Валенса. На международных конференциях президент частенько произносил слова и фразы, ставившие переводчиков в тупик. Взять хотя бы его знаменитую идиому: "Есть плюсы положительные и плюсы отрицательные"...

"ИЛ". А теперь давайте поговорим про "Польско-русскую войну под бело-красным флагом" Дороты Масловской[1]. Вам знакома эта вещь?

А. Л. А высказываться обязательно?

"ИЛ". Как хотите. Если угодно, можете ругать. Нас книга заинтересовала как образец польской молодежной контркультуры.

А. Л. Я предпочитаю читать Томаса Манна.

"ИЛ". У нас в редакции по поводу этой публикации шли горячие споры. Как, впрочем, и в польской критике. Например, ваш друг и наш автор Ежи Пильх очень высоко оценивает роман Масловской.

П. Х. Я люблю читать книги пускай и противоречивые, но позволяющие обрести новые знания о мире. Из "Польско-русской войны" я не узнал ничего такого, чего бы не знал об описанной в ней среде. Поэтому для меня этот роман не стал открытием. Многие критики восхищались Масловской, утверждали, что она открыла язык "дресяжей" (от слова "дрес", как у нас называют спортивную одежду), иначе говоря, шпаны. Масловская же этот язык придумала; я бы назвал то, что она сделала, мифологизацией. И в сюжете нет ничего ошеломляюще нового: герои только и думают, как бы выпить, кого бы трахнуть, где раздобыть наркотик, но у них нет бабла — значит, надо надыбать бабок, чтобы выпить и т. д. И этому посвящены все 250 страниц. Поэтому мне книга не показалась интересной.

А. Л. Я считаю, каждый имеет право писать о том, о чем хочет. Это мир Масловской, и она его на свой лад изображает. У меня нет претензий к автору, зато есть претензии к критикам и лоббистам, которые устроили из этой книги невесть какое событие и внушают читателям, что это поворотный пункт в литературе. Если бы не критики, люди сами бы составили о ней представление и, весьма вероятно, пришли к такому же выводу, что и Павел. Да, есть такое социальное явление — вот и все. Но когда читателям вдалбливают, что перед ними некое откровение, это прежде всего идет во вред автору. Масловской, когда она написала "Войну", было восемнадцать лет; естественно, девочка бог весть что о себе вообразила, а теперь те же критики про нее забыли — мавр сделал свое дело, мавр может уходить, — теперь их внимание приковано уже к другим молодым авторам, а именем Масловской просто манипулируют. Кстати, рекламу книге сделало ее название. Польско-русская война — абсурд, но сегодня вызывает едва ли не всеобщий интерес.

"ИЛ". Сторонники публикации Масловской в "ИЛ", аргументируя свою позицию, приводили следующие соображения. Роман не о том, как и где выпить, потрахаться, сшибить бабок, главное в нем другое: сколько бы ты ни выпил, какой бы кайф ни словил, все равно твоя

1. "ИЛ", 2005, № 2.

жизнь не складывается, все равно перед тобой тупик. И это важно. Интересно, а где место этой книги, независимо от того, хорошая она или плохая, в сегодняшней польской литературе: она стоит особняком или подобных вещей у вас сейчас много?

П. Х. После успеха "Польско-русской войны" одна гданьская учительница, Дорота Щепанская, видимо пытаясь следовать за Масловской и даже ее перегнать, написала еще более шокирующую книгу. Название трудно перевести, в нем есть неологизм legal — существительное от слова легальный, дозволенный; речь идет о столкновении молодежи с тем, что запрещено или, напротив, из прежде запретного становится доступным. И с точки зрения языка, и по манере, в которой описаны быт и нравы, она гораздо острее, чем роман Масловской: попробуйте сравнить автомат Калашникова с ракетой СС20. Книгу шумно разрекламировали, ее издание сопровождалось скандалом, но успехом она не пользовалась. Это очень любопытно: получается, что постоянно читать литературу такого рода люди не хотят. После выхода книги Щепанскую, преподававшую в частном колледже английский язык, уволили, мотивировав это тем, что человек, публично восхваляющий наркотики, спиртное, свободный секс и т. д., не имеет права быть школьным учителем. Издатель пытался использовать факт увольнения как рекламу — мол, автора преследуют, дискриминируют, — но эффект оказался нулевым. Еще одно доказательство, что не все то золото, что блестит.

А. Л. По-моему, даже если смысл "Польско-русской войны" в том, что, как ни вертись, все равно уткнешься в тупик, даже признавая заслугой автора то, что она коснулась такой болевой точки, как существование "дресяжей" и им подобных обитателей "спальных" районов, трущоб, — Масловская сослужила читателю недобрую службу. Впрочем, повторяю, в успехе книги больше всего повинны критики. В Польше не соблюдается разумный баланс — слишком уж экспонируется направление брутализма. В Англии или во Франции, например, много литературы, напичканной вульгаризмами, говорящей о низких инстинктах, воспевающей жестокость, но и не меньше гораздо более тонких и глубоких книг на иные темы. В Польше же есть тенденция отдавать предпочтение и пропагандировать литературу маргинальную. Критики доказывают, что такие темы и такой стиль — авангард, а если кто-то пишет нормально и о более деликатной материи, он — консерватор, не поспевающий за временем.

П. Х. То же самое в изобразительном искусстве. Поскольку я сотрудничаю с художественной галереей, приведу пример из этой области. Один молодой художник занимается видеоинсталляциями: в частности, снимает, как он сам писает. В галерее есть экран, на котором все это можно увидеть, а рядом — писсуар. Пожалуйста, хочется тебе — показывай, но когда этот художник называет себя авангардистом, я говорю, что Марсель Дюшан демонстрировал писсуар семьдесят лет назад, и "произведения" молодого человека — никакой не авангард, а академическое искусство, повторяющее то, что уже давно известно. Разгорелся страшный спор, но каждый остался при своем мнении.

"ИЛ". А если бы вы были издателем журнала "Иностранная литература" в России, вы бы опубликовали Масловскую?

П. Х. Конечно, я считаю, такую литературу нужно показывать.

"ИЛ". И вовсе не для развлечения и не в угоду вкусам определенной категории читателей. Масловская описывает, как человек сам себя заго-

няет в тупик, очень интересно, главным образом благодаря — по нашему мнению, адекватному — языку: из языковой трухи вырастают яркие характеры, типичные для сегодняшнего дня. Пускай даже это в какой-то мере обман читателя, но обман с благой целью: несоответствий с польской действительностью наш соотечественник, в отличие от носителя языка, не обнаружит, зато общее представление о характерном, что ни говори, явлении получит, а кое-кто даже узнает в чем-то себя и свою среду. Другое дело, что не все с этой точкой зрения согласны.

П. Х. Я, например, не согласен, но, будучи редактором журнала, непременно такую книгу напечатал бы. Проблема — действительно животрепещущая. Перескажу вам одну сцену в университетской столовке, сейчас я в университете уже не работаю, но хожу в столовую — там очень хорошие и дешевые завтраки, и под рукой библиотека. Сижу я, завтракаю, читаю газету, а рядом два студента говорят так громко и на таком ужасном языке — просто чудовищном, блатном, — что во мне вскипела ярость. Я не выдержал, бросил на стол газету и говорю: "Немедленно прекратите! Мы в университете, хоть здесь пощадите родной язык. В пивной я бы вам замечания не сделал, несите что хотите, а здесь вы не имеете права". Один из этих двоих на меня уставился, и секунду я видел, что он колеблется — ударить или не ударить. Вокруг много свидетелей, все замолчали... Он ничего не сказал, встал и ушел.

"ИЛ". А как на ваш взгляд: у Масловской много ненормативной лексики?

П. Х. Лексика вся нормативная, просто искаженная. Есть, конечно, вульгарные слова, но... среднестатистический поляк читает книгу без словаря.

"ИЛ". В русском переводе большинство таких выражений заменены эвфемизмами, почерпнутыми из современного молодежного, приблатненного языка, уже отраженного в словарях, — перевод ничуть не пострадал, отчасти это даже пошло ему на пользу. А вот по-французски, как нам показалось, текст получился пресноватым, оригинал гораздо ярче. И в названии — "Polococtail party" — утрачен важный для книги акцент. Вульгаризмов немного — французы кроме merde мало что себе позволяют. Оттого пострадала специфика языка Масловской.

В русском языке, конечно же, есть такие выражения (мы их называем "заборными"), и употребляются они не только молодежью и не только в обиходе, но все чаще проникают на страницы художественных произведений. Это бросается в глаза, поскольку вообще-то русский язык очень пуристский. В свое время слова, которые есть в книгах Лоуренса или Джойса, в русские переводы не попадали, традиция эвфемизмов в переводной литературе была у нас очень сильна. А как в этом отношении польский язык — более свободен?

А. Л. Нет, пожалуй. То, что по-французски или по-английски не режет ухо, по-польски — ближе к ненормативной лексике. Любой дословный перевод, например, многочисленных fuck'ов, вылезает из общепринятой нормы. У нас нет эротического языка, в переводе соответствующие выражения звучат вульгарно — промежуточной, нейтральной терминологии не существует. И получается, что польский язык (наверно, это можно отнести ко всем славянским языкам) при всем своем богатстве — не изобретателен, убог. Позвольте рассказать некий анекдот из реальной жизни. Один наш приятель, краковский по-

эт, принимал у себя гданьского прозаика, который был круглые сутки пьян — и перед своим выступлением на публике, и во время него, и после. Особой оригинальностью его поведение не отличалось, но под конец он так разошелся, что даже немногим уступающий ему краковский поэт сильно струхнул. Излагая нам эту историю, он вспомнил случай из своего прошлого. "Когда-то я был актером, и однажды режиссер дал нам задание: с помощью одного-единственного слова, самого важного для каждого из нас, рассказать всю свою жизнь. Я несколько раз, с разными интонациями прохрипел: pierdolę[1]". Но из чьих-то уст, — тут же добавил он, — там прозвучало другое слово: Бронек, уменьшительное от имени нашего друга. Вот вам пример убогости языка.

Кажется, в российской литературе есть своя Масловская — Ирина Денежкина.

"ИЛ". Да, и такая Денежкина у нас не одна. Ее и ей подобных объединяет скорее не язык, а тема, выбор героев. Но вернемся к польской литературе. Какие из книг последнего времени вы оцениваете особенно высоко?

А. Л. По-моему, у нас сейчас наиболее интересна поэзия. Есть, например, прекрасный поэт Януш Шубер, всячески заслуживающий того, чтобы его перевели на русский язык. Живет он в Саноке, неподалеку от украинской границы, и очень хорошо понимает и чувствует так называемую психологию "кресов"[2]. Что же касается прозы — вот прозаик номер один (*указывает на Хюлле*). Ну и уже упомянутые Ковалевский и Ментцель. А такое имя, как Станислав Баранчак, вам известно? Он очень популярен, его считают едва ли не гением, и при этом постоянно спорят: кто он в большей степени — поэт или переводчик? Он давно уже живет в США, много переводит, но стихи продолжает писать по-польски.

"ИЛ". Стихи Баранчака переводились и публиковались в разных подборках и антологиях, а мы в журнале не так давно напечатали его эссе об искусстве перевода[3].

П. Х. А я назову еще одного превосходного прозаика — Вильгельма Дихтера; он — математик и физик (я консультировался с ним, когда писал "Касторпа" и не знал, как справиться с математической терминологией). Дихтер уже не молод, но выпустил всего две книги — "Конь Господа Бога" и "Школа безбожников", которые неплохо бы перевести на русский, тем более что действие там частично происходит в России. Тема его книг — детство и юность при коммунистическом режиме; он издавался в Чехии, во Франции, в Германии. Есть сейчас интересно заявившие о себе молодые писатели; к ним тоже стоит присмотреться. Не сомневаюсь, что вам и впредь будут попадаться книги, достойные публикации на страницах вашего журнала.

Запись беседы К. Старосельской

1. Я на все это клал (*польск., вульг.*).
2. Польские восточные окраины, в свое время принадлежавшие России или Украине.
3. "ИЛ", 2004, № 8.

А. Ливергант

Дым отечества

защекотал ноздри, стоило шведскому самолету-кукурузнику опуститься на летное поле Готланда, отчего остров мне сразу и полюбился. Мало того, что в получасовом полете из Стокгольма ухитрились потерять мой багаж, он же портплед (от радужной перспективы ходить месяц в одной рубашке даже дух захватило), но и на недоуменные вопросы на ломаном, от усталости, английском отвечать — за поздним временем? — наотрез отказались. Наутро, правда, одумались и портплед в Центр писателей и переводчиков города Висбю, где мне предстояло без малого месяц мотать творческий срок, доставили.

А дым отечества между тем продолжал щекотать ноздри. Невесть откуда взявшийся таксист не прихватил с собой дежурную западную улыбку — и не из-за дождя и позднего времени, а оттого, что родом он был, как выяснилось в короткой, километра в четыре, беседе, из нашей с вами Эстонии и на Запад попал уже в том возрасте, когда клиентам без особого повода не улыбаются. Homo soveticus, он поспешил сообщить, что здесь мне понравится: чистый воздух, чистое море, да и на улицах "не мусорят" — так и сказал, с твердым, в растяжку, таким знакомым эстонским выговором, когда ударением не обделен ни один слог. И опять, уже во второй раз, "услышалось родное в грустных песнях ямщика" — дурная слава захламленных Парижа и Венеции ("Ступить некуда!") на Готланд, слава богу, не распространялась. Назад в Эстонию моего водителя и соотечественника, по-моему, особенно не тянуло — да и кто ж променяет чистое шведское море и чистые, мылом мытые шведские улицы, не говоря уж о чистой совести репатрианта, на родные осины?! Лучше быть таксистом в Висбю, чем в Таллинне, пусть он хоть с тремя "н" пишется...

А переводчиком? Где лучше всего быть переводчиком? Там, где по еврику за строчку выкладывают? Увы, нет таких молочных рек с кисельными берегами, где бы за строчку "Путешествий по Франции и Италии" забытого английского романиста, даром что просветителя, Тобайаса Смоллетта, писаных двести пятьдесят лет назад, не то что еврик — рубль платили.

Тут самое время сказать про славный Центр писателей и переводчиков, которым меня с моим Смоллеттом удостоили. Переводческие центры открывают, как правило, в самых диких, глухих местах, подальше от цивилизации, чтобы литератора ничто от работы не отвлекало. С другой стороны, что ж ты, спрашивается, за литератор такой, если отвлечься от работы не можешь? Странно, что их еще не построили в Лапландии и/или в джунглях Амазонки — вот где бы пустились вскачь почтовые лошади просвещения, вот где бы родились конгениальные русские версии "Божественной комедии" и "Лира", "Дон Кихота" и "Фауста". Здесь же, на Готланде, в средневековом — про такие именно и говорят "как на картинке" — городке у моря, да еще в августе, когда температура воды в лучшие дни достигает 17 градусов, искушений было, надо полагать, более чем достаточно.

По виду кельи, куда меня уже за полночь впустил предусмотрительно оставленный мне ключ, рассчитывать на это, впрочем, не приходилось. Обстановка комнаты с легкостью описывалась назывными предложениями и к разгулу не располагала. Стол. Стул. Кровать. Настольная лампа. Шкаф. Компьютер в эту ас-

© А. Ливергант, 2005

кетическую обстановку явно не вписывался — впрочем, без него с легкостью можно было обойтись: пером — оно вольготнее, вдохновеннее. А вот от телевизора с шестьюдесятью четырьмя программами я бы не отказался — не все же двадцать четыре часа бумагу марать. "Дома, где-нибудь в Малеевке или в Переделкине, приняли бы радушнее; в благословенные советские времена нашим почтовым лошадям жилось не в пример лучше, чем ихним", — уже не в первый раз подумал я, даже не подозревая, какая ностальгическая нота вот-вот зазвучит и будет исправно звучать, причем в самом буквальном смысле слова, целый месяц. Изо дня в день, а вернее, из ночи в ночь.

Так вот, стоило мне в предвкушении неустанного творческого процесса, длиной в 28 дней, смежить веки, как за окном, где на фоне слившегося с небом черного (а не Балтийского, как днем) моря вырисовывались величественные контуры кафедрального собора, главной местной достопримечательности, послышалось протяжное и не слишком стройное пение. В первый момент я решил, что это поет за стеной мой сосед, товарищ по счастью, так сказать. Но в два часа ночи?! И на несколько голосов — не селят же здесь по двое, по трое? Нестройные голоса тем временем с каждой секундой крепли; один голос, особенно гнусный — тоненький, подвывающий, — солировал, остальные вразброд подхватывали. Я прислушался к языку. С учетом манеры и времени исполнения должен был, по идее, быть великий и могучий. Но нет, пели на своем, гортанно-неразборчивом. Часы на кафедральном соборе пробили между тем три раза. Гоголевская нечисть, помнится, в это время бросалась из церкви наутек, как ошпаренная, однако (как выражаются переводчики с английского) "в моем случае" пение не только не смолкло, к нему присоединился еще более ностальгический звон стакана о стакан. Гармонию теперь нарушало разве что иноземное наречие. Я подкрался к окну и — врать не буду — с опаской выглянул наружу... Под окном сидели, распи- и распевая, самые обыкновенные, совершенно русские на вид бородатые бомжи и, размахивая руками, попахивая и смакуя "Абсолют" (вот она, разница в уровне жизни!), получали свое — а заодно и мое — удовольствие.

"Убирайтесь, а то полицию вызову!" — гаркнул я что было силы, но, вероятно, оттого, что произнесены были эти слова лишь в воображении, услышан я не был, и местные бомжи, догуляв до рассвета и, как сказал бы Эвонский Бард, "зарезав мой сон", допили имевшееся, спели все свои "Под городом Висбю" и благополучно ретировались. А вот чувство, что я никуда из Москвы не уезжал, осталось.

И со временем крепло. И это при том, что и у готландцев есть свои недостатки. Многие из них, например, при встрече тебе, чужаку, нет-нет да и улыбнутся, машины на "зебре" нет-нет да остановятся, собаки, официанты и продавцы, сколько их ни дразни, не кусаются, и, если ты, забывшись, засмотрелся на хорошенькую — в арийской эстетике — местную красавицу, удар пустой бутылкой "Хайнекена" по голове тебе, скорее всего, не грозит.

Вообще, выпивающие — наблюдение также не в их пользу — здесь подозрительно миролюбивы, даже если облачены в латы, шлем с забралом и сжимают в руке пику или внушительных размеров меч, который, кажется, для того и создан, чтобы покарать басурмана. Не подумайте только, что, отправившись на Готланд, я, в духе современных "фэнтези", перенесся в Средние века. Это Средние века перенеслись ко мне: первую неделю августа в стольном граде Висбю ежегодно проходит Фестиваль Средневековья. Могучие, двухметрового роста воины с жидкой студенческой бороденкой, юные брунгильды с пестрой лентой в соломенных волосах и в длинных сарафанах, францисканцы и бенедиктинцы в возрасте от четырнадцати до восемнадцати в подвязанных веревками сутанах и с аляповато подрисованными тонзурами степенно вылезают из "вольво" и "саабов" последних модификаций и тащатся, подбирая сутаны, плащи и балахоны, на сборный пункт, откуда... Тащи-

лись, впрочем, не столько они, сколько я — в сегодняшнем, расхожем смысле этого слова. Первые минут пятнадцать я и в самом деле "тащился" — наблюдал за этим красочным спектаклем с неотрывной туристической любознательностью (писал же старик Стерн: "Во Франции это устроено лучше"), после чего перестал, как водится, его замечать.

Да, собаки здесь смирные, зато дома, как на Брянщине, в большинстве своем деревянные, неказистые, кривоватые и нередко обнесены высоким забором. Браво, готландцы! Куры по улицам не бегают и не кудахчут, зато люди (вроде приходивших "под мое окно" бомжей), бывает, на мостовых засыпают, а когда не спят, не по-северному разговорчивы. Один швед, с виду больше смахивающий на крымского портового грузчика, толстый, лысый, с двумя золотыми зубами (неужто и он из постсоветского пространства?), полчаса, узнав, что я из России, не давал мне после трудов праведных погрузиться в освежающие воды Балтики, рассказывая про то, как был в Москве в далеком, но памятном 1968 году. Там-то крымского разлива швед и познакомился со своей женой, на которую он издали указал пальцем, и, когда я сказал, что без очков все равно ее не разгляжу, неплохо, хотя и стандартно, пошутил: "You won't miss anything" — "Вы ничего не потеряли". Тут же, впрочем, одумался и, добродушно хмыкнув, присовокупил: "Но я ее люблю", едва ли подозревая, что вторая фраза получилась куда остроумнее первой. Другой мой случайный знакомый, с виду куда более швед, чем первый, увидев, как я перекидываю ногу через седло велосипеда (зрелище незабываемое!), понял, надо полагать, что я не местный, и принялся с исключительным, уже не русским, а западным занудством объяснять, каким образом то ли подняться на гору, то ли спуститься с горы, то ли проехать на соседний пляж, хотя, сколько помню, никаких вопросов ему не задавалось и никакой инициативы не проявлялось. Только перед самым отъездом понял я свою ошибку: не надо было говорить, что я из Москвы, — признание это вызывает у первого встречного (если только он не в кольчуге или в сутане), а нередко и поперечного (пьяных среди островитян, как уже говорилось, хватает), страстное желание приласкать, приголубить, научить жить, отчего швед сразу же становится похож на русского, который, сами знаете, всегда готов объяснить вам, как надо одевать ребенка, кормить собаку, добираться до Южного Бутова, пройти техосмотр... Разница только в том, что на Западе вам и в самом деле хотят (непонятно, зачем?) помочь, а в России — скорее, себя показать. Нет, не правы те, кто считает, что за границей никому до вас дела нет.

В Центре же писателей и переводчиков дым отечества, можно сказать, ел глаза. Дело в том, что, спустя пятьдесят с лишним лет, я вновь очутился... на коммунальной кухне. Верно, эта была почище и побелей, чем в теткиной коммуналке на Горького образца 1952 года, зато "посадочных мест" в ней было уж никак не меньше. Когда я собирался в шведский "дом творчества", мне и в голову не могло прийти, что придется не только целыми днями в поисках нужного значения слова листать постылые словари, но и *на себя* готовить. Представлялось: потрудился — и спустился, как в пансионе, к трапезе, уже накрытой и благоухающей. А тут сначала иди в магазин (слава богу, такие и у нас теперь есть, а то бы — за смертью посылать, так глаза разбегаются), потом тащи сумки, а потом еще и кухарь. А ведь известно: даже если готовить умеешь, то, что сам сварганил, есть уже "не в кайф".

Иностранцы, надо сказать, поразили и тут: нет, не знаем мы их, положительно не знаем. Думал, они вопросов на улице не задают, а они, оказывается, вон какие любопытные (чтобы не сказать сердобольные). Думал, поэты, прозаики и переводчики близко к плите и холодильнику не подходят, а они, как выяснилось, — кулинары и гурманы от рождения. Польский поэт, больше похожий на кардинала, чем на литератора, высокий, лысый, молчаливый, весь в черном (мы с ним вкусами не сошлись: он "Катюшу" сталинской песней обозвал, когда я ему ее по пьяному делу напел; может, впрочем, в моем исполне-

нии и "Отвори потихоньку калитку" – песня сталинская), уж на что сановный пан, а и тот самозабвенно готовил с восьми вечера до полуночи, а потом приготовленное за пару минут уже без свидетелей хищно уничтожал. А вот греческая поэтесса, тоже высокая, курчавая, с неизменным стаканом виски в одной руке и с сигаретой, не уступающей по аромату "Дымку", в другой, не только ничего себе не готовила, но и чужую стряпню губила, стряхивая пепел одному в суп, другой в рагу. Еще она любила – в лучших традициях московских коммуналок – поставить на сильный огонь пустую сковороду и, прихлебывая "Джек Дэниелз", подняться наверх посмотреть по телевизору водное поло или баскетбол – Олимпийские игры, как-никак. В теткиной коммуналке ее бы потом этой же сковородой на всю жизнь проучили, а здесь политкорректные иноземные грантополучатели только носами поводили да руками разводили: поэт, дескать, что ж вы хотите. Помнится, Виктор из коммуналки на Горького, долговязый тип в синей майке и с татуировкой на правом – в отличие от миледи – плече, часами, сидя на сундуке в коридоре, по коммунальному, да еще спаренному, телефону трепался, чем вызывал – как бы помягче выразиться – некоторое недоумение у остальных жильцов. Мария же (поэтесса, как мне объяснили, именитая, и не только на родине) беседовала с подругой из Эллады куда дольше Виктора, а писатели и переводчики все как один лишь умилялись. А ведь ее тарабарщину даже подслушать нельзя было!

Вот вам привычная готландская мизансцена. Я варю неизменную картошку, режу помидоры и роюсь в огромном холодильнике, где у каждого, как в наших градских, своя полка, в поисках двух припасенных на сегодняшний вечер копченых сосисок и с ужасом чувствую, как безвозвратно пропадает аппетит, могучий и неодолимый еще десять минут назад. Телефон-автомат, который, по нашим понятиям, сам звонить ни за что не станет, разражается тем временем громкими, настойчивыми трелями. Расстаюсь с помидорами, ссохшимися сосисками и картошкой, снимаю трубку и слышу тихое, южное, заунывно-напевное: "I want Maria". Хотя желание это, честно говоря, мне кажется довольно странным, бурчу заученное со школьной скамьи: "Hold on", после чего отправляюсь на поиски желанной Сапфо, разумеется, ее не нахожу, о чем и сообщаю безутешной, уже настроившейся на долгий, невразумительный диалог абонентке. Стоит мне положить трубку и со всех ног броситься к тому, что еще совсем недавно было молодой картошкой, как за спиной слышится гниловатый запах "Дымка" и столь же напевное: "Alexander? Anyone called me?" Я отчитываюсь, после чего Мария вновь исчезает, а звонок – как вы догадались? – ровно через пять минут повторяется.

Застольные беседы тоже заставляют вспомнить коммуналку, детство и отечество. Роль сверхлюбопытных и разговорчивых домохозяек, не покидавших комунальную кухню, не узнав все про всех, и предпочитавших плохие новости хорошим, в Центре писателей и переводчиков исполняли два немца моих лет. Оба, как и всякая советская домохозяйка из коммуналки конца сороковых – начала пятидесятых, любили поговорить о политике и на дух не переносили американцев. Немецкий язык оба, не скрою, знали получше меня, но темы и их трактовка были настолько привычны, что в целом я вполне им соответствовал, хотя за немецким словом нет-нет, а в карман лезть приходилось. Говорили мы изо дня в день об одном и том же: 1) уроки Великой Отечественной; 2) арабо-израильский конфликт; 3) американский империализм. Две темы – Холокост и Россия – мои друзья и коллеги старательно обходили стороной. Хорошо их понимаю: не с русским же евреем их обсуждать. Правда, один из немцев, тот, что полдня, вместо того чтобы переводить какую-то мудреную социологическую монографию, вдумчиво, тяжело вздыхая ("Цены! Цены!"), "Франкфуртер альгемайне" от корки до корки читал, Холокоста все же вскользь коснулся, глубокомысленно, с тяжким вздохом заметив: "Для нас для всех

это большая потеря", и я, признаюсь, не нашелся, что ответить. Хотел было съязвить: "И для нас тоже — шесть миллионов как-никак", но сдержался: политкорректность — штука привязчивая. Да и потом: ляпнешь такое, и больше тебя ни в один порядочный переводческий дом творчества, сколько ни бейся, не пригласят. Все же мои попытки "разыграть русскую карту" ни к чему не приводили: в ответ на мои подстрекательства (Чечня, мафия, коррупция, отсутствие свободы слова, а также сносных зарплат и пенсий) они лишь согласно кивали своими большими, надежными немецкими головами и разводили руками, словно желая сказать: "Что ж тут поделаешь" или "Не отчаивайтесь, и у нас еще совсем недавно так было". Что же касается трех вышеозначенных тем, то тут никаких трений не возникало. Каждое, почитай, утро высокие договаривающиеся стороны приходили за йогуртом и яйцом всмятку к одним и тем же выводам: Гитлер, как ни верти, преступник, немецкий же народ за свое простодушие заплатил немалую цену; в арабо-израильском противостоянии следует искать разумный компромисс (око за око?); малокультурные выскочки-американцы диктуют свои условия европейским народам (понимай — России и Германии) с великой историей — у нас же, европейцев, свой путь, неамериканский. И еще, как водится, поругивали — правда, добродушно, снисходительно — шведов. За то, что люди они, судя по всему, темные, грубые, на одного цивилизованного два, а то и три экстремала и маргинала приходится, да и водка у них дороговата. "У нас, — изрек, быстренько переведя кроны в евро, тот самый немец, для которого шесть миллионов, уничтоженных нацистами, — 'большая потеря', — 'Абсолют' втрое дешевле!" Внес свою лепту, вспомнив местных бомжей под окном, в критику нашего скандинавского соседа и я. И опять мне показалось, что никуда я из России не уезжал.

По соседству с русской коммуналкой расположилась русская же библиотека. То есть не только, конечно, русская: были здесь и шведские, датские, даже польские и литовские (кто б мог подумать?!) энциклопедии, и американские словари, от одного вида которых слюнки текут, и пухлые немецкие справочники с готическим шрифтом и золотым обрезом, что вобрали в себя всю мудрость человечества. Русской же — в полном соответствии с исторической справедливостью — была здесь по преимуществу литература не справочная, а художественная, а если быть уж совсем точным — поэзия. Несколько полок забиты были до отказа неказистыми на вид (изданными за счет автора?) поэтическими сборниками моих одаренных современниц и соотечественниц — почти все авторы почему-то были женщины. Стихи у современных российских поэтесс были разные, а вот дарственные надписи одна от другой мало чем отличались. "Мечтаю вернуться на Готланд! Спасибо!" — гласила одна; "Как же здесь хорошо!" — вздыхала другая; "Висбю — рай на земле!" — с девичьей искренностью, помноженной на недюжинный поэтический темперамент, восклицала третья. "Получается, что километры этих стихов написаны здесь, на Готланде, под нестройный хор местных бомжей", — сообразил я и, прочтя еще с дюжину подобных же благодарственных песнопений, снял с "русской" полки второй том "Анны Карениной", стоявший рядом с Анной, но Снегиной, и поплелся к себе в келью, где вдруг, хотя жил здесь уже недели две, обнаружил на столе неприметную тетрадку в клеточку, которая на поверку оказалась тем, что у нас в магазинах некогда звалось "книгой жалоб и предложений". Посвящения и дарственные надписи, только что прочитанные в таком изобилии, меня, должно быть, вдохновили; я раскрыл тетрадку, где вряд ли имелась хоть одна жалоба, пробежал глазами неразборчивые финско-норвежские благодарственные (надо полагать) каракули и, не думая ни секунды, начертал:

"И дым отечества нам сладок и приятен!"

Издательские планы

Беседу с переводчиками ведет Светлана Силакова

Неизвестные повести "отца психологического романа"

Бенжамен Констан *Проза о любви* / Пер. с франц., сост., предисл., коммент. Веры Мильчиной. М.: "ОГИ".

Переводчик, историк литературы Вера Аркадьевна Мильчина рассказывает об одном из своих любимых авторов.

"Иностранная литература". Бенжамен Констан — писатель, публицист, политик — родился в 1767 году и умер в 1830-м. Какому столетию он принадлежал?

Вера Мильчина. Характер Констана, как мне кажется, не позволяет "приписать" его к определенному поколению или веку. Он был человек, что называется, наособицу.

Скажу лишь, что Констан как политический деятель очень долго не мог состояться; при Наполеоне пытался заняться политикой, но за излишнее свободомыслие был изгнан из Трибуната. Больше десяти лет он был не у дел. Политическая карьера Констана началась только после 1815 года, и в этой своей ипостаси депутата-либерала он, конечно, человек XIX века.

"ИЛ". Для большинства российских читателей Бенжамен Констан — автор одного произведения, — романа "Адольф", который оказал огромное влияние на литературный процесс 20—30-х годов XIX века.

В. М. Да, Пушкин и его круг возлагали на "Адольфа" и на перевод этого романа, предпринятый Вяземским, большие надежды. С их точки зрения, "Адольф" был очень важен по двум причинам: как произведение о современном человеке и как произведение, написанное современным светским языком. В своей статье Ахматова[1] показала, как Пушкин использовал констановские фразы, синтагмы. Но до сих пор никто, кажется, не обратил внимания на то, что Пушкин и его круг видели в "Адольфе" не совсем то, что там написано, и воспринимали его не совсем так, как первые французские читатели. Пушкин смотрел на роман Констана сквозь призму Байрона, между тем роман Констана — не столько о герое века, сколько об определенном человеческом типе. Это человек, который не способен принимать решения, в котором одна половина наблюдает за другой и который, как выразился один французский исследователь, "убивает людей из страха их обидеть". Констана — в отличие от Шатобриана (писавшего до него) или Мюссе (писавшего

1. Анна Ахматова. "Адольф" Бенжамена Констана в творчестве Пушкина // О Пушкине. Статьи и заметки. — М.: Книга, 1989, с. 51—89.

после него) — эти психологические проблемы интересовали гораздо больше, чем проблемы поколения. То же и с языком: Пушкин — и это часто повторяют — ждал, что Вяземский своим переводом "Адольфа" создаст метафизический светский язык, то есть язык, передающий мельчайшие оттенки чувств. Для Пушкина "метафизический" звучало как комплимент. А французские критики упрекали Констана в метафизичности, подразумевая под ней неясность, туманность, странность стиля.

"ИЛ". А были ли известны тогда в России произведения, включенные вами в сборник "Проза о любви"?

В. М. Их не только в России никто не знал и не знает до сих пор, они и во Франции стали известны очень поздно. Автобиографическая "Моя жизнь" впервые была опубликована в 1907 году, "Сесиль" — в 1951-м. В 1952 году вышла "Амелия и Жермена", а также впервые были напечатаны полностью дневники Констана. А до этого Констан считался публицистом и политиком, который как-то написал один-единственный маленький роман "Адольф" и некую не снискавшую успеха трагедию — переделку шиллеровского "Валленштейна".

"ИЛ". Сколь велика разница между тем, что Констан писал в стол, и "Адольфом", изданным как-никак с согласия автора?

В. М. По стилю разница невелика. А с сюжетом получился парадокс. Повесть "Сесиль" — о том, как Констан разрывался между двумя женщинами: неистовой госпожой де Мальбе и кроткой Сесилью, — вполне документальна. Именно так и было: он разрывался между двумя женщинами, только в реальности их звали Жермена де Сталь и Шарлотта фон Гарденберг (Шарлотта в конце концов стала его женой). Но этот "документальный" сюжет достаточно литературен: традиционный любовный треугольник, соперницы, борьба за мужчину. А вот выдуманный "Адольф", где только характер у героя вполне констановский, а ситуация — не вполне его, выглядит гораздо более правдивым, "неприкрашенным": оказывается, двум людям, чтобы испортить друг другу жизнь, не нужно никаких разлучниц и соперниц — сами все погубят.

"ИЛ". Как же следует интерпретировать произведения, вошедшие в "Прозу о любви"?

В. М. Надо различать цель Констана и результат, которого он достиг. Все тексты, которые я включила в книгу, — более или менее автобиографические. Констан всю жизнь — и в дневниках, и в прозе, и в письмах — пытался прежде всего разобраться в собственном, весьма противоречивом, характере. И та "раздвоенность человеческой психики", которую он, по словам Ахматовой, первым показал в "Адольфе", была раздвоенностью его собственной психики. Пушкин сказал про другого человека (Байрона): "В конце концов он постиг, создал и описал единый характер (именно свой)". К Констану это применимо в высшей степени, только он, в отличие от Байрона, не раздавал своих качеств вымышленным персонажам (за исключением Адольфа), а писал прямо о себе и для себя. Однако вне зависимости от целей, которые Констан перед собою ставил, психологическая проза у него получилась замечательная.

"ИЛ". Вы уже публиковали на страницах нашего журнала "Амелию и Жермену"[1] — вещь, которая также включена в сборник. Как выглядит это произведение в общем контексте книги?

1. «ИЛ», 2002, № 4.

В. М. "Амелия и Жермена" – это дневниковые записи, но – в отличие от других дневниковых записей Констана – объединенные одной темой ("Мне нужно жениться. Но на ком?") и обработанные как прозаическое произведение (текст разделен на параграфы). В контексте сборника это самая ранняя из известных нам попыток Констана разобраться в своем характере и в своих отношениях с женщинами. Сравнивая "Амелию и Жермену" с более поздними текстами, видишь, как те же констановские способы анализа собственной психологии оттачиваются, изощряются, но суть в общем остается прежней.

"ИЛ". Какова структура сборника?

В. М. Структура получилась довольно сложная. С такими прозаическими вещами, как "Сесиль" или "Моя жизнь", все более или менее просто. Они нуждаются только в преамбуле и комментариях.

Сложнее обстоит с "Адольфом" – эту вещь я включила в сборник в переводе Вяземского, требующем отдельных разъяснений. И еще сложнее – история влюбленности Констана в Жюльетту Рекамье. От этого страстного и несчастного романа остался один небольшой "художественный" текст – "Воспоминания Жюльетты", которые Констан по ее собственной просьбе написал от ее имени. Обычная констановская проза, отточенный, почти афористический анализ оттенков чувства... Но от влюбленности в Рекамье остались тексты еще двух видов: безумные, страстные письма и дневник, где он смотрит на себя со стороны, фиксирует свои мучения, а потом вдруг восклицает: "До каких же пор такой человек, как я, будет тратить свою жизнь на подобную ерунду!" После чего продолжает страдать и убиваться с прежней силой. И вот я перевела и включила в книгу эти письма вперемешку с этими дневниковыми записями. А в дневниках любовь переплетается с политикой...

"ИЛ". Вернемся к "Адольфу" – почему в данном случае вы отдали предпочтение именно переводу Вяземского?

В. М. Я выбрала перевод Вяземского, во-первых, потому, что сам этот текст – важное событие русской литературной жизни пушкинского времени. Во-вторых, в силу своей шероховатости и негладкости он позволяет ощутить ту странность, какую видели в тексте "Адольфа" французы-современники. Перевод А. Кулишер, сделанный в 1959 году, вовсе не плох. Но она сочла необходимым сгладить многие острые углы, а Вяземский, наоборот, их не скрывал. У Кулишер читаем: "Я думал, что смогу в роли холодного, беспристрастного наблюдателя изучить ее характер и ее ум". А у Вяземского: "Я предполагал обойти наблюдателем холодным и беспристрастным весь очерк характера и ума ее". Эта фраза – как раз из тех, которые смущали французов. У Кулишер они никого смутить не могут, а у Вяземского – смущают, будоражат, так сказать, читательский взор и слух.

"ИЛ". С какими сложностями столкнулись в данном случае вы сами как переводчик? Было ли у вас ощущение, будто приходится переводить на "язык, которым не говорят в свете" (по выражению Баратынского, процитированному Ахматовой в вышеупомянутой статье о Констане)[1]?

1. "Чувствую, как трудно переводить *светского* Адольфа на язык, которым не говорят в свете, но надобно вспомнить, что им будут когда-нибудь говорить и что выражения, которые нам теперь кажутся изысканными, рано или поздно будут обыкновенными. Мне кажется, что не должно пугаться неупотребительности выражений. Со временем они будут приняты и войдут в ежедневный язык. Вспомним, что те из нас, которые говорят по-русски, говорят языком Пушкина, Жуковского и вашим, языком поэтов, из чего следует, что не публика нас учит, а нам учить публику".

В. М. Мне хотелось, чтобы тексты Констана звучали не вполне гладко. Конечно, такого, как Вяземский, я себе позволить не могу, да и вообще, как комментатору мне с переводом Вяземского было безумно интересно работать, но как переводчику мне находиться с ним под одной обложкой, конечно, страшно. Я старалась "играть" на порядке слов и на некоторых оборотах, которые в пушкинское время были вполне в ходу, а сейчас кажутся немного странными.

"ИЛ". Каково ваше напутствие тем, кто впервые открывает для себя писателя Бенжамина Констана?

В. М. Человеческая психология, в общем, за двести лет изменилась не так уж сильно. Констан кое-что про нее знал, поэтому, мне кажется, его можно читать, пренебрегая исторической дистанцией. Это для тех, кто погружаться в глубь истории не любит. А тем, кто любит, напутствия не нужны, я думаю.

Навстречу "Международному Букеру"

Алексей Михеев, составитель серии зарубежной прозы "Премия Букера: Избранное" в издательстве РОСМЭН, рассказывает об этом проекте и комментирует последние букеровские новости.

"ИЛ". Каков статус Букеровской премии в современном мире?

Алексей Михеев. Она по-прежнему считается самой престижной премией для прозаика, пишущего по-английски. Есть, конечно, и другие (например, Whitbread, Orange Prize или IMPAC), но так уж сложилось, что Букеровская ценится выше (хотя IMPAC денег дает больше). Напомню, что в этом году премии исполняется 36 лет. С 2002 года генеральным спонсором Букера стала фирма "Man", и официальное название премии теперь – "The Man Booker Prize". Премия присуждается за лучший роман года, опубликованный на английском языке. Каждый год в августе новое жюри из 5 человек обнародует лонг-лист из 20-25 названий. Затем в сентябре из этого списка выбирают шестерку шорт-листа и в октябре объявляют победителя. Первоначально же номинируется около сотни книг (в 2004 году их было 132).

"ИЛ". При этом существует немаловажное – и, на взгляд некоторых, дискриминационное – ограничение по странам...

А. М. Согласно правилам лауреатами Букера могут стать писатели из стран Британского Содружества, Ирландии и Южной Африки. Таким образом, из букеровского поля с самого начала была выведена американская литература. Понятно, что свою роль здесь сыграли культурно-политические соображения. Объективно говоря, было бы интереснее иметь премию для всей англоязычной литературы, но что есть, то есть – американец Букера не получит.

"ИЛ". Однако положение меняется – в нынешнем, 2005 году, учреждена Международная Букеровская премия.

А. М. Да, это поистине сенсационная новость. Премия будет присуждаться раз в два года. Лауреатом может стать автор, пишущий на любом языке, при условии, что его книги переводились на английский. Очень важно также, что премия дается не за последний роман, а за все

творчество писателя. В таком формате "Международный Букер" потенциально способен стать альтернативой Нобелевской премии – тем более, что решения Нобелевского комитета в последние годы бывают спорными. Вполне перспективным может оказаться и книжный проект, в котором издавались бы лауреаты и номинанты новой премии.

"ИЛ". Можно ли вычленить те или иные постоянные критерии, которыми руководствуются букеровские жюри?

А. М. В 2003 году Букеровский комитет объявил о легкой смене приоритетов. Традиционно основным критерием считалась абстрактная "литературная значимость", на практике понимавшаяся скорее академически. То есть в шорт-листы и даже на высшую ступень пьедестала почета часто попадали романы, привлекавшие критиков, но не представлявшие интереса для широкой аудитории. Руководство премии решило, что это неправильно, и стало обращать больше внимания на "читабельность" книги.

Другой тренд – открытие неизвестных имен. В последние годы признанные авторитеты все чаще остаются за бортом шорт-листа, а побеждают новички – как, например, лауреат 2003 года Ди Би Си Пьер, уроженец Австралии, выросший в Мексике. 2003 год был, наверное, триумфом политкорректности: в финальной шестерке оказались четыре женщины, три дебютанта и только одна жительница Лондона (да и та приехала из Бангладеш). Кстати, географическая пестрота – тоже важная тенденция современного Букера.

"ИЛ". Насколько предсказуемо решение жюри?

А. М. Каждый год букмекеры называют своего фаворита. Два последних года они ошибались. В 2003-м премию заранее отдавали Монике Али, а в 2004-м – Дэвиду Митчеллу. И оба раза букеровский вердикт был сюрпризом – как в случае с Ди Би Си Пьером, так и с последним лауреатом, Аланом Холлингхерстом. Возможно, Букер стремится стать этаким законодателем моды: не выдавать предсказуемые решения, а определять новые тенденции...

"ИЛ". Вы являетесь, так сказать, послом английского "Букера" в нашей стране – составляете для издательства РОСМЭН серию "Премия Букера: Избранное", которая существует уже несколько лет. Не могли бы вы подвести некоторые предварительные итоги сделанного?

А. М. Серия "Премия Букера: избранное" была придумана в издательстве РОСМЭН в середине 2002 года. В конце года меня пригласили воплощать эту идею в жизнь. Первоначально планировалось издавать как свежие романы, так и книги прошлых лет в пропорции примерно 50/50. Я скорректировал концепцию и предложил изменить пропорцию на 80/20, а еще лучше 90/10 – в пользу самых последних новинок.

"ИЛ". Вас не пугало, что за рамками серии останутся многие произведения, принадлежащие к разряду "современной классики"?

А. М. На тот момент качественная зарубежная проза 70–80-х годов и без того пользовалась популярностью у наших издателей. Мне показалось, что наша серия должна быть более актуальной, что нужно предлагать читателю переводы "с пылу, с жару".

Очень кстати Букеровский комитет начал публиковать длинный список номинантов (предыдущие 30 лет объявлялись только шорт-листы из шести романов). Это существенно расширило выбор книг для серии: ведь многие романы из лонг-листов не допускаются на следующий

этап лишь по каким-то субъективно-конъюнктурным соображениям. Мы стараемся оценивать все книги из лонг-листа, исходя из того, насколько интересны они будут нашему, российскому читателю.

Первые книги серии появились на прилавках магазинов в мае 2003-го: переиздание "Амстердама" Иэна Макьюэна (лауреат 1998 года, перевод В. Голышева) и "Чай из трилистника" Киарана Карсона (лонг-лист 2001 года, перевод П. Степанцова). После чего в течение двух лет каждый месяц РОСМЭН регулярно выпускал новый букеровский роман.

Серия пережила свои взлеты и провалы. Самыми успешными оказались первые полгода: много положительных откликов в прессе и очень хорошие показатели продаж. Хотя на рынке к этому времени уже наблюдалось изобилие новейшей переводной литературы, пятитысячные тиражи букеровской серии "улетали" за 4-5 месяцев. Бестселлером неожиданно стало переиздание романа-лауреата 1984 года "Отель 'У озера'" Аниты Брукнер[1] (перевод В. Скороденко), хорошо расходилась и "Полужизнь" В. С. Найпола (перевод В. Бабкова), вышедшая одновременно с публикацией в "ИЛ". Можно было сделать вывод, что брэнд "Букера" читающей аудиторией оказался воспринят.

Эйфория, впрочем, вскоре прошла: с начала 2004 года темпы продаж значительно снизились. Пропал, наверное, эффект новизны, да и в серии, честно говоря, стали попадаться вещи, включенные в план больше для того, чтобы выдержать регулярный график. Для оживления читательского интереса мы подготовили к осенней ярмарке 2004 года два мощных хита: "Вернон Господи Литтл" уже упоминавшегося Ди Би Си Пьера (перевод В. Михайлина) и "Загадочное ночное убийство собаки" Марка Хэддона (перевод А. Куклей). Последний роман в 2003-м не дошел даже до шорт-листа, однако в 2004-м стал на англоязычном рынке одной из самых успешных и востребованных книг.

И все же на прежние рубежи серия уже не вернулась. Оказалось, что на нынешних книжных прилавках даже мировые бестселлеры теряются среди десятков себе подобных. Стало ясно, что к букеровским новинкам во всей России проявляют интерес три—четыре тысячи постоянных поклонников и на серьезное увеличение их числа рассчитывать не приходится.

"ИЛ". Вероятно, вам пришлось изменить критерии отбора?

А. М. Да, в настоящее время они стали значительно строже. Удлинились и интервалы между выходом новых книг. Но роман-лауреат мы публикуем непременно. Вот и этой осенью будет издана "Линия красоты" Алана Холлингхерста (перевод Н. Холмогоровой) — роман об Англии 80-х, неожиданно получивший Букера в 2004-м. Книга интересна не только подробным описанием уже ушедшей в прошлое тэтчеровской эпохи, но и определенной скандальностью, связанной с откровенным неравнодушием автора к гомоэротике. Казалось бы, тема эта маргинальна и может вызвать интерес только у немногочисленной аудитории. Но тем любопытнее посмотреть, каким образом автору удалось написать так, что книга востребована всеми, что ее читают и как социальный роман, и как роман о любви.

1. Этот роман, как и упомянутый выше в интервью «Амстердам» Макьюэна, впервые был опубликован на русском языке в рамках конкурса 1998 года по переводу художественной литературы, проведенного "Институтом 'Открытое общество'".

Две книги из шорт-листа 2003 года уже вышли в РОСМЭНе летом: "Брик-лейн" Моники Али (перевод Е. Скрылевой) и "Добрый доктор" Дэмона Гэлгута (перевод С. Силаковой). Герои "Доброго доктора" – врачи, работающие в южноафриканской глуши. Жанр можно определить как этико-психологический или, я бы даже сказал, "метафизический" триллер. А на "Брик-лейн" я бы обратил особое внимание читателей – ведь эта сага о лондонской жизни семьи бангладешских иммигрантов не только была фаворитом букеровской гонки, но и получила затем премию "Дебют года". Забавно, что Лондон у героини свой, ограниченный пределами ее района, – она настолько погрязла в заботах о семье, что уже много лет не выбиралась даже в центр. Этот роман, смешной и трогательный, продолжает и развивает очень популярную для актуальной английской литературы тему "мультикультурализма", сосуществования в едином культурном пространстве этнических меньшинств и их бывших колонизаторов. Прошли те времена, когда к экзотике "третьего мира" мы относились с некоторым предубеждением. Сейчас и В. С. Найпол, и канадский выходец из Индии Рохинтон Мистри (чьи "Дела семейные" вышли в серии в переводе М. Салганик) – авторы первого ряда.

А в августе стартует новый букеровский премиальный цикл, и мы снова будем гадать над лонг-листом, заранее пытаясь определить фаворитов.

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Вайнштейн О. *Денди: мода, литература, стиль жизни*[1]. — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — 640 с. — (Культура повседневности). 3000 экз. (п)

Казалось бы, слово "денди" имеет точную дату появления — начало XIX века, и довольно узкую сферу применения — одежда, мода. Между тем книга Ольги Вайнштейн блистательно опровергает такую узость подхода. Для Вайнштейн денди оказывается тем ключом, которым можно открыть дверь в самые разные эпохи, стержнем, на который можно нанизать жизнь самых разных сословий и социальных групп. В книгу о денди органично входит обсуждение таких тем, как "механизмы подражания", "талант манипулятора", апология индивидуальной свободы и жизнетворчество, вульгарность как избыточность и перерасход энергии, гигиена и мораль, и многое другое. Кроме того, оказывается, что предметом анализа и толкования для историка культуры (и дендизма) могут служить самые экзотические мелочи, от "культурного смысла складок на одежде" до "прогулок с черепашками". То есть благодаря Ольге Вайнштейн читатели получили историю всей мировой культуры под знаком дендизма и сквозь его призму. История эта начинается с афинянина Алквиада (своего рода протоденди) и кончается современными метросексуалами.

1. В "ИЛ" трижды публиковались фрагменты из этой книги — в № 3, 2000; № 6, 2002; № 6, 2004.

Венгерское искусство и литература XX века: Сборник статей российских и венгерских ученых / Отв. ред. и сост. И. Светлов, В. Середа. — СПб.: Алетейя, 2005. — 592 с. — (Искусство и литература Центральной Европы). 1000 экз. (п)

Впервые за долгие годы в России выходит толстый том, целиком посвященный венгерской культуре — от литературы и до прикладного искусства, включая таинственную "таписерию". Настоящий клад для журналиста: получит какой-нибудь венгр ту или иную премию, или, скажем, соберется приехать в Россию, и уже не надо будет часами рыться в Интернете; достаточно заглянуть в эту книгу, и венгерская культура перестанет быть для вас темным лесом. Параллельно выясняются занимательные подробности: своего недавнего нобелевского лауреата Имре Кертеса венгры своим, венгерским, писателем не считают, и когда он получил премию, одна из крупнейших будапештских газет вышла с передовицей: "Когда же Нобелевскую премию по литературе получит настоящий венгерский писатель?" А кого венгры признают за своих и кем по-настоящему гордятся, прочтете в книге.

Двести лет новой сербской государственности: К юбилею начала Первого сербского восстания 1804–1813 гг. / Отв. ред. В. Волков. — СПб.: Алетейя, 2005. — 406 с. — (Bibliotheca Serbica). 1000 экз. (о)

Еще один замечательный сборник, только не о культуре, а о истории наших восточноевропей-

ских соседей — на этот раз братьев наших сербов. Впрочем, про сербов, даром что они родственники, мы знаем не больше, чем про неродственных венгров. Российские и сербские ученые пишут про двести лет истории возрожденной Сербии. Как эта независимость была получена и какова была роль России, как развивались русско-сербские отношения на протяжении всего XIX века и как — накануне Первой мировой войны. Что такое история Первой Югославии (1918—1941) и послевоенной Югославии Тито, как проявила себя Сербия во Второй мировой войне и как — в огне войн 1991—1999 годов. Самый лучший (на мой вкус) материал — статья А. Ю. Тимофеева о генерале Милане Недиче, сербском Петене. Это едва ли не первая в отечественной историографии статья о сербских коллаборационистах времен Второй мировой.

Дэпин М. *Секс и деньги: Как я жил, дышал, читал, писал, любил, ненавидел, мечтал и пил в мужском журнале:* Роман / Пер. с англ. П. Тихонова. — СПб.: Ред Фиш, Амфора, 2005. — 431 с. — 5000 экз. (п)

Игривое название серии и девушка в неглиже на обложке — наверное, перед нами очередная полупорнографическая чушь? А вот и нет, это действительно смешная и очень информативная книга, одновременно очерк по истории мужских журналов, исповедь редактора, который долгие годы работал в этой индустрии, и сборник рецептов о том, как делать такой журнал. Впрочем, конкретной формулы успеха нет. Нужно не стоять на месте, все время придумывать что-то новое, нужно, чтобы журнал нравился тебе самому, ведь ты не хуже и не лучше других, если нравится тебе, значит, понравится и читателям. А формулу вывести все равно не удастся.

Скотт В. *История Шотландии. Дедушкины рассказы* / Пер. с англ. Т. Бердиковой, М. Тюнькиной. — М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2005. — 479 с. 5000 экз. (п)

История Шотландии, которую сэр Вальтер Скотт написал специально для своего маленького внука Джонни. Коварный Макбет по наущению своей злодейки-жены убивает Дункана, а Бирнамский лес идет на штурм замка Дунсинан; то англичане, то скандинавы пытаются покорить гордую Северную Шотландию, короли гибнут в результате заговоров и предательств, а разнообразные герои спасают отечество от новых напастей — и так до бесконечности или, вернее, до 1513 года. Считается, и не без оснований, что главный вклад сэра Вальтера Скотта в практику исторического романа заключается в том, что он стал показывать историю глазами простого, неискушенного человека — не короля, не принца, а также ввел его в число героев. Пожалуй, можно сказать, что в "Истории Шотландии" роль простого рассказчика взял на себя сам добрый дедушка Скотт. Еще при жизни Вальтера Скотта эта книга стала настоящим бестселлером, первые читатели ставили ее даже выше большинства романов, за исключением разве что "Айвенго".

Книги Фридриха Великого, или Описание коллекции сочинений и изданий прусского короля, напечатанных при его жизни, сделанное по экземплярам, прежде принадлежащим самому королю и его наследникам, а ныне находящимся в Российской государственной библиотеке / Сост. П. Дружинина. — М.: Книгоиздательство "Трутень", 2004. — 294 с. 300 экз. (п.)

Прусский король Фридрих II был и воин, и меценат, и просвещенный любитель изящных искусств, и склочный тиран, и

покровитель Вольтера, и его же гонитель, и сочинитель, и корреспондент многих знаменитостей своего времени. Поэтому в рассказ о его книгах входит вся политическая, литературная и научная история XVIII века. Книга о книгах Фридриха — в сущности, каталог. Библиографические описания звучат волшебно: "В прекрасном цельнокожаном красном сафьяновом переплете с золототисненым кружевом, вензелями французского короля Людовика XV на крышках и экслибрисом 'P [Potsdam Schloss]'". Но не в одних описаниях дело. Составитель продолжает почтенную и симпатичную традицию библиографов XIX в., которые, рассказывая историю возникновения и бытования старинной книги, создавали, в сущности, увлекательные новеллы. Петр Дружинин, конечно, не Шарль Нодье, но Нодье, хочется думать, Петра Дружинина бы одобрил.

Моргенстерн С. *Письма о любви от о до ю* / Пер. с фр. К. Мильчина. — М.: ОГИ, 2005.

...И вот стою я, Константин Мильчин, перед книжной витриной в задумчивости. Как быть с последней книжкой? Перевел ее я сам, собственной персоной. Похвалить? Как-то нескромно. Поругать? Будет как-то неестественно. Тем более что книга-то (в оригинале) — отличная. Придется похвалить. Про перевод, естественно ничего сказать не могу, но сама книжка, по-моему, действительно заслуживает внимания. Трогательная история про мальчика Эрнеста, у которого мать умерла родами, а отец исчез, когда мальчику было три дня, и остался он у старой-престарой бабушки. В ее доме нет ни одной современной вещи. Он ни с кем не общается ни в школе, ни на улице, он просто живет, не ведая ни горя, ни радости. Все меняется, когда в школе появляется новенькая, девочка Виктория, шумная и веселая. У нее тринадцать братьев, и когда семья отправляется за покупками, они опустошают магазины. Братьев зовут по именам колен Израилевых плюс младенец Иеремия. Тут жизнь Эрнеста меняется кардинально. Добрая и умная книга, занимающая ту "нишу", в которой у нас как-то не наблюдается переполнения, — "нишу" книг для подростков, которые и взрослым прочесть не грех.

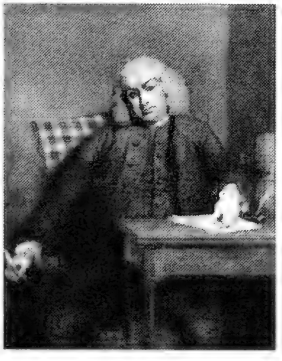
Великобритания

Невероятный словарь Доктора Джонсона

В Великобритании большой резонанс в прессе вызвало исследование англичанина Генри Хитчингса "Невероятная история книги, которая дала нам новое представление о мире" (издательство "Джон Мюррей"), выход которого был приурочен к 250-летию со дня публикации знаменитого "Словаря английского языка" (1755) Сэмюэла Джонсона.

Сэмюэл Джонсон (1709—1784) был образованнейшим человеком своего времени и одной из самых ярких литературных фигур XVIII века. Он испробовал свои силы чуть ли не во всех жанрах. Был и прозаиком, и стихотворцем, и драматургом, и биографом, и критиком, и публицистом — и почти во всех областях добивался успеха.

У современников же Джонсон был известен прежде всего как "великий лексикограф". Сам он с гордостью говорил, что за девять лет выполнил задачу, над которой многие десятилетия трудилась вся Французская академия.



Сэмюэл Джонсон

"Словарь английского языка" Джонсона содержит более 40 тысяч слов, значение которых проиллюстрировано многочисленными литературными примерами, взятыми из произведений разных периодов — от писателей-елизаветинцев до современников составителя. Отыскивая цитаты, Джонсон, как правило, пользовался собственной библиотекой, но иногда обращался и к друзьям. Позднее его ученик — знаменитый актер Дэвид Гаррик — жаловался, что книги вернулись к нему настолько истрепанными, что пришлось их выбросить.

Поначалу Джонсон ставил перед собой задачу упорядочить английский язык, который считал очень богатым, но беспорядочным, однако пришел к убеждению, что язык есть живой, постоянно эволюционирующий организм, который невозможно загнать в прокрустово ложе писаных правил. "Надо помнить, что... слова ежечасно меняют свои отношения и определить их в словаре так же трудно, как с точностью зарисовать очертания рощи по ее отражению в воде во время бури". Эти мысли, придавшие его грандиозному труду ореол трагичности и даже обреченности, автор изложил в предисловии к первому изданию, увидевшему свет 15 апреля 1755 года. Впрочем, нашлось в словаре место и шутке, иногда горькой. Например, слово "пенсия" Джонсон определил так: "Плата государственному служащему за предательство родины".

"Диккенс уорлд"

Городок Чатем к северу от Лондона знаменит тем, что здесь провел свои детские годы — с пяти до десяти лет — Чарлз Диккенс. Неказистый дом с садиком на берегу реки Медуэй позднее вспоминался писателю как самое светлое пятно в его жизни. Трудно сказать, как отнесся бы английский классик к замыслу открыть в Чатеме развлекательный парк с аттракционами, в которых используются сюжеты его знаменитых романов: "Повесть о двух городах", "Записки Пиквикского клуба", "Дэвид Копперфилд" и "Большие надежды". Неоднозначно и мнение общественности. Но пока печать обсуждает этот вопрос, на месте бывшего судоремонтного завода уже начаты строительные работы, которые планируется завершить к 2007 году.

Авторы проекта, защищая свою идею, упирают на ее просветительский характер, подчеркивая, что таким образом они хотят приобщить подрастающее поколение к классической литературе. Как заметил один из них в интервью, сейчас уже почти не встретишь человека моложе 30 лет, который бы назвал более пяти романов Диккенса.

В "Диккенс уорлде" будут также воссозданы лондонские улицы XIX века, на которых будут разыгрываться сцены из произведений писателя.

Китай

Как стать волком

Сейчас в Китае большой популярностью пользуется книга "Тотем волка" автора, скрывшегося за псевдонимом Цзян Жун. Разойдясь тиражом в полмиллиона экземпляров, она стала настоящим бестселлером, существенно обогнав других чемпионов по продажам, в том числе и вездесущий "Код да Винчи", который китайцы читают почти с такой же охотой, как европейцы.

"Тотем волка" вызвал жаркие дискуссии в прессе и на телевидении. Об авторе известно лишь то, что он — преподаватель политэкономии в одном из пекинских университетов, в период "культурной революции" провел 11 лет во Внутренней Монголии, куда Мао сослал его на "перевоспитание". Жизнь среди холодных степей, населенных лишь монголами-кочевниками, научила его иначе смотреть на мир, о чем два десятилетия спустя он поведал в своей книге. Автор дает подробное описание поведения волков и предлагает своим соотечественникам многому у них поучиться: по его мнению, китайцы слишком долго вели себя, как покорные овцы.

И пока критики спорят о том, с чем связан успех бестселлера Цзян Жуна, на китайском книжном рынке появилось уже десяток книг о том, как сделаться волком.

США

Сам себе издатель

Печататься за свой счет до недавних пор считалось непрестижным. Однако специалисты предсказывают, что в скором времени ситуация может существенно измениться. В США, например, действует уже более сотни компаний, выпускающих книги за счет авторов, и количество их из года в год только увеличивается. Среди наиболее крупных — филадельфийские фирмы "Экслибрис" и "Оторхаус". А недавно о приобретении типографии, оборудованной сверхсовременной, а главное, недорогой цифровой печатью, заявила крупнейшая американская книготорговая фирма "Амазон". Она обещает публиковать книги в течение двух дней и распространять их через Интернет.

Фирмы наподобие "Экслибриса" считают себя достойной альтернативой традиционным издательствам. А кое-кто из них убежден, что их услуги сулят авторам немало преимуществ по сравнению с обычным издательским циклом. Так, клиенты подобных компаний имеют возможность выбрать обложку по собственному усмотрению, разместить рекламу там, где считают нужным, а в случае коммерческого успеха кладут всю прибыль себе в карман.

На сегодняшний день издательские фирмы главным образом ориентируются на начинающих авторов. Однако нередко за свой счет публикуются и писатели достаточно маститые — когда хотят переиздать старые произведения или попробовать себя в новом жанре.

В настоящее время цены на подобные услуги колеблются от трехсот до шестисот долларов. Но в будущем из-за увеличения спроса они должны значительно снизиться, говорит президент одной из книготорговых компаний. "Наверняка найдутся те, кто захочет издать тиражом, скажем, в два десятка экземпляров кулинарные рецепты, которые собирал всю жизнь, либо воспоминания, представляющие интерес лишь для узкого круга родственников и друзей", — поясняет он. И, скорее всего, такая возможность у них появится. Недалек тот день, когда практически каждый сможет с гордостью заявить: "Вчера у меня вышла книга".

Франция

Доктор Фрейд— путешественник

После сорока Зигмунд Фрейд (1856—1939) полюбил путешествия. Каждое лето — с 1895 по 1923 год — он по несколько недель проводил за границей. Фрейд побывал в Америке, Англии, Голландии, Италии, Греции и отовсюду он посылал семье письма и открытки. Не так давно они были опубликованы в книге "Наши сердца устремлены на Юг", увидевшей свет во французском издательстве "Файяр".

Более чем 400-страничный том издан по всем академическим стандартам — с предисловием, примечаниями, библиографией и указателем имен. Другое его достоинство — огромное количество иллюст-

Зигмунд Фрейд

раций: фотографий, планов, гравюр.

В книгу вошло 56 писем и 189 открыток. При отборе составители руководствовались задачей показать Фрейда с абсолютно неожиданной стороны — гедонистом и жизнелюбом.

Обычно в поездках Фрейда сопровождал брат, кто-либо из шестерых детей или свояченица Минна, реже — жена Марта: из-за хрупкого здоровья она предпочитала проводить лето в деревне. Именно ей адресована бóльшая часть посланий, заканчивающихся неизменной припиской "поцелуй от меня проказников". В письмах Фрейд предстает человеком веселым и непритязательным, совсем не похожим на тот образ, который мы обычно связываем с основателем психоанализа.

Пишет Фрейд не столько о достопримечательностях, сколько о погоде, еде, покупках, мелких дорожных происшествиях. Завершается книга путешествием в Рим — город, который затем не раз являлся ему в сновидениях.

Карикатурный Наполеон

В корсиканском музее "Феш", расположенном в Аяччо — родном городе Наполеона, — состоялась необычная выставка. На ней впервые были представлены почти 40 карикатур на Бонапарта.

Гравюры и акварели начала XIX века являются частью личной коллекции датского барона Таге Брокдорфф-Фогнсгарда, которую он передал в дар городу в 1974 году. Прежде эти экспонаты не выставлялись из опасения, что они пострадают от света. Лишь недавно дирекция музея, откликаясь на 200-летие со дня коронации Наполеона, которое широко праздновалось во Франции в прошлом году, приняла решение включить раритеты в экспозицию, получившую название "Обратная сторона наполеоновской пропаганды".

Особенно много карикатур на Наполеона было напечатано в Англии. Они рассылались по всей Европе с целью вызвать у народов презрение к главе французского правительства. Карикатуры кипами присылали в Пруссию и в Россию. Продавались они даже во Франции — разумеется, из-под полы.

Наполеона представляли и в виде затравленной собаки-ищейки, спасающейся от русских медведей, и уродливым карликом. На гравюре 1803 года английского карикатуриста Джеймса Гиллрея король Георг III разглядывает в лорнет крошечного Наполеона, который стоит у него на ладони. Карикатурист вкладывает в уста монарха следующую фразу: "Вы — гадкая и вредная мелкая рептилия, которой самой природой отказано в праве ползать по поверхности земли".

Свой вклад в антинаполеоновскую пропаганду внесли и другие страны. На акварели неизвестного итальянского автора, датируемой 1813—1814 годами, профиль французского императора угадывается в очертаниях извивающегося змея, которого пожирает орел, символизирующий Пруссию, Россию и Австрию. А на испанской гравюре 1809 года Наполеона баюкает дьяволица. Обращаясь к мужу, она говорит: "Я произвела на свет корсиканца". Дьявол, показывая на якобинцев, которых он держит за ноги, хвалится: "Мои детки уничтожают алтари и троны!" — "А мой пошел еще дальше, — возражает супруга. — Он уничтожает целые страны".

Наполеон тщетно пытается разгрызть орех, символизирующий Лейпциг. Карикатура времен Наполеоновской империи

По материалам информационного агентства "Франс пресс" [Франция], газет "Гардиан", "Нью-Йорк таймс" [США], еженедельника "Таймс литерари сапплмент" [Великобритания], журнала "Магазин литтерер" [Франция].

Дай Сы-цзе
Dai Sijie
[р. 1954]. Французский писатель и кинематографист.

Автор романа *Бальзак и портниха-китаяночка* [*Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*, 2000; рус. перев. 2001]. За свой второй роман *Комплекс Ди* удостоен литературной премии *Fémina* [2003].
Перевод выполнен по изданию: *Le Complexe de Di* [Paris: Gallimard, 2003].

Готфрид Бенн
Gottfried Benn
[1886–1956]. Немецкий поэт, эссеист, теоретик искусства.

Автор поэтических сборников *Морг* [*Morgue*, 1912], *Фрагменты* [*Fragmente*, 1951] и др., прозаического сборника *Птолемеец* [*Der Ptolemäer*, 1949], куда также вошла написанная в 1936 году книга *Пивная Вольф* [*Weinhaus Wolf*] и написанный в 1944 году *Роман фенотипа* [*Roman des Phänotyp*]; эссе *Может ли поэт изменить мир?* [*Können Dichter die Welt ändern?* 1930], *Гёте и естественные науки* [*Goethe und die Naturwissenschaften*, 1934], *Искусство и власть* [*Kunst und Macht*, 1934] и др.
На русском языке опубликованы *Избранные стихотворения* [1994] и *Собрание стихотворений* [1997]. В *ИЛ* печатались главы из книги *Двойная жизнь* [, 2000, № 2] и стихи [2003, № 9].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Вальдемар Вебер
[р. 1944]. Поэт, эссеист, издатель, переводчик с немецкого и нидерландского языков. Лауреат премии министерства культуры герцогства Люксембург [1993], премии ПЕН-клуба Лихтенштейна [2002] и др. Пишет на немецком и русском языках.

Автор книг *Слёзы – линзы. Стихи и эссе* [на немецком языке, 1992], *Тени на обоях. Стихи и переводы с немецкого* [1995], поэтического сборника *Черепки* [2000].
Переводил поэзию Г. Бенна, Б. Брехта, И. Бахман, Г. Айха, И. В. Гёте, И. Голля, Г. Гауптмана, Г. Гейне, К. Кроллова, Н. Закс, Г. И. Лессинга, Г. Тракля и др., прозу В. Хильдесхаймера, Э. Кестнера, З. Ленца, В. Д. Шнурре и др.
В *ИЛ* печаталась его статья *Что западный читатель ждет от русской литературы* [2005, № 7].

Павел Хюлле
Pawel Huelle
[р. 1957]. Польский писатель.

Автор сборников рассказов *Первая любовь* [*Pierwsza miłość*, 1996], *Другие истории* [*Inne historie*, 1999]. В *ИЛ* были опубликованы его романы *Вайзер Давидек* [*Weiser Dawidek*, 2000, № 5], *Касторп* [*Castorp*, 2005, № 6], рассказы из сборника *Рассказы на время переезда* [*Opowiadania na czas przeprowadzki*, 1994, №11], повесть *"Мерседес-бенц". Из писем Грабалу* ["*Mercedes-Benz*". *Z listów do Hrabala*, 2004, № 1].

Антоний Либера
Antoni Libera
[р. 1949]. Польский писатель, переводчик, театральный режиссер.

Автор романа *Мадам* [*Madame*, 1999; рус. перев. 2004], сборника рассказов и эссе *Благословение Беккета и другие литературные признания* [*Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie*, 2004].

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Удостоен почетного диплома критики зоИЛ [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта и Л. Стерна, дневники С. Пипса и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], а также переводы романов П. Теру *Колулун Тонг* [2002, № 4] и Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11–12] и др.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Наталья Самойловна Мавлевич
Переводчик с французского. Лауреат премии Инолиттл [1999] и премии имени Мориса Ваксмахера [2002].

В ее переводах издавались произведения М. Эме, Б. Виана, М. Юрсенар, Э. Ионеско, Лотреамона, Л. Арагона, М. Жакоба, М. Шагала, Б. Шагал, А. Жарри, Э. Чорана, Э. Ажара и др. В *ИЛ* печатались *Песни Мальдодора* Лотреамона [*Les Chants de Maldodor*; 1993, № 1], романы А. Сарразен *Перелом* [*L'Astragale*; 1993, № 10, 11], Э. Ажара *Голубчик* [*Gros-Câlin*; 1995, № 7], А. Нотомб *Антихриста* [*Antéchrista*; 2004, № 10], миниатюры Ф. Делерма [2002, № 7], пьеса Э.-Э. Шмитта *Гость* [*Le Visiteur*; 2004, № 6] и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент китайского плаката *Маленькие гости в Лунном дворце* [начало 70-х гг.].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8-926-528-51-48,
факс (095) 953-50-61,
e-mail: journalinostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.07.2005
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1580.
Тираж 7500 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

В следующем номере:

Любовь – роман американской писательницы, лауреата Нобелевской премии **ТОНИ МОРРИСОН,** исследование любви нескольких женщин к одному человеку – отцу, мужу, любовнику, опекуну и другу, не отпускающему их даже после смерти. Переводчик – **Владимир Бошняк.**

Мысли Месмера – короткие ироничные заметки **МАРТИНА ВАЛЬЗЕРА,** одного из самых популярных немецких авторов, о повседневной жизни, природе, писательской работе. Переводчик – **Леонард Бухов**.

В рубрике "Литературное наследие" – стихи одного из интереснейших английских поэтов XIX века **КРИСТИНЫ РОССЕТТИ**, автора замечательной лирики, стихов для детей, ставших классикой, и "прерафаэлитского шедевра" – сказочной поэмы "Базар гоблинов". Переводчик – **Маша Лукашкина.**

Дикие лебеди, или Три дочери Китая – отмеченный литературными премиями документальный роман писательницы-эмигрантки **ЧЖАН ЖУН** о трех поколениях женщин ее семьи, живших в "старом Китае", при Гоминьдане и Председателе Мао. Переводчик – **Роман Шапиро.**

---

[9] 2005

РОМАН ТОНИ МОРРИСОН "ЛЮБОВЬ" / СТИХИ КРИСТИНЫ РОССЕТТИ И СВЕТЛАНЫ МАКАРОВИЧ / "ДИКИЕ ЛЕБЕДИ, ИЛИ ТРИ ДОЧЕРИ КИТАЯ" ЧЖАН ЖУН В РУБРИКЕ "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА"/ МАРТИН ВАЛЬЗЕР: ИЗ КНИГИ "МЫСЛИ МЕСМЕРА" / К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЖАН-ПОЛЯ САРТРА

Журнал ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИЗДАТЕЛЬСТВО **ИНОСТРАНКА**

ИНДЕКС 70394

ВСЕ, ЧТО ЧИТАЮТ В МИРЕ СЕГОДНЯ

Лучшие авторы – в лучших переводах

Серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века

По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2005, №8, 1-288